

ЗНАМЯ

В НОМЕРЕ:

Романы

А. КЛЕНОВА

«ПОИСКИ ЛЮБВИ»

Ж. СИМЕНОНА

«ГОРОДОК В ТУМАНЕ»

Рассказ

М. ЮФИТ

«МУЖ И ЖЕНА»

Стихи

С. КУНЯЕВА,

Ст. ЩИПАЧЕВА

Эд. МЕЖЕЛАЙТИС

«МИР ЧУРЛЕНИСА»

Очерки

Г. ВОРОБЬЕВА

«ОТЧИЙ ДОМ»

В. ЗОРИНА

«ХАНТЫ И КЕННЕДИ»

Н. ТИХОНОВА

«БЕССМЕРТНЫЙ
РУСТАВЕЛИ»

9

1 9 6 6

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ЗНАМЯ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

36-й ГОД
ИЗДАНИЯ

СЕНТЯБРЬ

КНИГА
ДЕВЯТАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА
1966

СОДЕРЖАНИЕ

Степан Щипачев — Сосна, стихотворение	3
Андрей Кленов — Поиски любви, роман. Продолжение	4
М. Юфит — Муж и жена, рассказ	66
Станислав Куняев — Очевидец, стихи	84
Ж. Сименон — Городок в тумане (Инспектор Кадавр), роман. Окончание. Перевод с французского К. Северовой	88

В мире искусств

Эдуардас Межелайтис — Мир Чюрлёниса. Перевод с литовского Б. Залеской (проза) и Ю. Левитанского (стихи)	137
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Георгий Воробьев — Отчий дом	156
Валентин Зорин — Ханты и Кеннеди	189

К 800-летию Ш. Руставели

Николай Тихонов — Бессмертный Руставели.	212
--	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

А. Дубровин — Живая традиция . . .	220
Александр Дымшиц — Герой против автора	232
Александр Глезер — «Солнце бросить в строчки»	243

У книжной полки

З. Крахмальникова — Трагические страницы истории	247
З. Богданова — День наступит . . .	250
Наталья Лагина — История одного поиска	252
И. Роднянская — Как непонятен этот миг...	253
Выходят из печати	255



СОСНА

Усталые,
щурясь от белизны,
какой-то зимой
лесорубы
дойдут и до этой сосны.

Она поднялась,
как из меди литая,
как из меди литая,
годов себе
не считая.

Она
до звезды достает,
до звезды достает
вершиною острой.
Бураны — ей братья,
метели — ей сестры.

Пила
горячо и упруго
вгрызется в нее,
чтоб духом сосновым,
духом медовым
людское пахло жилье.

Июнь 1966 г.



ПОИСКИ ЛЮБВИ

РОМАН*

Торода начинаются там, где дорога становится улицей. И кончаются, когда улица переходит в дорогу. Минск начался с площади, с залитого асфальтом круга, где разворачивались троллейбусы.

— Приехали,— сказал Константин Петрович и попросил Марту не спешить: за рулем сидела она.

— Слушаюсь, мой генерал! — ответила Марта и отдала честь: Константин Петрович надел перед выездом военную форму.

За площадью начался прямой широкий проспект, обсаженный липами и застроенный большими домами. Марте он напомнил московский Кутузовский, и, если бы их не разделяли семьсот километров, они слились бы в одну бесконечную улицу. За деревьями замелькали магазины, и Марта с трудом, а Константин Петрович легко и с удовольствием читали белорусские вывески: «Адзенне», «Абутак», «Цырульня». В молодости Константин Петрович говорил на этом языке и сердился, когда люди, не знавшие белорусского, называли его испорченным русским.

Они обогнули еще одну площадь, круглую, с высоким гранитным обелиском, и, спускаясь к узкой, одетой в гранит речонке, проехали мимо большого нового цирка. И Марта, желая которой были неподвластны логике, сказала:

— Отец, хочу в минский цирк...

Константин Петрович улыбнулся. Был бы свободный вечер, он сходил бы с ней в цирк. Но свободного вечера не предвиделось. Константин Петрович знал, что в гостинице «Минск», куда они едут, его уже ждут друзья и что до субботы, до отъезда в Плавы, дверь его номера закрываться не будет. Хорошо, если завтра или послезавтра утром он выберется с Мартой на час-другой побродить по старым улочкам, если они еще сохранились.

Проспект поднимался в гору. Они проехали сквер и новое высокое здание, с фронтоном и колоннадой, и въехали в центр. Замелька-

* Продолжение. См. «Знамя» № 8 за 1966 год.

ли перекрестки, и на одном из них — машина стояла как раз перед светофором — Константин Петрович сказал:

— На этой улице я родился..

— Да? — отозвалась Марта и посмотрела направо на узкую, идущую вниз улочку.

— Поезжай.. Дали зеленый свет..

Промелькнула очередная колоннада, запестрели пестрые рисованные афиши кинотеатра, и Константин Петрович попросил:

— Прижимайся к тротуару. Подъезжаем к гостинице. И включи мигалку, чтобы Саша видел.

— Слушаюсь, — ответила Марта.

— Ты что-то слишком меня слушаешься, — сказал Константин Петрович. — Как бы это не кончилось крупным непослушанием.

— Все в этой жизни непрочно, — сокрушенно вздохнула Марта.

Получив не без помощи Константина Петровича номер в гостинице, Аннушка и Саша быстро привели себя в порядок и собрались в музей, к Ковецкому. Но перед уходом постучали в двухкомнатный номер Константина Петровича. И каково же было их удивление, когда они обнаружили полную комнату гостей!.. Аннушка смутилась. Гости — одни мужчины — усаживались на нее. Но с противоположного конца комнаты уже спешил хозяин, улыбающийся и довольный.

— А я хотел за вами идти, — сказал он и, показав на собравшихся, спросил: — Видите?.. Мне устроили здесь небольшую партизанскую засаду. Милости прошу к нашему шалашу!

— К будану, — поправил кто-то Бурака, и все рассмеялись.

— Это, — объяснил Константин Петрович, — мои партизанские товарищи.. А это жена и сын летчика Ковшова, героя Плавского боя, Анна Андреевна и Саша — прошу любить и жаловать.

— Здравствуйте. Очень приятно, — сказала Аннушка. — Но мы с Сашей пойдем. У нас дела.

— Посидите немножко.

— Нет, большое спасибо.

— А когда вы вернетесь?

— Точно не знаю, — ответила Аннушка. — Наверно, вечером. Мы будем у Ковецкого. И пойдем еще к одному человеку.

— Жаль.. А я останусь дома — у меня весь день будет народ. Я провожу вас, Анна Андреевна.

— Нет, нет! — Аннушка покосилась на гостей.

— Ничего, я покажу вам дорогу и вернусь.

На лестнице Аннушка спросила о Марте — среди гостей ее не было. Константин Петрович замялся и сказал:

— Она у себя, в другой комнате. Надо было отправить ее с вами в музей.

— Саша может за ней сходить, — предложила Аннушка.

— Возвращаться не стоит.

Константин Петрович объяснил, куда им идти, и сказал:

— Приходите скорей, будете нашей хозяйкой.

В комнате научных сотрудников музея Ковецкого не оказалось, но одна из сотрудниц, молодая русая женщина в капроновой кофточке, попросила их сесть, подождать.

Сейчас, подумала Аннушка, войдет человек, который запросом и письмами растревожил ей душу и память, тронул с места и привел в Минск, помог и поможет заполнить белые пятна в Колиной жизни..

Вошел мужчина со строгим, в очках лицом. «Это не он», — решила Аннушка и не ошиблась: вошедший огляделся и вышел. Почему же

она поняла, что это не он, не Ковецкий, спросила себя Аннушка. Она ведь его не видела, не знает, какой он. Не видела, но, увидев, поймет: это он. Потому что с Ковецким ее уже связывали ниточки-паутиночки... Он вошел — худощавый, темноволосый, с узким скуластым лицом и с хохолком на макушке, остановился, посмотрел на нее темными, чуть прищуренными глазами, перевел взгляд на Сашу и снова взглянул на нее.

Аннушка и Саша поднялись.

— Это к вам, Спиридон Петрович, — сказала сотрудница.

Аннушка назвалась:

— Ковшова.

— О, очень, очень рад! — воскликнул Ковецкий. — А я ждал телеграмму. Значит, вы здесь...

— Мы решили приехать раньше. Это мой сын.

— Догадываюсь, — улыбнулся Ковецкий. — Очень приятно... Что ж мы стоим? Садитесь, пожалуйста. Или вот что. Мы пойдем к директору, там сейчас нет никого. И никто нам не будет мешать.

В директорском кабинете Спиридон Петрович усадил их в кресла, сам сел за письменный стол, покрытый стеклом, разглядывал их и улыбался.

Аннушка волновалась.

— Не знаю, как это сказать... Но мы вам очень благодарны. Без вас я никогда не узнала бы о муже, а Саша — об отце.

Ковецкий смутился:

— Ну что вы, Анна Андреевна...

— Мы уже много узнали, а узнаем еще больше. По дороге сюда мы встретили двух человек, принявших в нем участие.

— Неужели? — удивился Ковецкий. — Кого же?

— Товарищей Бурака и Ахремчика.

— Значит, генерал приехал?

— Да.

— А говорили, что он не приедет. И Ахремчик с ним?

— Нет, мы ехали на машине и случайно попали к товарищу Ахремчику домой, в интернат.

— Вот видите. Так вот и бывает. Это — как цепочка: одно звено ищет и находит другое...

«Он тоже знает о моих ниточках-паутиночках», — подумала Аннушка и сказала:

— Без вас этой цепочки не было бы.

— Это моя работа. — Спиридон Петрович словно оправдывался. — Найти вас, кстати, было не просто. Документов на вашего мужа не осталось. И фамилию его никто не знал. Летчик и летчик, а какой летчик? Откуда летчик?

— Как же вы узнали фамилию?

— Сначала узнал, что его звали Коля, «Коля-летчик» — так его называли в отряде. Потом установил имя-отчество: Николай Трофимович. Один из бойцов комсомольского взвода, Малевич Матвей Максимович, случайно уцелел — вы познакомитесь с ним — и вспомнил отчество и звание. Он же сказал мне, что майор пришел из Литвы, где сидел в каком-то лагере смерти под Каунасом, — ваш муж им об этом рассказывал. И цепочка начала связываться. Я написал в Вильнюс, в Литовский историко-революционный музей, и спросил, не известно ли им что-нибудь о побеге из лагеря смерти под Каунасом. Мне оттуда посоветовали обратиться в Каунас, в музей Девятого форта. Обратился, спросил, не было ли среди узников, бежавших из форта, летчика Николая Трофимовича, фамилия неизвестна. И они мне ответили быстро — литовцы народ аккуратный: был, фамилия — Ковшов. После этого найти вас было нетрудно.

— Удивительно!

— Но это не все. Музей Девятого форта и меня попросил найти нужного им человека — Куника Михаила Григорьевича, или Куникаса, как они написали, тоже бывшего узника форта, живущего, как они полагали, в Белоруссии. Я нашел его — я уже писал вам об этом. Оказалось, что живет он в десяти минутах ходьбы от музея. Он близко знал вашего мужа, сидел с ним в тюрьме и в форте и вместе с ним бежал. Я сам был партизаном и по роду своих занятий знаю о многих побегах, но этот побег беспрецедентный. Вы сегодня встретитесь с Куником, я провожу вас к нему. Он вам много расскажет... Но дело на этом не кончилось — цепочка все еще связывается. Михаил Григорьевич списался с близким другом вашего мужа, тоже бывшим узником форта, — фамилия его не то Краковскис, не то Кракиновскис... Он живет в Каунасе. Вы и с ним познакомитесь... Обидно только, что никто до сих пор не знает о вашем муже. Вы привезли его фотоснимки?

Аннушка достала из сумки конверт с фотографиями и подала Ковецкому. Он разложил и стал рассматривать.

— Хорошее у него лицо, — сказал Ковецкий. — Да-а... — И перевел взгляд на Сашу: — Вы очень похожи на отца. Одну фотографию мы увеличим, пожалуй, вот эту, и выставим в музее, в экспозиции Плавского боя. А вы получите от меня фотографии товарищей, с которыми он погиб. Это совсем молодые люди, хлопчики.

— Я уже слышала о них, — сказала Аннушка.

— А сейчас давайте выработаем план нашей с вами работы. Во-первых, я проведу вас в музей — он у нас неплохой, его знают не только в Минске, — покажу вам партизанские залы, познакомлю с людьми, с партизанами, то есть не с ними самими, с ними вы познакомитесь на празднике, — покажу вам их портреты, записки, воспоминания. Вы должны знать, с кем жил и погиб ваш муж. Возражений не будет?

— Нет, — ответила Аннушка.

— Потом мы пообедаем. А после обеда я вас кое о чем расспрошу и дам вам вот такую толстую папку, — Ковецкий развел руки и опять улыбнулся, — с материалами Плавского боя, с биографиями его участников, с их фотоснимками. Посажу вас за стол, и будете читать. А в шесть часов мы пойдем к Кунику... План принимается?

— С благодарностью, — ответила Аннушка.

В музейных залах было светло — от знамен, шитых рукой безвестной партизанской швей, и от лиц на портретах.

Аннушка с Сашей узнавали людей, в братство которых вошел самый близкий им человек, слушали Спиридона Петровича, читали записки и дневники, которые он доставал из застекленных витрин, рассматривали портреты героев, о которых он рассказывал.

Потом они сидели в директорском кабинете и, передавая друг другу отпечатанные на машинке страницы, читали историю Плавского боя. Саша разложил на столе фотографии хлопчиков и между чтением смотрел на них: простые, открытые лица, с первым пушком над губой и еще без всякого пушка...

— Вас к телефону, Анна Андреевна, — появился в дверях Ковецкий. — Говорите отсюда, телефоны параллельные.

Аннушка удивилась: кто ей может в Минске звонить? Взяла трубку и услышала голос Константина Петровича:

— Домой не собираетесь?

— Пока нет.

— А когда вы вернетесь?

— Трудно сказать. Наверно, не раньше десяти.

— Жаль, — сказал Константин Петрович и замолчал.

— Алло,— окликнула его Аннушка— Я слушаю вас.

— К вам, Анна Андреевна, просьба...

— Пожалуйста.

— У меня еще гости. А Марта целый день не показывается— я все объясню вам потом... Было б хорошо, если б Саша вытащил ее погулять. Понимаете?..

Аннушка не совсем понимала. И ей хотелось, чтоб Саша пошел к Кунику. Но отказать Константину Петровичу она не могла. Раз просит, значит, ему это нужно. И она сказала:

— Хорошо, Константин Петрович. Он сейчас придет.

Аннушка положила трубку и объяснила Саше просьбу Константина Петровича.

— Не пойду. Я пойду с вами к Кунику.

— Неудобно. Я все тебе расскажу. И договорюсь, что мы заедем к нему на обратном пути, когда будем возвращаться в Москву... Пойди.

Саша постучал к Константину Петровичу. Никто ему не ответил. Вошел в переднюю, услышал громкие, вразнобой голоса, заглянул в застекленную дверь и увидел, что комната до отказа набита народом— утром здесь было меньше людей. Что же делать? Зайти или постучать к Марте? Надо, наверно, зайти.

Саша зашел. В комнате стало тихо.

— Саша!— обрадовался Константин Петрович.— Заходи, посиди.

— Спасибо,— отказался Саша и, кивнув на дверь в соседнюю комнату, спросил:— Марта там?

— Там. Но пройди через переднюю. За этой дверью— баррикада. Подожди.— Константин Петрович собрал несколько бутербродов и подал Саше.— Отнеси ей, она с утра ничего не ела.

Саша постучал к Марте. Она не отзывалась. Но дверь оказалась открытой. Марта лежала на кровати, накрыв голову подушкой.

— Марта!— позвал ее Саша.

— Кто тут?— испуганно спросила Марта, и подушка полетела на пол.— А-а, это ты... Где вы так долго были?

— В музей.

— Счастливые люди! А там,— она показала на забаррикадированную креслом дверь,— с утра пьют и поют.

— Константин Петрович трезвый.

— Ты думаешь? Он просто выглядит трезвым. А пить ему нельзя. Но самое страшное не это. Самое страшное— песня...

— Какая песня?— Саша ничего не понимал.

— Какая?— угрожающе переспросила Марта, обхватила руками ноги и силно запела: «Ой, березы да сосны, партизанские сестры...» В соседней комнате Марту слышали, рассмеялись и громко подхватили: «Ой, шумливый ты лес молодой...»

Марта схватила с пола подушку и снова накрыла голову.

— Слышишь?— спросила она, не снимая подушки.— Они поют это целый день... Я схожу с ума!

— Константин Петрович прислал тебе бутерброды,— сказал Саша.

Подушка вернулась на пол. Марта схватила бутерброды и, забыв о песне, стала их уплетать.

— Теперь ты видишь, какой у меня родитель? Обьедается, а единственную дочь морит голодом. Посылает ей с барского стола обьедки.— Настроение у Марты явно исправлялось.— Анна Андреевна там?

— Нет, она осталась в музее.

— Жаль,— сказала Марта.— Может, она бы их разогнала...— И, спохватившись, спросила:— Хочешь бутерброд?

— Ты уже все съела...

— Верно, — согласилась Марта. — Тогда поворачивайся к стене. Я переоденусь, и мы отсюда уйдем.

Саше пришлось изучать стену. Над головой у него по грубой коричневой краске ползла ленивая муха: посеменит, остановится, станет, как акробатка, на кривые передние лапки и перебирает задними, трет их одну о другую... Мать, наверно, пошла уже к Кунику, думал Саша, а он изучает здесь муху... Он с удовольствием прихлочнул бы ее, да нечем было... Наконец, сзади послышалось:

— Поворачивайся.

Марта была в черном жакете, в белой с кружевами блузке, в черной юбке и в черных лодочках — оделась, как на прием. Взглянув на свои микропорки, Саша сказал:

— Я с тобой не монтируюсь...

— Ты думаешь? — спросила Марта. — Подойди сюда.

Саша подошел. Она повернула его лицо к зеркалу, взяла под руку и стала разглядывать себя и его, порознь и вместе.

— Ничего... Серые, с металлом глаза и черные волосы — это уже нечто... А тут еще — ямочка на подбородке... Нет, вполне ничего... Пошли!

Они вышли из гостиницы и, обогнув ее, попали на площадь, где слева, за дощатым забором, сносились старые дома — площадь расширили, а справа стоял высокий красный костел. Марта сказала:

— Псевдоготика, начало века... Потрясающие костелы в Вильнюсе... Был?

Саша кивнул.

— А я не была. Но сейчас побываю... Поехали в Вильнюс?

— Нет, — сказал Саша. — Мы останемся в деревне.

— Понимаю, — сказала Марта.

За костелом показалось большое, многоэтажное, с двумя боковыми фасадами серое здание, и перед ним на длинных гранитных ступенях стоял на трибуне Ленин.

— Это ранний Манизер, — сказала Марта.

— А что такое «манизер»? — улыбнулся Саша.

— Саша! Это скульптор и, следовательно, не что, а кто... Интересная штука — памятники, — продолжала Марта. — Очень сложная и даже опасная. Вынесенная на площадь скульптура начинает жить самостоятельной жизнью и выглядит совсем не так, как того хотел или хочет скульптор. Понимаешь, Ленина лепили тысячи раз. И больше, наверно, было неудачных скульптур, чем удачных. Но это уже не имело значения. Плохих скульптурных портретов Ленина нет. Независимо от портрета люди видят Ленина таким, каким представляют и знают его. А памятники человеку дурному, как ни стараются скульпторы, всегда разоблачительные... Не подумай, — Марта улыбнулась, — что я такая серьезная и умная. Это моя будущая профессия — искусство-вед-ка... В принципе я ужасно легкомысленная, и ты в этом скоро убедишься... Пошли!

— Куда?

— Куда глаза глядят!

Они пошли дальше и поднялись на мост, перекинутый через железную дорогу и улицу, и с моста еще раз посмотрели на площадь.

— Не меньше Красной, — сказал Саша.

— Да, — согласилась Марта, — размахнулись.

— А вот по той улице, — Саша показал в обратную сторону, — мы поедем в Плавы. Там Слуцкое шоссе.

— Откуда ты знаешь? Ты же там не был.

— Я знаю свое, ты — свое, — сказал Саша. — Мое искусствоведение — дороги...

Марта улыбнулась и взяла Сашу под руку.

Они спустились с моста, прошли мимо новых и старых корпусов Минского университета и снова очутились у гостиницы «Минск», на другой стороне улицы, возле почтамта.

— Все дороги ведут в гостиницу «Минск», — заметила Марта. — Вон окна нашего номера. Там в сто тысячный раз поют про березы и сосны. У меня идея: я дам отцу телеграмму...

На почте Марта взяла бланк и попросила Сашу:

— Пиши, у меня неразборчивый почерк. «Здесь, — диктовала она, — гостиница «Минск» номер 247 Бураку Константину Петровичу, — на минуту задумалась и продолжала: — Пей больше и пой громче: на той стороне улицы не слышно»...

Саша решил, что Марта шутит, но она не шутила, — подала в окошко заполненный бланк; карандаш приемщицы привычно запрыгал по буквам, но на «пей больше» телеграфистка споткнулась, сбилась со счета и с удивлением взглянула на Марту.

— Что-нибудь непонятно? — спросила Марта.

— Нет, нет. — И карандашик запрыгал опять.

«Зачем ей эта дурацкая телеграмма? — не понимал Саша. — Константин Петрович обидится и будет прав... Глупей ничего не придумаешь! Вместо того, чтобы слушать Куника, он пишет под диктовку телеграммы...»

На проспекте Марта со знанием дела изучала витрины.

— У меня масса пороков, — призналась она. — Обожаю магазины, особенно обувные. Обувь превыше всего!

При слове «обувь» Саша вспомнил о своих микропорках и увидел, что они ко всему запылились... А Марта уже высмотрела обувной магазин и спросила:

— Посетим?

Саша кивнул.

Ей приглянулись зеленые узконосые лодочки на низких, смешных каблучках. Она зашла за прилавок, примерила, прошлась, и лодочки стали красивыми...

— Жмут, — сказала Марта, возвращая туфли, а Саше под сурдинку шепнула: — Они мне как раз. Но у меня нет денег, а у родителя просить не буду... Я бедная, но гордая... И ты бедный, но гордый, да?

— Бедный, но гордый, — согласился Саша.

Легкомыслие, видно, передается. Саше стало легко и весело. Он забыл о Мартиных капризах и выходках, о ее телеграмме. Они гуляли по проспекту, где их никто не знал и они никого не знали. И вышли на площадь с белым в колоннах зданием и старым разросшимся сквером. Как вдруг, откуда ни возьмись, выстроилась у тротуара милиция. И набежали люди.

— Что-то здесь будет, — сказала Марта.

— Велокросс, — подсказал стоявший рядом мужчина.

— Посетим? — спросила Марта.

— Посетим, — согласился Саша.

Народ прибывал. Машины и троллейбусы останавливались. Задние ряды нажали на передние. Милиция зачистила: «Граждане!..» С фонарного столба, на который взобрались мальчишки, послышалось: «Лидер! Лидер идет!» И снизу вверх — в гору! в гору! — круто пошел велогонщик в белой шапочке, в белых шортах и в красной, как пламя, майке.

Отлично идет: руки — как штанги, ноги — как рычаги. А вокруг крик: «Кашин! Кашин! Ва-анька-а! Жми!.. Давай!.. Давай!..» Прогрел другой велогонщик... За ним еще два — загорелые, пыльные, потные. Им тоже кричали: «Жми!» и «Давай!..» И замелькали одиночки и группы — зеленые, синие, желтые майки...

— Хорошо,— сказал Саша.

— Минск — неплохой городок,— заметила Марта.

— Я люблю гонки. Любые. Больше, конечно, автомобильные и мотоциклетные. Ты бываешь на гонках?

— Нет.

— Я попал на гонки мальчишкой, в Химки, на зимний мотокросс имени Чкалова. Мороз. Гонщики в касках и в валенках. Один прокладывает дорогу — режет целину, остальные идут за ним. И над всеми — снежный буран...

— Интересно! А ты мотоцикл водишь?

— Вожу. Вернее, водил, сейчас мне некогда. Это приятно. На мотоцикле ты один на один со скоростью. И вообще, в мотоцикле все наружу — открытая наглядность, ювелирность отделки. Сейчас мы с одним моим другом конструируем картинги, или «карты», как мы их называем. Слышала?

— Нет. А что это?

— Это маленькие гоночные машины с мотоциклетными двигателями. Они на четырех колесах, но открытые. Руль у них без передаточного числа, колеса без подвесок, и на скорости — скорость у «карты» не малая, до ста километров, — ощущение такое, что колеса держишь руками. Хороший спорт!.. Пошли?

— Пошли,— ответила Марта.

Они вошли в сквер, пересекли его и вышли к пьедесталу с самоходной пушкой. Грозная — подняла к небу жерло и на мраморной доске объявляла, что в июле сорок четвертого первой вошла в Минск...

Саша вспомнил музей... И снова подумал о Кунике. Он рассказывает теперь об отце, о побеге... А может, пойти туда с Мартой?.. Нет, с ней он туда не пойдет... Да и адреса он не знает...

А Марта изучала здание перед самоходкой, серое, строгое, с глухой, без окон, надстройкой над последним этажом, но с двумя карнизами, верхним и нижним.

— Знаешь, как это называется?

— Что? — спросил Саша.

— Верхний карниз, надстройка. Красивое слово — ан-та-блемент. Ты почерпнешь сегодня массу сведений из области искусства и архитектуры.

— Этого мне и не хватало...

Саша сердился на себя, на Марту, на искусство и архитектуру. Но Марта не замечала этого.

— Куда? — спросил Саша.

— Туда же,— улыбнулась Марта.

Они пошли под гору по улице-лестнице со ступенями, цветниками и площадками и дошли до речки, которую они уже видели. Ее и здесь одели в гранит, но он к ней не шел, взял, как в тиски, и превратил в подобие канала, — песчаный бы ей бережок и гнутую иву... А подвесной пешеходный мостик приглашал в пионерский парк...

— Мост, через который мы проезжали, слева? — спросила Марта.

— Да. Вон он.

— Мы пойдем в цирк,— заявила Марта.

— В цирк? — удивился Саша.

— Да. Хочу в цирк.

Перед Аннушкой сидел человек без подбородка, то есть подобие подбородка, собранного и слепленного хирургами, у него было, но из ничего, как известно, ничего не сделаешь. И были рубцы и неровности, а подбородка не было. И было уродство. И, как всякое уродство, оно отталкивало.

Зато над отсутствующим подбородком теплились добрые, умные глаза. Аннушка старалась смотреть только в них. Это не очень удавалось, и было ей не по себе... Потом, когда Куник разговорился, она забыла о его подбородке.

Михаил Григорьевич познакомился с Колей в каунасском СД; вместе подвергались предварительной и последующим обработкам; вместе попали в Девятый форт; и вместе оттуда бежали...

Куник интересно и много рассказывал, и Аннушка жалела, что Саша его не слышит.

Он замолчал и попросил дойку, девочку в черном фартуке с крылышками, с добрыми, как у отца, глазами и с круглым, мягким подбородком, напоить гостей чаем.

Куник жил в деревянном ветхом домике, вернее, в одной его половине. Дом этот в годы войны кто-то взял и разрезал: правую половину разобрали на дрова, а левую оставили, хотя она заслуживала того же. Здесь Куник родился и вырос. Отсюда перед самой войной он поехал в Каунас в командировку, заболел там тифом и уже не вернулся в Минск: попал к немцам. Из этого дома фашисты вывезли в Тростенец, в лагерь под Минском, его стариков родителей и двух незамужних сестер, и они там погибли. А дом, вернее, половина его, уцелел. И, вернувшись после войны в Минск, Куник целое лето, не без помощи друзей и соседей, латал остатки родного гнезда. И стал здесь жить — сначала один, потом с женой и детьми. Почему он до сих пор не сменил квартиру? В Минске строится столько домов... Он мог это сделать. Как бывшему партизану и инвалиду войны ему бы квартиру дали. Но он не просил. Не хотел. И его можно понять: разрезанный надвое дом — это все, что осталось от его прошлого.

Дом был бедный и жалкий, но в квартире было уютно. Прочно стоял на ногах накрытый скатертью стол; сверкало черным лаком пианино «Красный Октябрь»; и со стены из застекленных рамок смотрели на Аннушку три увеличенные фотографии: жены Куника, миловидной, улыбающейся, и двух его детей.

А Куник в ожидании чая перевел разговор на жену: она в Друскениках, лечится там в санатории. Он рассказывал о жене, о том, как они познакомились, но рассказал далеко не все. Не мог он все рассказать этой милой женщине, которая так хорошо слушает его и так старательно отводит глаза от его подбородка. Это не обижало его, нет. Она ведь не знает, сколько хлопот и мучений доставил ему подбородок. Разве расскажешь, как разнесла его вдребезги разрывная немецкая пуля; как возились с ним в партизанской санчасти врачи; как три года после войны разбитый подбородок не заживал. А Куник был молод, и хотел жить, и хотел жениться...

Однажды он встретил на улице старого школьного друга. Тот его не узнал. Но, узнав, обрадовался и потащил к себе. А там за столом сидела черноглазая девушка с матовым, белым лицом. Это была Лиза, младшая сестренка товарища. Он помнил ее девчонкой. Теперь она взрослая. И красивая...

Лиза узнала Куника; пожала ему руку; и не отворачивалась от его подбородка. И она не жалела его. Напротив, в глазах ее появилось что-то такое, что заставило и его самого забыть о своей беде... А через полгода, окончив школу, Лиза вышла за него замуж.

За чаем Куник снова рассказывал о Коле-летчике, как он его называл. И опять исчезли комната и ее обстановка, Ковецкий и сам Куник. Оставались только негромкий голос его и побег из Девятого форта, одним из главных героев которого был Николай...

Куник спросил, нет ли у нее фотографий мужа. Достала, дала, и Куник разглядывал их.

— Похож и не похож. В форте он был не такой.

— А какой? — спросила Аннушка.

— Здесь он моложе. И на всех карточках улыбается. А там... Сколько ему было в сорок третьем году?

— Тридцать три года.

— Неужели? Он выглядел старше. Мы, правда, были намного моложе его... — И снова разглядывал Колю, словно сличал фотографии с человеком, которого знал и любил.

У Николая было тогда обоженное лицо; и он немного прихрамывал, а глаза были такие же и такая же складка на переносице. И был он сильный — мускулы перекатывались, как шары; а боролся, так укладывал на лопатки двух, а то и трех ребят: его, Абаласа, Петю Краковскиса...

Аннушка слушала Михаила Григорьевича и думала о том, что даже в таком страшном месте, как Девятый форт, смертники — сжигатели трупов, как-то жили, не говоря уже о том, что рвались и вырвались на волю... А какая трогательная история Саши Каштоянца и Стаси Коханович, девушки со шрамом на горле! Неужели она и ее увидит? Куник на днях узнал, что Стася, тоже дружившая с Колей, живет теперь в Вильнюсе.

Ковецкий в разговор не вступал, сидел и записывал все, что рассказывал Куник. Он хорошо сегодня рассказывал — увлеченно и точно. Какой побег!.. Куник замолчал, покашливал и вглядывался в чашку с чаем, словно в коричневой ее глубине видел то, что не часто последнее время вспоминал... А Аннушка смотрела в черные глаза Куника и видела в них Колю, худого, обросшего, с распухшей ногой...

Куник рассказывал долго, три с лишним часа.

— А в Плавах вы сколько пробудете? — спросил он.

— Дней десять — пятнадцать. Я тоже в отпуске. Но на обратном пути, если вы позволите, я зайду к вам с сыном. Я хочу, чтоб он вас послушал. И чтоб вы на него посмотрели.

— Обязательно. Как же иначе! К тому времени и Лиза моя вернется. А в Вильнюс и в Каунас вы не поедете? Посмотрите Девятый форт, увидите Краковскиса, Стасю. Правда, у меня еще нет ее адреса, но вы ее найдете.

— Не знаю. Мы туда не собирались. Но Краковскису я напишу. У вас ведь есть его адрес?

— Да. Он записан на книге, которую он прислал мне. Эта книга о Девятом форте. Я дам вам ее, потом вернете.

Куник принес небольшую книжку: на суперобложке — тюремная стена и крупно: «IX форт»; и внизу, под стеной, из земли пророс цветок, похожий на колючую проволоку... Это был путеводитель по музею с текстом и иллюстрациями. И, раскрыв его, Куник обратил внимание Аннушки на фотографию четырех мужчин в полукруглом низком тоннеле на фоне железных ворот.

— Вот этот, — сказал он, — третий слева, Петя Краковскис. А это ворота, которые он целый месяц выпиливал...

На Аннушку смотрел с фотографии высокий седой мужчина с волевым лицом, еще один человек, с которым ее уже связывали ниточки-паутиночки...

В цирке, с его стремительной музыкой и острым смешанным запахом сосновых опилок, зверей и конюшни, Марта вспомнила себя девочкой и, может быть, стала девочкой — с удовольствием вбирала в глаза свет и краски манежа...

Отвертелись на турниках акробаты, и с истошным воплем — «Манюня! Манюня!» — вышел ковровый клоун Геннадий Ложкин.

Марте он сразу понравился: мешковатый зеленый пиджак, широкие светлые брюки, но ничего типично клоунского — ни дыбом встающих волос, ни пунцового носа. Обыкновенный пожилой гражданин; не так веселый, как разбитной; не так разбитной, как потешный; и не так потешный, как себе на уме... «Манюня! Манюня!» — вопил Ложкин. И вышла собачка — Марта любила собак, — вислоухая, черная, гладкая такса, с вытянутой мордочкой и короткими кривыми кулетьяками, с ленцой подошла к хозяину и легла на ковер. И клоун, не похожий на клоуна, рассердился: «Ах ты, симулянтка несчастная, вставай сейчас же!..» И оказалось, что Манюня — отличная акробатка: проделала с Ложкиным несколько трюков и под дружные аплодисменты ушла.

Цирк — это праздник и спорт, и Саша уже не жалел, что пришел сюда. Он поглядывал на Марту, и она ему нравилась больше, чем прежде: в гостинице она была злая, на почте и в магазине — дурашливая, а здесь притихла, по-детски раскрыла глаза. И Саше казалось, что прежде — это напускное, а здесь она настоящая.

— Нравится? — спросил он.

Марта кивнула, улыбнулась и положила руку в его руку, как там, на Березине...

И Сашино внимание раздвоилось между Мартиной рукой и ма-^тнежем...

Погас свет; прожектора скрестили лучи на круглой зеркальной тумбе; вышла девушка, и все на ней было серебряное — туфельки, пояс, лиф и ободок в волосах. Саша удивился, она похожа на Марту, — длинноногая, тонкая, тот же разрез глаз и такие же волосы. Она стала на тумбу; в разливе плавной серебряной музыки гнулась, ниспадала назад — запрокинутой головой к ногам; и превратилась в крендель с мертвым, застывшим лицом. И уже не была похожа на Марту.

А представление продолжалось...

И Мартина ладонь оставалась в ладони у Саши...

Бесстрашных воздушных гимнастов сменили наездники; музыкальных эксцентриков-буфф — отважные канатоходцы. И зрители всех принимали. Не приняли только жонглера с мячом и рожком. Он был уже старый, неловкий, и мяч то и дело срывался... Марта и Саша пожалели артиста — чуть не одни во всем цирке аплодировали ему.

И Мартина рука вернулась в Сашину руку...

А представление продолжалось... То есть объявили антракт... Но Марта и Саша по-прежнему сидели рука в руке...

— Сейчас будут дрессированные животные и звери, — сказал Саша.

— А ты любишь зверей и животных?

— Обожаю, — ответил Саша.

— А ты не смейся, — сказала Марта. — Зверей надо любить. А ты любишь дрессированные автомобили.

— А ты их разве не любишь?

— Люблю. Но лошадей и собак больше. Особенно лошадей... А ты лошадей любишь?..

Саша не знал, любит он лошадей или нет. И не знал, шутит Марта или говорит серьезно.

— Конечно, на лошади далеко не уедешь, — рассуждала она, — но лошадь живая и красивая. Помнишь? «Милый, милый, смешной дуралей, ну куда он, куда он гонится?..»

Саша кивнул.

— А стихи ты любишь?

— Только про любовь, — улыбнулся Саша. И сказал: — Честно говоря, не очень. Люблю Маяковского. И то далеко не все.

— Напрасно,— сказала Марта.— Поэзию надо любить.

— О стихах поговори с мамой,— посоветовал Саша.— Найдете общий язык. Сейчас ей, правда, не до стихов...

Интересно, она еще у Куника или уже ушла от него, подумал Саша и сказал:

— Автомобили — тоже поэзия. И не для меня одного. Недаром столько людей интересуется ими. И чем дальше, тем больше — во всем мире...

— Это понятно,— сказала Марта.— На них ездят. И возят грузы. Они полезны.

— Нет,— возразил Саша.— Есть машины не менее полезные, а с точки зрения конструкторской гораздо более умные, скажем, ротационные. Но знают их, интересуются ими только специалисты. Потому что поэзии в ротационной машине нет — одна утилитарность... Тебе это интересно?

Марта кивнула.

И рука ее оставалась в Сашиной руке...

— Ты говорила о лошадях. Культ лошадей действительно был и всегда будет. Потому что при явно выраженной рабочей функции лошадь — существо поэтическое. А в автомобиле — что-то от лошади, как в самолете — от птицы. Когда-то названия «Роллс-ройс», «Делонебельвиль», «Изотта-фраскини», «Испана-Сюиза» звучали для меня как стихи и вызывали волнение.

— Здорово! — сказала Марта.— У тебя целая автомобильная философия. Ты ее сам придумал?

— Она носится в воздухе,— улыбнулся Саша.

Музыка грянула туш, и на арену в лакированной коляске, запряженной тремя коричневыми, с плюмажами, пони выехала полная женщина в колпаке на рыжих волосах, в белом накрахмаленном жакбо и в черном костюме.

Вытянув гордые шеи и прямоугольные головы, вышли к публике верблюды — губастые странники пустынь. Громко защелкал бич, и верблюды пошли по кругу, с интересом косясь на людей. Дрессировщица выстроила их и с помощью стека поставила на колени. И глаза длинноногих странников, лиловые и грустные, а может, и насмешливые, говорили: «На колени так на колени...» Верблюды ушли, а в чем заключалась их дрессировка, Марта и Саша не поняли: где-нибудь в Заволжье или в Средней Азии любой неученый верблюд сам подгибает ноги и берет на себя седака.

— Противная тетка! — сказала Марта, и Саша с ней согласился.

Вышел огромный слон; он лениво помахивал хоботом, ложился на спину, садился и опять-таки становился на колени. Эта дрессировщица всех ставила на колени...

И представление окончилось. Правда, между верблюдами и слонем снова появился Ложкин, на этот раз с двумя Манюнями, и показал настоящий класс дрессировки. Его таксы изображали жанровых певцов: став на задние лапки, задорно и громко визжали.

Марта и Саша вышли на улицу. Парило. От асфальта пахло смолой. На мосту зажглись фонари; проплывали мимо троллейбусы...

Саша поднял голову и сказал:

— Будет дождь.

А Марта молчала. Она опять была другая. Не то грустная, не то, наоборот, успокоенная, тихая. Как у нее меняется настроение!..

На круглой площади, к которой они подошли, у обелиска толпились люди. Они смотрели на узкое желто-лиловое пламя, похожее на венчик свечи. Это был вечный огонь, и кто-то негромко спрашивал: «А если дождь пойдет, не погаснет?» «Не погаснет». «А зимой?»

«И зимой»... Его зажгли, очевидно, недавно, может быть, сегодня, и к нему не успели привыкнуть.

— Какие контрасты! — сказала Марта. — Здесь вечный огонь, а рядом цирк, клоуны...

— Все мы немножко клоуны, — улыбнулся Саша.

— И немножко лошади, как сказал твой любимый поэт.

Подъехал троллейбус, и они в него сели.

— До гостиницы «Минск» идет? — спросил у кондукторши Саша.

— Идет. Я вам скажу.

Саша посмотрел на часы. Ого! Четверть одиннадцатого. Мать, наверно, вернулась и ждет его. Они не скоро лягут: мама расскажет о Кунике. А завтра рано вставать — сто шестьдесят километров...

И, словно подслушав Сашу, Марта сказала:

— Знаешь, я поеду в Плавы с вами. Твоя мама меня возьмет?

— С нами? На нашей машине?

— Да.

— А отец тебя пустит?

— Наверяд ли он будет в восторге, но...

— Поехали, — обрадовался Саша. — Только мы рано выедем, не позже восьми. Встанешь?

Марта кивнула.

В нижнем вестибюле гостиницы, у входа в ресторан, куда направились Анна Андреевна и Константин Петрович, стояла группа мальчишек развязного вида, лет семнадцати-восемнадцати, не старше. Константин Петрович покосился на них и постучал в дверь.

— Граждане, — послышалось за дверью, — я вам уже говорил!

— Откройте, — попросил Константин Петрович.

Услышав незнакомый голос, швейцар приоткрыл дверь, а увидев генеральскую форму, широко раскрыл ее:

— Прошу! Прошу!

— Одних пускают, других не пускают, а справедливость где? — подчеркнуто громко спросил один из молодых людей. Но дверь за генералом захлопнулась.

Ресторан был узкий и длинный, с высокими квадратными колоннами посередине. Он действительно был переполнен, но свободный столик нашелся. Метрдотель убрал табличку «Занято» и посадил их.

— Я боюсь, — сказала Аннушка, — что наших ребят сюда не впустят.

— Впустят. Я предупрежу... Что мы будем есть?

— Я не голодна... Что-нибудь легкое. А вы, пожалуйста, ешьте.

— А вина мы не выпьем?

— Спасибо. Я не буду. Да и вам, наверно, не нужно.

— Я не пил. Только угощал. И делал вид, что пью...

Константин Петрович заказал ужин и сказал Анне Андреевне:

— У меня сегодня был хороший день. Если б не Марта...

— А что случилось?

— У меня, вы видели, сидели люди, мои друзья, партизаны. И я старался принять их по-человечески. А Марта была в другой комнате. И я не звал ее. Разговаривали, пели песни. Выпивали, конечно. И вдруг Марта появляется. Гости мои обрадовались, встали. Пришла наконец бураковская дочка разделить их компанию. А она: «Так, мол, и так. Прошу не спаивать Константина Петровича. И не курить... Он перенес инфаркт...» Опешили, стоят, как оплеванные. И я ее выгнал, сказал: «Вон! Чтобы духа твоего тут не было...» Никогда ей такого не говорил... А потом получил телеграмму. Полюбуй-

тесь.— Константин Петрович достал из кармана телеграфный бланк и подал Аннушке.— Такие у меня дела...

— Да,— сказала Аннушка.— Неприятно это... Она не хотела, чтоб вы пили... А в телеграмме как бы извиняется...

— Возможно. Я все понимаю. Обидно другое. Откуда в ней это зазнайство? Я из простой семьи, мать тоже не из дворян, а она белая кость.

— Она генеральская дочь,— улыбнулась Аннушка.

— Вот именно.

— А мать Марты?..— спросила Аннушка, но не договорила: пришла официантка.

— Я принесла вам минеральной воды. Не возражаете?

— Спасибо,— сказал Константин Петрович и предложил: — Давайте закажем сухого вина. У нас такой разговор.

Аннушка кивнула.

— Вы спросили о матери Марты... Она умерла...

— Давно?

— Скоро пятнадцать лет.

— Давно. Значит, Марта выросла без матери...

— Разве это видно?

— Может, и видно. Девочке, когда она растет да и когда вырастет, нужна мать. А сыну нужнее отец. Так что и ваша Марта и мой Саша, в общем, сироты.

— Да. Но это не оправдывает ее.

— Вы ее, наверно, баловали.— Аннушка замялась.— И мало воспитывали.

— Возможно,— согласился Константин Петрович.— Она росла без меня. Я человек военный, много ездил и езжу. А Марта оставалась с теткой, с сестрой жены. Она в Марте души не чает. Но мать ей не заменила... А вы, Анна Андреевна, замужем?

— Нет.

— И не выходили?

— Нет... Налейте мне, пожалуйста.

— Извините,— смутился Константин Петрович.— Не заметил, как подали.

— Видите,— улыбнулась Аннушка,— сначала я отказывалась, а теперь попросила сама. Это типично по-женски.

— Нет,— возразил Константин Петрович.— Я просто невнимательный, разучился ухаживать..

— А вы умели?

— Честно говоря, нет. Людям моего поколения было, в общем, не до ухаживаний...— Константин Петрович поднял рюмку и спросил: — За что же мы выпьем?

— За людей вашего поколения,— сказала Аннушка.— Я имею в виду и моего мужа. Вы не умели ухаживать, но зато умели любить. За это и выпьем.

— Вы прекрасный человек, Анна Андреевна, и я очень рад, что мы встретились. За вас!— сказал Константин Петрович, чокнулся, и они выпили.

— Что-то долго нет ребят,— сказала Аннушка.

— Не пропадут, наверно, зашли куда-нибудь... Что же с ней делать? Посоветуйте, Анна Андреевна.

— Сколько Марте лет?

— Скоро исполнится двадцать.

— Совсем еще девочка.

— Двадцать лет — это уже не девочка. В двадцать лет я наводил здесь страх на лишенцев и нэпманов.— Константин Петрович улыб-

нулся.— А дочь моя наводит страх на хороших людей... Конечно, в ней еще много детского. Она на курсе моложе всех, а учится лучше всех.

Аннушка улыбнулась — Константин Петрович, даже недовольный Мартой, гордился ею — и сказала:

— Хорошо учится — это уже кое-что.

— Нет. Пусть бы хуже училась, но была человеком. Все время ее куда-то заносит. И я ничего не могу с ней поделывать.

— Они почему-то позже теперь взрослеют, — сказала Аннушка. — Саше двадцать шесть, но и он во многом мальчишка.

— В чем-то Марта, конечно, ребенок, — сказал Константин Петрович, — но в чем-то взрослее вас и меня. И у нее плохие друзья. Вроде тех, которые рвались сейчас в ресторан и зывали к справедливости... Она сама называет их подонками, но не осуждает. Перед отъездом она пришла домой расстроенная. Спрашиваю: «Что с тобой?» «Я из суда, — говорит, — была свидетельницей...» «Ты?.. В суде?..» Ушам своим не поверил. Оказывается, кто-то из ее знакомых, двадцатилетний, с художественными наклонностями прохвост, при всяком удобном случае воровал музейные экспонаты. В музее Кирилло-Белозерского монастыря украл иконку пятнадцатого века. А в Эрмитаже — подумайте только! — керамический с серебряной крышкой кувшин, еще более старый. На кувшине он и попался. Принес показать его Марте, и она спросила: «Откуда он у тебя?» Ответил: «Из Эрмитажа...» Что ему скрывать?.. А Марта не поверила. «Не сочиняй или не заливай», — не знаю уж, как они теперь говорят. И повела к своему преподавателю, к какому-то старичку-искусствоведу, оценивать керамику. Старичок оставил кувшин у себя и позвонил в Эрмитаж. И Марте зывали к следователю, а потом в суд. И пришла она оттуда расстроенная. Ему, видите ли, дали три года, а он способный художник. Отец его не любит, мачеха ненавидит, и адвоката ему не наняли... А я бы его наказал строже.

— Суд оказался добрее вас, — улыбнулась Аннушка.

— Не смейтесь, я серьезно. Если б он украл у меня, я простил бы ему, но он воровал в музеях.

— Я его не оправдываю... И все друзья у Марты такие?

— Я их мало знаю. Наверно, не все. Достаточно одного.

— Ничего. Она разберется в друзьях. Вы ее сегодня не ругайте. Я думаю, что она сама поняла. Обещаете?

— Не знаю... Сегодня была последняя капля.

— Не обольщайтесь, — улыбнулась Аннушка, — этих капель будет еще много... Так обещаете?

— Обещаю. Только потому, что вы просите.

— Я когда-то хотела дочку. А Николай — сына... И вы, наверно, хотели сына? Мужчины обычно хотят сыновей.

— Да, — улыбнулся Константин Петрович, — поэтому называю ее Мартыном. Но у мужчин получается так: хотят сына, а дочку любят не меньше, если не больше... А матери как?

— Матери любят одинаково и тех и других.

Помолчав, Константин Петрович спросил:

— Вы еще не рассказали мне, как провели сегодняшний день.

— Я очень много узнала о муже. Два бывших узника форта, друзья Николая, живут в Каунасе и в Вильнюсе. Я познакомлюсь и с ними. История эта, как ручеек, который по дороге встречается с другими ручьями и сливается с ними...

— Значит, вы поедете в Вильнюс и в Каунас? Мы ведь тоже едем туда. А оттуда в Палангу. Может, поедем вместе?

— А когда вы едете?

— В понедельник, после партизанской встречи.

— Нет, если мы поедем, то позже. Мы с Сашей побудем в Плавах. Они замолчали, задумались. И в это время послышался Мартин голос:

— Добрый вечер!

— Добрый вечер,— пробасил Саша.

— Наконец-то! — сказала Аннушка.— Садитесь... Хотите есть?

— Хотим,— ответила Марта.

— Ешьте,— сказала Аннушка.— Где вы были так долго?

— В цирке,— ответила Марта и, не откладывая дела в долгий ящик, сказала отцу:— Знаешь, я решила поехать в Плавы завтра с Сашей и Анной Андреевной. Конечно, если Анна Андреевна меня возьмет...

— Завтра? — В голосе Константина Петровича послышалась растерянность.— Но я хотел показать тебе Минск...

Марта опустила глаза.

— Ну что ж... Поезжай,— сказал, помедлив, Константин Петрович и спросил у Анны Андреевны: — Возьмете?

— Пожалуйста,— сказала Аннушка.

— В Плавы вам ехать не надо,— сказал Константин Петрович.— Остановитесь в Клептицах, это рядом, у Тарасевичей. Скажете, что от меня, и больше ничего не надо. Стариков зовут дядька Антон и тетка Марися.

— А имена-отчества? — спросила Аннушка.

— Никогда их по имени-отчеству не называл. Узнаете у них... Вы поедете рано?

— Часов в восемь,— сказала Аннушка.

— Тогда не будем засиживаться. Иначе Марта проспит.

Саша заводил машину, и перед ним на просторном гостиничном дворе выстроились, как на параде, иностранные автомобили различных моделей и марок: Минск — перевалочный пункт туристских маршрутов,— и Сашин «самосвал» выглядел здесь скромно и, пожалуй, старомодно, но держался с достоинством: не блистал ослепительной краской, не выгибал спину и не распластывался в прыжке, скорее напоминал котелок или шляпу и, заведенный, мирно урчал...

Саша разглядывал иномарки; малолитражки, мелькавшие среди них «рено», «фиаты», «фольксвагены» он знал, наверно, лучше их владельцев; испытательные группы брали их в рейсы, и Саша не раз их водил; испытатели сравнивали «Москвича» с его заграничными коллегами, постигали логику иностранного конструктора, вживались в ход его мыслей; и где-нибудь на запорожском булыжничке или в красноводских песках «Москвич» нередко давал фору своим знаменитым попутчикам...

Рассматривая машины, Саша не выпускал из виду выход из гостиницы, оттуда с минуты на минуту должны были появиться мама, Марта и Константин Петрович.

Идут. Значит, Марта едет.

— Прикажете сесть с водителем? — спросила Марта.

— Пожалуйста.— Саша взял у Марты саквояж.

Марта смотрела на отца, а он смотрел на нее, и она сказала:

— Скорей приезжай...

— И веди себя смирно,— продолжил Константин Петрович.— Не пей и не пой... Я правильно понял?

— Правильно!

Марта улыбнулась и опять, как в цирке, стала похожа на девочку. И у Саши екнуло сердце. Поездка повисла на волоске. Сейчас она

скажет: «Я не поеду». И не поедет... Но Константин Петрович понял, что Марта готова остаться — иногда он ее понимал, — и сказал ей:

— Поезжай. Все хорошо... — Он посмотрел на Анну Андреевну. — В субботу я буду у вас. Счастливо доехать!

Сторож открыл ворота. «Москвич» с достоинством тронулся с места и, обдав русским дымком своих заграничных соседей, повернул на улицу.

Константину Петровичу стало грустно. Но вместе с грустью явилось чувство свободы, — свобода тоже бывает грустна... И ему пришла на ум, может быть, мальчишеская, но хорошая мысль: он пойдет бродить по городу; но не просто бродить — попытается на день вернуться в детство и юность; и начнет возвращение с вокзала; даже не с вокзала — с перрона; вокзал здесь новый, а перрон прежний, тот, на котором когда-то встречал его отец; стоял, широко раскрыв глаза и поджав губы, и думал: «Приедет Костя или не приедет?..», — а Костя с подножки кричал: «Отец! Отец!..»

Пришел на вокзал. И прошел на перрон.

Как раз прибывал откуда-то поезд.

— Граждане пассажиры, пользуйтесь услугами носильщиков, — раскатывался над перроном простуженный голос вокзального диктора...

«У них всегда простуженные голоса», — подумал Константин Петрович, смешался с пассажирами и вышел в город.

«Ну что ж, здравствуй, Минск!

Ты навряд ли помнишь меня. Мы оба переменялись. Ты стал молодым, а я постарел и уже молодым не буду...

Я помню тебя с пустыми глазницами окон; задымленные стены коробки; мелькнет кое-где уцелевшая чудом голландка; выглядит закопченный карниз с лепестками и листьями; а то запестрят обои, выцветшие и рваные, но все еще нарядные на фоне разбитой стены. Но часто и стен не было: груды кирпича и щебня, проросшие травой и цветами, больше одичавшими маками всех цветов и оттенков — от пунцового до блекло-розового. Они были красивые, но взошли на крови...

(Константин Петрович шел по большой, не охватишь глазами, привокзальной площади. Это был, конечно, не тот Минск, который он знал и помнил. Но даже слепой он сказал бы: «Я в Минске». Узнал бы город по воздуху, который ворвался в легкие.)

Мальчишкой я любил тебя, Минск, и не знал, что люблю. Вырос и знал, но уехал в Москву учиться. А уехав, скучал по тебе. По тебе и по ней, по первой моей подруге. Но я приезжал к вам в гости. К тебе и к родителям. К тебе и к ней. И трудно с вами прощался. Но Таня провожала меня с сухими глазами. А мать плакала. И у отца, человека сдержанного, в глазах стояли слезы...

Помнишь себя до войны? Ты не был красивым городом, но был добрым городом. И не знал, что тебя сожгут.

Война уже шла по Европе. Наш мостостроительный батальон стоял тогда на границе, и мы видели, что у немцев что-то готовится. Уже стреляли.

Я сказал моим старикам: «На границе тревожно... Поезжайте к внучке, в Сибирь...» Они меня не послушались. И не послушались позже, когда я из Плав посылал к ним связных. Их убили. Конечно, и ты разделил их судьбу. Но город, где погибли все твои близкие, любить нельзя. Ты стал мне чужой. А теперь я приехал к тебе. И связываю родственные узы узелками памяти...

(Привокзальная улица, освещенная солнцем, чуть слышно шелестела липами, поблескивала автомобильными стеклами, прислушивалась к далеким паровозным гудкам, а может быть, и к шагам Константина Петровича... И незаметно он пришел на Комсомольскую, на улицу, где родился и вырос.)

Ты должна меня помнить, улица. Ты мало переменялась. Но я не пойду по тебе. Иначе я сразу наткнулся на чужое, новое здание. Я пойду кругом. И представлю, что дом наш стоит, как стоял. Мысленно взбегу по серым, сбитым ступенькам. Громко постучу. И на вопрос матери: «Кто там?» — громко отвечу: «Я! Открывай!..»

Фу ты! Я, кажется, сказал это вслух...

Матери нет. И дома нет... Второго июля сорок четвертого года, перед бегством из Минска, немцы его сожгли... А третьего июля я смотрел на дымившийся пепел... В нем еще теплилось что-то мое, наше...

Мне в этот день не везло: куда ни приду — пустыри. На Таниной улице пустырь, на бабушкиной — пустырь, и на нашей... Как мало места занимали эти дома, и как они были нужны мне...

Отец мой был скорняком. Он подростком пришел из деревни. Много и трудно работал. Сам научился читать, но читал только газету... Большой, в залысинах, лоб, впалые щеки, острый, с горбинкой нос...

А мать считалась у нас образованной и смотрела на отца свысока, — она была счетоводом. Рассердившись, она называла его «деревенщиной». А он почему-то величал ее «шляхтой»...

Вглядываясь в прошлое, понимаю, что были они люди разные. Отец был проще, но добрей, отзывчивей. А мать на всем сэкономила, жалела себе и другим. Дети к этому чутки, и я тянулся к отцу, признавал только его. И нам доставалось обоим... Но разность характеров не мешала им любить друг друга. И отец за свою «заядлую шляхту» пошел бы в огонь, а мать — за него. И оба они — за меня. Так и случилось.

Мальчишкой я мать не любил, не слушал ее. Но с годами отчужденность сменилась заботой, нетерпимость — вниманием. И если мне не хватает отца, то тем более — матери. И все-таки я не забываю — не обижайся, мама! — хотя бы вот этот случай.

Январь или февраль. Мне семь или восемь лет. Время еще царское и деньги царские. Мать послала меня в лавку и, дав двугривенный, наказала: «Держи крепко. И принеси сдачу...» Лавка оказалась закрытой. И я побежал домой. Вниз с невысокой горки.

Вечерело. Тротуар был накатанный, скользкий. И я катался в подшитых войлоком валенках — вниз, вниз! А двугривенный болтался у меня между ладонью и варежкой...

«Давай деньги», — сказала мне мать. Но монеты в варежке не оказалось... Где же она?.. Я вывернул варежки, одну и другую, шарил в карманах и выворачивал карманы, стащил с себя валенки, в надежде, что двугривенный там... Но его не было...

Мать не кричала. И не била меня. Но сказала: «Иди. Ищи. И без денег не возвращайся...»

Я пошел. И не считал, что мать не права. Двадцать копеек в моем, и не только в моем, разумении были большими деньгами. И потерянная монетка превратилась в нечто огромное и круглое, похожее на луну...

Я искал. Ползал и шарил. С тротуара переходил на мостовую. Чуть что блеснет, перебирал руками снег. Но двугривенные на улице не валяются. Даже когда сам их теряешь...

«Что ты ищешь?» — спрашивали прохожие. Но я молчал. Или отвечал: «Ничего».

Я дважды поднялся на гору. И дважды спустился с нее. Так напрягал глаза, что они заливались слезами. Но я не плакал... Я заплакал, когда появился отец. Он поднял меня с тротуара. И я уткнулся в него. А он говорил: «Ничего! Не плачь, Костенька. Мать уже не сердится...»

Я обижался на тебя, мама. Обиды накапливались и отчуждали. А ты любила меня. Даже когда обижала. И если б я мог найти тебя, я пошел бы в любую вьюгу обшаривать мостовые и снег...

(Константин Петрович не спешил. Останавливался возле витрин. Они, как зеркала, отражали давно минувшие дни и лица близких людей.)

Я вовремя, видно, приехал. Расширяют даже Интернациональную. Короткая она, а когда-то казалась мне длинной. Просматривается из конца в конец и связывает несовместимое — начинается на площади Свободы и упирается в тюрьму. Тюрьма эта старая, николаевская. Но ничто ее не берет. Война и та не разрушила. Пора бы ее снести.

Чего я, однако, стою?.. Оттягиваю время... Боюсь завернуть за угол, увидеть чужой дом...

Вот он... С приемным пунктом химчистки... «Прием с девяти до семи, выходной день — понедельник»...

А дальше улица цела. И все на ней, как было.

Здесь я впервые увидел Таню...

А вот здесь стояли легковые извозчики. Бегая на Татарскую, к бабушке, я останавливался, смотрел на лошадей. Лошади узнавали меня, косились влажными, в красных и синих прожилках глазами. Но особенно я любил одну, черную, как ночь, кобылу, с рыжей гривой, с белой отметиной на лбу и с белыми чулками на передних ногах. Целый год при ней был жеребенок, длинноногий, длинношей, длинногривый. В отличие от матери грива у него была черная, а сам он был красный. Тронешь его пальцем — встрепенется, стрельнет глазами и рябь пройдет по спине. Я любил его и всегда приносил ему что-нибудь. Он стал меня узнавать. И уже не боялся...

А вот Немига, кажется, самая твоя старая улица, Минск, самая в прошлом торговая, самая зловонная и самая минская. Она уцелела, только стала чистой. Да, это Немига, на которой «снопы из голов стелили, молотили цепами булатными, жизнь на току клали, отвевали душу от тела...» И не так при князе Игоре, как при гаулейтере Кубе. «Слово» называет, конечно, не улицу, а реку, когда-то широкую и полноводную. Но годы ушли. И река ушла. Превратилась сначала в речонку, потом в ручей, потом в сточную канаву. Я застал ее. Текла прямо под улицей, прикрытая деревянным настилом. Потом ее упрятали в трубы. И знаменитой Немиги не стало. Сохранилось только название...

А вот и Татарская. Это так близко, а в детстве казалось так далеко. В детстве все далеко: далеко до юности, до зрелости, до старости. Идти — не дойти. А дойдешь до пятидесяти и видишь, что старость ближе, чем думалось...

Бабкин пустырь не застроили. Стал даже меньше и вырвнялся. А соседний домишко стоит...

Прощай, пустырь! Больше я к тебе не приду.

(Константин Петрович повернул направо, на улочку, которая называлась когда-то Болотной, и наткнулся на насыпь.)

Раньше здесь насыпи не было. Высокая. Свежая... Ого! Широкая новая улица. Неужели это новая Ленинская?! Я видел ее на плане. Значит, ее ведут...

Хорошо мне сегодня. Как давно уже не было. И так будет весь день. Я вернулся в детство и в юность, в поисках первой любви. Пото-

му и брожу по городу. И буду бродить допоздна. И, вернувшись в гостиницу, видно, не скоро усну...

Пойду к Тане. Но прямо теперь не пройдешь, опять придется кружить...

А что там за мост? Это уж по моей части. Бетонный. Понимаю: он связал старую Ленинскую с новым ее продолжением. Но под мостом течет не река — улица. И вливается в Нижний базар...

Что здесь когда-то было!

Продав свой сыр и сметану, поросят и «бульбу», добродушные, подвыпившие крестьяне справляли себе обновы — сатиновые вышитые косоворотки. «Купи, чалавек, кашулю!» (кашуля — по-белорусски рубаша); «Дядька, хаді да мяне!»; «Уважаемый, для тебя шил!» — кричали торговцы, перехватывая на улице покупателей. И подвыпивший дядька, не привыкший к такому вниманию, терялся, смущался, топтался и не знал, в какую ему, собственно, лавчонку податься, пока кто-нибудь не втаскивал его к себе. А лавочник знал: надо скорей оглушить, ослепить, окопачить и сбить с панталыку без того уже смущенного лапотника и заставить его вытащить из-за пазухи, из онуч или из штанов, и не так из штанов, как из домотканых подштанников, завернутые-перезавернутые в тряпочку, замусоленные рубли и червонцы, которые он выручил за мешок «бульбы», за гуся, за обернутое в лопушинные листья желтое сладкое масло. И торгош бросал на прилавок три, восемь, десять, двенадцать голубых, малиновых, желтых, блестящих и ярких, вышитых васильками и розочками, радужных косовороток; распаивал широко рукава и лепил рубашу к ружему армяку покупателя. «Твая, благодетель, твая!» — твердил, ворожил, умолял, убеждал торговец. И тут же про себя проклинал своего благодетеля: «Каб ты сдох у гэтай кашуле!» «Ай, ай! Красота какая! Ай, ай, красавец какой!» — вслух восхищался торгош, а про себя замечал: «Харя! Рыло свиное!»

Был нэп. Была безработица. И отец мой кустарничал, снимал здесь угол. И, взывая к отцу, хозяин кричал: «Петрусь, а Петрусь, скажи ему! Скажи! Рубашу эту бог ему послал...» Отец молчал, его это не касалось. Но если при этом был я, то словечко я вворачивал: «Рубаша хорошая, но она ему вроде мала...» Торгош экономил на сатине и старался всучить мужику недомерок. «Хіба так... Хіба так...» — хватался за мое замечание человек и пытался отлепиться от кашули... «Вон отсюда, байстрюк!» — шипел на меня хозяин. Выкладывал на прилавок другую рубашу того же размера и кричал: «Снимай свой кожух! Примеряй!..»

Человек снимал кожух или свитку; торгош напяливал на него поверх старой рубашки новую, толкал к заплывшему зеркальцу и снова вопил: «Ой, ой! Красота какая! Ой, ой! Красавец какой!» Но покупатель мялся, топтался, потел и все еще сомневался: «Здаецца, малавата...» «Як малавата?! — возмущался хозяин. — Да ты же хату на хату надел!..» И в ход пускались божба и клятвы: «Чтоб мне бог то, и чтоб мне бог это, и чтоб мне деток родных не видеть, к жене не прийти...»

«А колькі тая кашуля каштуе?» — Сколько рубаша стоит?.. — робко спрашивал покупатель. И начинался торг.

Хозяин заламывал несусветную цену. И человек шарahalся от нее, как от огня: «Дорого!..»

«Дорого?!» — багровел от натуги торговец. Но тут же заботливо, ласково спрашивал: «Значит, тебе дорого?.. Ладно, ладно!..» — И пару копеек сбавлял.

Но мужик тоже умел торговаться. И настаивал на своем: «Дорого!..»

И тогда торгош говорил: «Иди! Мой — товар, твои — деньги. Вон там, — он показывал на лавчонку соседа, — продают гнилые онучи.

Иди туда!» Но стоило человеку двинуться к двери, как торговец хватал его за рукав и, изнеможенный, стонал: «Стой! Стой, гавару...» — и делал последнюю скидку.

Иногда мужик уходил. И вслед ему громко летела базарная брань. Но чаще он возвращался. Знал: в соседней лавчонке его так же надуют, как здесь. И, вернувшись, лез за пазуху или в штаны за мятыми-премятыми рублями, с болью в сердце расставался с ними и получал свою лиловую или оранжевую кашулю. А вслед ему, как благовест, разливалось: «Носи на здоровье, дорогой! Носи на здоровье!»

Такое это было место. И такое было время...

Пойду к Тане... Вернусь в свои пятнадцать — семнадцать лет...

Я был уже рослым и сильным, вымахал чуть не до потолка. Стал отращивать волосы. Впервые побрился. Много читал. И часто менял увлечения: слесарничал, рисовал, собирал приемники, конечно, детекторные, даже грешил стихами. Вступил в комсомол. Купил на толкучке кожанку с двумя штыковыми проколами. И ежедневно, как на работу, шел вон по той улочке вниз, спускался на мост через Свислочь и поднимался на Широкую.

Там закончится мое возвращение в юность и мой последний рассказ...

Итак:

Жили-были он и она. Вернее, она и мы.

Мы были горластые, резкие, буйные. В нас жил и бурлил дух молодой революции. И вечерами, а то и ночами улицы замирали от наших декламаций и песен:

Лейся в площади бунтов топот!
Выше, гордых голов грядя!

А Таня была другая. Тихая, робкая, с матовым, бледным лицом — считалось, что у нее плохое здоровье. И она писала стихи в отличие от нас хорошие. Шли они, правда, не от Маяковского, скорей от Ахматовой и Блока, лирику которых мы тогда отвергали... В общем, девушка из «приличного» дома, барышня из пансиона для благородных девиц. Такая она была, Таня. Но — я ее любил...

Полюбил сразу. И не признался себе, что люблю. Потому что и любовь в старом ее понимании считалась у нас зазорной, мещанской. И над ее атрибутами — соловьями, амурами, розами — мы потешались. Мы были спартанцами. И наши девушки были спартанками. И лирику встречали в штыки...

Может быть, я сгущаю краски, но это правда, это было именно так. И мы боролись с любовью открыто и прямо, доказывая себе и другим, что любовь — не любовь, а дружба. Только дружба! А если дружба, то никаких охов и вздохов, никаких ухаживаний и никаких амуров и нежностей!

А я сплеховал. Ничего похожего прежде со мной не случалось. Большевик и спартанец, я с замершим сердцем ждал в подъезде или на балконе, за балконной дверью Таню, которая одна или с подружками пересечет, размахивая портфельчиком, перекресток Комсомольской и Интернациональной, возвращаясь из школы домой. И чтоб мельком увидеть ее, я готов был ждать час, два или три.

Казалось бы, чего проще, пойдти ей навстречу, — мы были знакомы. И скажи как ни в чем не бывало: «А-а, Таня, привет!» И спроси... Мало ли что можно спросить. И проводи... Но на это я не решался, пока не помог мне приятель. Взял и привел меня к ней. В этот день кончилось мое отрочество и началась юность.

Таня жила в ином, незнакомом мне мире. Дом ее, внешне обычный, отгородился от улицы серым дощатым забором. Яблони, грядки, цве-

ты, и у забора — малинник. Особенно много цветов: настурции, астры, пионы. И за углом — крыльцо. Но о нем разговор особый.

Таня любила родителей, и они на нее влияли. Это было не в мою пользу. И решило нашу судьбу.

Жили они обеспеченно: отец — терапевт, мать — фармацевтка. И сохранили, как говорили тогда, уклад мирного времени, то есть до-революционного.

Спальня. Столовая. Детская. Таня выросла, а комната называлась детской. И везде стерильная чистота. В комнатах, правда, я бывал редко. Летом сидел с Таней на крыльце, зимой ходил на каток или в клуб. Провожал. И говорил: «Пожа!» Я за ней не ухаживал — я с ней дружил.

Но все шло своим чередом. Прощаясь, мы стали задерживаться. И держались за руки. И слабые Танины пальцы похрустывали в сильных моих. Но долго стоять нам нельзя было. Над калиткой висел фонарь. И соседки при случае уже говорили Таниной маме: «О-о, у вашей Танечки ухажер...» Но все шло своим чередом. И однажды в темноте я открыл перед Таней калитку и двинулся следом за ней. Но не подумал, что калитка захлопнется: она была на пружине. Таня оказалась предусмотрительней, шепнула: «Тише!» Но было поздно: калитка загремела. И не только в Танином доме, но и в соседних, наверно, узнали, куда и зачем я проник. «Уходи!» — шепнула мне Таня.

Танины родители относились ко мне сдержанно. Не показывали виду, что не любили. Я об этом догадывался. И понимал, почему: сын скорняка, горлодер в комиссарской кожанке, я выглядел, конечно, чужим в этой тихой семейной заводи, не тронутый революцией и ломкой. Сначала они меня всерьез не принимали. Походит юноша и перестанет. Прошел, однако, год. И пошел второй. А я приходил каждый день. И они испугались...

Я ее любил... Что могут сказать эти старые, как мир, слова? Но как иначе сказать, что я ее любил? Других слов я не знаю... Любил больше отца и больше матери... Не говорю — больше себя, это само собой разумеется. Меня не было. Была Таня. Всем на свете. И самым светом. И могла сделать со мной все, что ей вздумается...

Через несколько лет, расставшись с Таней, я женился. Но Валю, жену мою, я так не любил. К сожалению, так уж устроена жизнь, что только одному из ста, или из тысячи, или из десяти тысяч — статистики в этой области нет — удастся сразу встретить свою единственную, свою первую и последнюю любовь. И сохранить ее до конца жизни. Мне это не удалось.

Но я отвлекся. Правда, до разлуки уже недалеко. И до конца моей повести тоже...

Провожая ее, я стал заходить за калитку. И, наученный, тихо ее прикрывал. И мы за ней целовались. Но лучше всего нам было на дощатом, с тремя ступеньками крыльце. Сколько вечеров, ранних и поздних, мы на нем провели! Сидели плечом к плечу, нога к ноге. Ближе, казалось, нельзя было. Но хотелось еще ближе. И я незаметно оттеснял Таню в угол. Так что ей уже, наверно, нечем было дышать...

Желтое, тертое-перетертое щеткой и тряпкой крыльцо! Деревянное крыльцо! Если б оно уцелело, то и сейчас я нашел бы на нем наше место.

Любила меня Таня? Да... Но рядом с моей любовью ее была с ноготок. Тогда я не думал об этом — я ее любил. И большего мне не надо было. Хорошо тому, кого любят. Но еще лучше тому, кто любит сам...

А дело приближалось к концу. С райкомовской путевкой я уезжал в Москву на учебу. И в последний раз мы сидели на нашем крыльце. Обычно в половине одиннадцатого, минута в минуту, за

дверью слышалось: «Дети, пора расходиться». Таня вздрагивала. Отстранялась от меня. Отодвигалась. А мне хотелось еще раз поцеловать ее, обнять.

Но в тот последний вечер мы сидели долго. Пока не стало светать. Конечно, перед этим, ровно в половине одиннадцатого, послышалось: «Дети...» Но на этот раз Таня не подчинилась: «Мамочка, мы посидим. Костя завтра уезжает...»

Они знали, что я уезжаю. И уже попрощались со мной. И впервые спокойно вздохнули. Но в эту ночь, в прощальную, они не сомкнули глаз. Ждали, когда Танечка скрипнет дверью. Я сидел и смотрел на нее. А она на меня. Мы молчали. И ночь молчала. Темная, звездная, душная ночь с густо цветущим шиповником, росшим возле крыльца.

А может, шиповника не было, может быть, он отцвел. Но шипы на нем были. И одним из них я нацарапал на Таниной ладони самое красивое и самое прекрасное в мире слово: л ю б л ю. Кожа у нее была тонкая, нежная. Выступила кровь. И сворачивалась в круглые красные бусинки. Назавтра, то есть в тот же день, Таня, мои друзья и мои родители — они скромно стояли сзади — провожали меня в Москву. Если б я знал, если б только догадывался, что теряю ее навсегда! Спрыгнул бы с подножки вагона и сказал бы: «Остаюсь! Пусть будет что будет!»

Задумавшись, Константин Петрович незаметно пришел на Широкую и пошел по ней. А спохватившись, долго искал знакомое место, не нашел и пошел дальше.

Клегищи оказались небольшой, в одну улицу, деревенькой с двумя рядами потемневших хат, связанных плетнями. На улице куры. Возле калиток лавочки. Тихо. И ни души. Если не считать белобрысого, в одних трусах мальчугана.

— Где тут живут Тарасевичи? — спросил у него Саша.

— Вы да нас? — удивился мальчишка.

— Может быть, и до вас, — улыбнулся Саша. — Мы к дядьке Антону и к тетке Марисе.

— Дома, дома. Наш дом вон там.

— Тогда садись, — пригласил Саша мальчика. — Поедем.

Аннушка открыла заднюю дверцу, парнишка юркнул в машину, и видно было, что на него свалилось неслыханное счастье. Загорелый — с весны не надевал рубашки, — он пахнул травой, молоком и еще чем-то деревенским, здоровым.

— Как тебя зовут? — спросила Аннушка.

— Петя.

— А сколько тебе лет?

— Восемь.

— Значит, ты уже учишься?

— Ага, — мотнул головой Петя. Но разговор не интересовал его, он смотрел вперед.

— Вот, — показал он на старую, с палисадником хату. И спросил: — Можно, я посижу тут?

— Можно, — разрешил Саша.

Они вышли из машины и подошли к калитке. Справа дом, слева амбар с распахнутыми воротами и сзади, за плетнем, огород. Саша пропустил маму и Марту, закрыл калитку. И тут же на крыльце появилась темнотица старая женщина в белом, завязанном под подбородком платочке.

— Здравствуйте, — сказала Аннушка. — Мы к Тарасевичам.

— А кто вы будете? — спросила старуха.

— Мы от Бурака, от Константина Петровича.

— Ад Бурака? — обрадовалась она. — Божа ж ты мой! — И, обернувшись, крикнула: — Антон, выхадзі... Ад Бурака, ад Канстанціна Пятровіча прыехалі...

В дверях показался высокий, худощавый старик, седой, с усами, но бритый, в полотняных штанах, густо покрытых заплатами, и в серой рубахе навыпуск.

— Ад Бурака? — не меньше старухи обрадовался старик, и Аннушка поняла, что Бурак здесь имя не простое. — А самі вы хто будзеце? — повторил он вопрос жены.

— Это дочь Константина Петровича — Марта, — ответила Аннушка. — А я, — замялась она, — жена погибшего здесь летчика, Ковшова Николая Трофимовича.

— Як жа! Як жа! — затараторила старуха. — Ведаем, ведаем.

— Да дэто ж ты людзей у хату не завеш? — сказал старик.

— Калі ласка, захадзіце, — смутилась старуха. — Такія госці! — И повела их через темные, с земляным полом сени в кухню, а оттуда — в светлицу. — Калі ласка, — приглашала она, и ни одна фраза ее не обходилась без «калі ласка» — белорусского «пожалуйста», звучащего действительно ласково.

В светлице вдоль стен стояли кровати и раскладушки. Над столом, накрытым клеенкой, мирно соседствовали электрическая и керосиновая лампы. В углу примостился потемневший образок; правее висел плакат с белолицей красавицей и сберегательной книжкой; и рядом, в деревянной рамке, лепились под стеклом одиночные и групповые фотографии женихов, невест, младенцев и молодых солдат.

— Сядайце, вы з дарогі, — приглашала хозяйка. — Можа, малачка выпьце, у нас малачко свае, ад кароукі.

— Няужта ад бычка? — улыбнулся старик. — Нясі на стол. І хлеба нарэж.

Славно было в этой хате: темные бревенчатые стены с туго набитой в пазы паклей, низкий потолок с двумя поперечными балками, чистый пол, устланный домотканой дорожкой.

На столе появилась круглая подовая буханка хлеба, испещренная ямочками и пахнущая тмином, глиняный жбан с молоком и белые фаянсовые чашки. И всем захотелось есть.

— А где сам, где Канстанцін Пятровіч? — спросил старик.

— Он приедет завтра. И заедет к вам, — ответила Марта, держа в одной руке хлеб, в другой — чашку с молоком.

— Калі ласка, калі ласка! — опять зачестила старуха. — Мы ж яго не бачылі, можна сказаць, з самой вайны. Божа ж ты мой! Божа ж ты мой!.. — У нее навернулись слезы, и она подбирала их кончиком платка.

— Не раві! — рассердился дядька Антон. — Дай з людзьмі пагаварыць... — И спросил: — А надоуга товариш Бурак приедзе?

— На два дня, — ответила Марта. — В понедельник утром мы уедем в Вильнюс.

— Пагасцілі бы, — сказала старуха. — Вы і не ведаеце, які ён дарагі для нас чалавек. Кабы не ён, нас бы на свеце не было. Да ці нас адніх? Усей дзяреуні, усяго района...

— Верна старуха сказала, — наконец-то похвалил свою старуху дядька Антон. — Мы у вайну пад партызанамі жылі. А немцаў і паліцаў, можна сказаць, і не бачылі. Прышлі толькі раз, калі хлопцаў на заставе забілі...

— Простите, мы не знаем ваших отчеств, — сказала Аннушка.

— Якія там отчэства! — махнула рукой старуха. — Ён дядзька Антон, а я цетка Марыся. А по отчэству — ён Сяменавіч, а я Міхайлауна.

— А до Плавского кладбища отсюда далеко? — спросила Аннушка.

— Близка, — сказала старуха. — Я пайду з вами. Дачкі маі там квяты саджаюць. Там многа нашіх. Вы зараз ці позжа?

— Если можно, сейчас. Но у меня к вам просьба. Мы с сыном хотим здесь остаться на неделю-другую. Нельзя ли у вас или кого-нибудь снять комнату?

— А чаго ж нельга, можна. Мы вас да Войстрэйчыхі адвядзем. Вы бы і тут маглі пажыць, але у нас поуная хата унукаў.

Тем временем возле машины собрались ребята и с завистью смотрели на Петю: обхватив руль, он мчался в неизвестную даль...

— Ох, божа ж ты мой! — забеспокоилась старуха. — Хто ж яго туды пусціў! Ён жа машыну зламае. Пецька, вылазь!

— Я его пустил, — сказал Саша. — Мы пойдем пешком или поедем?

— Вы паязжайце, а я пайду, — сказала старуха. — Мы да легкавушка непрывычныя.

— Что вы! — сказала Аннушка. — Садитесь, пожалуйста. — И, усадив Марисю Михайловну в свой уголок, села с ней рядом.

— А мяне, дядзечка, пракаціце? — спросил Петя.

— И мяне!.. И мяне!.. — зашумели ребята.

— Не, не! — строго сказала старуха. — Ім там рабіць нечага.

— Я вас потом прокачу, — сказал ребятам Саша и поехал.

На густо заросшем пригорке с зеленой штакетной оградой, за закрытыми настезь воротами и узкой калиткой-вертушкой, стоял зачехленный памятник. Под серым, в складках полотнищем угадывалась высокая статуя. Две сосны, кряжистые и красные, простирали над ней узловатые, крепкие руки. Перед памятником, ближе к воротам, отсвечивала золотом черная, в прожилках плита с именами героев. Между плитой и монументом женщины высаживали цветы. Увидев машину, они выпрямились, и одна из них крикнула:

— Мама, вы с кем?..

Старуха направилась к ним.

Аннушка, Марта и Саша остались возле плиты.

Трастович В. М.	Никоновской Г. П.
Шумилович И. П.	Ковшов Н. Т.
Лесюкевич М. И.	Качанович В. Ю.
Ветрашевский Э. А.	Климовский Ф. В.
Клыч П. И.	Якимчик Л. В.
Белевич Н. К.	Жданович Александр
Шитко Д. К.	(отчество неизвестно)
Житыка К. В.	Харитончик А. П.
Вострейчик В. М.	Ясюченя А. Б.
	Королевич А. А.

Аннушка читала фамилии, дошла до Королевича и вернулась к Ковшову, словно не сразу поняла, кто это, Николай или его однофамилец. Начала сначала, и за многими именами возникали лица, виденные на фотографиях, подаренных ей Ковецким. Особенно ясно представились круглолицый, с ямочками на щеках Ветрашевский и угрюмый, с насупленными бровями Королевич. В фамилиях Ветрашевский, Шумилович, Лесюкевич слышался лесной шум, протяжный и ровный, доходивший сюда, на кладбище, из Плавских лесов; фамилии Шитко и Житыка шелестели рожью, росшей под самым пригорком... А почему

у Ждановича Александра нет отчества? Не осталось, наверно, родных — и забыли...

А сколько всего здесь фамилий? Восемнадцать.

Саша других фамилий не читал, смотрел на отцовскую. Он стоял между матерью и Мартой, чуть позади их, с насупленными бровями... «Где же отец лежит? — думал он. — Здесь, между плитой и памятником, или в неизвестной могиле?»

Ковецкий рассказал им, ему и матери, что хоронили погибших ночью, тайно, в разных концах кладбища, в трех братских могилах, по шесть человек в каждой, — боялись, что каратели надругаются над ними. Могилы засыпали, заровняли, покрыли снегом и договорились, что каждый запомнит, где какую вырыл и кого куда положил. Но две недели назад, когда переносили останки к памятнику — Ковецкий был при этом, — две могилы нашли, третью найти не смогли, — копавший ее старик уже умер. Опознать павших тоже не удалось — столько времени прошло... Возможно, отца здесь нет... Саша вообще не хотел и не мог представить отца мертвым.

О том же думала Аннушка, сказала себе: Коли здесь нет! Может, он в другом месте, но не здесь... Она повернулась и пошла, не спеша, на кладбище.

Саша хотел окликнуть ее, спросить: «Куда ты?» — но промолчал: пусть идет, она хочет побыть одна...

В зелени проступали старые деревянные кресты с одной и с двумя перекладами. Они не теснили друг друга, не прятались за оградками и не выставляли напоказ уверений в любви и верности.

Была здесь мать сыра земля.

Были цветы, кусты и деревья.

И пели птицы.

По самому краю пригорка вилась неглубокая песчаная канава. «Неужели это окоп, в котором они воевали?» — подумала Аннушка. От него ничего не осталось: осыпались стенки, дно заросло травой и крапивой.

«Человеку столько дано, а жизнь его так беззащитна! — думала Аннушка. — Хорошо еще — обрывается в старости, а тут — в молодости, в зрелости. Как это сказал Константин Петрович: «Смерть они видели, а жизни не видели...»

Когда-то в школе усвоила: материя вечна, и она не исчезает, переходит из одного состояния в другое: дрова превращаются в пепел, вода — в пар... А человек с его мозгом, сердцем, глазами, с его сильным и гибким телом, с его способностью мыслить, страдать и любить — это самое тонкое, самое сложное дело природы — ни во что не превращается и ни во что не переходит — оставляет жалкие останки, по которым нельзя даже определить, чьи они. Несправедливо это!

Иногда слышишь: верующим легче — верят в загробную жизнь. Верить в это нельзя. Жизни там нет. Жизнь здесь. Здесь начинается и здесь кончается. Ад и рай — на земле...

Рядом появилась светло-серая птичка с черной гладкой головкой и белыми щечками, с острым, как стрелка, хвостом. И, поглядывая на Аннушку, окликая ее: фить, фить, — короткими перебежками удалялась и приближалась, словно приглашала пойти за ней. Аннушка пошла. Дошла до лавочки, спрятанной в кустах. И села. А птичка вспорхнула и скрылась.

Может, Коля лежит здесь, возле этой скамейки? Возможно, но она об этом не узнает... Хотела посидеть на его могиле, принести ему цветы, а могилы нет. А может, и лучше, что нет?.. Он останется прежним... Никогда не вернется и никогда не исчезнет...

И все-таки хорошо, что они сюда приехали. Это место Колино, а значит, ее, Сашино. На этом холме, возле этих рябинок и сосен, он

провел последние дни и часы. Правда, была зима, февраль. Рябины были безлистые, голые. А сосны были такие же, в иглах, но белые, в инее. И снег был белый. А потом его изрыли мины. И он почернел...

На дорожке показалась Марта. Аннушка окликнула ее.

Марта подошла.

— А где Саша?

— Носит женщинам воду из речки.

— Посиди со мной.

Марта села.

— Хорошо здесь, правда? — спросила Аннушка.

— Не знаю, — сказала Марта. — Я не люблю кладбищ. У меня мама похоронена на таком кладбище.

— Где?

— В Сибири, в Купино... Там большое озеро. И дичи много — уток, гусей. Осенью там целый день стрельба. Подберет охотник утку и недобитой отворачивает голову. А у нее в глазах слезы: жестоко...

Слезы у птиц, подумала Аннушка, ну и ну!..

— Отец мой тоже любит охотиться. И рыбу любит ловить. Потому он и ездит в Литву. Там, в Куршском заливе, прекрасная рыбная ловля. Вы там никогда не были?

— Нет.

— Там красиво. Куршский залив — это большое пресноводное море, отделенное от Балтийского косой. Там высокие дюны, дубовые рощи, боры. Литовцы называют эту косу Нерингой. Там сохранился домик Томаса Манна...

— Интересно, — сказала Аннушка и подумала: Саша прислал ее отвлечь меня и развлечь... И сама она вспомнила о матери. А теперь исправляет ошибку.

— А вообще там жили, да и сейчас еще живут, курши, древние литовцы, — отсюда Курляндия. У них на баркасах черные паруса и мачты, украшенные деревянными человечками, избушками, лошадка-ми... Мы сначала побудем в Паланге, потом поедем на Нерингу. А в Паланге вы были?

— Нет. А ты давно ездила на могилу к матери? — перевела разговор Аннушка.

— В позапрошлом году. Ехала — волновалась. А пришла к ней — и скоро ушла. Не понравилось мне там. И больше не приходила. А отец рассердился, сказал, что я бездушная...

В глазах у Марты появились слезы. Как у птиц, о которых она говорила. Аннушка обняла ее, прижала к себе:

— Не плачь. Плакать надо мне...

Но они плакали обе.

— Мне хорошо с вами, — сказала Марта. — А сначала я вас боялась. — Марта улыбнулась.

— Почему? — удивилась Аннушка.

— Вы все понимаете.

— Ты тоже все понимаешь, — сказала Аннушка. — И ты добрая. А доброту прячешь. Даже от отца. Зачем?

— Не знаю. Не будем об этом, ладно? — И предложила: — Пойдемте. Саша там, наверно, всю речку вычерпал...

После обеда Марта и Саша пошли, как они сказали, посмотреть окрестности. Они дошли до речки, стояли на деревянном мостике, с отглаженными дождем и ветром перилами, и смотрели в воду. Речонка называлась Плавой. И все здесь называлось плавским — лес, поле, выгоны. Правый берег речонки круто поднимался на холм, на

Плавское кладбище; а за левым берегом, низким и ровным, начинался Плавский бор.

Вода под мостом была зеленая, сонная. Изредка возникали и гасли круги: гуляла рыба. Длинной зыбкой тенью лежало на воде Мартино отражение, и рядом — Сашино, еще более длинное, темное. Тени тихо покачивались, мягко касались друг друга и расходились.

— Мне здесь нравится, — сказала Марта. — Я никогда не была в настоящей деревне. А это настоящая?

— Настоящая, — улыбнулся Саша.

Марта опять была другая — задумчивая. А может быть, грустная... А какая она будет завтра? Через час? Через десять минут? Саша уже знал, что предсказать это невозможно. Он не смотрел на нее, смотрел на ее отражение, но боковым зрением видел и ее.

И ни с того ни с сего Марта попросила:

— Поцелуй меня... — И подставила щеку.

Саша опешил, но поцеловал и невольно оглянулся... Никого не было. Где-то тархтел трактор, и за мостом, в лесу, слышался раскатистый стук. Но опасения его были не напрасны. Справа, из-за холма, появилась полуторка с поставленными на попу голубыми прилавками. У моста она сбавила скорость, и из кабины, разглядывая Марту и Сашу, высунулся толстощекий парень в надвинутой на глаза кепке. Настил затрясло. Но Марта, казалось, не видела машины, не видела шофера... И поцеловала Сашу.

Саша молчал. Стоял, как по команде «смирно». Не знал, что ему делать. И как ему быть... Но Марта сказала:

— Пошли...

Они оставили мост и вошли в подлесок. Он рос неровно. Перемешались сосны-подростки и сосенки-мальши. У маленьких иглы были светлые, мягкие, у сосен повыше — темней и жестче. И изредка то тут, то там мелькали старые сосны-родители, с макушками под самым небом, с шершавыми стволами, с рубцами и шрамами на месте потерянных веток.

Подлесок перешел в большую поляну. Вот где стучат! На поляне достраивалась деревянная эстрада, и под фанерными навесами разгружались полуторки с прилавками. Возле одного из них плотничал старик, с топором и с карандашиком за ухом.

— Добрый день, дедушка, — сказала Марта.

— Дзень добры! — ответил старик.

— Что здесь будет? — спросила Марта.

— Свята будзе, — ответил дедушка.

— А что такое свята? — спросила Марта.

— Свята — по-нашему праздник. Партызаны з'едуцца. І начальства прыбудзе. Ба-альшое начальства! Сам Бурак прыбудзе...

— Бурак? — спросила Марта. — А что за Бурак?

— Не слыхалі? — удивился плотник. — Ба-альшой чалавек! Партызанскі гэнэрал. А самі вы хто будзыте, артысты ці дачнікі?

— Артисты, — скромно ответила Марта.

— Я так і падумау, — сказал старик. — Выступаць тут будзеце?

— Возможно... А здесь что будет? — Марта кивнула на навес.

— Як што?! — удивился плотник. — Марожанае будзе, яблачный напіток будзе, жыгулеўскае пива, батоны — усе будзе.

— Прекрасно, — сказала Марта. — До свидания, дедушка.

— До свиданія. Будзеце выступаць — пагляжу.

— Пожалуйста, — ответила Марта.

И, еле сдерживая смех, они пошли дальше, в Плавы, которые уже просматривались за опушкой. Но там им не понравилось. Деревня была разбросанная, дома стояли где и как попало. Зато там была

отличная вода, такая холодная, что сводило зубы. И они пили возле колодца, прямо из ведра, обливаясь и захлебываясь.

А за Плавами начался лес — сосновое море. И, как всякое море, оно шумело.

Марта остановилась и слушала. Это был, конечно, орган, но такого она никогда не слыхала. Он стоял не на сцене — на зеленой, покрытой мохом земле, не под потолком — под высоким открытым небом. А какие у него трубы! Не металлические, срезанные и тонкие, сделанные руками или машиной, а могучие, вышедшие из земли и уходившие в небо, с прозрачной душистой смолой на шершавой коре и с зелеными кронами.

— Вот это мне и нужно, — сказала Марта.

— Что? — не понял Саша.

— Лес и лесной Бах...

— А это тебе не нужно? — спросил Саша. — Посмотри под ноги.

— Какая прелесть! — сказала Марта.

Под ногами у них была сплошная черника. Кустики с мелкими, частыми листьями гнулись под крупной, лиловой и синей ягодой.

— Посетим? — предложил Саша.

— Посетим, — согласилась Марта.

Сели и стали есть. Марта брала ягоды по одной, не хотела чернить губы и зубы. А Саша обрывал куст подчистую и швырял в рот пригоршню за пригоршней.

— Оставь немного для участников свята, — сказала Марта.

— И для ба-альшого начальства, — подчеркнул Саша.

— Для Бурака! — добавила Марта. — Ба-альшой человек!

Они пошли дальше и скоро наткнулись на квадратную яму, заросшую травой и папоротником.

— Что это? — спросила Марта.

— Землянка. Заваленная... Наверно, партизанская.

— Не в ней ли жил мой знаменитый отец?

— Может быть, — сказал Саша. — Вон еще одна яма. А вон — еще.

Здесь был, наверно, партизанский лагерь. Сюда к Константину Петровичу пришел мой отец, но был здесь недолго, — ушел на заставу.

— А целых землянок здесь нет?

— Наверяд ли. Но можно поискать.

— Поищи, — сказала Марта. — А я посижу.

Марта села на старый, косо спиленный пень и увидела узенькую тропку, по которой по всем правилам уличного движения двигались муравьи: одни — в одну сторону, другие — в другую...

А лес шумел и раскачивался. И жил своей непонятной жизнью.

— Марта! — позвал издали Саша.

— Где ты? — спросила Марта.

— Нашел! — крикнул Саша. — Иди сюда.

— Иду.

Она пошла на Сашин голос и вышла на полянку, где из земли выступали старые бревна, покрытые толстым слоем моха. Но Саши здесь не было.

— Ау! — крикнула Марта. Он не ответил. Только эхо, перекатываясь, вторгалось в лесной шум. — Саша! — Не ответил... Куда же он делся? И Марта поняла: он в землянке — и решила: ладно, я его сейчас проучу... Собрала пригоршню шишек, обошла полянку и удивилась: вниз вели совершенно новые ступеньки. И дверь новая, белая. И она приоткрыта. Но за ней ничего не видно: в землянке темно.

Марта присела на корточки и стала швырять в землянку шишки. Но неизвестно было, попадают они в Сашу или нет.

Видно, попали. Саша выскочил, подхватил ее на руки и понес в землянку.

Марта вскрикнула и обхватила Сашу за шею... Он на что-то посадил ее, сел рядом и сказал:

— Посмотри, землянка как после ремонта.

— Здесь темно,— сказала Марта.

— Сейчас привыкнешь,— сказал Саша.— Вон окошечко.

Действительно, напротив двери, под низким потолком, светилось узкое окно, под ним стоял врытый в землю стол и вдоль стен примостились новые, сбитые из кругляков лежаки. На одном из них они сидели.

— А зачем ее ремонтировали? — спросила Марта.

— Не знаю,— сказал Саша.

— А я знаю,— сказала Марта.— Сюда придут партизаны и будут здесь пить и петь.

— Пожалуй,— согласился Саша.

Марта облокотилась о Шашино плечо.

— Ты славный,— сказала Марта.

— Я не славный,— возразил Саша.

— Нет, славный! — настаивала Марта и поцеловала его.— Сначала ты мне не понравился. Потом я что-то в тебе нашла... Что я в тебе нашла?

— Не знаю.

— А я знаю... Ты Великий Автомобилист...

Она взъерошила ему волосы, поцеловала в губы.

Саша повернул Марту к себе и обнял ее... А бревенчатый накат землянки, казалось, подкатывался под глаза. Поднимался и опускался. И начал падать совсем... когда где-то наверху, наверно, на небе, слышались голоса...

— Мішка, не валачы трубу!

— Я не валачу,— оправдывался Мишка.

— А ты, Зоська, сабяры дроу, толькі сухіх.

— А кацялкі у каго?

— У Валькі. Ен идзе...

Какие, провались они, трубы и котелки?.. Саша ничего не понимал... Голоса были детские.

— Слышишь? — спросил он Марту.

— Да.

— Я запру дверь и не впущу их.

— А как ты запрешь?

— Там есть засов. Я видел.

— Запирай,— согласилась Марта.

Саша шагнул к двери и осторожно закрыл ее.

— Я панес печку,— слышалось наверху, и сразу раздался грохот: печка покатила по ступенькам к двери.

— Халера! Завалілась.

— Камандуеш, а у самого рукі, як граблі.

Заваливший печку спустился вниз, поднял ее и толкнул дверь. Дверь не открылась; двинул ногой — не открылась.

— Хлопцы, дзверы заклініла. Хадзіце сюды, разам талкнем,— сказал командир.— А ну узялі!

— Печка пад нагамі мяшаецца,— заметил кто-то

Отодвинули печку, нажали, но дверь не открывалась. И наконец они догадались:

— Яна запёртая. Изнутри.

— Як запертая? А хто яе запер?..

— Ніхто. Усе тут.

— Там чужой,— сказал командир, и в голосе его зазвучала тревога:— Эй, хто там? Хто там, аткрой! Хто бы там мог быць?

— Пасмотрым у вакно,— слышался голос.

— Верна,— согласился командир.— Пашлі...

Саша перемахнул к окошку, встал на лежак и приник к стене. В стекло вплюснулись три курносых носа.

— Ничога нявідна,— сказал один.

— Там нешта бялее,— сказал второй.

«Эх,— подумал Саша,— Марта не спряталась!»

— Дзе? Дзе? — посыпались вопросы.

— Вон, у вуглу...

И тогда Саша что было духу крикнул:

— У-у-ух!

Ребят словно ветром сдуло.

— Ты их испугал,— смеялась Марта.

— Ничего,— сказал Саша.— Смелее будут.

— Интересно, что они подумали? И что сделают?

— Позовут старшего. Или сами вернуться,— сказал Саша.

— А мы что будем делать?

— Пока не вернулись — уйдем.

— Куда?

— На речку.

— Пошли.

Константин Петрович приехал в субботу вечером и через час уже сидел с Анной Андреевной и ребятами за праздничным столом у Тарасевичей. Все, что нашлось в минском «Гастрономе», и все, что хранилось под полом и росло на огороде у Марисы Михайловны,— все было на столе. Хрустели на зубах огурцы, постреливали на чугунной сковородке шварки, и журчала в бутылочных горлышках водка.

Но дело было не в столе, а в застолье. В тихой глухой деревушке два старых человека принимали в омытой дождями, в исхлестанной вьюгами хате дорогого гостя, своего партизанского командира. Чаще других прикладывался к чарке сам хозяин, дядька Антон, и скоро язык его стал заплетаться. Он посмеивался, и подмигивал, и то и дело вворачивал в разговор свои любимые присловья — «Забодай его комар!» и «Потопчи его утка!». Однако и выпивший, он все помнил.

Но и Константин Петрович ничего не забыл. Потому сюда и приехал. Помнил, как темной осенней ночью постучал в эту хату — вот в это окно... Хата была не крайняя и не средняя — в крайних полицаи и немцы устраивали засады, в средних стояли сами. И во дворе не было собаки. И что-то потянуло в эту хату, а не в другую...

Люди спали в ту пору чутко, а то и совсем не спали. И на порог вышел человек в подштанниках, в нижней навывпуск рубахе, почти такой же, как теперь, сухощавый, длинноносый, с пытливыми, зоркими глазками. Он не расспрашивал: кто вы, зачем и куда? Принял, накормил, напоил и спрятал на сеновале, за двойной стенкой, где уже отсиживались четверо таких же окруженцев,— вот он, этот сеновал... И Константин Петрович ляжет сегодня там. Он, конечно, не сразу заснет. Поворочается, повздыхает. Но спать будет крепко: сено лучше любого снотворного...

Аннушка уже в который раз слушала Константина Петровича и его друзей, и всякий новый рассказ связывался у нее с предыдущим и откладывался в памяти. А все, что касалось этой деревни, было ей особенно дорого. Коля видел ее из окопа на Плавском кладбище. И на глазах у нее погиб. И кто-то из здешних жителей похоронил его. И кто-то его поминал.

А Мариса Михайловна все потчевала их, все вздыхала:

— Божа ж ты мой! Божа ж ты мой! Еште, калі ласка, вы ж нічога не елі...

Есть больше не могли. Да и хмель, пожалуй, прошел. Сидели и разговаривали. А дядька Антон, поклевав покрасневшим носом, задремал за столом. Никто не тормозил его, пусть спит. Но спал он недолго. Проснулся, протер глаза и как ни в чем не бывало спросил:

— Так што ж гэта нікто не пье?

— Все уже выпито, дядька Антон,— сказал Константин Петрович.

— Усе, да не усе, Канстантін Пятровіч... Усе не выпьеш, хоць старацца нужна!

Дядька Антон встал из-за стола и вернулся с бутылкой, заткнутой и завязанной тряпочкой.

— Что это? — спросил Константин Петрович.

— Таварыш гэнэрал! — укоризненно заметил старик. — Вы да пытаеце. — И поднес бутылку к носу Константина Петровича.

— Самогон,— сказал Константин Петрович.

— Точна, забадай яго камар!

— Ай-ай-ай! — закачал головой Константин Петрович. — Значит, дядька Антон, самогонку гонишь? А что Советская власть говорит?

— Так эта ж наша, партизанская,— оправдывался дядька Антон. — А власць, забадай яе камар, тожа самагонку любіць, асабліва наш участковы, патапчы яго утка. — И опять залился хохотком.

— Гаварыла ж я табе,— сокрушалась тетка Марися,— не лезь за сваей самагонкай..

— Ничего,— сказал Константин Петрович. — Я думаю, что он самогонщик незлостный. Он верно сказал: это наша, партизанская водка. И я хочу выпить последнюю чарку за вас, тетка Марися, за ваше доброе сердце. И за вас, дядька Антон. Вы мне оба как отец и мать. И за ваших детей и внуков, за всю вашу семью. Большое вам спасибо! — Константин Петрович выпил свою стопку и, кажется, получил от нее удовольствие: самогон был чистый и крепкий — первач.

— Раз мы выпили партизанскую, надо и спеть партизанскую,— предложила дочка Тарасевичей — Люба.

— Споем! — улыбнулся Константин Петрович и покосился на Марту.

Марта весь вечер сидела тихо, о чем-то перешептывалась с Сашей, но больше помалкивала. Но, услышав про песню, посмотрела на Анну Андреевну и сказала:

— Спать хочу. Я сегодня устала...

Аннушка переглянулась с Константином Петровичем и улыбнулась.

— Пойди,— сказала она,— Саша тебя проводит.

За порогом Марта и Саша окунулись в темноту.

— Я ничего не вижу,— сказала Марта. — Где ты?

— Здесь,— ответил Саша и протянул Марте руку.

— А где луна? — спросила Марта.

— Луна? Наверно, еще не вышла. Или уже зашла...

— Мне нужна луна,— заявила Марта и поежилась.

— Тебе холодно?

— А звезды где? — не ответив, спросила Марта.

— Светят,— ответил Саша. — Вон они, над головой.

— И ничего ты не знаешь,— возразила Марта. — Они под ногами...

Действительно, прошел дождь, и в лужах, стоявших на улице, отражалось небо.

— И мы по ним пойдем,— продолжала Марта. — Ты умеешь ходить по звездам? — Саша улыбнулся, и Марта видела, что он улыбается. — А ты не улыбайся... Мы пойдем по звездам. С одной — на другую.

И с другой — на третью. А звезды, они как льдышки, скользкие. — Марта ежилась.

— Тебе холодно? — спросил Саша и обнял ее.

— Зябко. Меня от вина почему-то знобит. И хочется курить. А ты не пьешь и не куришь. Ты положительный молодой человек, герой нашего времени.

— А ты куришь? — спросил Саша.

— Периодами. У меня все бывает периодами. Периодами курю, периодами не курю. Периодами учусь, периодами развлекаюсь. Периодами кручу с ребятами, периодами видеть их не могу.

Марта подрагивала. Саша снял с себя куртку и накинул Марте на плечи.

— Наконец догадался, — сказала Марта.

Саша обнял ее и притянул к себе.

Марта замотала головой.

— Хочу курить. И ходить по звездам. С одной — на другую и с другой — на третью... — И попросила: — Понеси меня...

Саша взял ее на руки и пошел, расплескивая звездные лужицы...

— Хорошо как! — сказала Аннушка. — Дождь прошел.

— Хорошо, — сказал Константин Петрович.

— А который час? — спросила Аннушка.

Константин Петрович достал часы и фонарик.

— Тридцать пять двенадцатого.

— Поздно, а спать не хочется. Вы что-то загрузили.

— Пожалуй, — согласился Константин Петрович. — Я давно не видел Тарасевичей, постарели они. А послезавтра уеду и больше никогда их не увижу.

Аннушке хотелось сказать: «Зачем же так думать?» — но она промолчала.

— И еще я жалею, что мы расстаемся. Даже Марта к вам потянулась — редкий случай... Может, вы все-таки поедете с нами? — Константин Петрович по старой военной привычке шел по левую руку от Анны Андреевны и освещал ей дорогу.

— Не знаю, — сказала Аннушка. — Я еще не решила.

— Поедьте. Встретите людей, с которыми хотели увидеться. Отдохнете у моря. — Они подошли к дому Вострейчихи. — Отсюда это близко...

— Я завтра решу, — сказала Аннушка. — Спокойной ночи, Константин Петрович...

В воскресенье утром тихие Клетичи ожили.

Все автомашины двух районов, Копыльского и Узденского, — грузовики, уставленные скамейками и увитые зеленью автобусы, пикапы, «газики», «москвичи» и даже тракторы с прицепными платформами — съехались и съезжались в Клетичи, в Плавы, к Плавскому кладбищу и в Плавский лес. И к двенадцати часам у памятника собралось пять или шесть тысяч человек — кто сосчитает, — мужчин и женщин, парней и девушек, детей и стариков; кепки, косынки, шляпы, форменные фуражки, просто непокрытые головы, русые, темные, седые, и хусточки, хусточки, хусточки — здешние платки, больше белые, в горошину и без горошин, завязанные вразлет под подбородками и оттенявшие темные лица крестьянок...

Слева от памятника, прямо на кладбище, стали, сдвинув кузова, две трехтонки с открытыми бортами и образовали трибуну. Продувая трубы, выстроились два духовых оркестра — один из Копыля, другой из Узды — и ждали сигнала капельмейстеров.

Толпа негромко гудела. На трибуну уже поднимались бывшие партизанские командиры, секретари райкомов, председатели райисполкомов, председатели колхозов и все, кто перебывал в номере у Константина Петровича. Но его самого еще не было, и кое-кто проявлял беспокойство, предлагали даже поехать за ним.

Но он не опоздал. Подъехала черно-белая «Волга», и взгляды обратились к генерал-лейтенанту с серебряными погонами; к высокому молодому человеку, к светловолосой женщине в черном костюме и к худенькой стройной девушке, тоже в черном костюме. По толпе прошел говорок: «Приехали! Бурак приехал...»

Навстречу Анне Андреевне шел Ковецкий, и она сказала ему:

— Здравствуйте, я по вас уже соскучилась.

— А я еще больше,— улыбнулся Спиридон Петрович.

Пора было приступать к делу, и секретарь Узденского райкома, средних лет человек, в вышитой льняной рубахе, тоже бывший партизан,— кругом одни партизаны — сказал:

— Будем открывать! Видите? — и показал на небо.

С утра погода была как на заказ, хорошая — ни тучки, ни облачка. И было тихо — воздух словно стоял. А ближе к полудню небо замутилось. Стало томить и парить. Время терять нельзя было: со стороны Плавской пуши наплывала туча.

— Товарищи! — объявил секретарь. — Мы празднуем сегодня славную годовщину освобождения Советской Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и открываем памятник восемнадцати героям-партизанам, участникам Плавского боя. Разрешите торжественный митинг трудящихся двух районов, Копельского и Узденского, считать открытым.

Заиграли оркестры; обнажились головы; с памятника сполз чехол; и глаза повернулись к нему.

На постаменте, сложенном из валунов, стоял большой, отлитый в бетоне, солдат — фуражка, шинель, на груди автомат, и в вытянутых руках — позолоченный лавровый венок.

Аннушке статуя показалась слишком большой. Для такого скромного кладбища нужен был памятник поменьше. И ей не понравился венок. Букет полевых цветов здесь подошел бы лучше. И непонятно было, зачем на солдате фуражка. Даже военный, думала она, должен здесь фуражку снять. А каменный постамент ей понравился: валуны и булыжины, собранные в окрестных полях, были живые и теплые.

Константину Петровичу памятник тоже не очень понравился. Не солдат, думал он, должен стоять над этой могилой, а белорусская колхозница, мать или сестра погибших героев. Все они были крестьянские дети... И он вспомнил Володю Качановича, хлопчика, похожего на зверька, у которого эсэсовцы заживо сожгли в амбаре родителей. Он пришел в лес тринадцатилетним мальчишкой и мстил фашистам за мать и отца.

Тем временем тучка подплыла к кладбищу и остановилась над памятником, как раз над головой солдата. И не успели умолкнуть последние такты похожего на народную песню белорусского Гимна, как с неба упали крупные частые капли. Но никто не прикрыл головы. И никто не посоветовал на тучку. Дождь был теплый, ласковый, насквозь пронизанный светом. Солнце, проникнув в капли, превращало их в маленькие круглые радуги... А скоро и большая радуга, крутая и яркая, встав над кладбищем, перекинулась от Плавских лесов до самого Немана...

— Слово предоставляется бывшему командиру партизанского соединения генерал-лейтенанту Бураку Константину Петровичу,— объявил секретарь райкома.

— Вот здесь, в этой земле,— Константин Петрович показал вниз на землю,— лежат наши братья, сыновья и боевые товарищи.— Он говорил негромко, волновался.— Их было восемнадцать. И они были молодые — все молодые. У них все было впереди. И ничего не было впереди. Только враг. Только смертный бой до последней пули. А за ними была партизанская зона в блокаде — госпиталь, лагерь, штаб. А плавающие хлопцы знали, что отступить им нельзя. И на целый день задержали карателей. Они спасли раненых и помогли живым...— На седой голове Константина Петровича светились просвеченные солнцем дождевые капли, а другие стекали по лицу, но он не вытирал их и, помолчав, спросил: — Есть ли здесь родственники или знакомые Трастовича?

— Есть,— слышалось из толпы.

— Шумиловича?

— Есть.

— Лесюкевича и Ветрашевского?

— Есть... Есть...

— Клыча?.. Шитко?.. Житыки?..

— Есть... Есть... Есть...

— Васи Вострейчика?

— Есть...

Только одно имя не нашло отклика — Ждановича Александра...

— Все они,— продолжал Константин Петрович,— наши дети, наши братья. И все они местные. Но один из них был нездешний, уралец по месту рождения и москвич по месту жительства. Я не назвал его имени, но сейчас назову. Я говорю о штурмане Ковшове, Николае Трофимовиче. Он был среди них старший. Был коммунистом. И стал душой комсомольского взвода. Так что у всех у нас есть еще один брат, еще один друг. Позвольте представить вам дорогих гостей нашего торжественного дня — жену погибшего летчика — Ковшову Анну Андреевну,— Константин Петрович взял Анну Андреевну за руку и вывел в первый ряд,— и его сына Александра Ковшова,— Константин Петрович показал собравшимся Сашу.

Аннушка, словно не слышала, что речь идет о ней. Но когда Константин Петрович вывел ее, она как будто очнулась и низко поклонилась людям. Почему она так сделала, она не знала. Никогда никому не кланялась. Людям это понравилось. А Саша остался на месте. И покраснел. У него сжались губы. И заплясали на скулах желваки.

— Спасибо вам, дорогие товарищи! — продолжал Константин Петрович.— Спасибо всем, кто пришел почтить память погибших. И вечная слава героям! Кровь их пролилась не даром. Народ никогда не забудет их подвига!

Константин Петрович замолчал.

И дождь замолчал. Кончился, как начался.

Светило солнце.



Лежат по-братски в ряд, как на привале.

Над ними — облака и тополя.

Не матери им ноги накрывали — земля.

Свежо и тихо.

Траурные ленты.

Летучие гождинки.

И остро

начертаны на строгих постаментах
винтовка,

винт,

гусиное перо...

*Скупые, достоверные приметы
корреспондента,
летчика,
стрелка.*

*Им суток не хватило до победы,
до губ жены,
до кружки молока.
Да что там кружка!
Рыжие стада
грустят за Неманом, за Доном,
гудит чугун,
кочуют поезда,
рыбачьи сети тянутся к затонам...
А им не пить,
не ездить,
не рыбачить.
Они телами вымостили гать
к Варшаве,
к Пешту,
к Праге...
Мы не плачем,
мы говорим:
— Не смейте забывать!*

*Не нужен плач кладбищенским садам.
Они живут вне времени, не с нами.
Их жители доверены цветам,
ветвям,
венкам с сухими лепестками.
Им быстрые зарницы,
как резцы,
поют хвалу на гулком небосводе:
«Снимите шапки!
Здесь лежат бойцы,
навек посвященные свободе!»*



На поляне с эстрадой и прилавками партизаны задержались недолго, отправились дальше, на место их бывшего лагеря, где Марта и Саша обнаружили восстановленную землянку. И там гостей ожидал приятный сюрприз. «Волгу» Константина Петровича остановил подросток в папахе с красным околышем, в гимнастерке, подпоясанный ремнем, с деревяшками-гранатами, заткнутыми за пояс, с деревянным ружьем и приказал:

— Стой! Кто идет?!

Константин Петрович знал о «засаде» и вышел из машины. Мальчишка в папахе обернулся к своим «партизанам» и четко отдал команду:

— Взвод, смирно! — Приставил к ноге ружье и доложил: — Товарищ генерал-лейтенант, докладывает командир пионерского партизанского взвода Антон Алехнович. Дозор несет боевую службу!

— Вольно, товарищи партизаны! — скомандовал Константин Петрович, расплылся в улыбке и сказал: — Благодарю за отличную службу!

— Служим Советскому Союзу! — ответили юные партизаны и повели партизан-ветеранов, их жен и детей на поляну, к восстановленной ими землянке. И там, как только они подошли, вспыхнули три ко-

стра. Из жестяной трубы, торчавшей в окошке землянки, густо пошел дым. Но и это было не все: на поляне дымились полевая походная кухня, и в ней варилась бульба.

Саша обратил внимание Марты на мальчишку в папахе с околышем и шепнул ей:

— Это он...

— По-моему, тоже, — улыбнулась Марта.

В лесу было не сыро — бор густой, земля песчаная. И партизанские жены — многие из них в прошлом сами были партизанками — расстелили на траве клеенки, салфетки, полотенца и просто листы плотной бумаги, и получилась длинная разноцветная скатерть, на которой за изрядным количеством бутылок появилось большое количество еды: салаты и винегреты; жареные цыплята и курочки; пончики и пирожки; боровички и маслята — маринованные и соленые, пахнущие чесноком и луком... Хозяйки старались, и им это удалось. Стол был общий, и все на нем было общее. Одного не хватало — вилок и ложек.

Сначала все шло как положено. Произносились тосты и здравицы, пили за Константина Петровича, за комбригов и замполитов, за боевых подруг и просто за всех присутствующих. Но очень скоро языки развязались, стало шумно, порядок нарушился, да и стол потерял свою привлекательность...

Честно говоря, Аннушка думала, что самое интересное начнется здесь, в лесу: пойдут воспоминания, рассказы. Но ничего этого не было — выпили, разделились на группы и, переходя из одной в другую, разговаривали о своем — о семье, о делах, о работе.

Марта и Саша куда-то ушли. Ковецкий тоже исчез. А с Константином Петровичем дело обстояло совсем плохо. Чем дальше, тем больше он подвергался атакам со стороны незнакомых ему людей, пришедших с массового гулянья. Выпив и охмелев, многие считали своим долгом подойти к Бураку, чокнуться с ним и многословно, сбивчиво рассказывали, где и когда они его видели, в какой из его бригад служили. И если б Константин Петрович со всеми выпивал, то спал бы уже мертвым сном под сосной. Аннушка видела, что он старается не пить, но то ли из деликатности, то ли потому, что подходили к нему люди хорошие, свои, покорно выдерживал крепкие, в одну и в две руки, рукопожатия, выслушивал пространные объяснения и чокался...

И в праздничной радости, в разливанном море вина и дружбы неволью почувствовала себя одинокой. Но и этот, в общем, бестолковый и шумный день не прошел для нее даром. Еще один человек рассказал ей о Коле...

Появился Ковецкий и был веселей, чем обычно.

— Я совсем потеряла вас из виду, — сказала ему Аннушка.

— Виноват, — извинился Спиридон Петрович. — У меня здесь много работы, столько партизан съехалось, это мой хлеб... Я сейчас познакомлю вас с Мелевичем Матвеем Максимовичем, единственным уцелевшим бойцом из Плавского взвода. Он ждет вас. Но я хочу вам кое-что сказать.

— Пожалуйста, — насторожилась Аннушка.

— Понимаете, — сказал Ковецкий, — он человек в прошлом обиженный и поэтому мнительный. И все из-за того, что он остался живой. Я уже говорил вам — он не струсил и не убежал. Получилось так, что в ночь перед боем его и еще одного партизана послали в Клетичи в дозор. И там их отрезали немцы. Возвратиться на заставу они не могли. И побежали огородами в Плавы. По ним открыли огонь. Мелевич ушел. И сослужил заставе хорошую службу: предупредил, что в Клетичах враг. Но после войны кто-то пустил слухок, что он струсил, а то и продался немцам. И хотя после этого он воевал, заработал орден, его стали, как тогда водилось, таскать по инстанциям. И до того дота-

скажи, что человек заболел. Потом разобрались, извинились. Но ему было уже не легче. Стал нервный и мнительный. Так что, Анна Андреевна, разговаривать с ним надо осторожно, чтобы не задеть за больное, не обидеть.

— Может, вообще не надо? — спросила Аннушка.

— Нет, он видел вас на трибуне и хочет познакомиться с вами, рассказать вам о муже. Пойдемте.

Спиридон Петрович подвел Аннушку к маленькому человечку со взъерошенными волосами и острым носом. Он поспешно встал с земли, где сидел с товарищами, не то испуганно, не то смущенно посмотрел на нее, и Аннушке сразу стало жаль его. Покрасневшие от вина глаза Мелевича часто моргали. С худых плеч свисал мешковатый пиджак. И во всем его облике чувствовалась стесненность, неуверенность. Только плотно ввинченная в лацкан Красная Звезда, яркая и начищенная, словно говорила: «И я воевал! И я здесь не лишний!..» Что-то было в нем от воробья, мокрого, взъерошенного, а Аннушка их любила...

Познакомились. Шли по лесу и разговаривали. Сначала он был не очень разговорчив и на вопросы Аннушки отвечал точно, но скупое. Потом разговорился и рассказал много интересного. Он хорошо помнил Колю. Он все помнил. Но, дойдя до Плавского боя, разволновался и стал объяснять, почему он живой, почему уцелел... Аннушка не прерывала его, понимала, что он должен ей это объяснить, что дело это до сих пор лежит у него на душе камнем. Но все-таки ей стало не по себе, и она сказала:

— Матвей Максимович... успокойтесь... Вы очень хороший человек...

Аннушка взяла его руку в свою, посмотрела ему в глаза, и он успокоился. Снова стал рассказывать о Коле. И даже стал улыбаться, этот мокрый, взъерошенный воробей, единственной виной которого было то, что он не погиб вместе со своими товарищами...

◆
*Самая близкая
и самая трудная
дорога —
от глаз к глазам...*

Аннушка простилась с Мелевичем; уже начался разъезд, и почувствовала себя усталой. Ей захотелось домой. Даже не в Клептицы, а в Москву, на Гоголевский. Но туда было далеко — тысяча километров... Она пошла к машине и нашла там Сашу и Марту — они включили приемник и слушали музыку.

— Где ты была? — спросил Саша. — Я тебя искал.

— А где Константин Петрович? — спросила Аннушка.

— Там, — кивнула Марта, — возле землянки.

— Его надо оттуда увести, — сказала Аннушка.

— Я за это не берусь, — отказалась Марта.

— Посидите, — сказала Аннушка. — Я схожу за ним.

Многолюдного застолья уже не было. Партизаны собирались в дорогу. Увидев Анну Андреевну, Константин Петрович пошел ей навстречу.

— Где вы были так долго? Я вас искал.

— И вы искали? — улыбнулась Аннушка.

- А кто еще?
- Мой сын... Вы домой не собираетесь?
- Едем. Проводим товарищей и поедем.

Был после шумного дня тихий и сонный вечер.

Опустели Плавы и Плавский лес, словно не стояли здесь вереницы машин, не кипело людское море и не играли оркестры.

И вернулся покой на Плавское кладбище: воин с венком привыкал к новому месту, а место привыкало к нему...

Был вечер, тихий и сонный.

Устали сегодня Клетичи — находились, насмотрелись, наслушались и раньше обычного спят.

Константин Петрович забрался на свой сеновал.

Саша и Марта ушли на речку послушать, как они сказали, лягушек.

Аннушка переоделась в халат, умылась и прилегла в комнате с четырьмя железными койками и неподвижными ходиками... Она полежит до прихода Марты, потом разберет постель и уснет. Завтра рано вставать. Она решила ехать. Побудут с Сашей в Вильнюсе и в Каунасе, повидают Краковскиса и Станиславу Коханович, посмотрят Девятый форт. И поедут с Константином Петровичем и Мартой к морю — очень уж Саша хотел...

Лежала с открытыми глазами. И незаметно уснула. Но слышала в полусне, как тикают на стене ходики: «Так-и-так! Так-и-так!»

Значит, их завели... Они же стояли...

Был вечер, тихий и сонный...

И кто-то вошел в комнату.

Марта?.. Нет...

Постоял у порога. Подошел к кровати. И сел у нее в ногах...

Испугалась. Сжалась. Замерла...

А вошедший молчал...

Только тикали ходики... И громко стучало сердце...

— Это я... Я, Николай...

Попыталась встать — не смогла...

— Не надо, — сказал он, — лежи. Ты сегодня устала...

Часть вторая

Беглецы Девятого форта

(Книга в книге)

П. Краковскису и всем остальным, живым и мертвым, узникам Каунасского форта.

Нам не везло, Аннушка. В Литве, в устье Немана, в глухом условленном месте, мы должны были взять человека и перебросить в Москву. Экипаж, полетевший за ним, не вернулся. Послали нас — Андрея Гарамы, меня и Мишу Купца. Сказали: «Разбейтесь в лепешку, но привезите. Вернетесь — получите отпуск». Мы разбились, но не привезли. И не вернулись сами...

Мы шли высоко в облаках, и немцы нас не обстреливали. В ночных

полетах хорошо думается, и я с тобой говорил... У меня получается так: берусь за перо — слова пропадают, а в мыслях им нет числа...

Я говорил тебе:

— Скоро приеду в Москву. Несколько дней мы будем вдвоем. Потом махнем в Златоуст, к Саньке. И неделю пробудем с ним... Я люблю тебя, Аннушка, чем дальше, тем больше, и не смейся над моими признаниями.

Когда-то знакомый курсант сказал мне: «Что ты в ней, Колька, нашел?..» Я ответил: «Посмотри моими глазами — увидишь...» Я нашел в тебе все, что ищет мужчина в женщине и не часто находит: доброту, терпение, верность. Ты столько дала мне! А что получила взамен? Ничего, одно одиночество.

Учился. Служил. Уехал в Испанию и чудом оттуда вернулся. Недолго побыв с тобой, получил назначение в часть. И снова война — суровая, трудная, долгая. И кто знает, может, случится... Нет, лучше без «может»...

Мы долетели и увидели три горевших вдоль поля костра. Они подтверждали, что нас ожидают. Но Гарам сразу не сел. Что-то его беспокоило. У летчиков есть чутье, и оно их редко обманывает. Прежде чем сесть, мы трижды прошли над полем: пытались его разглядеть. Не нравились нам костры: показались слишком большими. Мы уже летали сюда, прежде их разводили скромней. Правда, темная ночь, непогода... Но надо садиться, другого выхода нет. И Гарам пошел на посадку.

Разные бывают летчики, то есть хорошие и плохие. С плохими я не летал — везло на хороших. И, вообще, плохих мало: или разбиваются, или переходят на другую работу. Но среди хороших есть самые лучшие — прирожденные летчики, асы. Таким был Пухов. И таким был Гарам.

Сели, подпрыгивая. Пошли по земле. Тише. Еще тише. Виктор притормаживал, зажег фары. В кустах, окаймлявших поле, что-то блеснуло. Раз. И еще раз. Фары прошили по машинам, по их ветровым стеклам. А машин здесь быть не могло. Наши люди пробирались сюда пешком, по лесам и болотам. Значит, засада, ловушка...

Андрей прибавил обороты и резко пошел вперед.

Я ударил из пушки.

Миша Купец — из «шкаса».

Но штурвал был у Гарамы. Дело решал он.

Я подумал: идет на таран. Сомнет машины и их пассажиров. И взорвет самолет. Но он поступил иначе: взлетел. Как он это сделал, не знаю. А может, и он не знал...

Немцы открыли огонь, яростный, плотный, прицельный, — они подготовились. Подождли нам левый мотор. Убили Мишу Купца. И вывели из строя передатчик...

Гарам пошел вверх, потом вниз и сбил пламя. Но левый мотор задышался. И скоро заглох...

Мы дошли бы и на одном моторе. Не на свой аэродром, так на запасный, партизанский. Но они пробили нам баки.

— Буду пилить, — сказал Гарам. — Потом...

Что будет потом, он не сказал. Но мы понимали друг друга: много вместе летали. Через час или раньше мы врежемся в землю. Или выбросимся на парашютах, или посадим машину на брюхо, взорвем ее и попробуем уйти... Но до фронта тысяча километров. И немцы нас будут искать...

Но думать об этом не хотелось. Я думал о вас. О тебе, о Сане. И я тебе говорил:

— Не плачь. Я сам никогда не плакал. И тебе не велел. Я с тобой. Всегда буду с тобой. Буду тебя любить...

Я говорил Сане:

— Ты с матерью. Люби ее. Слушай ее. Ее слово — мое слово. Она и я неделимы. А мы неделимы в тебе...

Шлемофоны работали, и Андрей меня услышал.

— Хорошо говоришь, штурман...— В полете он называл меня штурманом.— Продолжай в том же духе... Ах, Микола, Микола! — Он иногда называл меня Миколой.

Мы летели еще восемнадцать минут.

— Иди в хвост! — приказал мне Гарам.

Я пошел...

Самолет падал.

Я опять превратился в рваный мешок с битыми-перебитыми костями. Мешок латали и штопали, и три с лишним месяца из него торчали бритая забинтованная голова и лицо в синяках и в ожогах.

Разглядел я себя не сразу. Долго не видел, не слышал. Не понимал, где я. И не знал, у кого. Потом увидел больничную койку. Увидел окно, решетку и дерево. И стал вспоминать:

Я куда-то летел. Обо что-то ударился. Провалился в беспамятство. И лежал, неподвижный и мертвый, в сером, вязком снегу возле сосенок с мокрыми лапами.

Выглянуло солнце, пригрело мне щеку, и я зашевелился.

Знал: я где-то под Каунасом... Знал, что меня уже ищут... И знал, что надо идти!

Я попробовал встать. Оперся на руки. Приподнялся. Стал на колени. Но резкая боль вернула меня на землю..

Я видел сны, а может быть, галлюцинации:

Аэродром...

Под защитными сетками самолеты.

Бежит бензовоз.

Прочертив дугу, роняет искры ракета.

Трава, курослеп, кашка.

И идут Гарам и Купец...

Они живы-здоровы!..

Я кричу им:

— Ребята, сюда! Помогите подняться!

Машу им рукой и падаю...

И сон исчезает. Вместо травы — снег, серый и вязкий. Резкая боль в ногах...

За первым видением пришло второе.

Пологий песчаный берег большого серого озера. Это Валдай. Сажая в лодку тебя и Саньку. Отталкиваюсь от берега. И прыгаю в лодку сам. Спрашиваю:

— Нравится?

Ты отвечаешь:

— Да.

— А тебе, Саня?

— И мне...

Лодка переворачивается.

Видение исчезает.

Только снег, серый и вязкий. И низкорослые сосенки.

Когда я упал и разбился — вчера, позавчера?.. Время расплылось. Все, что было, было давно...

Мне захотелось есть. Подобрал кусочек коры. Но, сухая и горькая, она не жевалась... Ладно, обойдусь...

Но я не хотел умирать. Хотел жить. Хотел к своим. Хотел к тебе и к Сане.

И сказал себе:

— Встань!

Я нашел кривую, корявую палку. Она помогла мне встать. Но опираться на нее не могу: руки слишком слабы. И я приспособился: подпираю палкой подбородок, медленно передвигаю одну ногу, потом другую. Передвинув ноги, приподнимаю голову, переставляю палку и снова кладу на нее подбородок...

Если б я знал, что за день отошел от обломков самолета на каких-нибудь сто метров!

Я упал и очнулся в белой больничной комнате с зарешеченным окном и росшим за ним деревом — конским каштаном.

Я наблюдал за ним. Медленно, с оглядкой — не оплошать бы, — он раскрывал сжатые в кулаки листья: то разожмет, то снова сожмет. И раскрыл их через неделю.

Но это было потом. Сначала в комнату вошла женщина в белом халате, с белой накрахмаленной башней на голове, — я видел такие в Испании, их носили монашки. Она посмотрела мне в глаза, широко открыла свои, с губ ее выпорхнуло испуганное круглое «о!» и повисло, как шарик, в воздухе.

— Где я? — спросил я.

Ответила:

— Ви Hospital.

Я ее понял.

И снова закрыл глаза...

Не знаю, что я за человек, Аннушка. Живучий, как червь, и крепкий, как железо. Но и железо не выдержало бы того, что выдержал я. Железо ржавеет, крошится, горит. А я поправлялся. И не знал, рад я, что выжил, или не рад. Понимал, что лечат меня не из жалости, что за врачами и сестрами скоро покажется абвер — немецкая контрразведка. Они знают, кто я, — они нас ждали в засаде. И я им нужен, иначе бы не выживали.

Ладно, встану на ноги — видно будет. Пока у меня только спрашивают, болит или не болит, жжет или не жжет. На эти вопросы я отвечаю.

Но и там, в белой зарешеченной комнате, я больше молчал. Только по старой привычке мысленно разговаривал с тобой... Изредка с конским каштаном...

Потеплело. Открылось окно. Каштан протягивал мне зеленые листья-ладони. И я знал, что за ними никто и ничто не стоит — только солнце, ветер и дождь. И что листья каштана и сам он желают мне только добра. И, глядя на него, я думал, что если чудом спасусь, то после войны приеду в Каунас, разыщу мое дерево и пожму ему руку...

Я стал даже думать о «после войны»...

Но скоро и это кончилось...

Из больничной одиночки меня перевели просто в одиночную камеру, без окна и каштана. Бросили мне белье, старую гимнастерку, штаны, ботинки. И лейтенант с двумя конвоирами — судя по мундирам, эсэсовцы — вывели меня во двор, посадили в легковую машину и повезли по вечернему, еще светлому Каунасу, по главной его улице Лайсвес Аллее — улице Свободы, густо заполненной гуляющими, словно не было на свете войны, пожаров, бомбежек, словно не гибли люди...

Так уж бывает: человеку, лежащему в больнице, кажется, что все болеют; сидящему в тюрьме — что все под замком; а мне, солдату, казалось, что все должны воевать. Потом, в Девятом форте, на рвах, — вот и появился Девятый форт — я вспоминал иногда эту Лайсвес Ал-

лею. И в голове у меня не укладывалось, что оттуда, от фортовских рвов, каких-нибудь пять километров до этой аллеи Свободы... И я не понимал, как люди, которых я видел из окна машины, могли там гулять, шутить, разглядывать женщин и катить в колясках детей, в то время как рядом, в пяти-шести километрах, расстреливали за день пять, десять, пятнадцать тысяч человек, — у меня это не укладывалось в голове...

Машина остановилась у серого особняка с большими квадратными окнами. Лейтенант провел меня на второй этаж, в приемную, и оттуда к длинноносому, лысому, в массивных очках оберсту. Он встал из-за письменного стола, широким жестом пригласил меня к низкому гостинному столику и разглядывал меня, смотрел мне в глаза. А я его глаз не видел: расплывались за толстыми стеклами.

— Приступим к делу, — сказал он по-русски. — Я буду говорить с вами прямо, как разведчик с разведчиком. Я офицер, который устроил вам засаду в квадрате двадцать семь — тридцать восемь на юго-запад от Мемеля. Вы едва меня не убили, но это неважно. — Он улыбнулся. — Итак, господин майор, у вас две возможности: точно и полно ответить на мои вопросы и, кроме того, сообщить дополнительные сведения...

«Еще дополнительные?» — подумал я.

— Или молчать, — продолжал полковник. — Заведомо вводить нас в заблуждение вы не будете. Этого делать не надо. Мы многое знаем. Но предупреждаю: от показаний зависит ваша жизнь и жизнь вашей семьи. Если вы откажетесь отвечать, я передам вас в СД, а там шутки не шутят. Надеюсь, вы это знаете?

Я кивнул.

— Если вам угодно, — продолжал он, — мы приступим к допросу сейчас. Если же вы не готовы, я дам вам время подумать. Сейчас, — он посмотрел на часы, — двадцать часов пятьдесят семь минут. Ровно через двенадцать часов, в восемь пятьдесят семь, вас снова ко мне приведут. Выбирайте.

«Что же мне делать? — думал я. — Оттянуть допрос на двенадцать часов или отказаться сейчас? С одной стороны, спешить некуда, с другой — и тянуть ни к чему...»

— Итак, что вы решаете?

Я ответил:

— Отвечать не буду. Ни сегодня, ни завтра.

— Это ваше последнее слово?

— Да.

— Напрасно. Я вам желаю добра. Кроме того, мы с вами старые знакомые, даже коллеги. Вы воевали в Испании, и я воевал в Испании. Правда, я — у Франко, вы — у коммунистов.

«Откуда он знает об Испании?»

— Как видите, я не обманываю вас, господин майор. Мы знаем всех так называемых русских добровольцев, в том числе и вас. Знаем, что вы служите, то есть служили, в разведке... А то, что нам неизвестно, расскажете вы... Итак, до завтра. До свидания, господин майор.

Он правильно говорил по-русски. И был типичный немец. Обтесанный, как доска, гладкий, как доска, и прочный, как доска. Об эту доску многие, наверно, набили себе шишки. А я с моим характером набью и подавно... А на военного он не похож. И на разведчика тоже. Если б не четыре плетеных квадратика в левой петлице мундира и две похожие на молнии латинские «С» в правой, если б не орденский крест, он сошел бы за школьного учителя старой закваски...

Вошел мой конвоир.

И меня увели.

И увезли.

И привезли в страшное, странное место...

Замкнутый двор высокого дома. Подвал. Коридор. За дощатыми перегородками — клетушки, похожие на вагонные купе. Одна из них моя.

Цементный пол, две деревянных скамейки. Между ними, в тесном проходе, дощатый столик. Затхлость. Вонь. Полумрак. И за стенами непонятный шум: крики, стоны, вопли, визги, плач...

Время от времени кто-то наводил в подвале порядок. Грохотали сапоги. Открывались и закрывались двери. И на орущих, хрипящих и стонущих сыпались удары, ругательства.

Я не спал, и ночь тянулась долго. Ложился на скамейку и снова садился. Спать не мог и думать не мог. И ждал утра. Но не знал, который час... Заснул... И не слышал, как открылась дверь.

— Auf! — Встать!

В дверях стояли вчерашний лейтенант и человек в штатском.

Штатский сказал по-русски:

— Господин полковник, у которого вы вчера были, спрашивает: будете ли вы давать показания?

— Нет.

— Хорошо ли вы подумали?

— Да.

— Не хотите ли еще подумать?

— Нет.

— Выходи! — сказал переводчик.

В дело вступил лейтенант — двинул меня сапогом в зад, и я упал.

Ну что ж, так, пожалуй, лучше...

Из подвала меня провели на четвертый этаж, ввели в длинную светлую комнату с натертым паркетным полом, но почти пустую. У правой стены стоял массивный книжный шкаф и рядом письменный стол. За столом сидел краснощекий ефрейтор и что-то записывал в толстый гротеск.

— Neil Hitler! — вскочил и вытянул руку ефрейтор.

— Neil Hitler! — ответил лейтенант.

Лейтенант кивнул на меня и вышел. Переводчик остался.

Ефрейтор приказал мне встать к стене, где уже стояли три молодых человека: один — сероглазый, высокий, светлый, другой — черный, с умным тонким лицом и третий — невысокий, тоже темный, с мягким подбородком и запавшими карими глазами.

Забегу вперед и назову их — они скоро станут моими друзьями. Первый — Пинхус, или Петя, как мы его звали, Краковскис, второй — Абалас Вискантас, третий — Миша Куник; Петя и Аба — каунаские комсомольцы-подпольщики, Куник — минчанин, тоже комсомольский работник, застрявший в Каунасе в самом начале войны.

Я стоял у стены, смотрел на книжный шкаф. Он был дубовый, резной, но книг в нем не было. Вместо них аккуратно, под номерами лежали на полках ремни, нагайки и плетки, короткие и длинные, толстые и тонкие, кожаные, резиновые и проволочные, плетеные и витые, — целая коллекция, не меньше тридцати штук, — скоро мы с ней познакомимся...

Посредине комнаты, недалеко от нас, выстроились в шеренгу четыре венских стула — обшарпанные, со сквозными гнутыми спинками, они не шли к полированному шкафу, богатому столу и креслу и казались здесь ненужными, но, как мы скоро поняли, именно они были главной мебелью в этом зале.

Ефрейтор кончил писать. Завинтил авторучку. Встал. Подошел к шкафу. Выбрал нагайку. Сложил ее вдвое. Подошел к нам. Молча осмотрел. И спросил:

— Verstehen Sie deutsch? — Понимаете по-немецки?

Мои соседи не понимали. И я не понимал. Решил, что лучше не понимать...

Ефрейтор кивнул переводчику, и тот приступил к делу.

— Разденьтесь догола, но останьтесь в ботинках. Просуньте головы в спинки стульев, а руками упирайтесь в сиденье. Господин ефрейтор будет вас бить. Но с одним условием: не кричать! Кто крикнет, получит вместо одного удара два. Кто снова крикнет — получит четыре. И так далее. Первое упражнение, — он так и сказал: «упражнение», — окончится, когда наказуемый упрется головой в противоположную стену зала.

Я прикинул на глаз комнату: длинная — метров двадцать, не меньше.

Ефрейтор наотмашь, сплеча, саданул Куника. Куник вскрикнул. И от удара вместе со стулом прокатился по скользкому полу метра на два — на три вперед...

Так вот зачем здесь натертый паркет!

— Zurück! — Назад! — гаркнул ефрейтор и, не дожидаясь, пока Куник сам передвинется, передвинул его вместе со стулом на исходную позицию; на ягодицах у парня отпечатался двойной кровавый рубец.

Второй удар сильнее первого. Стул снова поехал. Но Куник уже не кричал. Уткнул подбородок в грудь, закрыл глаза и закусил губы...

Сосед Куника, Абалас, молчал и прокатился дальше Куника. Понял: чем больше метров, тем меньше плеток...

Краковскис тоже далеко прокатился...

А я, наученный их опытом, так двинул стул, что проехал половину зала...

Ефрейтору моя сноровка понравилась.

— Gut, Iwan! — Хорошо, Иван! — похвалил он меня.

И начал новый заход.

От второго удара, то есть уже от третьего, Куник вместе со стулом свалился на пол. Но не закричал.

Абалас Вискантас — он был здоровей — выдержал удар и выдвинулся вперед.

Краковскис, самый здоровый, продвинулся еще дальше.

Я тоже далеко проехал, но не рассчитал: немного не дотянул до стены. Тут же, вне очереди, получил третий удар, самый сильный, стукнулся головой о стенку и тоже упал.

Плеточник врезал Абе и Пете еще по одной, Куника он больше не трогал. И велел нам встать на исходную.

Ефрейтор вернулся за стол и, положив нагайку, взялся за перо, заполнял, видно, очередную графу, столько-то плеток номер такой-то, по такому-то месту, таким-то последственным. Заполнил, закурил и стал что-то рассказывать переводчику. Речь, насколько я понял, шла о чьей-то жене, которую муж застукал в постели с любовником. Ефрейтор помирал со смеху и вытирал белым, как снег, платком слезы.

Я с трудом стоял на ногах. Но думал о том, что те, кого он занес в свой гроссбух, будут когда-нибудь названы — о себе не говорю — мучениками и святыми...

Отдохнув и вдоволь наржавшись, ефрейтор приступил ко второму упражнению. Вынул из шкафа новую плетку, вдвое короче прежней и втрое толще. Поставил нас в ряд. Велел согнуться и коснуться пальцами рук пальцев на ногах. И опять же:

— Не кричать и не падать! Упавшему плеть не засчитывается...

Удар — и Куник упал.

— Aufstehen! — Встать!

Куник встал.

Удар — и Куник упал.

— Aufstehen!

Он поднялся с трудом. Все его тело, худое и смуглое, покрылось испариной.

Третий удар.

Он упал. И подняться не смог. Но ни разу не охнул.

— Auf! Auf!

Но Куник уже не вставал. Не мог. И, махнув на него рукой, плеточник перешел к Абаласу.

Абалас свалился после второго удара. Тоже облился кровью. Но поднялся. Получил третий удар. Свалился. И тоже не встал.

Краковски выдержал все три удара.

А я ждал. Стоял. Собрал все свои силы. Напрягся...

Первый удар я выдержал. Под вторым пошатнулся. Под третьим упал. Подводили разбитые, не совсем залеченные ноги.

Нам снова дали передых. Мы помогли подняться Кунику и, стоя у стены, поддерживали его, — он сползал на пол. Но и мы с Краковским, не говоря уже о Вискантасе, едва держались на ногах.

А ефрейтор заполнял очередную графу.

Что еще эта сволочь придумает?..

Ничего интересного он не придумал. Велел нам стать на колени — на ногах мы уже не стояли. И опять то же:

— Не кричать и не падать!

Теперь он бил нас резиновой плеткой, тонкой и гибкой. Она впиалась в рваное мясо. А отдирал он ее с вывертом: умел...

Ефрейтор вернулся к столу, а мы остались лежать.

Затем нам велели подняться.

— Обработка на сегодня закончена. Вас поведут вниз, в подвал. В коридоре и на лестнице люди. Предупреждаю: не показывать вида, что вас били. И молчать! Кто застонет или упадет, вернется сюда. И все начнется сначала. Одевайтесь!

Одевались мы долго. И долго спускались по лестнице. По ровному ноги кое-как двигались, но ступени давались с трудом. И спуск в подвал затянулся. Мы не стонали и не разговаривали. Но если бы и стонали, никто не обратил бы на нас внимания. Те, кто поднимался и спускался по лестнице, под конвоем и без конвоя, знали, что в этом доме не шутки шутят.

Довели и загнали в клетушку. Кажется, в ту, в которой я ночевал. Хотелось лечь. Но вчетвером на двух узких скамейках не ляжешь. И мы легли поперек скамеек: ноги — на одной, спина или грудь — на другой, а искромсанная часть тела — на весу.

Подвал, как прежде, кричал и плакал. Но теперь я уже понимал, почему он кричит и плачет. А у нас было тихо.

Скоро, однако, нам пришлось подняться. Раскрылась дверь, и два эсэсовца внесли четыре металлических миски золотого, как желток, супа, наверно, горохового, и четыре тонких ломтика хлеба. Поставили миски на стол и ушли. Я подумал: решили подкрепить нас. Правда, не дали ложек. Ничего, без ложек съедим. Разобрали мисочки — горячие они, приложились к ним и тут же уронили на пол.

Мы сожгли себе рты горячей жидкой горчицей...

А за дверью смеялись — ждали этой минуты.

Больше нас не трогали. Но и есть не давали. Только к вечеру принесли по кружке суррогатного кофе и еще по ломтику хлеба.

Съели и легли — средняя часть на весу, ноги и голова на скамейке.

Потом была, через день, с двух до шести, обработка в расположенном здесь же, внизу, «процедурном» зале с обитым жестью столом, с гибкими шлангами для накачивания в живот человека воды, с набором иголок, запускаемых под ногти, и щипцов для выдергивания волос, с медным ошейником, через который пропускался электрический ток, с гимнастическими кольцами, на которые подвешивали за руки или за ноги на час или на два... И был один и тот же вопрос: «Развяжет ли грязная русская свинья свой поганый язык?..»

Так что после «процедурного» зала «танцевальный» с венскими стульями и плеточником вспоминался как детская забава...

Неделю нас не трогали. Потом вывели ночью наверх, погрузили в набитый тюремный фургон. И там уже на ходу кто-то сказал:

— Душегубка...

В фургоне газом не пахло, пахло отработанным бензином, нестираным бельем и потной кровавой испариной. Но, решив, что это смерть, многие плакали, задыхались, молились и теряли сознание...

Нас привезли. Дверь фургона открылась, и мы оказались на тюремном дворе. Тот, кто мог двигаться, вышел. А тех, кто лежали без памяти, выволакивали за ноги и тут же из пожарного шланга обдавали водой.

Пересчитали. И погнали в камеры.

Я держался с ребятами, с Абаласом, Петей и Куником, и нас не развели.

В камере горела тусклая лампочка, и весь ее пол тесно заполнили спящие. Кто-то спросил:

— Откуда?

— Из СД,— ответил Абалас.

Потеснились, и мы легли.

Попали мы к уголовникам. Раньше я с ними не сталкивался, но после эсэсовцев бандиты и воры показались мне людьми. Компания у них была разношерстная — от мелких карманников до крупных международных воров, — но дружная. Возглавлял ее некто по нас Жакас — господин Жак, личность в своем роде выдающаяся и в равной мере непонятная. Он бегло объяснялся на шести языках, в том числе на литовском и русском, был человек без подданства и национальности. Но, судя по тому, как он говорил: «Слушайте сюда» и «Коля-летчик, вы наивный мальчик», — я понял, что он одессит.

Это он назвал меня Колей-летчиком, так называла камера и стали называть ребята — Абалас, Петя и Миша.

Давали в тюрьме ту же баланду, что в СД. Но ворюги ее не ели. Им посылали с воли продукты, которых и там, наверно, не хватало, — литовское копченое сало, палендвицу, домашний творожный сыр. Все это проходило через руки понаса Жакаса и поровну делилось на всех, на нас тоже.

Это был всеильный человек, и я не понимал, почему он сидит в тюрьме.

Он объяснил мне:

— Там — война. И там — Девятый форт. Сейчас мне там делать нечего. Коля-летчик, вы наивный мальчик...

Каждую субботу, точно в восемь ноль-ноль, меня изымали из камеры, водворяли в карцер и возвращали в камеру в восемь ноль-ноль в понедельник. Из курортника, как я себя называл, я снова превращался в человека, несущего бремя. И продолжал начатое еще в самолете занятие: разговаривал с тобой, писал тебе мысленно письма.

— Все у меня по-прежнему, — говорил я тебе. — Та же тюрьма, та же камера, та же подстилка под боком и рыжая лампочка над голо-

вой.. Иногда мне кажется, что они обо мне забыли. Но это не так. Помнят, иначе не сажали бы в карцер. И убьют. Но сразу убить не хотят. Знают, что самое трудное — ждать. И пробуют сломить. А я не ломаюсь. И о смерти не думаю. Думаю о вас...

А тюремное наше житье подходило к концу. Мы сидели четвертый месяц.

Началось с того, что пришли за всемогущим понасом Жаком. И он растерялся. Сразу обрюзг и поник. И стал близоруко щуриться.

Прощаясь со мной, он все же сказал:

— Летчик Коля, лучше живая собака, чем мертвый лев...

Я ничего ему не ответил. Но подумал: куда его повели? В соседнюю камеру или в Девятый форт, которого он так боялся? А может, на волю? И мудро решил, что все возможно в их страшном мире с его живыми и мертвыми собаками...

В тот же день вечером вызвали и нас — всех четверых. И с этой минуты, как я ни ждал ее, что-то во мне оборвалось. Одно дело — готовиться к этому, другое — встать и пойти.

Попрощались с камерой, поблагодарили за литовское сало и пошли. На тюремном дворе нас уже ждал грузовик. Высокий, с бульдожьей мордой и с серым брезентовым верхом. Возле него стояли эсэсовцы в сапогах, в фуражках с гнутыми тульями, в черных, блестящих плащах, с автоматами и с расстегнутыми кобурами.

Вечерело.

Шел дождь.

Во дворе стояли лужи.

Нас обыскали и по одному погнали в кузов. Забрались, сели на боковую скамейку. Но поднявшийся следом охранник согнал нас с нее, поставил на колени — лицом к шоферской кабине. Велел взяться руками за штангу, на которую крепился брезент. Запретил опускать руки. И запретил поворачиваться.

По брезенту шарил дождь. И за воротник мне падали капли. Но я не отодвигался: они мне нравились. В камере капли за воротник нам не падали...

Захлопали по лужам башмаки: кого-то пригнали еще. Абалас — он стоял рядом со мной — повернул голову. Но тут же послышалось:

— Halt! — Стой!

И сапог пнул его в спину.

Посадили еще восьмерых и тоже поставили на колени. Поднялись охранники. И машина тронулась.

За воротами грузовик загремел по булыжнику. Колени отбивали дробь, а они у меня побаливали. И я подтянулся на поручне, перенес тяжесть на руки. Помогло.

Каунас — город большой. Но Аба, выросший здесь, знал его на зубок, прошел бы с завязанными глазами. Мы не видели, где мы едем, куда поворачиваем, но он узнавал улицы и шептал их названия. Потом замолчал, словно к чему-то прислушался...

Машина въехала на мост... Какой же это мост? Штурман знает мосты на трассе... Каунас стоит на слиянии Немана и Вилии, или Нерис, как ее называют литовцы. И мостов, как мне помнилось, не считая железнодорожных, здесь два: один — через Неман, другой — через Вилию. По какому же мосту мы едем и куда нас везут?..

— Девятый форт, — шепнул мне на ухо Абалас.

Я знал о Девятом форте — слышался о нем в тюрьме.

Он стоит на высоком плато, в нескольких километрах от Каунаса и в непосредственной близости от его заречного пригорода Вилиямполя. Это встроенный в гору двухэтажный крепостной каземат с разветвлен-

ным лабиринтом подземных туннелей, убежищ и складов и с глубоким обводным рвом, полукругом охватившим его территорию.

Вкратце история его такова.

В 1887 году, в царствование Александра III, литовский город Ковно опоясался круговой системой артиллерийских позиций и фортов, построенных по последнему слову тогдашней, и не только тогдашней, фортификационной науки. Аванпостом этой крепости стала так называемая батарея Линкова, впоследствии названная Девятым фортом.

В августе пятнадцатого года, когда немцы вторглись в Литву, на подступах к Ковно завязались бои. Но царский генерал Григорьев бросил город на произвол судьбы, бежал, и ковенская крепость капитулировала. С этого дня Девятый форт временно опустел. Но в двадцать четвертом году правители буржуазной Литвы устроили в нем каторжную тюрьму для «особо опасных преступников», какими они считали коммунистов. Каземат обнесли высокой кирпичной стеной с двумя сторожевыми вышками; внутри разобрали коридорные стены, заменив их высокими, до потолка, железными решетками; и оборудовали четырнадцать сырых и мрачных камер: девять — в первом этаже и пять — во втором, где сотни политзаключенных, мужчин и женщин, сидели до сорокового года, до установления в Литве Советской власти.

Каземат, однако, пустовал недолго. С приходом гитлеровцев Девятый форт получил кодовое название «Предприятие № 1005-В» и стал фабрикой смерти. Правда, по масштабам третьего рейха — карликовой, полукустарной, рассчитанной первоначально на 50—60 тысяч трупов. Но и это кое-что значило в кровавом балансе рейхсфюрера Гимлера.

В июле сорок первого года в Девятый форт пригнали тысячу советских военнопленных. Ночью их держали в каземате, днем выводили на поле, где когда-то паслись артиллерийские битюги. И там, под присмотром эсэсовцев, они вырыли четырнадцать однотипных рвов: длина — 200 метров, глубина — 4 метра, ширина — 3 метра. Затем землекопов — девятьсот девяносто девять душ (один случайно уцелел, и я о нем расскажу) — загнали в вырытые ими рвы и расстреляли.

Первая опытная акция прошла успешно.

«Предприятие № 1005-В» стало предприятием действующим.

Но фабрика эта, как все новые фабрики, работала сначала с перебоями. СД и гестапо поставляли мало сырья. 100, 120, 150 человек в сутки не устраивали зондеркоманду СС. Что с того, что среди убитых попадались люди известные: литовский поэт Витаутас Монтвила, депутаты Верховного Совета СССР и Литовской республики Ядвига Буджинскене и Пранас Эйдукайтис, прекрасный художник Тадас Ломсаргис и многие, многие другие. Надо было заполнять рвы. Рассчитанные на три с половиной — четыре тысячи каждый, они на поверку оказались вместительней. И понятно, люди не спички, не укладываются по счету в коробочки. Худые ложатся плотнее, чем полные. Дети еще плотней. А младенцы совсем не занимают места. Тем более, что матери во время расстрелов прикрывали их собой, прижимали к груди.

Короче говоря, для четырнадцати рвов требовалось уже не 50, а 70 тысяч трупов. Впоследствии, однако, эсэсовцы план перевыполнили и получили за это ордена, денежные премии и внеочередные отпуска на родину.

Наконец наступил долгожданный на «фабрике» день — 12 октября 1941 года.

Рано утром каунасская военная комендатура, СД и гестапо, мобилизовав все имевшиеся в наличии полицейские и воинские части и белоповязочников — так называемый батальон литовской самозащиты, — оцепили Вилиямполь, превращенный в еврейское гетто, и погна-

ли в Девятый форт бесконечную вереницу женщин, мужчин и детей — 12 тысяч человек.

Это была трудная, изнурительная, но «настоящая» работа. И делалась она так.

Колонны по мере поступления из Вилиямполя — они шли с интервалами — загонялись во внутренний двор форта и в каземат. Оттуда через каждые десять — пятнадцать минут извлекались 100—150 человек. Под каким-нибудь предлогом или без всякого предлога их вели на поле и недалеко от рва приказывали раздеться. Пускались в ход приклады, плетки и палки. Полураздетые, в нижнем белье, смертники подводились ко рву, пустому или частично заполненному. Если ров был пустой, они выстилали дно, если частично заполненный, ложились на расстрелянных предшественников, среди которых сплошь и рядом попадались люди живые, недобитые.

Одни молчали.

Другие кричали и плакали.

Верующие молились.

Матери прижимали к себе детей.

И никто не слышал собственных криков. Пулеметные и автоматные очереди перекрывались грохотом дизельных двигателей с отключенными глушителями.

Пахло дымом и порохом. Пахло перегаром солярки. Но все запахи забивал сладкий и приторный запах крови.

Ров до краев заполнялся и засыпался землей.

Осядет земля — подсыпят новую, — земли здесь хватает.

Землю выровняют, взрыхлят и весной посеют траву.

Никаких рвов здесь не было.

Трава...

Одуванчики...

Пчелы...

Но до весны было далеко. И было много работы. Только за два дня ноября сорок первого года гитлеровцы расстреляли здесь и зарыли живьем еще 22 тысячи человек.

Земля шевелилась, оседала. Лежавшие в рвах плотней прижимались друг к другу. И над ними собиралась ржавая осенняя вода...

Ничего, весной на засыпанных рвах вырастет клевер...

И пчелы соберут здесь мед...

Новый, сорок второй год «Предприятие № 1005-В» встретило с отличными показателями — в заполненных рвах уже лежало 40—45 тысяч мертвецов. Но не все рвы еще были заполнены. И человеческий материал продолжал поступать. Даже импортный: из Франции, Австрии, Чехословакии, Польши, Бельгии, Голландии и самой Германии. И пришлось рыть новые рвы, дополнительные...

В каземате, в камере, в которой мы сидели, я видел на стенах скудные, выцарапанные гвоздем или ногтем прощальные письма погибших. Вот некоторые из них:

«Сологубов и Прокофьев. Сообщите в Мураву».

«S. Kool, jr. Amsterdam».

«Шламовскис Ляонас — погиб здесь».

«Hilaire Rogo, de Nice».

«Умираю невинно от рук немецких палачей — Величка Стасис».

«Haggi et Felix Klein, de Paris».

А вот надпись, которая переводится так:

«Здесь погибают 900 французов».

А сколько фамилий и слов эсэсовцы стерли, забелили, зачернили!

Таким образом, поглотив не менее 80 тысяч людей — тысячей больше, тысячей меньше, не все ли равно?! — «Предприятие № 1005-В» осенью сорок третьего года начало свертываться. Не по своей воле.

Работали б и дальше. Вырыли б новые рвы. Но пришел приказ из Берлина сжигать трупы, замести следы экзекуций. Не только здесь — на других бойнях тоже. Уже отгремели схватки под Москвой, Сталинградом и на Орловско-Курской дуге. Приближалась Советская Армия.

1 октября 1943 года в Девятом форте эсэсовцы начали вскрывать рвы, извлекая человеческие останки и сжигать их на огромных кострах-поленницах. Работали, конечно, те же смертники — советские военнопленные, люди из гетто, партизаны...

Нас везли в Десятый форт.

Проехали через Вилию.

Трясло. Швыряло из стороны в сторону. Мы расшибали колени. За мостом началась гора. Машина сбавила ход.

Ревел мотор. Под колесами зашуршала брусчатка. И шарил по брезенту дождь. Но капель уже не было: тряска передвинула меня, теперь капало на Абаласа...

Машина повернула налево, опять съехала на бульжник. Дважды нас останавливали: часовые проверяли у шофера документы. Остановились в третий раз. Шофер загудел.

— Форт, — снова шепнул мне Абалас.

Заскрежетали железные ворота.

Проехали еще несколько метров...

И я почувствовал запах...

Нет, запах не то слово. Мы еще оставались в машине, но уже с головой, с руками, с ногами окунулись в гнилой, тошнотворный, приторный трупный смрад. Я старался не дышать. Запах забивался в ноздри, в легкие, в рот... Меня, наверно, вырвало бы, но раздалась команда:

— Raus! — Вон!

Мы встали с колен. Сошли с машины. И увидели серый каменный каземат, с узкими окнами-нишами и ржавой железной дверью.

Нас выстроили в шеренгу. Было еще светло, но на столбах уже горели фонари. С вышек светили прожекторы. И по-прежнему шел дождь. Унылый тихий дождь. Неизвестно, когда он начался. И никогда, наверно, не кончится. Литовцы называют это — lie — дождит...

Невыносимое зловоние... Неужели они не хоронят убитых? Хорошо, что нам не придется дышать этой гнилью. Нас сейчас расстреляют. Но как живут здесь охранники? У них ведь тоже носы и рты... Неужели привыкли?

Я не знал еще, что сам скоро привыкну. И не знал, что здесь уже не хоронят, а вытаскивают захороненных и жгут.

Из караульной пристройки вышла группа офицеров во главе с высоким, статным блондином в лихо заломленной шапке, без плаща и шинели, в двубортном черном мундире, перехваченном ремнем, и в ярко начищенных сапогах... Дождь ему ничо чем. И трупный запах ничо чем. Прошел вдоль шеренги. Тщательно, с ног до головы, оглядел нас. Нескольким, на выбор, велел сжать руки и прощупал у них мускулы. Особенно понравилась ему рука Краковскиса. «Gut», — похвалил он его. Зачем ему наши руки? Неужели мы будем здесь работать?.. Затем он обернулся к свите и крикнул:

— Agrab!

В затасканной робе, в шапчонке с наушниками и большим козырьком, из-за спин офицеров высочил низкорослый горбоносый человек, стал рядом с высоким эсэсовцем и объявил:

— С вами будет говорить комендант форта.

Фразу за фразой он переводил коменданта:

— Здесь, в Девятом форте, большевики и советы расстреляли много людей. «Куклы» воняют, разлагаются.—Переводчик перевел пра-

вильно, комендант сказал по-немецки «Purrep». — Слышите запах?.. Они гниют и отравляют водоснабжение Каунаса. Вы будете здесь работать. Таскать из траншей мертвецов и сжигать их на двух кострах. Как это делается, вам покажут мастера из вашей охраны. В шесть утра — подъем, с наступлением темноты — отбой. Перед выходом на работу на вас будут надевать кандалы. На ночь их будут снимать. Ежедневная норма — шестьсот сожженных кукол. Работать надо усердно. Иначе вы сами станете куклами. Поняли?

Мы понимали.

— Вас будут хорошо кормить. Работник должен есть, иначе он не работник. А после хорошей работы и сытой еды мужчине нужна женщина. — Комендант улыбался. — Мы и об этом позаботились. У вас будут четыре девочки. Это немного на шестьдесят человек, но они свое дело знают — обслуживают всех...

Ну и сволочь!.. А почему шестьдесят? Нас же двенадцать... Значит, там, в каземате, еще сорок восемь человек, сорок восемь и четыре девочки...

— Днем, — продолжал комендант, — они будут готовить вам пищу, стирать и чинить белье. А вечером... — Он снова расплылся в улыбке, сделал неприличный жест и зашелся смехом; стоявшие за ним «мастера» тоже зашлись. И он продолжал: — Как видите, мы отнеслись к вам гуманно, гораздо лучше, чем нужно. Но предупреждаю: за саботаж, симуляцию или попытку к бегству вы будете расстреляны на месте. А за честную, добросовестную работу я сохраню вам жизнь. После последней сожженной куклы вас переведут в лагерь для военнопленных или в исправительный лагерь. Arbeit mach frei! — Работа освобождает. Хайль Гитлер!

Комендант выбросил правую руку. Вместе с ним выбросила правые руки свита...

Мне стало страшно. С этой минуты я сам стал мертвецом. И продолжалось это долго — десять дней. Десять бесконечных дней. Пока Абалас не шепнул мне:

— Коля-летчик, отсюда можно уйти...

Но это было потом...

Нас повели в каземат...

Железная с заклепками дверь. Вторая такая же. И обе они на замках.

Широкий полутемный коридор. В начале его — железная лестница.

Еще один коридор — поперечный. Длинный, с круглыми, обитыми жестью печами и с черной от потолка до пола решеткой.

За решеткой — камеры. В камерах — двухэтажные нары, сколоченный из досок стол и две скамейки.

В конце коридора — вторая железная лестница.

Тепло. Даже душно. И та же, что на дворе, вонь. Но здесь она гуще, плотней. Застоялась. Впиталась в стены, в цементный пол, в сводчатый сырой потолок. Особенно разит от длинного, с гнутым корытом умывальника. Возле него мы стоим.

Поглядываем на наших будущих коллег, на узников. Работники, спасающие водоснабжение Каунаса, ужинают. Сидят за столами, жуют и что-то хлебают из алюминиевых мисок. И возле каждого приличная пайка хлеба — граммов двести — триста. Непонятно только, как они могут здесь есть. Лучше подохнуть с голоду...

С нами трое охранника. Они о чем-то совещаются. А мы ждем. Аба, Петя, Куник и я держимся вместе. Хочется попасть в одну камеру.

Подошел человек, который переводил коменданта, и тихо спросил у меня:

— Русский?..

Я кивнул.

— Не из Москвы?

Я кивнул.

— Давно?

— Недавно...

Разговаривать с ним не хотелось.

— И я из Москвы,— сказал он.— Пойдешь в мою камеру...

Значит, он тоже арестант. Конечно, эта сукодная шапчонка с козырьком, роба. Правда, на нем хорошие сапоги, яловые.

— Я не один,— сказал я и показал на ребят — на Петю, Абу и Куника, лица у них были серые, землистые. И у меня, наверно, такое же.

— Тоже из Москвы? — спросил переводчик.

— Нет,— ответил я.

Подай ему одних москвичей.

— Подожди,— сказал он, как будто я собирался уйти, запросто подошел к охранникам, показал на нас и, вернувшись, кивнул нам: — Пошли...

Так я познакомился с Сашей Каштоянцем, старостой и самым старым узником форта и при этом замечательным парнем.

Но не буду забегать вперед...

Он повел нас направо, в предпоследнюю камеру. Она оказалась пустой. За столом — один человек, бородач, заросший до глаз щетиной. Он со знанием дела ел, подставляя под ложку хлеб. Взглянул на нас исподлобья и вернулся к похлебке.

Староста отвел нас середину нар, сам он спал у окна, бородач — у коридорной решетки. И предложил нам поужинать, сказал, что принесет миски и ложки.

Я лег. В чем был. На бурое байковое одеяло. Петя и Куник последовали моему примеру. Аба, выглянув в коридор, куда-то исчез.

Я закинул руки за голову. Смотрел на верхний настил, на серые в щелях доски. И думал, что теперь мне крышка. Она тяжелая, не сдвинешь. Да и сам я отяжелел. Руки и ноги чугунные. И голова чугунная. Это трупный воздух. Он прошел через одежду в кожу. А через нее — в кровь. И смешался с ней, сделал густой, ленивой.

Никаких желаний: не хотелось есть, не хотелось пить.

И никаких мыслей: не хотелось думать.

Только — лежать, лежать и лежать. И никто чтоб тебя не трогал, никто чтоб не разговаривал...

Вернулся староста, принес миски, ложки, позвал ужинать. Я отказался. И ребята отказались. Но скоро послышалось:

— Auf!

— Поверка,— затормошил меня Петя.

Встал. Думал, уже утро, подъем. Но был еще вечер.

Охранники пересчитали нас быстро — в камере шесть человек, — заперли на ключ и ушли.

Я опять завалился. Но Петя не давал мне покоя — велел раздеться.

Разулся, а раздеваться не стал — зачем?

Ночь продолжалась долго. Я спал и не спал. Куда-то проваливался. А ребята спали. И бородач дрыхнул — храпел. И староста спал...

Наконец я снова улышал:

— Aufstehen!

Это был подъем.

Утро. За окном темно. Камера за ночь выстыла, отсырела. Арестанты выходят в коридор, ополаскиваются под умывальником и садятся есть. Завтрак сносный: суп, каша, кипяток — почти обед. Все это

горячее, из зеленых солдатских термосов. Покушав, работяги идут в очередь к кандалщику.

Кандалами ведает наш сосед, бородач. В хорошую мы попали компанию: один переводчик и староста, другому доверены кандалы... Он сидит на низеньком стульчике; перед ним на полу наковальня, ржавая груда цепей и банка с заклепками; в руке у него молоток. На людей он не смотрит, только на ноги.

Дождался и я. Он надел мне на щиколотки браслеты; удар молотком — он отдался в ногу; второй удар — он отдался меньше; и кандалы заклепаны.

Вечером, после работы, он выбьет заклепки. В каземате кандалы не нужны: отсюда не уйдешь.

Цепь длинная, метра полтора-два.

Как же я в ней пойду? Волочится, путается в ногах...

Кто-то дал мне бечевку. Я продел ее через цепь и опоясался ею. Так уже можно ходить. Но все равно неудобно: тяжелит шаг — в ней килограмма четыре, — и при ходьбе гремит. А браслеты трут ноги. С непривычки кажется, что сейчас упадешь...

Никогда не гадал, не думал, что придется ходить в кандалах. Да и видел я их только в кино и в музеях. И вечерами, в нелетное время, мы пели бывало хорошую старинную песню:

Динь-бом, динь-бом —
Слышен звон кандалный.
Динь-бом, динь-бом —
Путь сибирский дальний.

Динь-бом, динь-бом —
Слышно, как идут.
Нашего товарища
На каторгу ведут...

Мои кандалы динь-бом не вызванивали. Просто гремели и лязгали. Нас выстроили, вывели из каземата во внутренний двор. Оттуда через проходную — во внешний. И повели направо, в глубь форта.

Широкая, натоптанная дорога, полого поднимаясь вверх, привела нас к серой, встроенной в пригорок стене, густо изрешеченной пулями. Возле нее, плотно покрытые пеплом, темнели две большие подпалены. Моросил, как вчера, дождь, и пепел отсвечивал мелкими белыми блестками — костяной дробью. Кости не сгорали; их мололи кувалдами и куда-то потом вывозили...

У подпалын от колонны отделились четыре человека: высокий, худой старик — врач и по совместительству брандмейстер, тоже заключенный, в обязанности которого входило разжигать костры и поддерживать в них огонь; и еще три человека — пильщики и дровосеки, помощники брандмейстера.

А нас погнали дальше, на большое ровное поле, к двум раскрытым рвам, к одному начатому и другому полному, и разделили на две неравные группы. Одни взяли вилы, другие — деревянные таедажные носилки. Нам для начала дали носилки: во рву новичок не выдержит, — к трупам надо привыкнуть.

Два с половиной месяца изо дня в день, опорожнив один ров, мы переходили к другому. Не хочется об этом рассказывать. Но расскажу.

Ров еще полный, — только вчера бульдозер снял с него верхний слой земли. В нем спрессованное человеческое месиво. Трупы лежат

здесь давно, с сорок первого года. Они разложились. И легко отделяются друг от друга. Правда, не все. Матери и дети переплелись, срослись навеки. И их кладут на носилки вместе. Такелажная норма — два мертвеца. Дети не в счет.

Узнать мертвецов нельзя. Лиц у них нет. Истлела кожа. Провалились носы и щеки. Обнажились подбородки и лбы. А волосы сохранились. Относительно, конечно. Это уже не волосы — мокрая спутанная пакля. Но цвет их различим — седые, рыжие, черные. Белье и одежда сгнили — раздевали не всех. А ботинки целые.

Несколько слов о ботинках.

Мы носили в форте деревянные колодки — во Франции их называют сабо, в Литве они называются клумпами. Они при ходьбе поют: клак-клик, клик-клак. Мои ботинки скоро рассыпались вдребезги. Я тоже обулся в клумпы. Намотал побольше портянок. И перевязал их веревками. Но ходил я в клумпах с трудом, — тяжелые, не гнутся. После последнего приземления я немного прихрамывал, а тюремный карцер прибавил ногам лomotу...

Но речь не о ногах, о ботинках...

В клумпах работать трудно. И с разрешения охраны узники брали ботинки у кукол. Находили покрепче и носили.

Я предпочитал клумпы: не мог... Но потом, перед побегом, и я надел взятые у мертвеца башмаки: в клумпах далеко не уйдешь.

Ты спросишь: как я об этом рассказываю?.. В первые дни я сам был как мертвец. Не мог ни с кем разговаривать. Не мог думать. Не мог есть и пить. Не мог спать. А заснув, не хотел просыпаться.

Потом исподволь, незаметно стал привыкать. Привык к тем, которых таскал на носилках. А они, казалось, привыкли ко мне. Знал, и они, может быть, знали, что нас, пристреленных или недостреленных, так же, как их, бросят в костер, что с нами поступят так же, как с ними...

После десяти — двенадцати часов зловонной бессмысленной каторги сознание отключалось. Устанешь и завалишься спать. Но вместе с тем состояние это было опасное. Я переставал думать. А человек остается человеком, пока он думает.

Девятый форт отуплял, отравлял, подавлял.

Я чувствовал, что становлюсь живым мертвецом. Вставал. Одевался. Ел. Подвязывал к поясу цепь. Таскал на носилках кукол — для меня они уже тоже стали куклами. **Возвращался в каземат.** Ужинал. И заваливался спать... И почти ни о **чем не** думал...

Кстати, о еде...

Первые два с половиной дня, вернее, три, я не ел. Не мог. А на третий день чего-то пожевал. Потом еще. И стал есть. И не прижухивался...

Вот так, Аннушка, твой муж, штурман Ковшов, коммунист, участник двух войн, испанской и Отечественной, человек, которого считали сильным и смелым, впал в безразличие, в тупость...

Вывел меня из этого состояния, вернул к жизни и к самому себе семнадцатилетний мальчишка, мой тюремный друг, а вернее — сын, Абалас Вискантас, — вывел одной фразой:

— Отсюда можно уйти...

Черная голова. Крепкий, с двумя надбровными буграми лоб. Черные вразлет брови. Синие глаза. Прямой нос. И чуткие, как у коня, ноздри. Над губой легкий пушок — он еще не брился. Выдвинутый вперед подбородок. И веселая белозубая улыбка.

Таким был Абалас.

Некоторые думают, что внешность обманчива. Это не так. Лицо говорит о многом. Но в данном случае суть не в лице. Абалас был живой динамо-машиной. Выработывал волевою энергию. И снабжал ею людей. Что-то было в нем от наших комсомольцев двадцатых годов. Это понятно. В комсомол он вступил в буржуазное время, пятнадцати лет. В гетто стал подпольщиком и партизанским связным.

В Девятом форте Аба не растерялся, не пал духом. Наверное, сказались молодость и опыт подполья. В первый же вечер, когда мы завалились на нары, он куда-то исчез. И в последующие вечера исчезал. И стал брать с собой Краковскиса и Куника...

Я спросил:

— Куда вы ходите?

Ответили:

— В соседние камеры, к знакомым ребятам...

К знакомым, так к знакомым...

Чаще всего я оставался с бородачом, с мастером молотка и заклепки. Второй наш сосед, староста, пробовал со мной говорить. Но разговоры у нас не клеились. Не хотел я с ним разговаривать. И ни с кем не хотел разговаривать. Даже с моими ребятами.

Но жизнь в каземате шла. И пока я пребывал в бездумье, а точнее — в ничтожестве, Аба развил бурную деятельность. В первый же вечер он встретил здесь двух своих близких друзей, комсомольцев-геттовцев, Гришу Райтельсонаса и Яшу Воловникаса — ребят, которых в Вилиямполе давно считали погибшими. И узнал, что друзья его на свой страх и риск создали в форте комсомольскую ячейку и готовили побег.

В первом коридоре, у входных дверей, под первой железной лестницей они обнаружили колодец, вырытый когда-то строителями форта на случай его осады, спустились в него — там были скобы — и решили сделать в стенке колодца подкоп и выбраться через него на свободу...

Аба загорелся этой идеей, ринулся в нее и вовлек в дело Краковскиса и Куника. Но на поверку задумка их оказалась почти не выполнимой. Возникло много проблем.

Когда спускаться в колодец? Когда копать?

Днем нас выгоняли на рвы, на ночь, после проверки, запирали в камеры. Значит, оставались считанные часы между ужином и приходом охранников, два-три часа свободного передвижения по каземату.

Конечно, и за два часа можно что-то сделать. Но время неудобное. Ни одна живая душа не должна знать, что ты в колодце. А обитатели форта в это время расхаживают из камеры в камеру, слоняются по коридору. Правда, туда, в первый коридор, они не заходят, делать им там нечего. Но все-таки. Вдруг ты кому-нибудь понадобишься. Начнет тебя искать. Не найдет. И поднимет тревогу: пропал человек. В каземате все на виду.

А если раньше срока явится охрана? Конечно, товарищи будут тебя страховать и предупредят, вытащат из колодца. Но можно не успеть: колодец у самых дверей.

А куда девать вырытую в подкопе землю? В колодец сыпать нельзя: там поднимется вода. Значит, землю надо выносить во двор, на рвы. А в чем ее выносить? В карманах, в мешочках, спрятанных под робами, много не унесешь.

Ну, хорошо. А чем копать? Лопат нет и не будет. Значит, ложками, ножами, вилками — мы находили их во рвах. Ножом или ложкой копать можно. И можно понаделать из консервных банок совки.

Но, махнув на все рукой, ребята начали рыть. Они прошли школу вилиямпольского подполья и были опытными землекопами, вер-

ней — землероями, — позавидовали б кроты. После первых массовых акций вилямпольское гетто стало зарываться в землю, строить потайные убежища, так называемые «малины»...

Дело у ребят пошло. Работали они вечерами. За неделю заметно продвинулись. Были уверены в успехе... И — уткнулись в стену. Не то в фундамент каземата, не то в бетонную трубу одного из подземных туннелей.

Дело провалилось — камень лбом не прошибешь. Ложкой тоже.

— Почему ты только сейчас рассказал мне об этом? Я бы тоже помог вам, — сказал я Абе.

— Вы нам помочь не могли. Колодец неглубокий. Мы спускались вдвоем. Один копал, другой брал землю. Остальные страховали. Кроме того, вы болели...

Что верно, то верно. Я действительно болел. Отравился трупным смрадом...

Но дело на этом не кончилось. Натолкнувшись на стену, ребята не пали духом.

Стоя по пояс в воде, обливаясь в подкопе потом, они уже как бы притронулись к свободе и на попятную пойти не могли. И с ходу придумали новый план побега. Смелый и безрассудный. Но он мне понравился.

Предполагалось, что большая группа узников вооружится камнями, зубьями от вил, ножами, найденными во рвах, во время вечерней поверки, они набросаются на охранников, убьют их, переоденутся в их одежду, пройдут в караульное помещение, проделают то же с остальными охранниками и выйдут на свободу.

Ребята понимали, что операция эта граничит с самоубийством, что на девяносто девять процентов обречена на провал. Но понимали и другое: терять нам нечего — все равно погибать. Придушим двух, шестерых, восьмерых охранников — и то польза. Но, с другой стороны, чем черт не шутит. Выигранное безрассудное дело никто не называет безрассудным. Вопрос упирался в одно — в людей, в исполнителей. Из шестидесяти узников — девушек не в счет — тридцать по меньшей мере надо было ввести в дело. Костяк, ядро этой группы должны были составить военнопленные. И тут требовалась моя помощь.

Большая половина узников состояла из пленных командиров, политработников и красноармейцев. Они давно были в плену, с сорок первого года, прошли через все круги ада, через голод, холод, унижение, через многочисленные лагеря и шталаги и за неоднократные побег и попытки к побегам попали в Девятый форт.

Это были люди, сильные духом: слабый не выжил бы. И сильные телом: слабых в форт не посылали. Но горький лагерный опыт сделал их людьми замкнутыми и осторожными. Они держались своих, держались друг друга, а с гражданскими, как здесь называли гражданских, не сближались. Тем более с местными: кто их знает, кто они такие?

Окруженцы на себе, на своих неудачах изучили коварство и подлость гестаповцев. Знали, что даже среди военнопленных есть мнимые военнопленные, продажные шкуры, засланные для слежки и «стука».

Вот почему связаться с военнопленными Аба и его товарищи попросили меня: свой со своими быстрее найдет общий язык. При этом они обратили мое внимание на двух военнопленных, у которых по странному совпадению были двойные фамилии — Чернявский-Тверской и Сыркин-Скляренко. Известно было, что оба они комиссары, один полковой, другой батальонный, связаться мне надо было с одним из них.

Ребята считали, что у военнопленных есть организация и что возглавляют ее именно эти люди. Но Аба просил меня быть осторожным,

сразу не выкладывать замысел побега. И не рассказывать о подкопе. Хорошо прощупать их. И лишь потом предложить участвовать в деле. И просил проявить особую осторожность к нашим соседям по камере, к старосте Каштоянцу и кандальщику Чернову. Все говорят, что они завербованные — сексоты коменданта...

Я никогда не был конспиратором. И не был осторожным человеком. Считал, что осторожность где-то граничит с трусостью. Риск — всегда благородное дело... В тот же вечер я заговорил с Чернявским-Тверским.

С виду это был человек суровый: густобровый, насупленный, с чем-то бульдожьим в лице. Сыркин-Скляренко выглядел проще, приветливей, и лучше бы подойти к нему. Но я вспомнил, что несколько дней назад на рвах Чернявский что-то сказал мне. Я не поддержал разговора, — не желал разговаривать. А он уже знал, кто я и что я, и хотел расспросить, где я воевал, что слышно на фронте и за фронтом. Но в тюрьмах люди не навязчивы, если они не провокаторы. Молчит человек — значит, так надо.

Теперь, когда я подошел к нему, он с улыбкой спросил:

— Отлежался, майор?

— Отлежался, — улыбнулся я.

Разговор завязался. И уже через полчаса, забыв об осторожности, я выложил ему план побега. Он слушал меня внимательно, но был умнее меня, не говорил ни да, ни нет. Сказал, что о таком деле надо серьезно подумать и кое с кем посоветоваться. Но спросил, уверен ли я в людях, с которыми связан.

Я ответил, что уверен, и понял, что предложение заинтересовало его...

Потом я лежал на нарах. Но не спал. И не изучал, как накануне, доски над головой, разводы на них и щели между ними — думал.

Я лежал и думал. И знал, что живу опять...

А жизнь в каземате шла... Именно в каземате. Потому что вне его, на рвах и возле костров, жизни не было. Там была смерть. И несколько десятков узников, хлопотавших возле нее, сами становились мертвецами.

Мы выгребали рвы и сжигали их содержимое, отдыхали, делились зажатками, грели у костров озябшие черные руки, перебрасывались словами и на первый взгляд выглядели живыми людьми. Но на самом деле мы были мертвыми. Как те, кого мы таскали и жгли...

И эсэсманы, сторожившие нас, в нахлобученных на лоб и глаза теплых суконных шапках — стало холодно, — с сизыми и красными носами, спрятанными в воротники, — и они были мертвые, мертвее нас, что, правда, не мешало им время от времени покрикивать:

— Immer Bewegung! — Двигайся, шевелись!

Но подлинным охранником и мастером была здесь смерть...

Только в каземате, в его камерах, мы отрешались от нее, возвращались ненадолго к жизни.

В этой небольшой замкнутой, обреченной ячейке кипели, оказывалась, страсти и сталкивались характеры. Здесь дружили и враждовали, любили и ненавидели, втайне копили золото — золотые коронки и зубы, взятые у покойников, — пели песни и делились пережитым, мысленно писали письма, а главное, хотели уйти, хотели жить.

Я расскажу еще о страстях в этом вакууме с отравленным воздухом, но не так о вражде и стяжательстве — это тоже было, — расскажу о любви. Потому что не кто иной, как она, вывела нас из форта...

Но до выхода было еще, как от земли до луны...

Дело тем не менее двигалось. Военнопленные включились в дело, и уже через несколько дней был создан объединенный комитет освобождения. В него вошли: Чернявский-Тверской — председатель, Жилевичус и Ковшов — заместители председателя, Сыркин-Скляренко, Райтельзонас, Вискантас, Ридманас — члены комитета, — всего семь человек, пять коммунистов и два комсомолец.

Таким образом, задумка Абы и Райтельзонаса — второй вариант побега — объединила всех узников форта, военнопленных и гражданских. И понемногу мы стали вооружаться главным образом зубьями от вил. Один из этих зубцов едва не стоил мне жизни, но в то же время — спасибо ему! — направил наши мысли и планы совсем в другую сторону, в другое русло.

Произошло это так.

Я притащил в каземат отличный зубец — незаметно выломал его из вил. Нас в этот день обыскивали: охрана искала золото. Но ни золота, которого у меня не было, ни зубца, который у меня был, они не нашли. И, вернувшись в камеру, я сунул зубец под подушку, то есть под мешок, набитый соломой. Решил: до проверки перепрячу. Но не успел, вернее, не смог: бородач не выходил из камеры. А на проверке охранники в поисках того же проклятого золота начали ворошить постели.

— Was ist das? — Что это? — спросил немец, обнаружив зубец. Все молчали. Да и что скажешь? Ясно, что это зубец...

— Wem gehört das? — Чье это? — спросил немец.

Я молчал. Не знал, что мне делать. И уже собирался признаться, что зубец мой, как неожиданно заговорил наш сосед, переводчик и староста.

По-немецки я немного понимаю, но тут я ничего не понял... Промелькнули слова: «Stiefel... Mit diesem Zanhe... herauskratzen» — Ботинки... Этим зубцом... Выскабливает и что-то в этом роде, — и Каштоянц показал охраннику на меня.

Все, решил я, мне каюк...

— Stimmt das? — Это верно? — спросил немец.

— Да, зубец мой, — ответил я.

И опять заговорил Каштоянц, сказал мне:

— Герр мастер спрашивает, верно ли, что зубец ты принес для того, чтобы выскоблить ботинки, которые ты отмачиваешь?

Никаких ботинок я не отмачивал, недавно надел клумпы, но понял: он выгораживает меня. И ответил:

— Да.

Эсэсман брезгливо бросил зубец на пол, сказал:

— Зачем же ты, свинья, под подушкой такую грязь держишь?

Он приказал Каштоянцу вынести зубец в коридор. И предупредил, что впредь за зубцы виновных будут расстреливать. Повернулся, вышел и запер камеру.

А я и мои ребята — Абалас, Куник и Петя — стояли ни живы, ни мертвы. Я даже не поблагодарил Каштоянца. Спасибо за такое не говорят. И как поблагодарить его, я не знал.

Лег. Но уснуть не мог. Ворочался. Посматривал в сторону, где лежал староста. Увидел: он тоже ворочается. И спросил:

— Не спишь?

Ответил:

— Нет.

Он лежал с краю, у окна. Я перебрался к нему. И мы до утра говорили. И разговор этот перевернул вверх тормашками все наши планы. Вернее, поставил на ноги.

Но прежде несколько слов о том, как Саша Каштоянц выглядел.

Узкое, смуглое лицо с крупным горбатым носом, пересыпанная сединой голова и сутулое худощавое тело, в котором проступало что-то старческое. А в сорок третьем, в год нашего знакомства, ему едва исполнилось двадцать четыре года. Но при небольшом своем росте и сутулости он был здоровяк: широкая гнутая грудь и длинные крепкие руки.

В общем, красавцем Каштоянца назвать было трудно. Тем не менее мне он понравился. А кое-кому еще больше...

— Ты меня здорово выручил,— сказал я ему и подумал: сейчас он спросит, зачем мне понадобился зубец, а что я отвечу?

Но он спросил о другом, вернулся к разговору, который мы начали две недели назад.

— Где ты в Москве жил?

— На Гоголевском, возле Кропоткинских,— ответил я.

— А я там учился, на Метростроевской.

— Где?

— В Инязе. Его в Москве называли институтом благородных девиц... Ребят там было мало, одни девушки. А жил я на улице Красина, рядом с фабрикой «Союз». Знаешь?

— Знаю. Ты из Москвы давно? — спросил я.

— Давно, с начала войны.

— А кто у тебя в Москве?

— Мать, две сестры и младший братишка... Верно, что Москву разбомбили?

— Кто тебе сказал?

— Читал в немецких газетах.

— Врут. В сорок первом еще прорывались, бомбили и то бесприцельно. Потом и след их простыл... Целая.

— Правда?

— Зачем же мне врать?

— Верю,— сказал он и замолчал.

В камере было тихо. Все спали. Ребята мои вообще на сон не жаловались. Чернов, судя по храпу, тоже крепко спал. Храпел он истово. Такого храпуна я никогда не слышал. Но в храпе его было даже что-то приятное, домашнее, превращавшее камеру, этот каменный гроб, в обычное человеческое общежитие.

— Здорово храпит,— сказал я и спросил: — Ты здесь давно?

— Давно,— ответил Саша.

Я уже знал — в тюрьмах друг о друге знают,— что он из первой тысячи военнопленных, копавших здесь рвы, и единственный уцелевший. Хотелось спросить его: «Как же ты уцелел?» — но я посчитал это неудобным и спросил о другом:

— Интересно, что они с нами сделают.

— То же, что со всеми,— ответил он.— Расстреляют.

— И тебя?

— С меня и начнут.

— Почему? Ты здесь давно. Они тебя не тронули...

— Потому и начнут. Я слишком много видел.

Мы снова замолчали.

— Хочешь спать? — спросил я.

— Нет. А ты?

— И я не хочу... Скажи, почему комендант, когда нас сюда пригнали, назвал тебя Апрель? Тебя же Сашей зовут? Может, я ошибаюсь?

Не знаю уж почему, но вдруг я вспомнил, как его называл комендант.

— Да, он так и назвал меня. Это мое настоящее имя. Правда, не Апрель, а Апрель... А вообще меня называют Сашей.

— А что за имя, Апрель? Я такого не слышал.

— Ассирийское. Я ассириец, или айсор. В Москве нас называют айсорами. Мы считаем, что предки наши вышли из Ассиро-Вавилонского царства. Но дело это темное. Известно, что мы пришли в Россию из Турции. Нас немного — несколько тысяч. И у всех почти одна профессия: чистильщики сапог. Все мы, в общем, родственники, близкие или дальние: женились только на своих, а выбор был небольшой. В Москве у меня куча дядюшек, тетюшек, племянников, двоюродных и троюродных сестер и братьев...

— Интересно,— сказал я.

— У меня и дед и отец были чистильщики. А умер отец — мать начала чистить. И меня приучала. Прибегу из школы и колдую щетками. На углу Васильевской и улицы Горького, на нашем месте. Я хорошо чистил, не хуже матери. А ребята, мои одноклассники, видели, как я сижу за ящиком, и предлагали мне все, что у них было — марки, пуговицы, конфеты,— только б я дал им щетки. А не давал — дразнили ваксой-кляксой, кричали за спиной: «Почистить! Кому почистить?!» Даже учительница ругала меня за грязь под ногтями, за пятна на рубашке и за то, что от меня пахло сапожным кремом... Вам это, наверное, неинтересно?

Он почему-то перешел на «вы».

— Ну что ты, очень интересно.

Мне действительно было интересно.

— И я стал стыдиться, что я чистильщик. И что мама — чистильщица. Но все равно сидел за ящиком — я был старший, и надобно было помогать. А учился я хорошо, на одни пятерки. Особенно давался мне английский, нравился. Поэтому после школы, в тридцать восьмом, поступил в Иняз. Но не окончил. После третьего курса ушел на фронт.

— Почему же ты не доучился? Студенты получали бронь.

— Сам пошел, через райком. Знал, что нужны переводчики. Правда, немецкий был у меня второй язык, не основной. Но я его тоже знал. А воевать не пришлось: сразу попал в окружение. И в плен...

Он замолчал.

— Ну, а там что? — спросил я.

— А там было неважно, сами знаете. Особенно в сорок первом. Я был комсоргом разведроты и не скрыл этого. А когда сказал, что я ассириец, немцы не поверили, сказали, что я еврей. Издевались: «Ein assyrisch-babylonischer Jude» — Ассиро-вавилонский иудей... А я не очень-то спорил... Сначала я попал в Шестой форт, тоже под Каунасом. А оттуда нас перегнали сюда, в Девятый, копать рвы. Я был в первой тысяче.

Он снова замолчал. Но тянуть его за язык мне не хотелось... Сам расскажет. Начал — так расскажет...

— А здесь получилось так. Когда нас пригнали, комендант спросил: «Wer spricht deutsch?» — Кто говорит по-немецки? Я ответил: «Ich spreche». И он сделал меня переводчиком. Но ему не так нужен был переводчик, как холуй. Я мыл полы в караулке, прислуживал ему и другим офицерам за столом, убирал за ними, мыл посуду, чистил им сапоги... Потом всех, кто работал на рвах, расстреляли. А меня оставили... Сапоги меня и выручили...

— Почему сапоги? — не понял я.

— Я шучу,— сказал Саша.— Но сапоги тоже выручили. Сапоги у них всегда были грязные, заляпанные глиной и кровью: каждый день расстрелы. А я их чистил, и чистил неплохо. Надраивал так, что блестели, как новые. И им это нравилось. Особенно коменданту. Он чистолюй. Наубивает полный ров, накупается в крови — и идет

в баню мыться и париться. И опять я ему нужен: парил, тер ему спину. А потом он пил. Начиная в бане и продолжал в караулке. И опять я при нем: приношу и уношу со стола...

— Да...— сказал я.

— Я жалел, что я живу. Но и живым я не был. Такого навидался, что не расскажешь. Правда, во время больших акций они меня запирали в каземат, в самый глухой карцер. Но и там я слышал крики, стоны и выстрелы. Плакал. Сам кричал. Грыз себе руки. Бился головой об стену. Думал, что сойду с ума. И не сходил. Только поседел... Но теперь уже недолго осталось. Больше они меня не оставят. Расстреляют вместе со всеми. Вычистим рвы, засыплем — и все...

Он замолчал, и я спросил:

— А уйти ты отсюда не пробовал?

— Нет. Отсюда не уйдешь. Девятый форт — это гроб.

«Гроб,— мысленно повторил я.— Он назвал его так же, как я,— гробом. Иначе не назовешь...»

— Знаете,— сказал он, помолчав,— я ни разу не встретил здесь москвича. Хорошо, хоть напоследок... В Москве никогда не думаешь: москвичи вокруг тебя или не москвичи. А здесь, когда вы сказали мне, что вы из Москвы, я обрадовался. Как будто родственника встретил.

Не знаю, может быть, настроение у меня было такое, но и я с удовольствием с ним разговаривал. Не потому, что он меня выручил, хоть и это имело значение. Был бы он предателем, гадом, как меня предупредили, он не сделал бы этого. Подумаешь, москвич, земляк. Для законченного гада нет земляков и нет родственников. Законченный гад и мать родную продаст... Он знал не хуже меня, что ботинок я не отмачиваю, что этот зубец, этот штык понадобился мне для чего-то другого. И даже не спросил, зачем он мне нужен...

И кто-то опять потянул меня за язык — я еще раз спросил:

— Значит, уйти нельзя?..

— Нет.

И разговор закончился.

— Ладно,— сказал я,— надо поспать немного. Спокойной ночи, Апрель.

— Спокойной ночи,— ответил он.

Продолжение следует.



МУЖ И ЖЕНА

РАССКАЗ

Чуть кося подведенными глазами, гардеробщица Ася следила, как Владимир Павлович вытаскивает из спортивной сумки свертки и банки с яркими этикетками. Снимает плащ. Достает из кармашка расческу. Кепки Владимира Павлович не носил, осенний ветер сбил и растрепал его густые русые волосы.

Ася протянула руки к жесткому плащу. Сверкнул браслет на запястье, звякнули бусы на смуглой худой, морщинистой шее.

— Вы очень заботливый муж.

Владимир Павлович нахмурился.

— А что? — оживленно заговорила Ася. — Думаете, не бывает, что выписывается семейная больная, чья-то законная жена, а никто не встречает?.. — Холодность Владимира Павловича все-таки подействовала. Ася оборвала: — Ну, чего стоите? Номерок? Не надо вам номерка. Идите...

Он толкнул дверь с примелькавшейся надписью: «Хирургическое отделение. Прием от... до...» — и пошел, стараясь ступать полегче, чтобы ботинки не стучали по кафельному полу широкого коридора. Все тут было ему знакомо: белые двери, номера палат, столик старшей сестры. Шкаф с медикаментами. Телефон. Чахлая китайская роза на высокой подставке, с шорохом роняющая мелкие иссохшиеся листочки. Высокие глянцевиные фикусы. Бачок с водой. Кресла в чехлах. Он знал, сколько шагов из конца в конец, знал запах лекарств, запах беды.

До операции Тоня лежала в огромной палате, в самой глубине. Он на цыпочках шел, бывало, мимо кроватей, стараясь ни на кого не глядеть, а все равно видел бледных больных женщин, бесстрастно провожавших его взглядом. Он сутулился, сжимался, как бы стараясь занять меньше места, боялся зацепиться за тумбочку или за стул, стоявший на дороге, и еще больше терялся, оттого что и у Тони тоже был бесстрастный, отрешенный, пугавший его своей отрешенностью взгляд.

Теперь Тоня лежала одна в маленькой высокой, очень белой комнате. Вторая койка пустовала. Голые стены казались заиндевевшими, холодными. А тут еще за окошком порывисто гнулось растрепанное дерево, прижимая к стеклу ветки с поредевшими листьями. На карнизе, нахохлившись, зябли и сучали голуби.

Владимир Павлович поцеловал жену.

— Вид у тебя поллучше, чем вчера...

А у самого сердце разрывалось — такой слабой казалась Тоня, такие бескровные были у нее губы.

— Сима Соломоновна обещается завтра показать меня профессору. Ты обедал?

Он смущенно кивнул. Всего он стыдился теперь: что широкоплечий и сильный, что приходит и снова возвращается туда, где живут, работают и едят здоровые люди. Стыдился, что обедал один, без нее, в их комнате, за их столом, покрытым клеенкой. Может, казалось ему, Тоня думает в эту минуту, что не сидеть уж им вместе за этим покрытым зеленой клеенкой столом. И сказал как мог беспечнее:

— Придешь домой, первым делом сваришь мне борщ, как ты умеешь, согласна?

Он вынул из целлофановой бумажки две розы, стал уместать их, накалывая пальцы о шипы, в стакан с водой.

— Я думала, розы уже отцвели. Где ты такую прелесть достал?

— Кто ищет, тот найдет... — И так Владимиру Павловичу трудно было казаться веселым, что он отвернулся.

— Сядь, я не вижу тебя...

Он послушно сел.

— Зима скоро. Веточке шубку надо, — сказала Тоня.

— Вот выпишешься...

— Дорогую не покупай, растет девочка...

Тоня вдруг посмотрела мужу в глаза, будто хотела в них что-то прочесть. Владимир Павлович нагнул голову и, ища себе дело, стал укладывать в тумбочку то, что принес, — компот, печенье, плавленые сырки.

— Зачем опять натащил? Для чего? Для чего тратишься? — почти строго сказала Тоня. — Сам вон какой худой стал...

В палату, как в танце, вбежала, влетела туго завернутая в халатик, перетянутый пояском, молоденькая, тоненькая сестра. Тоня вроде бы пожаловалась:

— Вот хоть вы ему скажите, Галочка, милая, нету у меня аппетита. А он носит...

Ловко откалывая кончик ампулы и орудуя шприцем, сестра ответила:

— Заботится о вас, вот и носит. Любит... — И покосилась на цветы: — Ой, какие розы!

Тоня высвободила руку, темноватую у ладони и белую у плеча. Когда Владимир Павлович посмотрел на эту теплую, нежную белизну, что-то всколыхнулось в нем, заняло и защемило. Галочка вытерла иглу, протерла место укола ваткой и спустила рукав. Упорхнула, легонькая и быстрая, унося на лотке комочек ватки с каплей алой Тониной крови.

Тоня сказала тихо:

— Я думала, ничуть ты меня уже не любишь.

Позже Владимир Павлович сидел на лестничной площадке на деревянной высокой скамье. Вышел покурить. Так и сказал жене. Когда становилось совсем невмоготу, он выходил курить. И часто сидел с незажженной папиросой или вдруг спохватывался, что папироса догорела, пепел падает на колени, и думал о том, что вот так же распадается и рассыпается вся его жизнь. Когда жена расспрашивала про Веточку, он бодрился: мол, ей очень хорошо со мной, ты ее

баловала, а я всегда мечтал воспитывать ее, как парня, закалять. Все это верно, он действительно хотел воспитать Ветку, как парня, как мальчишку, но девочка оставалась девочкой, была болтлива и любопытна, тосковала о матери, часто плакала, обижалась, и у нее были косички и банты из скользкой капроновой ленты, которая не поддавалась даже его ловким пальцам.

На заводе женатые ребята из бригады не раз предлагали взять девочку к себе, пока Тоня болеет. А сегодня один сказал: «Моя жинка с удовольствием придет, стоговит, простирнет что надо, натрет паркет...», — но Владимир Павлович не хотел одалживаться — это раз, и потом боялся, что Тоне будет неприятно, если чужая женщина станет хозяйничать в ее доме. Да и ему самому это было бы неприятно.

Он отказался.

— Это не решение проблемы.

— А что решение: жить всухомятку? У тебя, бригадир, и так все скулы обтянуло.

Владимир Павлович отшутился:

— Жирным мне быть не показано, выходить из спортивной формы нельзя...

И ребята, по молодости не умеющие долго думать о печальном, тут же стали обсуждать новый заказ, заговорили, кто и как сыграл в футбол и какой вес подняли штангисты, и заспорили, прибавят или не прибавят высоту в прыжках знаменитые прыгуны. Владимир Павлович утверждал, что если будут упорно тренироваться, если не зазнаются, то прибавят.

— Твердость в любом деле, настойчивость — это все.

— Ну, а талант? — спросил кто-то.

— Талант без настойчивости ничего не дает.

— А везение? Одному везет, а другому, ну, никак...

— Вот этого, везения, я как раз и не признаю... Я за честный спорт.

Сейчас, когда Владимир Павлович сидел и курил, то эти разговоры о везении и настойчивости, о прыжках и голах, о новом заказе и заработках казались ему совсем уж ненужными и никчемными. О чем он спорил?! Смерть никого не щадит — ни талантливых, ни везучих, ни злых, ни добрых...

Он содрогался, думая, что Тоня может умереть, что так вот просто, как рвется нитка, может оборваться и Тонина жизнь, а он будет, как и прежде, работать, рассуждать... Закон природы? Да будь он проклят, такой несправедливый закон.

Раньше, иногда, сердясь на Тоню за что-либо, он говорил: «Разведусь, вот попомни мое слово, не стерплю — разведусь!» И втайне даже злорадствовал, что вот он разведется и будет жить, как захочет, и Тоня еще не раз пожалеет, что потеряла такого покладистого, послушного мужа. Но того, что жена может исчезнуть навсегда, умереть, он никогда не мог себе представить. А теперь Тоня лежит в палате и мучается, а он сидит вот здесь на деревянной скамейке и курит... На прохладной лестничной площадке вьется сиреневый дым, плывет, плывет, уплывает...

Ни черта не стоит человеческая жизнь, и сам ты ни черта не стоишь, если не можешь помочь любимому человеку. На что тогда твои руки, и сила твоя, и ловкость? Он вспоминает, как в первый год после женитьбы они проводили лето в спортивном лагере, многие даже не знали, что они женаты. Тоня жила в палатке с девушками, он со своей командой, но когда шли в горы, держался рядом с Тоней, зная ее беспечность. И устерег, уследил, спас. Подхватил, когда она

оступилась на крутом склоне. Так бы и бухнула камнем вниз, в пропасть. Вечером она сказала ему, когда целовались у скалы, в тени, потому что луна заливала светом весь лагерь, нигде не спрятаться было от любопытных глаз:

— Ты не одну меня спас сегодня. Понятно?

Он тогда и Тоню и Веточку спас.

Взволновался:

— Тем более тебе тут в лагере делать нечего... Теперь у тебя другие задачи, поважнее...

Уж очень она была порывистая, неосторожная. Боялся он за нее, даже душой покривил:

— Ты на свою реакцию не полагайся. Не такая уж у тебя быстрая реакция...

— Еще чего?! — возмутилась Тоня.

— Люди сначала думают, потом действуют. А ты?

— Не глупее других...

А все-таки Тоня подчинилась, уехала домой.

Она совсем переменилась, когда родилась Веточка, притихла, ничем, кроме ребенка, не интересовалась. И все напевала. Ветку укладывала — мурлыкала, пеленки стирала — заливалась во весь голос. Мешала читать газету, мешала заниматься, когда готовился к кружку. И на стадион больше не ходила. Только иногда, когда гуляла с Веточкой во дворе, а ребятишки играли в волейбол, вдруг подходила, наподавала по мячу и говорила:

— Вот как надо бить. А у вас что за удар?..

Или если Ветка спала спокойно в коляске, прикрытой тюлем и увешанной погремушками, судила игру, при условии, что не будут очень кричать, будить ребенка. Потом она и это бросила, даже сердилась, если ее звали:

— Идите, идите, незамужних зовите, мне некогда... Я свои связи со спортом порвала...

Владимир Павлович даже удивлялся.

— Не верится теперь, что ты стометровку отлично бегала...

Она сердилась. И слушать не хотела. Как-то даже заплакала.

— Ну когда мне? Куда я ребенка дену? Разорваться мне, что ли?

— А другие как же? У других детей нет?

— То другие, а то я... Я делить свое сердце пополам не умею...

И вся, с головой ушла в дом, в семью. Тут было ее настоящее место, ее интерес... Чистила, мыла, терла. Гордилась, что Веточка растет здоровенькая, что врачи в консультации хвалят. Один раз с девочкой на руках прибежала на стадион, где Владимир Павлович тренировался, напугала до полусмерти. «Что, что случилось?..» Она, сияя, спустила Веточку на траву: «Покажи, покажи папке, как мы ходим... Пошла, честное слово, пошла...». Не могла дожидаться, пока муж вернется домой — так хотела похвалиться.

Дома Владимир Павлович бывал мало. Работал на заводе, часто оставался после смены, всегда у него, как у бригадира, находились дела. Цехком ему давал поручения, он был членом цехкома. Играл в футбол за свой цех, играл в сборной завода, тренировался. Футбольные матчи на первенство Союза, на кубок никогда не пропускал, покупал билет на северную трибуну. Партийная учеба тоже отнимала часы, и производственное обучение у них было, на заводе постоянно вводили новую технику, завод был передовой.

Тоне по хозяйству муж почти не помогал: чинил, правда, электричество, если портилось, и всякие там бытовые приборы. Телевизор сам ремонтировал.

И всегда торопился. Тоня даже насмешничала:

— Ты у нас не хозяин в доме, а жилец. Квартирант..

Он оправдывался:

— Тоня, дорогая, да когда мне? Ни минутки свободной...

А годы летели...

Они с Тоней уже не целовались так, что душа замирала, хотя жили, в общем, дружно. Разлада между ними не было. Просто не нравилось Владимиру Павловичу, что жена вроде стала жадная, жалуется, что не хватает денег; то хотелось ей накопить на шкаф полированный, то на стол, то на шелковое покрывало. Стала она работать на полставки в лаборатории, уставала, ворчала. Сил, мол, моих нету отстирывать от травяных пятен футболки и майки, теперь еще Веточкино белое трико надо стирать.

Она водила дочку на фигурное катание и в балетный кружок, восхищалась, какие у девочки крепкие, ладные ножки. И в первый класс Веточка поступила, прибавилось обязанностей — следить, как готовит уроки.

Когда Владимир Павлович понял, что отыграл свое на футбольном поле и из команды пора уходить, ой, как обрадовалась Тоня: ну, теперь заживем по-другому, как все люди!... Муж огорошил, ошеломил ее тем, что взялся по поручению завкома тренировать в футбол подростков.

— Бесплатно?

— Это в общественном порядке... Тоня, пойми...

Она руки опустила.

— Я-то понимаю... Нет, не жалеешь ты своего ребенка.

— Вот именно, что я жалею детей. Надо их вовлекать. Сколько шатается без интереса, без цели... Надо воспитывать...

— Воспитаешь это хулиганье, как же!

— Отмахиваться легко. А ты помоги...

— Какой из тебя воспитатель? — сказала Тоня. — Ну что ты лезешь в чужие дела, и всегда тебе больше, чем всем, надо.

Он крикнул в запальчивости:

— Нету чужих дел, все мои!..

Тоня превозмогла себя, умолкла. Даже заступалась за мужа, коршуном налетала, если кто посмеивался над Владимиром Павловичем. «За своими мужьями приглядывайте, — отбивалась она от соседок, — он не пьет, не бездельник. Спорт — благородная страсть».

Но сама, особенно когда бывала не в духе, такие сцены устраивала, что только держись.

Очень он обижался...

Иногда они ходили в кино с женой, если было на кого оставить ребенка. Иногда в гости, Веточку тогда брали с собой. Иногда все втроем отправлялись гулять. Но Тоня портила прогулки тем, что делала замечания, тащила в магазин или просто останавливалась поглазеть на витрины. Он этого не любил. И случалось, что уходил один, без жены, забирался в парк или сидел на скамеечке в сквере, наблюдал, размышлял. Было ему о чем подумать. Десять человек в бригаде, к каждому нужен подход. Ученики на стадионе, что ни парнишка, то другой характер, и каждого хочется понять. Конечно, как говорится, в чужую душу не влезешь. Но он ведь добивался, чтобы души эти не чужие были...

Иногда он останавливался у станций метро, смотрел, как стоят там, скучая, молодые люди и чего-то напряженно ждут. А чего?.. Думал: «И сам я еще чего-то жду, а чего — тоже не знаю...»

...А вот ждет ли чего-нибудь Тоня, об этом не думал...

И в отпуск этим летом он поехал один. А ведь мог отпуск провести с Тоней. Мог, да не хотел.

Обиделся он на жену.

Тоня развела большую стирку и потребовала, чтобы муж развешил во дворе веревки для просушки белья. Трудно ему, что ли, веревки привязать, не в этом дело. И то, что тренировку пропустил, не так уж важно... А противно было сидеть сторожем, следить одним глазом из-за газетного листа, как хлопают на ветру простыни и наволочки, рубахи и майки, пестрые ситцевые сарафаны. Уходили на службу соседи с портфелями, выходили покурить пенсионеры, хозяйки возвращались с покупками, а он, он все читал и перечитывал газету, дожидаясь Тониного знака и сгорая от стыда. «Возьмет кто-то твоё барахло, как же...» — сердито сказал он, когда Тоня наконец-то соизволила выйти. А Тоня насмешливо ответила в тон ему: «И то... кому чужое надо...» Он даже задохнулся от гнева: ну, ладно...

И обедать не стал. Ушел. Выскочил, как оглашенный, на Ленинградский проспект, на бульвар, сел под шумящими тополями. А когда остыл, огляделся, увидел, что неподалеку, как нарисованные, сидят, никого не видя вокруг себя, держась за руки, чем-то расстроенные, молодой летчик и девушка, — лица ее он не видел, видел только затылок, легкие волосы, высокую шею, опущенные плечи. Плечи у девушки вздрагивали, плакала, что ли? И такое в этих женских и мужских стиснутых руках было отчаяние, такое горе и такая любовь, что Владимир Павлович уставился на них и не мог оторваться, хотя понимал, что надо не только отвернуться, а уйти, не мешать.

Что же с ними приключилось такое? Летчик ли женат или девушка не свободна? Или надо летчику улетать на служебное задание? Ничего этого Владимир Павлович не знал и не мог узнать, завидовал только, что здесь настоящая любовь.

Он пошел на смену, отработал, вернулся домой, ночь прошла, день, второй, третий, а перед ним, как наваждение какое-то, стояла скамейка на бульваре, укрытая кустами, летчик и плачущая девушка.

Тоска томила Владимира Павловича. Рвался он куда-то, не находил себе места.

Потом взял Тоне с Веточкой путевку в дом матери и ребенка и один уехал в деревню.

Жить у родичей Владимир Павлович не захотел, просто поставил в лесу палатку, собирал грибы, ловил в речке рыбу. Жил, как отшельник. В деревню ходил редко...

Двоюродный брат Петька, то есть Петр Петрович, сам несколько раз приходил его навещать, принес даже как-то пол-литра, но выпивкой Владимир Павлович не интересовался.

Петр Петрович был ненамного старше Владимира Павловича, но казался рядом с ним почти стариком. Лицо красное, грубое, в морщинах, продутых вьюгами, иссушенных зноем. Работал шофером на грузовике.

Общих интересов у них почти не было, отвыкли друг от друга, а все-таки, когда перебрали прошлое, детство, снова возникло между ними чувство близости. И однажды на закате, на полянке, где двоюродный брат косил сено для своей коровы, Владимир Павлович, размягчившись от воспоминаний, умиленный красотой березовой рощи, что окаймляла поляну, вдруг рассказал про летчика и девушку, которых видел в Москве на бульваре. Рассказал и сам испугался, что брат не поймет, посмеется над ним. Но брат молчал.

— Надо же такое... — виновато признался Владимир Павлович. — Вот так иногда задумаешься: а тебе чего не хватает? Все еще ожидаешь чего-то...

И опять брат ничего не сказал. Только когда уже стемнело, он положил косу и предложил, закуривая:

— Может, желаешь, есть тут у нас одинокие бабы...

— Ты что это? Я же не в таком смысле...

— В таком, не в таком,— лицо Петра Петровича вдруг приняло печальное выражение,— а какие уж тут мечтания, какие любви, когда хомут на себя надел, народил детей... Нет, то что в кино показывают, нам не суждено...

— Почему ж это не суждено?.. Как так не суждено?— почти обиделся Владимир Павлович.

И больше на подобные темы разговоров с братом не заводил. Стеснялся— это одно, а потом— очень уж ему нравилось в лесу. Бодрый он стал, спокойный. Отоспался. Отдышался. Тосковать перестал.

Отдохнул замечательно. Грибов набрал. Наслушался, как журчит родник в лощинке.

А теперь вот стыдно и больно, что не провел эти недели с Тоней. Подумать только, что и Тоня могла с ним быть в лесу, среди берез...

Тоня лежала розовая, румяная, смотрела прямо перед собой блестящими глазами. Горела от высокой температуры. И сказала, будто продолжая начатый разговор:

— Голову Веточке будешь мыть, смотри, много не мыль. В глаза не попало бы...

Она похудела за время болезни и оттого, что разругалась, казалась совсем молоденькой, юной, как тогда, когда Владимир Павлович впервые встретил ее.

— Вот поправишься, все по-другому будет, даю слово...

Она не слушала.

— И помогать буду... Так нельзя, чтобы ты все дома одна сидела.

— Холодно,— вдруг жалобно сказала Тоня. И потащила на себя шершавое одеяло.— Холодно мне, ой, как холодно!..

Он кинулся помогать укрывать. Засуетился. Пытался объяснить, что терзает его раскаяние. Тоня все бросила ради семьи— тренировки бросила, стадион, все мыла да шила на них с Веточкой, да готовила, да еще работала. Таскала Веточку то в ясли, то в детский сад. Ведь только теперь, когда свалилось на него все хозяйство, понял он, как нелегко было Тоне содержать дом, и ребенка, и его в чистоте. Она ведь любила, чтобы все наглаженное, накрахмаленное было, чтоб шуршало.

И он это ценит, чувствует.

— Я так думаю, что не жениться тебе нельзя будет,— не поворачивая к нему головы, сказала Тоня.— Ну, что ж... Ветку только не обижайте... Старую не бери, не надо. У молодой душа шире. Ищи веселую, с веселой и тебе лучше будет. И Веточке...

И заплакала.

Владимир Павлович гладил жену по волосам, отпаивал водой.

— Ну что ты придумала, глупенькая. Кто мне нужен, кроме тебя... И как у тебя, бедной, нервы от всех этих лекарств и антибиотиков расстроились, что ты вздумала невесту мне искать, смех просто!..— Он даже соврал, будто докторша Сима Соломоновна прямо обещала ему в скорости отпустить Тоню домой.

Он так устал от лжи и своего бодрого, разухабистого тона, так изболелся и исстрадался душой, что, как только Тоня задремала, снова вышел на лестницу подымить. Вроде надеялся, что с дымом уйдет с души невыносимая тяжесть. Он затягивался и тихонько чер-

тыхался, что табак сырой, и снова затягивался, но тяжесть не проходила...

Кольца дыма, свиваясь и развиваясь, подымались к самому потолку.

Лысый доктор, в очках, в белой шапочке на затылке, подошел к нему прикурить и, посмотрев на значок, приколотый к лацкану пиджака, заговорил о футболе.

— Был когда-то ярым болельщиком,— сознался доктор.— А теперь... разве что по телевизору иногда с внуком посмотришь...

Робея перед доктором, Владимир Павлович порывался встать, но доктор усаживал его и сам почтительно спрашивал:

— Вы меня, голубчик, извините, но верно ли, что при системе игры четыре — два — четыре...

— Вот, доктор,— перебил его Владимир Павлович, жалко улыбаясь.— Пока жена здорова была, то не сказать, чтобы особо берег... А теперь...— Он понимал, что доктор устал от болезни, от слез родственников, от жалоб, хочет хоть немного отвлечься, но не мог заставить себя не говорить о Тоне. Доктор посерьезнел.

— Кто оперировал? Сима Соломоновна? Ну, это надежный хирург...

— И профессору будут завтра показывать... Я так думаю, что он ее должен спасти: ведь профессор!

— Не все ведь от нас зависит, голубчик,— мягко напомнил доктор.— Мы боремся до конца, но бывает, что и не в наших силах...— И доктор жадно затянулся дымом. Уже загасив окурок и вставая, он сказал как бы сам для себя:— Приятно все-таки сознавать, что за нашими больничными стенами разгуливают здоровые люди, что есть такие крепкие ребята...— Он опять посмотрел на значок Владимира Павловича, окинув взглядом его фигуру.— Простите, вы...

— Я уже не играю,— поспешно, словно извиняясь, сказал Владимир Павлович.— Да и то, я ведь не классный игрок, так, любитель был... Теперь я с подростками работаю, тренирую... тренировал,— поправился он.— Решил бросить.

— Что так?

— Брошу! — помотал головой Владимир Павлович.— Решил.

Тоня взяла его за руку и стала перебирать пальцы, как давно уже не делала. И он редко ласкал ее. Дочку Веточку ласкал, нежил, называл своей зеленой веточкой, а на Тоню все больше хмурился. И даже когда хотел похвалить, когда гордился ею, говорил, будто недоумевая: «И как ты это сообразила, удивляюсь! Смотри-ка...»

А отчего так пошло, откуда взялся такой дурацкий тон, и сам не знал. Может, оттого, что Тоня была властная и он бессознательно воевал за свою независимость, сбивая с нее спесь?

А ведь было недолгое время, когда Тоня на самом деле оробела и потерялась перед ним. Это когда она растолстела после родов, а мастер из цеха, где-то ее увидевший, сказал с завистью:

— Супруга у тебя какая вальяжная стала, смотреть приятно... Но Владимира Павлович никакой красоты в этом не видел.

— Ну хочешь, я себе грацию закажу? — предложила Тоня.

— Это еще что за грация?

— Ну пояс такой. Со шнурками. Как корсет, понимаешь?

— Для организма может быть вредно, для внутренних органов. Нет, ты уж лучше как-нибудь по-иному действуй...

«Действовала» ли она по-иному или помогло время, но Тоня пришла в свою норму, похудела, просто стала видной, красивой женщиной, с которой не только не стыдно под ручку пройти, но даже

приятно показать: ребята, мол, не косите зря глазом, не играйте плечиком, не бейте каблуком, это — прошу любить и жаловать — моя жена.

Теперь Владимиру Павловичу казалось, что за десять лет так много разного было в их отношениях с женой — и страсть, и нежность, и отчуждение, почти полное равнодушие, и снова полная близость...

А вот теперь он сидит у ее постели, смотрит на впалые щеки и боится загадывать, что будет завтра... «Тоня, Тоня, милая, люблю я тебя, пойми, — думает он, тоскуя. — Прости, родная, если что было не так... Толстая ли, худая, ворчливая, неприбранная, в морщинках, старая — все равно: только живи, не покидай меня...»

А Тоня то дремлет, то снова перебирает его пальцы, гладит и опять произносит тихо:

— А я-то думала, совсем ты меня разлюбил...

Ушли последние посетители. Провезли термосы с ужином. Прибежала стайка практиканток из медицинского училища. Они и не заметили Владимира Павловича, так он неподвижно сидел с потухшей папиросой, укладывали книжки и тетрадки в портфельчики, подтягивали свои дешевенькие чулки в резинку, поправляли волосы. Тут вихрем налетел смазливый парнишка, тоже в белом халате, в ярких носках, в узконосых ботинках. Стал покрикивать, подшучивать, отнимать какую-то книжку.

— Ну, ну, Валерка, без рук, — гордо сказала щупленькая девочка с такими же, как у Веточки, бантами в косичках.

— Валерка, отстань.

— Ну тебя, Валерка...

Валерка, шумно дыша, плюхнулся на скамью рядом с Владимиром Павловичем и тут же вскочил, стал здороваться:

— Я у вас тренировался когда-то...

Он все еще, вертя головой из стороны в сторону, шнырял глазами по тоненьким фигуркам практиканток.

— Сосчитал? Сходится счет? — насмешливо спросил Владимир Павлович. — У всех руки-ноги на месте?

— Терпеть их не могу, сорок... — сказал Валерка. — Бросил к вам ходить, а теперь жалею...

— Это уже последнее дело — жалеть. Раз бросил, то уж жалеть нечего... — А все-таки поинтересовался: — А из-за чего бросил?

— Так перспективы же никакой. А время тратишь...

— Интересы у тебя настоящего не было, рвения, вот ты и бросил...

А сколько их таких, как этот Валерик, прошло через его руки! Каждый сезон, когда набирали учеников, приходили записываться десятками. По пятам ходили, канючили, чтобы принял. С первого дня видели себя в мечтах вратарями и нападающими, фасонили, отпускали челочку, сплевывали сквозь зубы. Поначалу смотрели на Владимира Павловича, как на бога, боялись, потом начинали роптать, обижались за строгость. Недовольны были, что много «общефизической подготовки», что «за все спрашивает», даже школьные дневники проверяет. Торопили: мол, давай скорее играть, мяч давай. С детской эгоистической неблагодарностью вдруг переставали ходить к нему, убегали на велосипед, на баскетбол, на коньки.

Вот и Валерик ходил-ходил на занятия и исчез.

А помнится, что немало он возился с ним: и в школу обращался к классному руководителю и кеды ему однажды на свои деньги купил.

Если же попадался ученик верный, устойчивый, одаренный, то, как коршуны, вились над заводскими площадками профессиональные

тренеры, соблазняли, уводили к себе в спортивное общество, в детскую спортивную школу. Что удивляться? Там и громкие имена, и красивая форма, и летний спортивный лагерь.

Разглядывая переминавшегося с ноги на ногу Валерика с его чуть нахальной ухмылкой, Владимир Павлович вспомнил, как Тоня, бывало, говорила: «Ты для них ноль без палочки, вот кто... Благодарности ты не жди...»

То-то и оно, что Владимир Павлович благодарности не ждал. Просто любил свое дело, любил учить. Это у него пунктик, идея такая была, что надо начинать учить играть в футбол рано. Да, если бы его самого вовремя начали учить, может, и он бы...

Тоня не слушала его доводов, и он сердился. Глупая, дальше своего носа не видит...

Владимир Павлович спросил Валерика жестко:

— Призвание-то у тебя есть к чему-нибудь? Интерес?

Валерик загадочно улыбнулся. Заторопился, заспешил. Боялся, должно быть, что Владимир Павлович станет отчитывать. Но Владимир Павлович отчитывать не стал, сказал только:

— Вот тебе мой совет, парень. Чисть ботинки. А то некрасиво получается, модные носки надел, а ботинки грязные...

Когда он сказал Тоне, что откажется тренировать, она пришла в ужас.

— Что ты? Что ты?

Он пытался втолковать ей, что это не жертва с его стороны и не лишение, просто пришло время серьезнее смотреть на жизнь. Она и слушать не хотела, твердила свое. Потом повернулась к окну, где над облетающими деревьями вспыхнуло, заходя, солнце, и сказала тихо, как бы боясь вспугнуть:

— Как красиво!..

Он тоже повернулся к окну. Он на все ее движения отзывался и стал смотреть, как заходит солнце, как будто перед вечным этим явлением — восходов и закатов — меркли будничные, мелкие волнения. Он чувствовал теперь все, что чувствовала Тоня, и, не столько понимая, сколько ощущая ее тревогу, хотел думать о том же, что и она, видеть то, что видела она.

Ветер, разогнав тучи, утих, перестал трясти и раскачивать ветки, в природе разлита была спокойная тишина. Небо очистилось, потеплело, согретое угасающими розовато-сиреневыми красками заката.

— Все бы я теперь ездила, ездила, — так же тихо проговорила Тоня. — Смотрела бы... своими глазами смотрела. Я раньше на все твоими глазами смотрела, а я хочу сама...

Она сняла с исхудалого пальца колечко с ярким камнем, мягко засветившимся в солнечном луче.

— Боюсь, потеряю... спрячь... для Веточки...

— Да я тебе три кольца куплю, — почти крикнул Владимир Павлович, вспоминая, как поссорились они когда-то из-за этого кольца, ведь еле-еле дотянули до получки. Он опасался, что Тоня то же самое вспомнит и разволнуется.

Но Тоня не вспомнила.

— Ты мне лучше часики купи. Маленькие такие, как теперь модно, на тонкой такой браслеточке...

Голос был почти веселый, но глаза смотрели печально и уже не на руку, а опять за окно, где пламенели желтые и красные листья.

Желая побольнее наказать себя, Владимир Павлович опять сказал, что все бросит: и заводскую команду, и тренерскую свою работу, и болеть за футбол перестанет...

— Что ты? Зачем это? Зачем лишать себя счастья...

Значит, она в глубине души знала, что это для него счастье.

Конечно, он мог прожить и без футбола, даже когда был совсем молодым, ведь он любил семью, работу, завод, товарищей из бригады, но жизнь была бы не полна.

Как и теперь, он вставал бы по утрам, торопился на завод, шел через проходную, входил в цех, переодевался, вешал одежду, получал наряд. Все осталось бы, как есть теперь, ушла бы только та прекрасная минута, когда в трусах, в футболке он выбегал, поеживаясь, на зеленую траву, и бежал, свободный, сильный, упорный, слитый в одно целое с мячом, полный желанием выиграть. Всякий раз ему казалось, что именно в этот день он совершит чудо. Он ждал этого чуда, верил в него, готовился к нему. Знакомый студент доказывал ему как-то с карандашом в руках, что количество комбинаций в футболе, как и во всякой другой игре, ограничено, но Владимир Павлович никогда с этим не соглашался. Пусть в теории так, но он-то знал, что не бывает двух одинаковых матчей. Почему он так радовался на футбольном поле? Кто знает. Ни утомление, ни ушибы, ни проигрыш, ни несправедливость болельщиков, которыми полон был заводской стадион, ничто не могло отвратить его от игры. Он любил ощущать себя частью того сложного организма, каким является команда, когда одиннадцать волей сливаются в одну, когда ты должен на бегу, в борьбе схватывать смысл того, что творится на поле, и вдруг сильным ударом по мячу перевести игру на другой фланг или, обманывая противника, передать мяч соседу и тут же устремляться в то место, куда должен через секунду этот мяч прийти. Он все старался делать вовремя и точно, не жалел себя на поле и не думал о себе, не искал выигрышных моментов для себя. Не себя он любил в игре, а игру... С возрастом сил у Владимира Павловича становилось меньше, он уже не мог так быстро бегать, а игру любил все больше и больше. Потому что это была умная игра, полная драматических и ярких подробностей. И как ни полна его жизнь, она стала бы тусклой и неинтересной для него, если бы он отказался от того, что знакомые его с удивлением и в осуждение называют увлечением, страстью, придурью, мальчишеством, болезнью.

И Тоня, оказывается, это знала, хотя он считал, что Тоня больше всех противилась его увлечению. Особенно, когда он стал тренером. Ему приходилось оправдываться:

— Это же у меня нагрузка, завком мне доверяет...

— А где найдут другого такого дурака?

— Тьфу, дали же мне грамоту как общественнику...

Тоня ударила по самому больному месту:

— Был бы хоть мастер спорта, настоящий игрок, а то...

На это он не мог возразить. Нечего было возражать. Говорить, что не успел отработать технику, потому что поздно начал играть? Ведь он до самой своей женитьбы сестер поддерживал, вкалывал по две смены на заводе, разрывался на части. А разве он имел питание, какое надо? А женился, Тонину родню поддерживали.

Этого он даже в самые напряженные минуты спора вслух не говорил. И хорошо, что не говорил. Оказывается, Тоня и сама все знала, все понимала, золотая его Тоня...

Новое для себя открывал Владимир Павлович в жене. Неужели он не знал ее до сих пор? А ведь думал, что знает, как самого себя. Скачала вдруг, что ей ездить хочется, на мир смотреть. Он и не подозревал, что ей хочется ездить.

И ему как она здорово сказала: «Зачем это лишать себя счастья?» Он вспомнил эпизод, который случился, когда Тоня еще лежала в большой палате. И ту палату обслуживала сестра Галочка, та самая, что сегодня делала укол Тоне, худенькая, с худенькими локотками, с быстрыми, легкими ногами, которые она еще по-детски ставила носками внутрь.

Тоня рассказывала про нее шепотом:

— Ребенок совсем, а вынуждена работать. Отца нет, одна мать. Все с улыбкой, с вниманием к больным. Спрашиваю: «Галя, а поклонники у тебя есть?» Краснеет. Как же не быть, ведь она, как кукла... Ты как находишь?

— Я и внимания не обратил,— уклонился Владимир Павлович, зная, что Тоня ревнивая.

Но, конечно, не слепой ведь, заметил, какая симпатичная девушка, а когда глядел на ее локотки, даже что-то в душе звенеть начинало: такой юностью веяло от этих худеньких локотков.

Так вот однажды, когда Тоня несколько раз нажала на кнопку звонка, вызывая сестру, а сестра все не шла, на соседней кровати зашипела, как гусыня, злая ядовитая старуха:

— Их не докличешься, им что! Хоть ты тут помирай... Про любовь и про кавалеров только и думают...

— Ну и пусть думают! — почти закричала Тоня. — Без любви, без счастья и жить-то не стоит, не для чего...

Тогда он не обратил внимания на ее слова, побежал скорее торопить Галочку, чтоб несла лекарство, потом только вспомнил.

И теперь вот опять думает про эти Тонины слова.

Это как камешки на берегу. Отдыхал он как-то в Крыму, на диком, голом, прекрасном берегу. Любил поутру, когда все еще спят, смотреть на желтые и фиолетовые скалы, перебирать камешки. И такие попадались замечательные, что глаз не оторвешь. Он много тогда домой привез, целую шкатулку.

Так и слова среди сотен серых и будничных, обычных: «Подай», «Прими», «Холодно», «Что на обед?» — вдруг сверкнут настоящие, нужные. Сотни камешков он перебрал, перетрогал руками, а слов сколько — миллионы? Миллионы слов Тоня произносила, забылись они. А настоящие, важные в себе таила. Но ведь были они у нее...

Что же он не заметил, не поинтересовался? Ах, не знал? Камни-то ведь искал, не ждал, пока сами в глаза бросятся? Бежал с утра к морю, смотреть, что принес прибой...

Он не хотел было рассказывать Тоне, где провел вчерашний вечер: еще истолкует, что жена, мол, в больнице, а он разгуливает по банкетам. А теперь знал: можно. Тоня поймет; не для того он пошел, чтобы выпивать и закусывать.

В заводском Дворце культуры устроили вечер в честь футбольной команды, выигравшей первенство на международных соревнованиях.

Он зашел на минуточку после смены, после занятий на учебной площадке, одетый по-будничному, в клетчатой темной рубашке, без галстука. Так, думал, просто посмотрит на знаменитых игроков, послушает вполуха, что будут говорить, и поспешит домой.

Было очень парадно, народу в зал набилось множество.

И вот, когда торжественная часть кончилась и Владимир Павлович, уже собираясь уходить, стоял в фойе у окошка и курил, мимо него цепочкой потянулись футболисты, нарядные, наглаженные, в шляпах, в модных ботинках. Владимир Павлович сразу догадался, что это

в банкетном зале накрыли столы — так было принято, — чтобы в самом тесном кругу поднять бокалы. А поднять было за что: ух, каких добились успехов, как взлетели!..

Прошел директор завода, прошли два спортивных журналиста в красных рубашках под толстыми свитерами. Одного из них Владимир Павлович знал: тот был как-то на занятиях, взял интервью, допытывался, какая методика. Но так и не написал ничего...

Владимир Павлович хотел уже уйти с дороги, чтобы не вышло, будто он стоит тут и ждет приглашения. Он забрел в это фойе случайно, даже и не подумал, что могут идти на банкет этой стороной. Но и убежать не хотел. Чего это он должен убежать, с какой стати?.. Им надо идти — они идут, он хочет тут стоять — и стоит. Имеет право... Докурит и уйдет. А все-таки делал быстрые, торопливые затяжки. И не успел...

Прямо на него вышел тот единственный, которого он и мечтал встретить и которого больше всего боялся встретить вот так — лицом к лицу. Тот бывший долговязый подросток, тот Ленька с челочкой, любимый его ученик, которого сманил профессиональный тренер. Правда, не только сманил, но и вывел в первоклассную команду и сделал из него самого результативного нападающего футбольного года. Долгие месяцы Владимир Павлович и разговаривать с Ленькой не хотел — сердился, считал изменником. Потом смекнул, что Леньке-то, в общем, наплевать на бывшего инструктора, и стал держать себя с ним еще надменнее, еще суровее. И Ленька, аккуратно присылавший к праздникам поздравительные открытки, перестал писать. «Я ему теперь ни к чему, зачем я ему? — говорил с обидой Владимир Павлович. — У Леонида теперь знакомства иные... Ну что ж, основу я заложил, моя совесть чиста...»

— Благодарности ты не жди, — именно тогда и сказала Тоня. — Кто ты для него — ноль без палочки.

— Он левой ногой плохо работал, — вспоминал Владимир Павлович, — я весь упор делал на левую ногу.

— А кто тебе спасибо за это скажет?

— А кто мне должен говорить спасибо? Моя какая цель? Способствовать развитию отечественного футбола. Достигается цель? Достигается. И все...

Конечно, Тоня «заходила» и кричала, что футболисты теперь знаменитые, как актеры, стали. И квартиры им, и машины им. И почет. И уважение.

— И правильно, что им. Заслуживают. Славу нашей Родины приумножают, — успокаивал Владимир Павлович жену. — А все-таки я одно скажу... И ты это запомни... Вот пишут: большой футбол. Так этот большой футбол мы все делаем, понятно?

— И ты?

— Именно я. Владимир Павлович Морозов.

Это он Тоню убеждал. А сам вовсе не был убежден.

Ленька стоял перед ним, пожалуй, самый рослый, самый красивый, и улыбался.

— Знаю про твои успехи, рад за тебя...

— А помните, как вы меня гоняли, а, Владимир Павлович?

— Я-то помню...

Товарищи уже шумели, уже звали, мол, скорее, Леня, не задерживай. Но он прекрасно понимал, что имеет право задержаться и задержать всех, и ответил недовольно:

— Не видите, что ли, с кем я говорю? Это же мой первый тренер.

Многие из команды не знали Владимира Павловича, разве они ходили на игры цеховых команд или на занятия заводской школы? Но некоторые, конечно, вспомнили: ну да, знаем, как же...

— Вы на банкет, Владимир Павлович? Как это некогда? И что значит не пригласили? Я приглашаю, вы же мой учитель... Я же вправду вам всем обязан... Без галстука? — шумел Ленька.— Мы это дело поправим...— Он вытащил из кармана роскошный галстук и, раньше чем Владимир Павлович опомнился, повязал тому на шею.— Заметьте, не мнется, стопроцентный нейлон, купил в Чили. Звучит? Дарю на память... Я его привез для вас, только не было случая завезти... Но я знал, что вас тут встречу,— не то врал, не то правду говорил Леня.— Не поверите, минуты свободной нету... На части рвут...

— Ох, Леня,— назидательно произнес Владимир Павлович,— имей в виду, Леня, нет режима — нет и футболиста...

Леня стал клясться, что понимает, но их заторопили, повели — и Владимир Павлович уже сидел в банкетном зале за длинным столом рядом с Лене́й. А напротив сидел директор.

Было много тостов за кубок, за команду и ее тренера, за решающий гол, за вратаря, за центрального нападающего, за директора завода, ибо кому же не понятно, что успех заводской команды обеспечивает в первую очередь директор. Если директор не любит и не понимает футбола, то вряд ли команду будут знать за пределами заводской проходной. А команда теперь с мировым именем, и мы имеем все основания провозгласить тост за нашего мирового директора...

— Подхалимничайте, ребята, но знайте меру,— погрозил пальцем парторг.

В общем, было весело.

И вдруг встал Леня и стал говорить про Владимира Павловича. И перечислять его заслуги.

— Я ему всю жизнь буду благодарен за свою левую ногу...

— Теперь ты никогда не встаешь с левой ноги, что ли? — опять пошутил парторг.

— Встаю. И часто,— отпарировал знаменитый Леня.— Но не позволяю себе поддаваться плохому настроению и валять дурака на тренировках, потому что из меня эту дурь выбил еще в нежном возрасте Владимир Павлович. И я пью за его здоровье...

И под крик, аплодисменты и возгласы Владимиру Павловичу пришлось встать и поцеловаться с Лене́й и с величественным, похожим на профессора тренером команды.

А когда сели, Леня сказал тихо и серьезно:

— Владимир Павлович, я ведь от чистого сердца. И алаверды к Антонине Ивановне...

— Болеет моя Антонина Ивановна...

Леня сделал испуганное, сочувственное лицо, но мощный поток застолья отвлек его, понес в сторону. Стали вставать, в ожидании кофе прохаживаться по комнате, директор подошел к Владимиру Павловичу познакомиться и расспросить, как же это он сочетает работу в цехе с физкультурной, воспитательной и сам еще иногда играет, создают ли ему условия и много ли у нас таких тренеров-общественников, хотелось бы знать.

И парторг вставил:

— Имейте в виду: он не просто бригадир, а бригадир бригады коммунистического труда...

И представители центральных спортивных организаций заинтересовались его опытом и журналисты.

Директор сказал:

— Ну, пресса, вот про кого надо писать...

— Мы учтем...— сказал незнакомый журналист.

А знакомый отвел Владимира Павловича в сторонку и стал жаловаться:

— Разве это я настаивал на методике? Меня человек интересует, характер, а не методика. Но в руководстве отделом сидят дубы, им не втолкуешь...

...Тоня потребовала всех подробностей — что ели, что пили? А жены? А жены не присутствовали? Почему это? И как же это он повязал галстук к клетчатой рабочей рубашке? Это же надо совсем не иметь вкуса. Леня? Что Леня? Леня постеснялся ему сказать об этом, а ей-то стесняться нечего... И почему он, идя во Дворец, не мог надеть белую накрахмаленную рубашку? Рубашек у него нет, что ли?

Тоня ворчала и упрекала, а Владимир Павлович слушал, как слушают музыку, — это был голос здоровой, вредной, невыносимой Тони...

Потом она сказала:

— Я же тебе всегда, помнишь, говорила, что тебя ценят...

— И верно, ты говорила, — согласился Владимир Павлович.

А Тоня вдруг заплакала:

— И вот теперь, теперь я должна умирать. И погода какая-то, дождь вот-вот пойдет, — говорила она, стараясь сдержать слезы. — Не люблю я такую погоду...

— Не будет дождя, что ты... — успокаивал ее Владимир Павлович, как будто самое главное было в том, пойдет ли дождь. — Я знаю, ты не любишь осень, и я не люблю... — торопливо говорил он, отвлекая Тоню, и расписывал, как они весной поедут отдыхать. Он возьмет отпуск пораньше, и поедут или туда в горы, где они уже были, или в деревню, в березовый лес...

Тоня с сомнением покачала головой.

— Хорошо бы... — совсем тихо сказала она.

— Эй, молодой человек, — гардеробщица Ася потрогала Владимира Павловича за плечо. — Эй, очнитесь... Плащ будете получать или как?

Она села рядом с ним на скамью, зевнула и, вытянув и скрестив ноги, полюбовалась на свои модные туфли. Ноги были сильные, мускулистые, с тонкими щиколотками.

— Я вас задерживаю, вы извините...

— Ну что вы? — Ася поправила бусы, прическу, браслет. Сказала с сердцем: — Еще наша докторша, наша Сима Соломоновна никак домой не уйдет. Одного инфаркта ей мало, второго ждет. И дождется...

Владимир Павлович не понял.

— А что непонятного? Не щадит себя. И на фронте она такая же чудачка была, не жалела себя. День и ночь оперировала. Но вы не верите, я ее так и не научила честь отдавать. Вот как надо... — Ася лихо козырнула. — Я-то? Как я попала на фронт? Осталась в шестнадцать лет без родителей и прибилась к госпиталю. Нет, я не сестрой, я санитаркой была, но, если хотите знать, ведущий хирург требовал, чтобы я присутствовала на операциях, такая я смышленная была. Ну да. «Без Аси я оперировать не буду». Только он был такой ужасный матерщинник, что Сима Соломоновна мне не разрешала. Сама она других слов не знала, как: «спасибо, спасибо, пожалуйста». Как неземная... Без меня она бы пропала, и смех и грех... То табак откажется получать, то ужин не возьмет. И после войны я за ней потащилась, пожалела ее. И теперь проверяю: «А вы получку взяли? А где ваша сумочка?» Домой к ней, правда, давно не хожу, там ее племянники угрелись, она ведь такая родственная. Ну, они меня, понятно, терпеть не могут. Как за что? За то, что я правду в глаза говорю: как так, почему ваша тетя в своей квартире, как в чужом углу живет? Мне-то что? У меня своя хорошая комната, газ. Москву-реку из окна видать, как она течет вся такая сиреневая, и рябь переливается по воде...

Одной лучше, сама себе хозяйка. Хочу пригласить человека — никого это не касается... Хочу держать кошку — держу... Почему я

в хирургии работать не стала? У меня глаза слабые. Я санитаркой была, тоже себя не щадила, больные молились на меня. Сима Соломоновна уговаривала меня: «Ох, Ася, если бы тебе образование, диплом. Учись, Ася!» А как учиться с таким зрением? Я тоже жертва войны, если вдуматься... А то я бы своего добилась, не так как Сима Соломоновна. У нее же докторская почти готовая, а она? Подобрала племянников-лодырей и возит с ними — то дежурство лишнее возьмет, то консультацию. Смотреть тошно! Чтобы я для кого-нибудь отказывалась от своего идеала, да ни за что, кто для меня отказывается, позвольте спросить? Что-то я таких не видела. А Симу Соломонову я за то уважаю, что ей для себя ничего не надо, все для людей... Ее палкой не выгонишь, когда тяжелые больные... Ой, видали бы вы ее в сапогах — умора! А мне в сапогах было ловко, так и щелкала каблуками! У меня, видите, нога как литая... На такой ноге и сапоги и туфли имеют вид, мне многие завидуют... А чему завидовать, ничего уже не осталось...

— Простите,— вежливо прервал ее наконец Владимир Павлович.— Пойду...

В коридоре к нему подошла Галочка — она только что снова сделала укол Тоне — и сказала, глядя прямо на него затуманенными глазами:

— Вы не переживайте так, не отчаивайтесь. Вот еще профессор будет завтра смотреть вашу жену. Это же огромный авторитет. Я сочувствую, у меня мама больная, я вам очень сочувствую...

Печальный, озабоченный ее голосок журчал, как тоненькая струйка чистой воды, которую нашел он летом в лесу, на дне оврага, заросшего папоротником.

— Вот ты сердисься, что я никуда не хожу,— вдруг сказала Тоня.— А мне не хочется. Я, если куда иду, так тороплюсь домой, боюсь, с вами что случится... Я сама не знаю, почему это. Ты помнишь, я любила танцевать... А когда тебя встретила, как из головы вон... Все боялась: ты меня разлюбишь — и хотела показать, что ни капельки не страшусь. Ведь это стыдно, когда так сильно любишь, что гордость теряешь...

— Ну, в чем когда ты теряла гордость,— возразил Владимир Павлович,— никогда ты гордости не теряла...

— Я только вами и жила, тобой и Веточкой...

— А я? Я разве кем еще жил, кроме вас?

— У тебя и другие интересы были, а уж я...

— Что ты? Разве ты плохо работала? А стометровку забыла?

— Дома я все с любовью делала, рубашки твои гладила с любовью, платица Веточкины...— Она усмехнулась.— Глажу и мечтаю — взглянешь ты на меня или не взглянешь? Внушаю тебе мысленно: «Взгляни». А ты... Ты не откликнулся...

— Так я же не знал...

Что он не знал? Не знал, что Тоня любит его?

— Мне нравилось, что ты бескорыстный...

— Так ты за это меня ругала...

— Ну и что?.. Ругала, а уважала.

Тоня притянула к себе его руку и покачивала и поглаживала, как будто это была кукла или котенок, и спросила:

— Ну, неужели ты не завидовал? Ну, вашим всем тем, что во славу вошли?

Владимир Павлович замаялся.

— А у меня сердце кровью обливалось,—призналась Тоня, не дожидаясь, что ответит муж: — Думала, ты и совестливый, и благородный, и игрок хороший, как же так? Но ты не напористый, не бил на эффект, не рисовался...

— Таких игроков, как я, тысячи...— уже с досадой сказал Владимир Павлович.

— Нет,— замотала головой Тоня.— Нет, не тысячи...

Она опять устала, поникла, заговорила про другое:

— Жжет, жжет под сердцем, что же это за мука такая, что за доктора — не могут вылечить... Я ведь жить, жить хочу, я еще не жила вовсе... Неужели тебе моя жизнь не дорога, что ты меня не спасаешь...

И опять вспомнила Веточку, нежные ее глаза, которые не переносят мыла, и то, что девочка не любит манную кашу, и пусть он все это внушит той, здоровой и веселой, что придет в дом...

— И ты не клянись, что не женишься, не надо мне такой клятвы. Будьте только счастливы—и ты и Веточка... А фотокарточки мои убери, пусть никто не смотрит на них, не надо... Или нет, оставь ту, где я еще молоденькая, где волосы вьющиеся, помнишь? Да нет, ты уже не помнишь, какая я была... Но я не обижаюсь, нет. Больше, чем ты любил, ты любить не мог. Каждому свое... И я это сознаю и не плачу больше: мы жили хорошо... И если я в чем перед тобой виновата, ты не сердись, я хотела, как лучше, я все про тебя понимала и знала больше, чем ты сам... Я болела за тебя душой. А если не могла перебороть свой характер, так это же не моя вина. И ты не виноват, что у тебя такой характер. Ты не умеешь расталкивать других локтями, ты всех пропускаешь вперед себя...— И раньше, чем измученный Владимир Павлович нашелся что сказать, Тоня произнесла, торжествуя:— И вот истина наружу выплыла. Теперь не я одна, все на заводе поймут, что ты за человек.

— А что я за человек? Самый обыкновенный. Как все...

Владимир Павлович оборвал на полуслове.

Вечер уже поглотил оголившиеся ветки, касавшиеся окна, деревья вырисовывались теперь смутно очерченной темной массой. На дальнем фоне, где строился новый больничный корпус, зажглись на башенных кранах огни. А самих кранов не видно было... И костер зачем-то развели на строительстве. Может, мусор сжигали, а скорее грелись.

Тоня молчала. Утомилась, должно быть. И сам он обессилел. Боялся шелохнуться, потревожить Тоню. Да и что говорить? Как оправдываться? Он уже все сказал, что умел, во всем обещал покоряться.

Но не мог ведь он согласиться с Тоней, признать: да, он одержал великую победу, его заметили и оценили. Ему и обидно и смешно стало, неужели он должен радоваться, считать за честь, что на банкете выпили за его здоровье? Не такой уж он мелкий...

Неудачником он себя не считает, это безусловно, но и удачником не может считать. Кто он? Просто честный человек. Хотел большего? Да, хотел. А чего? Славы? И славы, конечно. Ведь слава, она отражает и твои успехи и твои возможности — это факт. От этого никуда не спрячешься. И факт, что для призвания своего, для главного нужно уметь жертвовать всем, иногда даже ближних своих ставить на второй план. А он этого не умел.

Может, призвание и мстило ему, не приносило большой удачи, потому что не всей душой он своему призванию отдавался.

Старался никого не обижать.

Стараться-то старался, а Тоню все-таки обижал.

Теперь вот ходит сюда, кается, клянется: буду сидеть дома, буду всегда с тобой. А где же ты был раньше? Почему не видел, какая у тебя жена, сердился, дулся, убегал на бульвар любоваться чужим, красивым счастьем. Своего не замечал...

Тоня ласково окликнула его:

— Иди домой, что ты? Не выпишься, а завтра на работу...

— Я спать не хочу...

— И что мне только профессор завтра скажет, должен ведь он помочь?..

— Это точно. Это точно, Тонечка, дорогая...

А Тоня опять подтвердила:

— Нет, мне очень приятно, что все про тебя узнали...

Вошла Сима Соломоновна, маленькая, толстенная, с плохо уложенными волосами, в туфлях со сбитыми низкими каблучками, строго посмотрела на Владимира Павловича: что это, мол, он тут делает в неурочный час,— взяла Тоню за руку, пощупала пульс. Тоня сразу присмирела, стала тихонькая, махонькая, как ребенок.

Сима Соломоновна велела:

— Спать.

— Не спится,— жалобно протянула Тоня. И удивилась: — Разве вы сегодня дежурите, Сима Соломоновна?

— Нет, я не дежурю...

— И так задержались, ведь с самого утра вы на ногах,— с укоризной сказала Тоня,— я думала, вы давно ушли...

Когда Сима Соломоновна вышла, Тоня бровью показала мужу: иди, мол, милый, иди, нельзя больше, не разрешается.

С трудом передвигая одеревеневшие от волнения ноги, Владимир Павлович пошел за докторшей и уже в гардеробе, робея, спросил:

— Надежда хоть есть, а, Сима Соломоновна?

— Как это может не быть надежды...

Ася вынесла пальто Симы Соломоновны и авоську с продуктами. Слегка покачиваясь с носка на пятку, она слушала, как докторша успокаивала Владимира Павловича, что завтра Тоню обязательно посмотрит профессор.

— Так всегда,— громко, но чуть в сторону, как на сцене, сказала Ася, будто ни к кому не обращаясь: — Сима Соломоновна выходит, вырвет больную из лап смерти, а спасибо говорят профессору...

У Симы Соломоновны гневно сверкнули глаза, она даже руки подняла в ужасе, но Ася напялила на нее пальто и ушла за перегородку.

— Ася, я же вас просила...

Но Ася уже зашуршала жестким плащом Владимира Павловича и забормотала что-то насчет того, что она может и помолчать, ибо кто она, Ася? Маленький человек, разве у Аси есть право голоса?

— Это очень хорошо, что больные верят в профессора,— тактично поясняла Сима Соломоновна, заглушая Асино бормотание.— Наш профессор — прекрасный человек. И вообще профессор — это профессор, а мы рядовые врачи...

Владимир Павлович сделал то, чего никогда не делал в жизни,— взял маленькую сильную руку докторши в свою и поцеловал.

Сима Соломоновна так удивилась, что не запротестовала, только тихонько отняла руку и сказала мягко:

— Не надо отчаиваться. Мы боремся и будем бороться...— По ее некрасивому, милому лицу прошла тень. Она как будто задумалась. Потом встряхнула головой: — У вашей жены, я бы сказала, вечером пульс был немножко лучшего наполнения. Это тоже что-нибудь да значит...



ОЧЕВИДЕЦ



Ни шатко, ни валко, ни тряско
ползет по железным путям
измученный временем транспорт,
который сродни лошадям.
Пыхтит, несмотря на усталость.
Ползет, издавая свистки.
Ни капельки в нем не осталось
железнодорожной тоски.
Он машет лохматою гривой,
он скачет вдоль северных рек...
В нем едет один молчаливый
еще молодой человек.
Пока по огромной орбите
ракета луну обогнет,
он в шумном вагонном уюте
от сверхскоростей отдохнет;
увидит в пустынном раздолье
немало великих чудес:
край неба, широкое поле,
платформу, заснеженный лес.

Листопад

Стихию листопада не унять.
Всех листьев ни за что не перечислить —
хоть что-нибудь пытаешься понять
и поневоле начинаешь мыслить.
Шумят ветра, топорщится листва,
в костелы загружается капуста;
вдоль по бульвару движется толпа
и жаждет хлеба и киноискусства.
Горят костры, и розоватый дым, —
а если солнце, — золотисто-рыжий,
кружит кругами над футбольной биржей.

над городом, от солнца золотым.
А я в Советской Армии служу,
поскольку в мире существуют войны,
поскольку те, кто миром недовольны,
готовы к мятежу и грабежу.
Горит листва, прощаясь с октябрем,
шумят деревья во дворах соседних...
Все яростней, все ярче с каждым днем
горят костры на улицах осенних.
Вчерашней ночью быстрые шаги
я под окном распахнутым услышал,
и долго-долго чьи-то каблучки
стучали, словно редкий дождь по крышам.
А где покой? — Наверно, только там,
где на камнях истлела позолота,
где теплится свеча по вечерам,
где почернел, открытый всем ветрам,
пропеллер над могилою пилота.
И только дым! Туманная струя
горька, и в то же время сладковата
последняя отрада октября,
последняя осенняя утрата.
В огне, в дыму бульвары и леса,
в языческом костре самосожженья.
За кругом круг — и выше в небеса,
за кругом круг — до головокруженья!



На междугородном телефоне
проплывают в хоре голосов
в разговоре, в шуме и трезвоне
имена далеких городов.
Над землю натянулась нитка,
звонкая, трепещущая нить...
Добрый вечер вам, телефонистка,
надо мне куда-то позвонить.
Расстоянья... Ожиданья... Страсти...
Тесен мир, да нечего сказать.
Не хватает отделений связи,
чтобы все, что надо, увязать.
Разговор коротенький закажешь,
вымолвишь какой-нибудь пустяк,
ничего не скажешь, не докажешь —
три минуты тают на устах.
Я люблю могущество прогресса,
мне его беспомощность мила.
Я хочу сегодня отогреться
у чужого горя и тепла.

Очевидец

В селении Магдагачи
о нем ничего неизвестно.
Он был там в июльской ночи,
он выехал так незаметно.
Бродил у какой-то реки,
а улицы были, как рёки,
моргали вдали огоньки,
да слышались отзвуки речи.
Да ветер вздохнул и принес
горячие запахи теса,
печальное бляенье коз,
протяжный гудок паровоза.
Как много успел подглядеть,
как много успел он запомнить,
осмыслить и запечатлеть,
нечаянный тот незнакомец,
который не знал никогда
названья такого поселка,
случайно заехал сюда
и вскоре пропал, как иголка.



Стояло полсотни домов
вдоль трассы неровным пунктиром.
И, как говорится, любовь
и холод здесь правили миром.
На стройке гудела страда,
машины в тайгу продвигались.
Но камень, земля и вода
отчаянно сопротивлялись.
Коррозия ела металл,
машины сходили с откоса,
и ливень врасплах налетал,
и палки бросались в колеса.
А ночью, готовясь к труду,
вповалку храпели бараки.
Намаявшись лаем к утру,
как мертвые, спали собаки.
Но я в эту ночь не дремал
и что-то в награду увидел,
когда, окунувшись в туман,
на ощупь на просеку вышел.
Кругом залегла тишина,
но вдруг свежим ветром подуло,
и разорвалась пелена,
и солнце в прорыве блеснуло.
И я поглядел — торжество,
мгновенье особого рода,
почти не от мира сего
себе разрешила природа.

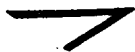
Дальний Восток

Самолет пожирает пространство —
час, другой, — не видать ни зги.
Ни деревни, ни государства,
ни огня — бесконечное царство
бездорожья, тайги и пурги.
Места хватит, а это значит —
можно шастать туда-сюда,
кочевать, корчевать, рыбачить
и судьбу свою переиначить,
если есть такая нужда...

А когда эта жажда охватит —
до свиданья родной порог!
Мне хватило, и сыну хватит,
и его когда-то окатит
околесица русских дорог.

Воспоминание о Польше

По «Гранд-отелю» бродит швед,
скучает с длинноногой шведкою.
Он, видимо, объездил свет
и утомился жизнью светскою.
Он на «Роллс-Ройсе» подлетел
к руинам взорванного здания
и, хлопнув дверцей, оглядел
следы варшавского восстания.
...Так бестолково проживать —
слоняться, морщиться, покуривать
не пропивать, не прожигать,
а просто-напросто прогуливать.
Пускай распнут, пускай сомнут,
но есть у нации наследие,
и эти несколько минут
облагородили столетие.
Жиреет плоть, дымится снедь,
но где-то рядом в смежной области
живут поэзия и смерть
и очищают мир от пошлости.



ГОРОДОК В ТУМАНЕ

(Инспектор Кадавр)

РОМАН*

4. Кража кепки

Взволнованный Луи торопливо шел, почти бежал по улице и, как на буксире, тянул за собой грузного, неуклюжего Мегрэ, который всегда, попав в глупое положение, становился особенно неповоротлив. Хорошенький же был у них видик: молодой парень упрямо тащит за собой пожилого человека, — так какой-нибудь зазывала из кабаре на Монмартре чуть ли не силой волочит оробевшего провинциального буржуа бог знает куда и для каких развлечений.

Они уже дошли до угла переулка, а мать Луи, стоя в дверях, все еще кричала им вслед:

— Может, ты поешь, Луи?

Но Луи ее, наверное, и не слышал. Он был охвачен одной мыслью: он посулил этому господину из Парижа кое-что показать, а теперь совершенно неожиданно случилось так, что он не может сдержать слово. Чего доброго, его еще примут за вздорного болтуна. И не повредит ли это делу, за которое он борется?

— Я хочу, чтобы вы это услышали от самого Дезире. Кепка была у меня, в моей комнате. Я все думаю, может, мать что-нибудь скрыла...

Мегрэ пришла в голову та же мысль, и он подумал, что Кавру ничего не стоило провести простоватую, обремененную детьми и повседневными заботами женщину.

— Который час?

— Десять минут первого.

— Дезире, наверное, еще на заводе. Пошли здесь. Так быстрее.

Луи снова вел Мегрэ какими-то переулками, мимо лачуг — Мегрэ даже не предполагал, что здесь есть такие лачуги. Свинья вылезла из грязной лужи и бросилась им под ноги.

— Как-то вечером, да, как раз в день похорон, старик Дезире пришел в «Золотой лев»... Он бросил на стол кепку и спросил, чья она. Я ее сразу узнал, мы вместе с Альбером покупали в Ниоре, еще поспорили, какого цвета брать...

— Ты кем работаешь? — спросил Мегрэ.

— Плотником. Вот у того толстяка, что сегодня был с нами в «Трех мулах». В тот вечер, про который я вам рассказываю, Дезире был пьян. В кафе за столиками сидело человек шесть по меньшей мере. Я его спросил, где он нашел эту кепку. Да, вы ведь не знаете, что он скупает молоко

* Окончание. См. «Знамя» № 8 за 1966 год.

на маленьких фермах, а туда на грузовике не доберешься, вот он и объезжает их на лодке. «В тростниковых зарослях, — ответил он, — рядом с засохшим тополем...» Так вот, я уже сказал вам, что это слышали человек шесть, если не больше. Ну, а все знают, что засохший тополь стоит между домом мосье Но и тем местом, где нашли тело Альбера... Сюда... Мы идем на молочный завод, вон видите слева трубу?

Они уже миновали окраину городка. Темные изгороди окружали огороды. Чуть дальше стояли низкие белые строения молочного завода, в небе вырисовывалась его высокая труба.

— Да, так вот, даже сам не знаю почему, но сунул я кепку в карман... Я уже тогда почувствовал, что есть люди, заинтересованные в том, чтобы замять это дело. А тут кто-то возьми да и скажи: «Это кепка Ретайо». Дезире, хотя и был пьян, нахмурился. Сообразил, что, пожалуй, кепка валялась в неподходящем месте.

«А ты уверен, Дезире, что нашел ее возле засохшего тополя?»

«А чего же здесь сомневаться?»

— И вот, господин комиссар, на следующий день он уже отказался от своих слов. Когда его просили сказать, где он нашел кепку, он говорил:

«Да там... Не помню я уже... Отстаньте вы от меня с этой кепкой...»

Неподалеку от заводских строений стояли плоскодонные лодки с бидонами молока.

— Эй, Филипп... Папаша Дезире вернулся?

— Откуда он мог вернуться, он вообще еще не появлялся. Видно, вчера опять здорово клякнул и утром не мог продрать глаз.

У Мегрэ мелькнула одна мысль. Он спросил Луи:

— Как ты думаешь, хозяин здесь сейчас?

— Должен быть у себя. Первая дверь направо.

— Подожди меня минутку.

Мегрэ действительно нашел хозяина завода Оскара Друэ в его кабинете. Он разговаривал по телефону. Мегрэ представился. В хозяине ощущались спокойствие и степенность, обличавшие в нем бывшего фермера, которому удалось стать владельцем хоть и не крупного, но все-таки собственного предприятия. Покуривая трубку короткими затяжками, он присматривался к Мегрэ, не перебивал его и старался понять, что за человек его неожиданный визитер.

— Некогда у вас работал отец Альбера Ретайо, не так ли? Мне говорили, он погиб в результате аварии на заводе...

— Взорвался котел.

— Мне также известно, что вы выплачиваете вдове довольно порядочную пенсию...

Хозяин, видно, был умным человеком, ибо он сразу смекнул, что этот коварный вопрос задан неспроста.

— Что вы хотите сказать?

— Вдова судилась с вами или же вы сами...

— Не ищите здесь никакой тайны. Авария произошла по моей вине. Ретайо два месяца твердил мне, что котел нужно капитально отремонтировать или даже сменить. Но был самый сезон молока, и я все откладывал...

— Рабочие у вас застрахованы?

— Страховка ничтожная...

— Простите, я хотел бы задать вам еще один вопрос: это вы считали, что страховка ничтожна, или же...

Они уже поняли друг друга, поняли настолько хорошо, что Мегрэ не закончил фразы.

— Вдова ходатайствовала об увеличении пенсии — и это было ее право, — пожал плечами Оскар Друэ.

— Я убежден, — продолжал комиссар с еле заметной улыбкой, — что она не просто пришла к вам с просьбой решить этот вопрос. Она прислала к вам юриста.

— А что в этом странного? Ведь женщины не разбираются в подобных вещах, не правда ли?.. Я признал, что ее требование обоснованно, и вдобавок к страховой пенсии выплачиваю ей еще некоторую сумму из собственных средств. Кроме того, я платил за обучение ее сына, а через некоторое время взял его к себе на службу. Кстати, я был вознагражден сторицей. Парень оказался честным, толковым, работающим, и он прекрасно вел здесь дело в мое отсутствие.

— Благодарю вас... Еще один вопрос: после смерти Альбера к вам не приходила его мать?

Оскар Друэ с трудом сдержал улыбку, но в его карих глазах мелькнул лукавый огонек.

— Нет, — ответил он, — еще не приходила.

Мегрэ не ошибся в оценке мадам Ретайо. Эта женщина знала, как постоять за себя, и в случае нужды могла перейти в наступление. Она всегда умела соблюдать свою выгоду.

— Говорят, Дезире, ваш служащий, сегодня не вышел на работу?

— Это с ним случается... Когда выпьет лишнее...

Мегрэ вернулся к Луи, который до смерти боялся, что теперь комиссар перестанет всерьез относиться к его словам.

— Что он вам сказал? Он хороший человек, только из другого лагеря...

— Какого лагеря?

— Из лагеря мосье Но, доктора, мэра... Но он ничего не мог вам сказать плохого обо мне...

— Да нет...

— Нам надо найти папашу Дезире. Если вы не против, зайдем к нему домой. Это недалеко...

И они зашагали обратно, совершенно забыв, что наступило время обеда. Войдя в город, они задами прошли к одному из домов, и Луи, постучав в застекленную дверь, толкнул ее и крикнул в темноту:

— Дезире, эй, Дезире!

Никакого ответа. Только кот выскочил откуда-то из угла и стал тереться об ногу Луи. В комнате, напоминавшей берлогу, Мегрэ, приглядевшись, увидел кровать без простынь и подушки — хозяин, видимо, спал не раздеваясь, — чугунную печурку, какие-то лохмотья, обглоданные кости, батарею пустых винных бутылок.

— Небось, пьет где-нибудь. Идемте.

Все еще опасаясь, что Мегрэ не принимает его всерьез, Луи начал объяснять:

— Понимаете, Дезире работал у Этьена Но... И хотя его выгнали, он не хочет с ним ссориться... Он из тех, кто не любит портить отношения с кем бы то ни было. Вот почему на завтра, когда его снова спросили о кепке, он стал ломать комедию. «Какая кепка? Ах да, та грязная тряпка, что я подобрал где-то там, в канаве? Даже не знаю, куда она делась...» А я вот, честное слово, мосье, видел на кепке следы крови... И я написал об этом прокурору...

— Так это ты посылал анонимные письма?

— Да, три письма. Если их было больше, то остальные писал кто-то другой. Я написал о кепке, потом об отношениях Альбера с Женевьевой Но... Подождите, может быть, Дезире здесь...

Они остановились у бакалейной лавки. Сквозь витрину Мегрэ увидел на конце прилавка бутылки, а в глубине зала два столика для посетителей. Луи вернулся ни с чем.

— Он уже побывал здесь рано утром. Должно быть, успел все лавочки обегать...

До сих пор Мегрэ видел всего два кафе: «Золотой лев» и «Три мула». За какие-нибудь полчаса Луи показал ему не меньше дюжины подобных заведений. Это не были настоящие бистро. Просто лавчонки, неискусшен-

ный прохожий их даже и не заметил бы. Шорник открыл распивочную рядом со своей мастерской. Кузнец — тоже. И почти всюду Дезире уже успел побывать.

— Каков он был?

— Хорош!

Ясно, что это означало.

— Уходя отсюда, он, говорят, торопился: у него были какие-то дела на почте... Сейчас почта закрыта, — добавил Луи, — но я знаю девушку, которая там работает. Мы постучим к ней в окошечко, и она откроет.

— Прекрасно, тем более что мне необходимо позвонить по телефону, — согласился Мегрэ.

И впрямь, стоило только Луи постучать, как окошечко приоткрылось.

— Это ты, Луи? Что тебе нужно?

— Мосье из Парижа, ему надо позвонить.

— Сейчас открою.

Мегрэ попросил соединить его с домом мосье Но.

— Алло! Кто у телефона?

Голос был мужской, но Мегрэ не узнал его.

— Алло! Что вы сказали? Ах, простите... Это мосье Гру-Котель у телефона? Я не узнал ваш голос. Говорит Мегрэ. Передайте, пожалуйста, мадам Но, что я не смогу быть к обеду... Да, да, и мои извинения... Нет, ничего особенного... Я еще не знаю, когда вернусь.

Мегрэ вышел из кабины и по лицу Луи понял, что у того есть какие-то интересные новости.

— Сколько с меня, мадемуазель? Спасибо. Простите за беспокойство.

На улице Луи, страшно взволнованный, стал рассказывать:

— Я же вам говорил: происходит что-то странное. Часов в одиннадцать на почту приходил папаша Дезире. И знаете, зачем? Он послал пятьсот франков сыну в Марокко... Его сын — дрянь порядочная, почему-то ему взбрело в голову уехать туда. Когда он был здесь, они со стариком каждый день скандалили и дрались... Дезире никогда не видели трезвым. Теперь сын изредка пришлет ему письмецо и всегда жалуется, просит денег. А Дезире все деньги пропивает. У него никогда нет ни су. Случается, в начале месяца он пошлет сыну франков двадцать, а то и десять... Да, так вот я не понимаю... Подождите... Если у вас есть еще время, мы зайдем к его свояченице.

Мегрэ уже узнавал улочки и дома, ведь с самого утра они бродили по одним и тем же местам. Теперь ему были уже знакомы лица прохожих и фамилии лавочников на вывесках. Погода не только не разгулялась, но стала еще пасмурнее. Воздух был тяжелый, сырой, тумана, правда, пока не было, но чувствовалось, что он вот-вот окутает землю.

— Его свояченица занимается вязанием. Она старая дева и была в услужении у бывшего кюре. Нам сюда...

Луи поднялся по ступенькам, которые вели к выкрашенной в голубой цвет двери, постучал, вошел в дом.

— Дезире не у вас?

И тут же знаком подозвал Мегрэ.

— Привет, Дезире... Мадемуазель Жанна, простите меня... Вот мосье из Парижа хочет поговорить с вашим шурином...

Они очутились в очень чистой небольшой комнатке. Перед кроватью красного дерева, на которой возвышалась огромная, алого цвета перина, стоял накрытый стол. На столе — расписная тарелка с двумя отбивными. В углу над распятием висела ветка самшита, на комодке под стеклянным колпаком красовалась статуэтка богородицы.

Дезире попытался было приподняться, но понял, что рискует свалиться со стула, и потому остался сидеть неподвижно, пытаясь сохранить достойный вид, и бормотал, еле ворочая языком:

— Чем могу служить?

Он был вежлив, Дезире, и не уставал напоминать об этом: .

— Может, я пьян... Правильно, я, может, немножко выпил, но, мосье, я всегда вежлив... Вам любой подтвердит, что Дезире со всеми вежлив...

— Послушайте, Дезире, мосье нужно знать, где вы нашли кепку... Кепку Альбера...

Этих слов было достаточно, чтобы пьяница словно язык проглотил. Лицо его сразу приобрело совершенно тупое выражение, а глаза, и без того уже мутные, стали совсем осоловелыми.

— Не понимаю, чего тебе от меня надо...

— Не стройте из себя дурака, Дезире. Все равно кепка у меня... Помните, в тот вечер вы принесли ее к папаше Франсуа, бросили на стол и сказали, что вот, мол, нашли рядом с засохшим тополем...

Тут старую обезьяну словно прорвало. Дезире не просто все отрицал, он еще при этом кривлялся, с удовольствием смаковал ложь.

— Вы подумайте только, что он говорит, мосье! Зачем мне было бросать кепку на столик? А? Я никогда не носил кепку... Жанна! Где моя шляпа? Покажи-ка мосье мою шляпу... Ну и молодежь пошла, никакого уважения старикам!

— Дезире...

— Что это за «Дезире»... Может, Дезире и пьян, но он всегда вежлив и просит тебя называть его «мосье Дезире»! Ты слышишь, сопляк, ублюдок несчастный!

— У вас есть какие-нибудь известия от вашего сына? — неожиданно вмешался Мегрэ.

— Чего? От сына? А что он вам сделал, мой сын? Мой сын — солдат. Мой сын — замечательный парень!

— Это я и хотел сказать. Он наверняка будет очень рад, когда получит деньги.

— А что, разве я не имею права послать деньги собственному сыну? Ты слышишь, Жанна? Может, и зайти пообедать к свояченице я тоже не имею права?

Возможно, вначале Дезире и струхнул немного, но теперь он просто потешался. Он так увлекся, разыгрывая этот спектакль, что, когда Мегрэ наконец направился к двери, он, шатаясь, проводил его до порога и вышел бы даже на улицу, если б Жанна не остановила его.

— Дезире — вежливый человек... Слышишь, сопляк?.. А вы, парижанин, если вам кто-нибудь скажет, что сын Дезире не замечательный парень...

Из соседних дверей стали высовываться головы любопытных, и Мегрэ поторопился уйти.

Со слезами на глазах, сжав зубы, Луи бормотал:

— Господин комиссар, клянусь вам...

— Не волнуйся, мальчик, я тебе верю...

— Это дело того типа, что остановился в «Золотом льве», да?

— Убежден. Но мне хотелось бы получить доказательства. Не знаешь ли ты кого-нибудь, кто был вчера в «Золотом льве»?

— Наверняка — сын Либоро. Он проводит там все вечера.

— Тогда сделаем так: я тебя подожду в «Трех мулах», а ты пойдешь к нему и спроси, видел ли он там Дезире и разговаривал ли тот с приезжим из Парижа... Подожди... В «Трех мулах», наверное, можно поесть. Давай перекусим там вместе. Беги быстренько.

Столик без скатерти, приборы из жести, ничего, кроме свекольного салата, кролика, куска сыра и скверного белого вина... Луи, вернувшись, сел рядом с комиссаром.

— Ну что?

— Дезире был в «Золотом льве».

— Он разговаривал с Кадавром?

— С чем?

— Не обращай внимания. Это его прозвище. Он с ним разговаривал?

— Нет, все произошло иначе. Тот, кого вы называете Ка... Как-то странно звучит.

— Его зовут Жюстен Кавр.

— Так вот, Либоро сказал, что мосье Кавр почти весь вечер сидел и молча смотрел, как играют в карты. Дезире расположился в другом углу. Часов в десять Дезире ушел, немного погодя Либоро заметил, что парижанин тоже исчез. Но он не знает, вышел ли тот на улицу или поднялся к себе в номер.

— Думаю, он уходил.

— Что вы теперь будете делать?

Луи, гордый тем, что комиссар взял его себе в помощники, горел желанием действовать.

— Кто видел в руках мадам Ретайо крупную сумму денег?

— Почтальон. Иозафат. Тоже хороший пьяница. Его прозвали Иозафатом, потому что, когда умерла его жена, он надрызгался еще больше обычного и, рыдая, все время твердил: «Прощай, Селина... Мы встретимся с тобой в Иозафатской долине... Рассчитывай на меня...»

— Что вам подать на сладкое? — спросила хозяйка. Она так и ходила, держа своего малыша, и все делала одной рукой. — Есть печенье и яблоки.

— Выбирай, — сказал Мегрэ.

— Мне все равно. — Луи смутился и покраснел. — Печенье. Вот как было дело. Дней через десять — двенадцать после похорон Альбера к мадам Ретайо пришел Иозафат, принес какое-то извещение об оплате. Она хлопотала по хозяйству. В кошельке у нее денег оказалось мало — ей не хватило пятидесяти франков. Она подошла к комоду, на котором стоит супница. Вы ее, наверное, заметили. В синих цветочках... Мадам Ретайо встала к почтальону спиной, чтобы он не увидел, что она делает, но Иозафат вечером клялся, что он разглядел у нее в руках пачку тысячефранковых — штук десять, а может, и больше. Вот так... А ведь все знают, что у мадам Ретайо таких денег никогда не водилось... Альбер тратил все, что зарабатывал.

— На что?

— Он любил пофрантить. Это ведь не порок. Одеться хорошо любил, костюмы себе заказывал в Ниоре. Друзей любил угостить... А матери он говорил, что раз у нее есть пенсия...

— Они ссорились?

— Случалось... Альбер считал себя взрослым, понимаете? А мать продолжала обращаться с ним, как с ребенком. Если б он слушался ее, он бы по вечерам никуда не ходил, а уж в кафе и ноги б его не было... Вот моя мать, та наоборот... По ней лишь бы я дома поменьше торчал...

— Где бы найти этого Иозафата?

— Сейчас он уже должен быть дома или вот-вот вернется. А через полчаса он пойдет к поезду, чтобы забрать мешки со второй почтой.

— Будьте добры, принесите нам по рюмке коньяку, — попросил Мегрэ хозяйку.

Сквозь занавески Мегрэ смотрел на окна «Золотого льва» и думал о том, что и Кадавр, наверное, сейчас тоже обедает и следит за «Тремя мулами». Но вскоре Мегрэ увидел, что ошибся: послышался шум мотора, и к гостинице «Золотой лев» подкатила машина. Из машины вышел Кавр со своим неизменным портфелем под мышкой. Расплачиваясь, он долго торговался с шофером.

— Чья это машина?

— Хозяина гаража. Мы только что проходили мимо. Иногда, если надо перевезти больного или нужно срочно поехать куда, он подрабатывает.

Машина развернулась, но, судя по тому, что шум мотора резко оборвался, остановилась она недалеко.

— Слышите? Он въехал в гараж.

— Ты с ним хорош?

— Он приятель моего хозяина.

— Пойди спроси у него, куда он возил своего пассажира.

Не прошло и пяти минут, как Луи, запыхавшись, вбежал обратно в кафе.

— Они ездили в Фонтенэ-ле-Конт. Отсюда ровно двадцать два километра.

— Ты не узнал, куда именно?

— Ему велели остановиться на улице Республики, у кафе «Коммерс». Парижанин зашел туда, потом вышел с кем-то, а шоферу приказал ждать...

— А ты не знаешь, кто был с ним?

— Шофер никогда раньше этого человека не видел... Они куда-то уходили на полчаса... А потом этот Кадавр, как вы его назвали, велел везти обратно... На чай он дал всего пять франков...

«А не ездил ли в Фонтенэ-ле-Конт и Этьен Но?»

— Пошли к Иозафату.

Дома Иозафата не оказалось, он уже ушел. Мегрэ и Луи разыскали его на станции, где он ждал поезда. Увидев на другом конце платформы Мегрэ и его спутника, Иозафат явно всполошился и юркнул в комнату начальника станции, словно был очень занят.

Но Мегрэ и Луи дождались, когда он вышел.

— Иозафат! — окликнул его Луи.

— Чего тебе? Некогда мне с тобой лясы точить...

— С тобой хотят поговорить.

— Кто? Я на работе, а когда я на работе...

Мегрэ с трудом удалось оттиснуть его от здания станции в пустынную часть платформы, между уборной и будкой для хранения осветительного инвентаря.

— Один вопрос...

Иозафат был настороже, это чувствовалось. Он прикидывался, что слышит подъезжающий поезд, и готов был кинуться к почтовому вагону и в то же время бросал злобные взгляды на Луи, который поставил его в такое неприятное положение.

Мегрэ понял, что ему ничего не узнать, — Кавр и тут опередил его.

— Скорее, подходит поезд, — торопил Иозафат.

— Недели две назад вы были у мадам Ретай, принесли ей извещение о задолженности...

— Я не имею права разглашать служебные тайны...

— И тем не менее в тот же вечер вы разболтали об этом...

— При мне, — вмешался Луи. — И там еще были Аврар, Лерито и младший Кроман...

Иозафат с глупым и одновременно наглым видом, покачиваясь, переступал с ноги на ногу.

— А вы кто такие, чтобы допрашивать меня?

— Тебя уже и спросить ни о чем нельзя? Ты, что, папа римский, что ли?

— А если я потребую у него документы, у этого типа, который с утра шляется по улицам, а?

Мегрэ хотел было уйти, понимая, что настаивать бесполезно, но Луи, возмущенный такой очевидной подлостью, не отступал:

— И ты осмелишься утверждать, что не рассказывал о тысячефранковых бумажках в супнице?

— А почему же не осмелюсь? Не ты ли мне это запретишь?

— Ты рассказывал. И вот увидишь, я добьюсь, что другие тебе тоже об этом напомним. Ты даже сказал, что деньги были скреплены булавкой...

Иозафат лишь пожал плечами и поспешил к тому месту, где всегда останавливался почтовый вагон: на этот раз поезд действительно подходил к вокзалу.

— Негодяй! — пробормотал сквозь зубы Луи. — Вы слышали, что он сказал? И все-таки верьте мне. С чего мне врать? Но я знал, что так оно и будет...

— Почему?

— Потому что, когда дело касается их, всегда так бывает...

— Кого это «их»?

— Всех этих... Не знаю, как вам объяснить... Они все друг за друга... Они богатые... У них родственники или друзья всякие там префекты, генералы, судьи... Не знаю, понимаете ли вы, что я хочу сказать... Ну, и все их боятся... Иногда кто-нибудь спяну вечером и сболтнет что-нибудь, а на следующий день он уже сожалеет об этом... Ну, а что вы теперь будете делать? Уедете в Париж?

— Нет, конечно, нет, мой мальчик. Почему ты так решил?

— Не знаю... Тот выглядит... — Луи замялся. Он явно собирался сказать что-нибудь вроде: «Тот, другой, выглядит настолько сильнее вас!»

А ведь так оно и было. В тумане, который, словно сумерки, опустился на землю, Мегрэ казалось, что он видит лицо Кавра, на тонких губах которого играет насмешливая улыбка.

— А тебе не влетит от хозяина, что ты до сих пор не на работе?

— Что вы, нет! Он не с ними... Если бы он мог помочь нам доказать, что беднягу Альбера убили, он бы это сделал, уверяю вас...

Мегрэ вздрогнул, услышав, как за его спиной кто-то спросил:

— Скажите, пожалуйста, как пройти в гостиницу «Золотой лев»?

Железнодорожный служащий, стоявший у выхода, указал на улицу, которая начиналась метрах в ста от станции.

— Идите прямо... Там, слева, увидите.

Толстенный, щеголеватый на вид человек тащил чемодан, который, казалось, был не меньше его самого, и тщательно искал взглядом носильщика. Но напрасно Мегрэ внимательно с ног до головы оглядел приезжего. Он никогда его прежде не видел.

5. Три женщины в гостинице

Понурился, Луи торопливо зашагал прочь, но, прежде чем исчезнуть в тумане, крикнул:

— Если я вам понадоблюсь, я весь вечер буду в «Трех мулах»!

Было пять часов вечера. Плотная белая пелена и темень окутали городок. Мегрэ предстояло пройти всю главную улицу Сент-Обена, чтобы добраться до станции, а там уже он найдет дорогу к дому Этьена Но. Правда, Луи предложил проводить его, но всему есть предел. Мегрэ устал, ему трудно было поспевать за этим нетерпеливым и лихорадочно возбужденным юношей, который все время будто волочил его за собой.

Прощаясь, Луи сказал ему с упреком:

— Эти люди (он, конечно, имел в виду семью Но) будут вас там обхаживать, и вы поверите всем их рассказам... — В голосе его Мегрэ уловил подлинную горечь...

Засунув руки в карманы и подняв воротник плаща, Мегрэ осторожно шел, ориентируясь, словно на маяки, на тусклый свет фонарей. Сквозь туман казалось, что они где-то далеко, и это в конце концов сбilo его с толку: он чуть не налетел на витрину Вандейского кооператива — он уже

ощутил рукой холод стекла. Он проходил здесь в этот день чуть не двадцать раз — то была узкая лавочка, недавно выкрашенная в зеленый цвет, с выставленными в окне безделушками.

Пройдя еще немного, он снова наткнулся на что-то и долго в недоумении ощупывал некий странный предмет, пока наконец не понял, что застрял между экипажами, стоявшими с поднятыми оглоблями у шорной мастерской.

Неожиданно прямо над его головой раздался колокольный звон. Значит, он идет мимо церкви. В таком случае справа — почта с маленьким, как в кукольном домике, окошком, а напротив — дом доктора, затем на одной стороне улицы гостиница «Золотой лев» и на другой — «Три мула». Странно было даже подумать о том, что всюду, где виднеется свет, живут люди, живут в тепле и уюте, в то время как вокруг такой мрак и холод.

Сент-Обен — небольшой городок. Вот уже и огни молочного завода. В этой темени представлялось, что там, недалеко, не крохотный заводик, а большое промышленное предприятие. У станции стоял паровоз без вагонов и изрыгал языки пламени.

Вот в этом мирке и жил Альбер Ретайо. Его мать никогда нигде не бывала, не видела ничего, кроме своего маленького городка. И Женевьева Но тоже редко покидала его.

Мегрэ вспомнил, как, подъезжая к Ниору, он смотрел на мокнущие под дождем пустынные улицы, на шеренги газовых фонарей, на дома со слепыми окнами и думал: «А ведь есть люди, которые всю свою жизнь проведут вот на такой улочке».

Нащупывая ногой тропинку, Мегрэ теперь шел вдоль канала, ориентируясь на очередной «маяк» — свет в доме Но. Сколько раз морозной ночью или сквозь пелену дождя Мегрэ из окна вагона смотрел на такие вот уединенные дома, где лишь желтый квадрат освещенного окна говорил о том, что они обитаемы! Мегрэ давал волю своему воображению, пытаясь представить себе живущих там людей...

И вот сейчас он окажется в одной из таких обителей.

Мегрэ поднялся по ступенькам, поискал звонок и только тут увидел, что дверь приотворена. Тогда он вошел в переднюю, ступая нарочито громко, чтобы дать знать о себе, но, несмотря на это, монотонный монолог в гостиной продолжался. Мегрэ снял мокрый плащ, шляпу, вытер ноги о коврик и постучался.

— Войдите... Женевьева, открой дверь.

Но Мегрэ уже сам распахнул ее. В гостиной, освещенной лишь одной лампой, он увидел у камина мадам Но с шитьем в руках, против нее — пожилую даму и девушку, которая шла к нему навстречу.

— Простите, я, может быть, не вовремя...

Девушка с тревогой смотрела на Мегрэ — не выдаст ли он ее. Он лишь молча поклонился ей.

— Ну что вы, господин комиссар... Моя дочь Женевьева... Она так жаждала познакомиться с вами, что вся ее хворь улетучилась... Разрешите представить вас моей матери...

Так вот она какая, Клементина Брежон, урожденная Ла Ну, которую все здесь фамильярно называли просто старой Тинной. Маленькая, живая, она вскочила и, гримасничая, заговорила резким фальцетом. Подвижная физиономия ее до странности походила на лицо Вольтера, каким его изображают скульпторы.

— Ну как, комиссар, взбудоражили наш бедный Сент-Обен? Раз десять — да что я говорю, гораздо больше! — я видела, как вы проходили мимо моего дома, а после обеда смотрю — вы уже и помощника себе завербовали... Луиза, знаешь, кто служил комиссару поводырем?

Интересно, она выбрала слово «поводырь», чтобы подчеркнуть комизм положения: щупленький Луи водит за собой огромного, толстого Мегрэ!

Луиза Но, которая отнюдь не унаследовала живости своей матери, продолжала молча сидеть, склонившись над шитьем и покачивая головой; только слабая улыбка на ее длинном бледном лице свидетельствовала о том, что она внимательно слушает.

— Сын Фийу... Этого следовало ожидать... Мальчишка, верно, специально искал вас, комиссар... Небось, нарасказал вам с три короба...

— Нет, мадам, отнюдь. Он только помог мне найти тех, кого я хотел повидать. Без него мне пришлось бы туго, ведь местные жители не очень-то общительны.

Женевьева села на свое место и теперь пристально смотрела на Мегрэ, словно он загнипотизировал ее. Мадам Но время от времени поднимала глаза от шитья и украдкой бросала взгляд на дочь.

Гостиния выглядела точно так же, как вчера, все вещи неизбежно стояли на своих местах, создавая ощущение покоя, и одна лишь мадам Брежон вносила в эту аморфную атмосферу какую-то энергию...

— Я, комиссар, уже старуха. Помню, однажды тоже было, весь наш городок взбаламутился, и куда больше, чем теперь... В Сент-Обене чуть междоусобица не вспыхнула. Существовала здесь мастерская сабо, работало в ней человек пятьдесят — и мужчины и женщины. А время смутное было — по всей Франции то и дело вспыхивали забастовки, рабочие, чуть что, сразу устраивали демонстрации...

Мадам Но, слушая мать, подняла голову от шитья, и Мегрэ прочел на ее худом лице, поразительно похожем на лицо судьи Брежона, тревогу, которую она тщетно пыталась скрыть.

— Был там один рабочий, Фийу его звали. Неплохой человек, но любил выпить, а уж как выпьет, возомнит себя трибуном. И с чего же все началось? В один прекрасный день приходит он к хозяину и предъявляет ему разные требования, не знаю уж там, какие. А через несколько минут дверь распахивается, и из нее спиной вперед пулей вылетает этот самый Фийу и, пролетев несколько метров, плюхается в канал.

— Это был отец моего провожатого?

— Да, отец. Теперь его уже нет в живых. Да, так вот заварилась тогда такая каша... Одни — за Фийу, другие — за хозяина, никто не остался безучастным. Сторонники хозяина утверждали, будто Фийу явился в контору пьяным и вел себя глупейшим образом, так что хозяину пришлось силой вышвырнуть его, а дружки Фийу кричали, якобы хозяин был безобразно груб и, в частности, когда речь зашла о детях, цинично сказал: «Что я могу поделывать, если по субботам мои рабочие напиваются и от скуки делают детей?»

— Вы сказали, что Фийу умер?

— Да, два года назад. От рака желудка.

— А тогда, во время этой истории, многие были на его стороне?

— Да нет, не очень, но зато уж его дружки так его защищали!.. Каждое утро их противники обнаруживали у себя на дверях угрожающие надписи мелом...

— Так вы хотите сказать, мадам, что истории Фийу и Ретайо схожи?

— Я ничего не хочу сказать, комиссар. Вы же знаете, старики любят поболтать. В каждом городке случаются подобные истории. У нас — с Фийу или с Ретайо, у других — еще что-нибудь. Без этого жизнь была бы ужасно однообразной. И всегда находится кучка смутьянов, которые подливают масла в огонь...

— А чем кончилось дело Фийу?

— Замяли. естественно.

«Ну, конечно, замяли — просто замолчали», — усмехнулся про себя Мегрэ. Как бы ни старалась небольшая группка борцов за справедливость, молчание сильнее. Ведь именно на молчание он, Мегрэ, и наталкивался весь день.

Впрочем, он почувствовал, что за то время, что он сидит в гостиной, он и сам словно бы изменился, и это было неприятно ему.

С раннего утра и почти до вечера мрачно и упорно он таскался по улицам за Луи, который в какой-то степени заразил его своей одержимостью.

— Он из тех... — говорил о ком-нибудь Луи.

«Быть из тех» в его понимании означало быть соучастником в заговоре молчания, принадлежать к числу людей, которые хотят жить, закрывая на все глаза, не вмешиваясь ни в какие истории, жить так, словно все в этом мире устроено наилучшим образом.

В глубине души Мегрэ целиком был на стороне тех, кто не хотел мириться с таким взглядом на жизнь, — на стороне бунтовщиков. С ними чокался он в «Трех мулах», перед ними он отрекся от Этьена Но, заявив, что не собирается защищать его. А когда Луи выразил сомнение в его искренности, он готов был поклясться этому юнцу в верности.

И все же Луи не ошибся, не зря он, прощаясь, с подозрением поглядел на комиссара, смутно предчувствуя, что произойдет, когда тот вернется во вражеский лагерь. Потому он так настойчиво стремился проводить комиссара до самой двери дома Но, что хотел убедить его в своей правоте, предостеречь от слабости.

— Если я вам понадобится, я весь вечер буду в «Трех мулах»...

Зря он его прождет. Сейчас, сидя в уютной гостиной, Мегрэ испытывал нечто вроде стыда, вспоминая, как он, комиссар Мегрэ, вместе с каким-то мальчишкой шнырял по этому мертвому городку и каждый раз, когда пытался задать кому-нибудь вопрос, получал щелчок по носу.

На стене висел портрет судьи Брежона. Накануне Мегрэ не заметил его. Брежон смотрел в упор на комиссара и, казалось, говорил ему: «Не забудьте, какое поручение я вам дал...»

Мегрэ перевел взгляд на руки Луизы Но, занятые шитьем. Они поразили его своей нервозностью. Ее лицо сейчас было почти безмятежно, но руки выдавали панический ужас, который ей трудно было скрыть.

— Что вы думаете о нашем докторе? — продолжала болтать старая Тина. — Оригинал, не правда ли? Вы в Париже все очень заблуждаетесь, считая, что в провинции нет интересных людей. О, пожилы б вы здесь хотя бы месяца два... Луиза, а твой муж скоро вернется?

— Он недавно звонил и сказал, что придет поздно, его вызвали в Ла Рош. Он просил меня, господин комиссар, извиниться за него перед вами...

— Это я должен просить прощения, что не смог быть к обеду.

— Женевьева, предложи господину комиссару рюмку аперитива...

— Ну, дети, мне пора домой, — поднялась с кресла мадам Брежон.

— Поужинайте с нами, мама. Этьен вернется и отвезет вас на машине.

— Нет уж, доченька. Пока еще я не нуждаюсь в том, чтобы меня отвозили...

Ей помогли завязать бант ее старомодной черной шляпки, которую она кокетливо носила на самой макушке, натянули на туфли ботинки.

— Может, приказать запрячь лошадь?

— Запряжете на мои похороны. До свидания, комиссар. Если вы снова будете проходить мимо моих окон, милости прошу ко мне... Спокойной ночи, Луиза. Спокойной ночи, Женевьева.

Дверь за мадам Брежон затворилась, и сразу же атмосфера в гостиной стала совсем иной. И тут Мегрэ понял, почему мадам Но так старалась задержать старуху. После ее ухода на плечи оставшихся навалилась тишина, зловещая, гнетущая тишина. Казалось, что из всех щелей лезет страх. Пальцы Луизы Но стали двигаться над работой еще быстрее и судорожнее, а Женевьева явно искала предлог, чтобы покинуть гостиную, но не могла решиться.

Мегрэ подумал, что вот Альбера Ретайо уже нет, он погиб, и его обезображенное тело нашли на железнодорожном полотне, но здесь, в этой комнате, сейчас незримо находится крохотное живое существо, его сын, кото-

рый. через несколько месяцев появится на свет. Эта мысль невольно волновала его.

Когда Мегрэ поворачивался к Женевьеве, она отнюдь не отводила глаз. Она сидела прямо и даже как бы нарочно подставляла ему свое лицо, словно говоря: «Нет, вам это не приснилось. Сегодня ночью я была у вас в комнате, и я не лунатик. Все, что я вам сказала, правда. И вы видите, меня это не смущает. И я не сумасшедшая. Да, Альбер был моим любовником, и у меня будет от него ребенок».

Итак, значит, сын той самой мадам Ретайо, которая столь энергично отстаивала свои права после гибели мужа, юный и пылкий друг молодого Фийю, по ночам незаметно проникал в этот дом. А Женевьева принимала его у себя в спальне, помещавшейся в конце правого крыла.

— Простите, но если вы не возражаете, я хотел бы пройтись по двору, познакомиться с вашим хозяйством, — обратился Мегрэ к мадам Но.

— Позвольте мне составить вам компанию.

— Ты простудишься, Женевьева.

— Нет, мама. Я накину что-нибудь на плечи.

Женевьева принесла из кухни зажженный фонарь. Они вышли в переднюю, и Мегрэ помог ей надеть плащ.

— Что вы хотите посмотреть? — тихо спросила она.

— Выйдем во двор.

— Пройдемте здесь, чтобы не обходить дом... Осторожно, ступеньки...

Двери хлева были раскрыты, там горел свет, но сквозь пелену тумана ничего нельзя было различить.

— Ваша комната, кажется, вон та, над нами?

— Да... Я догадываюсь, о чем вы думаете... Он входил не через дверь, как вы понимаете... Идемте... Видите приставную лестницу?.. Она всегда здесь... Ему оставалось только передвинуть ее правее метра на два...

— Где спальня ваших родителей?

— Через три окна.

— А окна между?..

— Одна комната для гостей, там сегодня ночевал мосье Альбан, а вторая всегда заперта — в ней умерла моя сестренка. Только у мамы есть от нее ключ.

Женевьеву знобило, но она старалась скрыть это: ей не хотелось, чтобы Мегрэ подумал, будто она стремится скорее закончить разговор:

— Родители никогда ни о чем не догадывались?

— Нет.

— А когда это началось?

Женевьеве не пришлось долго вспоминать.

— Три с половиной месяца назад.

— Ретайо были известны последствия вашей любви?

— Да.

— Каковы были его намерения?

— Во всем признаться моим родителям и жениться на мне.

— Чем он был так взбешен в последний вечер?

Мегрэ пристально смотрел на нее, пытаясь в темноте увидеть выражение лица девушки. По ее молчанию он понял, что она ошеломлена его вопросом.

— Я спросил вас...

— Я слышала.

— Так что же?

— Не понимаю... Почему вы решили, что он был взбешен?

Руки у Женевьевы дрожали, как недавно у ее матери. Фонарь так и плясал у нее в руках.

— В тот вечер между вами не произошло ничего особенного?

— Нет, ничего.

— Альбер выбрался через окно, как обычно?

— Да... Ночь была лунная... Я видела, как он пошел в глубь двора. Там он обычно перелезал через забор и выходил на дорогу...

— В котором часу это было?

— Около половины первого...

— Он всегда оставался у вас так недолго?

— Что вы хотите сказать?

Женевьева старалась выиграть время. В окне, близ которого они стояли, было видно, как старая кухарка ходит взад и вперед по кухне.

— Он пришел к вам около двенадцати. Я думаю, что обычно он не уходил так скоро... Вы не поссорились?

— Почему мы должны были поссориться?

— Не знаю... Я просто спрашиваю...

— Нет.

— Когда он собирался поговорить с вашими родителями?

— Вскоре... Мы ждали удобного случая...

— Постарайтесь все вспомнить... Когда он уходил, вы нигде не видели света?.. Не слышали никакого шума?.. Никого не заметили во дворе?

— Нет, никого... Клянусь вам, господин комиссар, я ничего не знаю. Вы можете мне не верить, но это правда... Никогда, слышите, никогда я не признаюсь отцу в том, в чем я призналась вам сегодня ночью. Я уеду... Я еще не знаю, что я сделаю...

— Почему вы мне это рассказали?

— Трудно сказать... Испугалась... Подумала, что вы все раскроете и скажете моим родителям...

— Давайте вернемся в дом. Вы дрожите...

— Так вы не скажете?

Мегрэ колебался. Он не хотел связывать себя обещанием и только прошептал:

— Доверьтесь мне.

Неужели он тоже «из тех», выражаясь словами Луи? О, теперь он великолепно сознавал, что это значит. Альбер Ретайо мертв. Похоронен. И большинство жителей Сент-Обена считают, что, раз юношу невозможно воскресить, разумнее всего больше не вспоминать о нем.

Быть «из тех» означало принадлежать к этому большинству. Ведь даже сама мать Альбера Ретайо была «из тех», вот почему она делает вид, что не понимает, из-за чего поднялся весь этот шум.

А те, кто вначале был не с ними, постепенно переметнулись в их лагерь. Вот Дезире божится, что никакой кепки он не находил. Какая, мол, там еще кепка? А между тем сейчас у него завелись деньжата, он может пить вволю, он послал пятьсот франков своему негодяю сыну.

Почтальон Иозафат не помнит, чтобы он видел тысячефранковые бумажки в супнице.

Этьен Но раздражен тем, что его шурин прислал в Сент-Обен такого человека, как Мегрэ, который вбил себе в голову во что бы то ни стало докопаться до истины.

До какой истины? Кому она нужна?

Лишь небольшая группка завсегдатаев «Трех мулов» — плотник, возчик да этот мальчишка Луи Фийу, отец которого, кстати, был известным заводилой, — мутит воду.

— Вы, верно, проголодались, господин комиссар? — спросила мадам Но у Мегрэ, когда он вернулся в гостиную. — А где моя дочь?

— Мы вместе вошли в дом. Думаю, она на минутку поднялась к себе в комнату.

Последующие четверть часа были поистине ужасны. Они сидели одни в этой старомодной, жарко натопленной гостиной, где из камина, разбрасываемая искры, то и дело выпадали дымящиеся щепки. От лампы с розовым абажуром падал мягкий, приглушенный свет. Было тихо, и лишь привычные звуки, долетавшие из кухни, нарушали эту мертвую тишину: вот под-

кладывают в плиту дрова, вот повесили на гвоздь сковороду, вот поставили на стол тарелку.

Мегрэ видел, что мадам Но хочет сказать ему что-то. Достаточно было взглянуть на нее, чтобы понять это. Казалось, какой-то бес так и подбивает ее начать разговор.

Но что сказать? Она терзалась, время от времени, решившись, открывала рот, и Мегрэ со страхом ждал, что же она скажет.

Но она ничего не говорила. Нервная спазма сжимала ей горло, плечи ее вздрагивали, и, придавленная тишиной и безмолвием, отгораживающими их от всего мира, она продолжала шить мелкими стежками.

Знает ли она, что между ее дочерью и Ретайо?..

— Разрешите закурить, мадам?

Она вздрогнула, ожидая, видимо, что он скажет что-то другое.

— Прощу вас, не стесняйтесь, пожалуйста...

Внезапно она выпрямила спину и прислушалась.

— Боже мой...

К чему относилось это «боже мой»? Она явно мечтала, чтобы скорее вернулся муж, чтобы кто-нибудь, все равно кто, пришел бы и положил конец ее мучениям.

И тогда Мегрэ почувствовал угрызения совести. Что мешало ему подняться с кресла и сказать: «Мне кажется, ваш брат напрасно попросил меня приехать к вам. Мне здесь нечего делать. Вся эта история меня не касается. И если вы не возражаете, я, поблагодарив вас за прием, уеду ближайшим же парижским поездом»?

Но перед его глазами стояло бледное лицо Луи, молящие глаза юноши, его ироническая усмешка.

И еще — это главное! — перед глазами его стоял Кавр с портфелем под мышкой. Кавр, которому после стольких лет судьба дала наконец-то возможность взять верх над своим бывшим начальником, которого он ненавидел.

А Кавр действительно ненавидел его. И не только его, он ненавидел всех, но Мегрэ особенно. Глядя на Мегрэ, он всегда думал, что и его, Кавра, судьба могла сложиться столь же удачно.

Какую кропотливую, скрытную работу вел этот самый Кавр со вчерашнего дня, с того самого момента, как они вместе вышли из поезда!

Тикали часы. Но где же они? Мегрэ пошарил глазами по стенам. Ему было не по себе.

«Еще пять минут, — подумал он, — и у несчастной женщины не выдержат нервы... Она все выскажет мне в лицо... Она больше не может... У нее уже нет сил...»

А ведь он может разом со всем покончить. Стоит только задать ей вопрос. Или даже не задавать. Просто встать перед ней и выжидающе посмотреть ей в глаза. Разве она в состоянии выдержать его взгляд?

Но вместо этого Мегрэ продолжал молчать, мало того — чтобы дать ей возможность прийти в себя, он торопливо схватил со стола какую-то книжонку, как оказалось, журналчик для женщин с узорами вышивок.

Как в приемной зубного врача человек читает то, чего никогда не стал бы читать по доброй воле, так и Мегрэ листал журнал, внимательно разглядывая розовые и голубые узоры, и при этом невидимая нить, связывающая его с мадам Но, ни на секунду не ослабевала.

Спасла положение горничная — простая деревенская девушка в строгом черном платье и белом фартуке, которые еще больше подчеркивали неправильные, грубые черты ее лица.

— Ой, простите... Я не знала, что у вас гость...

— Что вам, Марта?

— Я хотела спросить: накрывать на стол или подождать хозяина?

— Накрывайте.

— А мосье Альбан будет ужинать?

— Не знаю. На всякий случай поставьте прибор и для него...

Какое это облегчение — иметь возможность говорить о простых, привычных вещах, произносить обыденные слова! Мадам Но была рада случаю сказать хоть что-нибудь:

— Сегодня мосье Альбан обедал у нас... Это он подошел к телефону, когда вы звонили... Он так одинок... Мы уже считаем его членом нашей семьи...

И, воспользовавшись тем, что ей наконец-то подвернулся повод выйти из комнаты, проговорила:

— Вы разрешите, я на минутку покину вас. Вы же знаете, хозяйка всегда должна сама проверить все на кухне... Сейчас я велю сказать дочери, чтобы она спустилась, она побудет с вами...

— Не беспокойтесь, прошу вас...

— Впрочем... — Она прислушалась. — Да, да. Вот и муж вернулся.

У подъезда остановилась машина. Сквозь шум мотора слышались голоса. Мегрэ подумал было, что Этьен Но кого-то привез с собой, но оказалось, тот просто отдает распоряжения выбежавшему ему навстречу работнику.

Даже не сняв своего кожаного пальто, Этьен Но сразу вошел в гостиную и с удивлением увидел там только жену и Мегрэ. Он встревоженно посмотрел на них.

— О, вы...

— А я как раз извинилась перед господином комиссаром, Этьен, что вынуждена на минутку покинуть его, мне надо заглянуть на кухню...

— Простите меня, комиссар... Я член сельскохозяйственной комиссии Генерального совета и совсем запамятовал, что сегодня у нас очень важное совещание...

Он отдышался, налил себе рюмку вина. Видно было, что он мучительно пытается угадать, что произошло здесь в его отсутствие.

— Так вы хорошо потрудились, комиссар? Мне сказали по телефону, что вы даже не смогли прийти к обеду.

Да, Этьен Но тоже чувствовал себя неуютно наедине с Мегрэ. Он оглядывал кресла в гостиной с таким видом, словно упрекал их за то, что они пустыют.

— Альбан не приходил? — громко спросил он с деланным безразличием, повернувшись к столовой, дверь в которую была открыта.

— Он обедал с нами, но придет ли вечером, не сказал, — донесся из кухни голос жены.

— А Женевьева?

— Поднялась к себе.

Этьен Но ходил по гостиной, все еще не решаясь сесть. Мегрэ понимал его состояние. Чтобы чувствовать себя сильными или хотя бы не дрожать от ужаса, этим людям необходимо быть друг подле друга, тесно сидеть рядом, всей семьей.

Вот вчера им удалось воссоздать для комиссара ту атмосферу, которая царит обычно в доме. Они помогали друг другу. Обменивались банальными фразами, и слова текли легко и безмятежно.

— Рюмочку портвейна? — предложил Этьен Но.

— Благодарю вас, я только что выпил...

— Еще одну... Хорошо... Так расскажите же, что вам удалось сделать... Вернее... Но, кажется, я задаю нескромный вопрос.

— Кепка исчезла, — сказал Мегрэ, не отрывая глаз от ковра.

— Да? Неужели? Злосчастная кепка, которая должна была стать уликой... А где она находилась? Вы знаете, я все время с недоверием относился к ее существованию.

— Некий Луи Фийу утверждает, будто бы еще вчера вечером она лежала у него в ящике комода.

— У рябого Луи? И ее выкрали сегодня утром? Вам это не кажется странным, а?

Этьен Но смеялся. Высокий, розовощекий, крепкий, сильный, он стоял перед Мегрэ. Он был хозяином этого дома, главой семьи, он только что вернулся с совещания, где принимал участие в обсуждении важных административных дел. Он — Этьен Но, тот самый Но, как сказали бы его земляки, сын Себастьяна, которого знали и уважали во всем департаменте.

И все-таки в его смехе слышался страх. Судорожным движением он взял со столика рюмку портвейна. Его взгляд тщетно искал привычной поддержки тех, кого он сейчас хотел бы видеть рядом, — жены, дочери и Альбана, который в такой день позволил себе отсутствовать.

— Сигару?.. Прошу вас, без церемоний...

Он ходил взад и вперед по гостиной, будто был убежден, что стоит ему сесть, как он окажется в западне, в лапах страшного комиссара, присланного на его погибель дураком шурином.

6. Алиби Гру-Котеля

Один инцидент, хотя и незначительный, заставил Мегрэ задуматься. Это произошло перед самым ужином. Этьен Но все еще ходил по гостиной, не решаясь сесть. Из столовой доносились голоса: мадам Но отчитывала горничную за плохо вычищенное серебро. Та что-то отвечала. Женевьева только что сошла вниз.

Мегрэ перехватил взгляд, брошенный на нее отцом, когда она появилась в гостиной. В нем он прочел тревогу. Впрочем, отец не видел дочь со вчерашнего дня, она была нездорова, и его беспокойство, как и ее ободряющая улыбка, вполне понятны.

В это мгновение в передней зазвонил телефон, и Этьен Но вышел, не прикрыв за собой дверь.

— Что? — послышался оттуда его удивленный голос. — Боже мой, да конечно же, он здесь. Что вы сказали?.. Да, да, скорее приезжайте, мы вас ждем.

Он вернулся в гостиную, пожимая плечами.

— Не знаю, что нашло на нашего друга Альбана. Вот уже сколько лет он у нас и обедает и ужинает как свой человек... А тут вдруг звонит и спрашивает, вернулись ли вы, а когда я сказал, что да, он попросил разрешения прийти к ужину. Ему, видите ли, нужно поговорить с вами.

Так случилось, что Мегрэ смотрел в это время не на отца, а на дочь, и его поразило суровое выражение ее лица.

— Он вел себя так же странно днем, — сказала она раздраженно. — Пришел обедать и, увидев, что господина комиссара нет, очень огорчился... Мне даже показалось, что он хочет уйти. Правда, не ушел, но пробормотал: «Как жаль, мне нужно кое-что показать ему». И, едва покончив с десертом, тут же умчался. Да вы, наверное, господин комиссар, встретились с ним в городе?

Что-то неуловимое в словах Женевьевы заставило Мегрэ насторожиться. Дело было, пожалуй, не в ее тоне, нет, в чем-то другом. Вот так испуганный мужчина вдруг замечает, что девушка стала женщиной.

Сейчас в Женевьеве Мегрэ увидел женщину. Не просто раздраженную, но оскорбленную. И он решил понаблюдать за ней.

Извиняясь за долгое отсутствие, вошла мадам Но. Женевьева, воспользовавшись случаем, снова повторила:

— Только что звонил мосье Альбан, сказал, что поспеет к ужину. Однако он сначала справился, здесь ли господин комиссар. Он придет не ради нас...

— Он с минуты на минуту появится, — примирительно добавил Этьен Но. Теперь, когда семья была в сборе, он наконец опустил в кресло. — На велосипеде от его дома езды три минуты.

Мегрэ тихо сидел в своем углу, насупившись. Взгляд его сейчас ничего не выражал. Так всегда бывало, когда комиссар попадал в щекотливое положение. Он молча смотрел то на Этьена Но, то на его жену, то на Женевьеву и, когда к нему обращались, лишь едва заметно улыбался.

«Как они, должно быть, проклинают своего бестактного родственника и меня вместе с ним, — думал он. — Ведь все они, в том числе и их друг Альбан, великолепно знают, что произошло. Вот почему каждый из них так дрожит от страха, оставшись наедине со мной. Когда они вместе, они чувствуют себя увереннее, они стоят, как стена...»

Так что же все-таки произошло: Этьен Но застал Альбера Ретайо в комнате Женевьевы? Был неприятный разговор? В ход пошли кулаки? Или оскорбленный отец просто-напросто пристрелил любовника дочери, как зайца?

Какую ночь они должны были пережить! Мать, наверное, потеряла голову от ужаса. А тут еще страх, что прислуга слышала шум...

В парадное тихо постучали. Женевьева привстала было, чтобы пойти открыть дверь, но тут же села на свое место. Удивленный Этьен Но — видимо, обычно Гру-Котель входил без стука — вышел в переднюю, оттуда послышался тихий разговор, и вскоре гость и хозяин вошли в гостиную.

Мегрэ с любопытством наблюдал за Женевьевой: интересно, как она держится с Альбаном? Женевьева довольно сухо протянула ему руку. Он склонился к ней; повернув вверх ладонью, поцеловал пальцы и тут же обратился к Мегрэ. Видно было, что ему не терпится что-то рассказать или показать комиссару.

— Представьте себе, мосье Мегрэ, сегодня утром, после того как вы ушли, я случайно обнаружил вот это...

И он протянул Мегрэ небольшой квадратный клочок бумаги, который раньше, судя по двум дырочкам на нем, был подколот к чему-то булавкой.

— Что это? — довольно бесцеремонно спросил Этьен Но. Лицо Женевьевы выражало недоумение, казалось, она не верит своим глазам.

— Вот вы вечно подтруниваете над моей привычкой хранить всякие бумаги. И правда, я при желании мог бы отыскать какой-нибудь жалкий счет от прачки трех- и даже восьмилетней давности!

Мегрэ крутил и вертел в своих пухлых руках счет из гостиницы «Европа» в Ла Рош-сюр-Ионе. «Номер — 30 франков. Завтрак — 6 франков. Услуги...» Внизу стояла дата: 7 января.

— Конечно, — как бы оправдываясь, проговорил Гру-Котель, — все это не имеет равным счетом никакого значения, но я вспомнил, что полиция любит алиби. Посмотрите на число. Случилось так, что в ту самую ночь, когда нашли мертвым этого парня, я был в отъезде...

Реакция Этьена Но и его жены была реакцией хорошо воспитанных людей, шокированных неожиданной бестактностью. Мадам Но сначала удивленно взглянула на Гру-Котеля, всем своим видом показывая, что она не ожидала от него ничего подобного, а затем, вздохнув, устремила взгляд на плававшие в камине дрова. Ее муж нахмурился. Он, казалось, ничего не понимал, а может быть, искал в поступке друга какой-то скрытый смысл.

Что же касается Женевьевы, так она просто побелела от ярости. Чувствовалось, что она глубоко потрясена. Ее глаза горели. Поведение девушки так заинтересовало Мегрэ, что он с удовольствием наблюдал бы только за ней одной.

Альбан, несколько смущенный, молча стоял посреди гостиной.

— Вы, как я вижу, решили опередить обвинение и поспешили оправдаться, — проговорил наконец после долгого молчания Этьен Но.

— Ну что вы говорите, Этьен! Мне кажется, что вы все превратно поняли меня. Я разбирал бумаги, случайно наткнулся на этот счет из гостиницы и подумал, что любопытно показать его комиссару, ведь там стоит как раз то самое число, когда...

Мадам Но перебила его, а это с ней случалось не часто:

— Вы уже сказали нам это... Я думаю, мы можем сесть за стол.

Однако и за столом чувство неловкости не пропало. Несмотря на такой же, как и накануне, изысканный ужин, все усилия создать дружескую обстановку или хотя бы нечто похожее оказались тщетны. Больше всех была возбуждена Женестьева. Уже прошло немало времени, а она все еще тяжело дышала, не в силах оправиться после перенесенного потрясения. То была ярость женщины и даже, пожалуй, ярость любовницы. Она едва притронулась к еде и ни разу не взглянула на Альбана. Да и тот тоже не поднимал глаз от тарелки.

Да, похоже, что он именно из тех, кто хранит все бумажки, сортирует их, скальвует булавками, как банкноты, из тех, кто, если представится случай, вылезет сухим из воды, предав своих соучастников.

Ужин проходил в напряженной обстановке. Мадам Но нервничала еще заметнее, чем прежде. Этьен Но, напротив, старался успокоить своих. А может, он преследовал еще какую-нибудь цель?

— Сегодня утром, проезжая через Фонтенэ, я встретил прокурора. Кстати, Альбан, он, кажется, ваш дальний родственник со стороны жены? Ведь он женат на Деарм де Шоле...

— Деармы де Шоле не имеют никакого отношения к генералу. Они родом из Нанта, и их...

— Знаете, комиссар, — продолжал Этьен Но, — прокурор настроен весьма оптимистично. Правда, он сообщил моему шуруину Брежону, что следствия не избежать, но это пустая формальность, во всяком случае, по отношению к нам. Я ему сказал, что вы здесь...

Вот как! Этьен Но тут же понял, что промахнулся. Не нужно было рассказывать об этом. Он покраснел слегка и торопливо сунул в рот большой кусок омара под соусом.

— И что же он сказал вам обо мне?

— О, он относится к вам с большим уважением. Он следит по газетам чуть ли не за всеми делами, в которых вы принимали участие... И именно потому, что он ваш поклонник...

Бедный Этьен не знал, как ему выкрутиться.

— Он был удивлен, что мой шурин счел нужным побеспокоить такого человека, как вы, ради столь заурядного дела...

— Понятно...

— Вы не должны обижаться. Именно потому, что он вас уважает...

— А он не добавил, что мое вмешательство может придать этому делу гораздо большую гласность, чем оно того заслуживает?

— Откуда вы это знаете? Вы встретились с прокурором?

Мегрэ улыбнулся. А что ему оставалось еще? Кто он здесь? Всегонавсего гость. Его приняли как нельзя лучше. Вот и сегодняшний ужин — ведь это истинный шедевр южной кухни. Но теперь вежливо, со всевозможными любезностями ему давали понять, что своим присутствием он лишь способен принести вред людям, оказавшим ему гостеприимство.

Снова наступило молчание, как тогда, после инцидента с Гру-Котелем. Мадам Но попыталась загладить неловкость, но сделала это еще более неудачно, чем ее муж:

— Надеюсь, вы все-таки погостите у нас немного? После тумана обычно наступает морозец, и вы сможете с мужем поехать по окрестностям... Не правда ли, Этьен?

Какое было бы для всех облегчение, если бы Мегрэ, как воспитанный человек, не обманул их ожиданий и ответил примерно в таком духе:

— Я очень тронут вашим гостеприимством и с радостью провел бы у вас несколько дней, но, увы, долг службы призывает меня в Париж. Во время отпуска, возможно, я побываю в ваших краях, а сейчас, поверьте, я сохраню наилучшие воспоминания...

Но Мегрэ ничего не сказал. Он молча продолжал есть. В душе он обзывал себя скотиной: ведь все в этом доме так милы, так гостеприимны. Возможно, на их совести и лежит смерть Альбера Ретайо, но ведь он обесчестил их дочь, как принято выражаться в романах из великосветской жизни. И разве мадам Ретайо — а она ведь мать! — ропщет? Наоборот, она первая находит, что все превосходно устроено в этом лучшем из миров.

Эти люди — сколько их: трое, четверо, больше? — отчаянно борются за сохранение своей тайны, и самое присутствие здесь Мегрэ, должно быть, является мукой, ну хотя бы даже для мадам Но. Ведь когда они провели четверть часа вдвоем в гостиной, она под конец от ужаса готова была разрыдаться.

Проще всего было бы сделать вот что: завтра утром уехать. Как благословляла бы его вся семья, как со слезами на глазах благодарил бы его в Париже судья Брежон!

Так почему же Мегрэ не хочет уезжать? Только из любви к истине? Нет, этого он, пожалуй, не решился бы утверждать, глядя кому-нибудь прямо в глаза. Он не хочет уезжать потому, что здесь Кадавр. Со вчерашнего вечера Мегрэ потерпел уже несколько неудач по вине этого самого Кадавра, который не удостоил своего бывшего патрона даже взглядом. Он шнырял повсюду, не обращая на Мегрэ никакого внимания.

Там, где успел побывать Кадавр, как по волшебству, улечувивались все свидетельские показания; люди или тут же все забывали, или просто отмалчивались, а единственная улика — кепка — как в воду канула.

Наконец-то после стольких лет этот неудачник, завистник, этот недотепа взял реванш.

— Вы о чем-то задумались, комиссар?

Мегрэ вздрогнул.

— Нет, просто так... Простите... Иногда на меня находит...

Он сам не заметил, когда положил себе полную тарелку жаркого, и теперь смутился. Мадам Но, чтобы ободрить его, тихо сказала:

— Хороший аппетит гостя — лучшая награда хозяйке. Мосье Альбан не в счет. Ему все равно что есть. Он не гурман. Он просто обжора.

Она шутила, и тем не менее и в ее голосе и в ее взгляде проскальзывала обида.

После нескольких рюмок вина Этьен Но еще больше покраснелся и, вертя нож в руке, вдруг осмелел:

— Ну, что вы можете сказать о нашем городке, комиссар? Ведь вы побродили сегодня по нему, поговорили с людьми...

— Он познакомился с молодым Фийу... — вмешалась мадам Но, словно предупреждая мужа об опасности.

И Мегрэ, с которого все не спускали глаз, неторопливо, подчеркивая каждое слово, ответил:

— Думаю, что Альберу Ретайо не повезло.

Как будто он не сказал ничего особенного, но Женевьева побелела. Эта туманная, произнесенная многозначительным тоном фраза настолько поразила ее, что Мегрэ подумал: вот она сейчас встанет и выбежит из гостиной. Этьен Но силился понять, что комиссар хотел этим сказать. А Гру-Котель злорадным тоном заметил:

— Вот слова, достойные античного оракула. Если бы я не имел доказательств, что в ту злосчастную ночь спокойно спал в номере гостиницы «Европа» в восьмидесяти километрах отсюда, я бы сейчас почувствовал себя весьма неуютно...

— Значит, вы не знаете поговорки, что бытует в полицейской среде, — бросил Мегрэ. — «Чем убедительнее алиби, тем больше подозрений».

Шутка Мегрэ явно взволновала Альбана. Он отнесся к ней вполне серьезно.

— В таком случае, — проговорил он, — вы должны заподозрить в соучастии и начальника канцелярии префектуры, потому что он был весь вечер со мной. Мы с ним друзья детства и время от времени проводим вместе вечерок, случается, часов до двух-трех ночи засиживаемся...

Что-то толкнуло Мегрэ довести игру до конца. Возможно, его раздражала откровенная трусость этого псевдоаристократа. Мегрэ достал из кармана свою известную всем в криминальной полиции толстую записную книжку, перетянутую круглой резинкой, и принялся совершенно серьезно допрашивать Гру-Котеля:

— Как его зовут, вашего приятеля?

— Вы не шутите? Вы, правда, хотите?.. Если вам угодно... Мюзелье... Пьер Мюзелье... Он старый холостяк... Живет на площади Наполеона, над гаражами Мюрса... Метрах в пятидесяти от гостиницы «Европа».

— Не пойди ли нам пить кофе в гостиную? — предложила мадам Но. — Ты подашь кофе, Женевьева? Ты не устала? Мне кажется, ты очень бледна. Может, тебе лучше лечь в постель?

— Нет.

Это была не усталость, а предельное напряжение. Можно было подумать, что у Женевьевы какие-то свои счеты с Гру-Котелем, — она не спускала с него глаз.

— На следующий же день вы вернулись в Сент-Обен? — продолжал Мегрэ с карандашом в руке.

— Да; на следующий день. Я воспользовался машиной одного приятеля и доехал до Фонтенэ. Там я пообедал у своих друзей, выходя от них, случайно встретил Этьена, и он довез меня сюда в своей машине...

— В общем, вы кочевали из одного дружеского дома в другой...

Мегрэ совершенно откровенно намекнул, что Гру-Котель — прихлебатель, и это действительно было так. Все поняли намек комиссара, а Женевьева вспыхнула и отвернулась.

— Вы так и не соблазнитесь сигарой, комиссар? — перевел разговор на другую тему Этьен Но.

— Могу ли я считать, что допрос окончен? — спросил Гру-Котель. — Если да, то, стало быть, я свободен. Мне хотелось бы сегодня пораньше вернуться домой...

— О, чудесно! Я как раз собирался пойти в город. Если не возражаете, мы пройдемся вместе...

— Но я на велосипеде...

— Пустяки. Велосипед можно вести рядом. Кстати, в таком тумане на велосипеде легко угодить в канал...

Но что это? Стоило ему предложить Альбану Гру-Котелю выйти вместе, как Этьен Но нахмурился. Похоже было, что он сейчас увяжется за ними.

Или он считает, что Альбан слишком взволнован и способен под давлением сделать признание? Как он смотрит на него!

«Будьте осторожны. Вы взвинчены. Он сильнее вас», — казалось, говорил его взгляд.

Почти то же самое можно было прочесть во взгляде Женевьевы, хотя он был суровее и презрительнее:

«Постарайтесь хотя бы достойно вести себя».

Мадам Но ни на кого не смотрела. Она устала и уже ни на что не реагировала. При таком нервном напряжении ее хватит ненадолго.

Но удивительнее всех вел себя сам Альбан Гру-Котель. Он никак не мог решиться уйти и ходил взад и вперед по гостиной, судя по всему, с тайной надеждой улучшить подходящий момент и что-то шепнуть Этьену Но.

— Вы просили меня зайти к вам в кабинет, обсудить эту историю со страхованием, — сказал он Этьену.

— С каким страхованием? — недогадливо спросил тот.

— Да, впрочем, неважно. Завтра поговорим.

Какую же важную новость должен был он сообщить Этьену Но?

— Так, любезный друг, вы идете? — поторопил Гру-Котеля Мегрэ.

— Может быть, вас все-таки подбросить на машине? Или, если хотите, садитесь за руль сами...

— Спасибо... Мы прогуляемся, поболтаем по-дружески по дороге...

Туман сразу же поглотил их. Альбан Гру-Котель с велосипедом шел быстро, но ему приходилось то и дело останавливаться и поджидать Мегрэ, который не решался в такой темноте ускорить шаг...

— Очень славные люди. Прекрасная семья. А, должно быть, для девушки такая жизнь слишком однообразна. Подруги у нее есть? — начал разговор Мегрэ.

— Насколько мне известно, здесь у нее нет подруг. Летом приезжают кузины, иногда она проводит у них недельку...

— Наверное, она бывает в Париже, у Брежонев?

— Да, изредка. Как раз недавно она гостила у них...

Мегрэ добродушно вел этот невинный разговор. Их окружало белесое, леденящее облако, и они почти не видели друг друга. Станционный фонарь напоминал свет маяка, чуть дальше мерцали два огонька, похожие на огни плывущих в море пароходов.

— В общем, если не считать коротких поездок в Ла Рош-сюр-Ион, вы так и сидите безвыездно в Сент-Обене?

— Нет, почему же. Иногда я гощу у друзей в Нанте, бываю в Бордо у своей кузины. Она замужем за судовладельцем де Шьевром...

— А в Париже?

— Я там был недавно.

— Тогда же, когда и мадемуазель Но?

— Возможно...

Они проходили мимо гостиницы, и Мегрэ, остановившись, предложил:

— Может быть, зайдем выпьем по стаканчику в «Золотом льве»?

Мне было бы интересно взглянуть на Кавра, это мой бывший коллега. Под вечер я был на станции и видел, что парижским поездом приехал какой-то субъект небольшого роста. Я подозреваю, что наш Кавр вызвал себе на подмогу агента.

— В таком случае я с вами прощаюсь, — живо сказал Альбан.

— Нет, нет. Если вы не составите мне компанию, я не пойду. Лучше провожу вас. Надеюсь, я вам не мешаю?

— Я хотел бы поскорее лечь. Сегодня мне что-то нездоровится... приступ невралгии... это у меня бывает...

— Тем более мне не следует оставлять вас одного. Я провожу вас до самого дома. Ваша служанка ночует у вас?

— Конечно.

— Я знаю людей, которые не любят, чтобы прислуга ночевала в их доме. Смотрите-ка, а у вас горит свет.

— Так это она и зажгла...

— Она сидит в гостиной? Хотя, правда, там же тепло. Пока вас нет, она, верно, рукодельничает?

Они остановились у порога, и Гру-Котель, вместо того чтобы постучать, принялся искать в кармане ключ.

— До завтра, комиссар. Думаю, мы увидимся у наших общих друзей...

— Послушайте...

Альбан Гру-Котель предусмотрительно не открывал дверь, из опасения, что Мегрэ примет это за приглашение зайти.

— Какая нелепость... Простите меня... Понимаете, мне очень нужно... а раз уж мы у вас... мы оба мужчины, и можно не стесняться, не правда ли?

— Прошу вас... Я покажу вам, как пройти.

В коридоре было темно, но слева, из приоткрытой двери гостиной, падала полоска света. Альбан потянул было Мегрэ в глубь коридора, но комиссар как бы невзначай толкнул дверь в гостиную.

— Вот так встреча! — воскликнул он. — Мой старый друг Кавр! Что вы здесь делаете, приятель?

Бывший инспектор, с серым, как обычно, лицом, отложил книгу, которую читал, встал, насунился и уничтожающе посмотрел на Гру-Котеля, считая, что во всем виноват он.

Альбан в полной растерянности не знал, как выкрутиться из этого щекотливого положения.

— А где служанка? — наконец спросил он.

Первым взял себя в руки Кавр. Он поклонился и сказал:

— Вы мосье Гру-Котель, как я догадываюсь?

Но Гру-Котель не сразу понял игру.

— Простите, что я беспокоил вас так поздно, — продолжал Кавр. — Мне необходимо с вами поговорить. А женщина, которая открыла мне дверь, сказала, что вы скоро придете...

— Хватит! — буркнул Мегрэ.

— Что? — вздрогнул Гру-Котель.

— Я сказал: хватит.

— Что вы имеете в виду?

— Ничего. Так где женщина, которая васпустила сюда, Кавр? В доме нигде больше не горит свет. Короче, она уже спит.

— Она сказала мне...

— Еще раз повторяю: хватит! Не заговаривайте мне зубы. Кстати, можете сесть, Кавр. О, да вы, оказывается, расположились здесь как дома. Сняли пальто, повесили шляпу на вешалку. Что вы читали?

Мегрэ взял в руки книгу, лежавшую на столике перед Кавром, — брови его высоко поднялись.

— «Порочные наслаждения!» Подумать только! И вы нашли эту очаровательную книжонку здесь, в библиотеке нашего друга мосье Гру... Помилуйте, господа, почему вы стоите? Вас смущает мое присутствие? Мосье Гру-Котель, не забудьте, что у вас невралгия. Вам бы следовало принять таблетку аспирина.

Альбан Гру-Котель уже несколько оправился, овладел собой и нашел в себе силы парировать:

— А вам, мне кажется, не терпелось в одно место...

— Представьте себе, мне уже расхотелось... Итак, дорогой Кавр, как идет расследование? Скажите-ка, между нами, вы, небось, не слишком обрадовались, когда увидели, что и я занимаюсь этим делом.

— Что? Каким делом?

— Итак, мосье Гру-Котель решил прибегнуть к вашему таланту, который, кстати, я высоко ценю?

— До сегодняшнего утра я и не слышал о существовании мосье Гру-Котеля, — пробурчал Кавр.

— Другими словами, вам рассказал о нем мосье Но, когда встретился с вами в Фонтенэ?

— Если вы решили учинить мне допрос, я к вашим услугам, но в присутствии адвоката.

— Например, если я обвиню вас в краже кепки? — спросил Мегрэ.

— Хотя бы и так...

В гостиной царил полумрак, — лампочка, и без того слабая для такой большой комнаты, была покрыта толстым слоем пыли.

— Разрешите предложить вам что-нибудь выпить? — вмешался в разговор Гру-Котель.

— Почему бы и нет? — ответил Мегрэ. — Раз уж мы случайно здесь собрались... Кстати, скажите, Кавр, человек, которого я видел недавно на станции, не ваш ли сотрудник?

- Да, это один из моих служащих.
- Подкрепление?
- Как вам будет угодно...
- У вас с мосье Гру-Котелем назначены на сегодня важные дела?
- Я хотел задать ему несколько вопросов.
- Если по поводу его алиби, то можете не беспокоиться, он все предусмотрел и сохранил счет из гостиницы «Европа».

Но Кавр не сдавался. Он сел на прежнее место, скрестил ноги, положил на колени свой кожаный портфель. Судя по его уверенному виду, можно было не сомневаться, что последнее слово останется за ним. Гру-Котель наполнил три рюмки арманьяком, одну из них протянул Кавру...

— Спасибо. Я пью только воду.

Сослуживцы в криминальной полиции подтрунивали над Кавром, что он не пьет, не подозревая, как это жестоко: у Кавра была большая печень.

— А вы, комиссар?

— С удовольствием.

Никто больше не произнес ни слова. Казалось, они играют в какую-то странную игру, нечто вроде молчанки. Альбан залпом выпил арманьяк и налил себе еще. Он до сих пор так и не сел и, стоя у книжной полки, время от времени поправлял то одну, то другую неровно стоящие книги.

— А между прочим, мосье, — вдруг спокойным, ледяным тоном сказал Кавр, обращаясь к Гру-Котелю, — ведь вы в своем доме...

— Простите, не понимаю...

— Я хочу сказать вам, что вы имеете право принимать в нем кого вам заблагорассудится. И я желал бы побеседовать с вами без комиссара. Если же его общество вас больше устраивает, я готов удалиться и назначить вам свидание на завтра.

— Иными словами, инспектор вежливо предлагает вам одного из нас выставить из дома, — объяснил Мегрэ.

— Господа, к чему этот разговор! Ведь, в общем-то, я не имею никакого отношения к этому делу. Как вы знаете, когда парень погиб, я был в Ла Роше. Правда, я дружен с семьей Но. Часто бываю у них. Но что же делать, в такой дыре, как наш Сент-Обен, выбор знакомых весьма ограничен...

— Вспомните апостола Петра.

— Не понимаю.

— Если вы будете продолжать в том же духе, вы в третий раз отречетесь от своих друзей до восхода солнца. Только бы туман дал ему взойти...

— Вам легко шутить. Однако войдите в мое положение. Меня принимают в доме Но. Этьен — мой друг, как видите, я от него не отрекаюсь. А что у них там произошло, я не знаю и знать не хочу. И не меня надо спрашивать об этом деле.

— Может быть, мы достигнем большего, поговорив с мадемуазель Женевьевой? Как вы думаете? Кстати, обратили ли вы внимание, что сегодня вечером она смотрела на вас без особой нежности. Мне кажется, она что-то имеет против вас...

— Против меня?

— Это особенно было заметно, когда вы с такой грацией пытались вылезти сухим из воды, сунув мне счет из гостиницы. Мадемуазель Но нашла, что это не очень-то красиво с вашей стороны. Будь я на вашем месте, я побоялся бы, что она отомстит...

Альбан Гру-Котель рассмеялся неестественным смехом.

— Чепуха. Женевьева — очаровательное дитя, которое...

Мегрэ неожиданно решил идти ва-банк.

— ...которое три месяца назад забеременело, — перебил он своего собеседника, глядя ему прямо в глаза.

— Что... Что вы говорите?

Кавр был так поражен, что с его лица сразу же слетело выражение самоуверенности, которое ни на минуту не покидало его. Он посмотрел на Мегрэ с невольным восхищением.

— А разве вы, мосье Гру-Котель, не знали об этом? — спросил Мегрэ.

— Что за намек!

— Это не намек... Я пытаюсь разобраться... Ведь вы тоже хотите, чтобы истина восторжествовала, не так ли? Давайте же в таком случае разбираться вместе... Мосье Кавр уже получил в свои руки кепку со следами крови, которые свидетельствуют о том, что было совершено убийство... Кстати, где эта кепка, Кавр?

Но Кавр ничего не ответил и только глубже уселся в кресле.

— Хочу вас предупредить: если вы ее уничтожили, это вам дорого обойдется... А теперь, поскольку я чувствую, что мешаю вам, я вас покину... Надеюсь, мосье Гру-Котель, я увижу вас завтра за обедом у мосье Но?..

Мегрэ вышел на улицу. Дверь за ним с шумом захлопнулась. У самого дома он увидел какую-то худенькую фигурку.

— Это вы, господин комиссар?

Луи! Наверно, из окна «Трех мулов» он все-таки разглядел проходивших мимо Мегрэ и Гру-Котеля и пошел за ними.

— Знаете, о чем толкуют люди? Весь город об этом судачит! — Луи говорил дрожащим от возмущения и тревоги голосом. — Будто они вас подкупили и завтра вы уезжаете трехчасовым поездом.

А ведь был момент, когда Мегрэ именно так и собирался поступить!

7. Старая дева с почты

Мегрэ сейчас находился в таком состоянии, когда все чувства особенно обострены. Еще бы! Ведь он только что вышел из дома Гру-Котеля и теперь вместе с Луи брел в темноте сквозь туман, который прилипал к коже, как ледяной компресс. Сделав несколько шагов, он внезапно остановился.

— Что с вами, господин комиссар?

В голове Мегрэ на миг мелькнула одна мысль, и он теперь пытался вновь поймать ее нить, продолжая в то же время внимательно прислушиваться к тому, что происходит в доме Гру-Котеля. Оттуда доносились приглушенные голоса, срывающиеся на крик. Почему Мегрэ вдруг остановился посреди улицы? Это, видимо, напугало Луи, и Мегрэ понял почему: он походил на сердечного больного, которого приковала к месту внезапная боль.

Но это не был сердечный приступ. Сейчас не до сердца! И все же Мегрэ отметил про себя: «Испугался, принял меня за сердечника...»

Позднее он узнал, что здешний врач умер от болезни сердца и местные жители за многие годы не раз видели, как он внезапно останавливался посреди улицы, прижав руку к груди.

А в доме Гру-Котеля разыгрался скандал. Так, во всяком случае, можно было заключить по возгласам, которые доносились оттуда. Но Мегрэ уже не слушал, а Луи, считая, что теперь-то он понял, почему комиссар так неожиданно остановился, пытался, должно быть, уловить, о чем там говорят. Но, чем громче звучали голоса, тем неразборчивее были слова. Таковую какофонию, наверное, можно услышать, если завести патефонную пластинку, в которой дырка просверлена не в центре.

Но Мегрэ застыл на середине улицы отнюдь не из-за того, что услышал бурную сцену, которая разыгралась в доме между Кавром и Альбаном Гру-Котелем.

Просто в этот момент ему в голову пришла одна мысль. Даже, пожалуй, ее и мыслью не назовешь. Что-то туманное, до того туманное, что он сейчас с трудом пытался вновь вызвать в себе это ощущение. Порой какой-нибудь пустяк или едва уловимый запах возвращает нас на секунду в какое-то мгновение нашей жизни. Все представляется настолько зримо, что у нас захватывает дух, мы хотим продлить это мгновение, но напрасно, оно мелькнуло и исчезло, и мы уже не можем даже сказать, о чем только что думали. Мы тщетно ворошим память, не в состоянии объяснить, что же с нами произошло, и нам начинает казаться, что это отголосок смутного сна. Мегрэ помнил только одно: это произошло с ним как раз в тот момент, когда захлопнулась дверь дома Гру-Котеля.

Мегрэ знал, что и Кавр и Гру-Котель сейчас оба растеряны и взбешены. Между этими двумя людьми, которых случайно свела судьба, есть нечто схожее. Трудно сказать, что именно, но есть. Кавр, правда, не похож на старого холостяка, но сразу бросается в глаза, что это оплеванный, униженный, исстрадавшийся муж. Он очень завистлив, а зависть зачастую развивает в человеке весьма неприятные черты.

В глубине души Мегрэ не питал против Кавра злобы. Он боролся с ним, твердо решил одолеть его и в то же время жалел этого неудачника.

Но что же общего между Кавром и Альбаном Гру-Котелем? Да, есть нечто такое, что объединяет этих совершенно разных по характеру, но одинаково антипатичных людей. Это, пожалуй, сказывается даже на их внешности. Оба они какие-то серые, словно покрыты пылью и изнутри и снаружи.

Кавр весь пропитан ненавистью к людям. Альбан Гру-Котель просто трус и подлец. Вся его жизнь зиждется на подлости. От него ушла жена и увезла с собой детей. Он даже не пытался поехать за ними, вернуть их. Наверное, он и не страдал вовсе. Он живет только для себя. Денег у него нет, и он пригрелся в чужом гнезде, как кукушка. А когда с его друзьями стряслась беда, поспешил от них отречься.

И вдруг Мегрэ вспомнил, что промелькнуло в его памяти в то мгновение, когда он так неожиданно остановился, — пустяк, небольшая книжечка, которую он увидел в руках Кавра, одна из тех гнусных порнографических книжонок, что из-под полы продают в некоторых лавчонках парижского квартала Сен-Мартен.

Один хранил подобного рода книги в своей домашней библиотеке, другой сразу же, как бы невзначай, схватил одну из них.

Но не только книжонка, что-то еще, и вот это «что-то» Мегрэ и старался восстановить. На десятую долю секунды его озарила какая-то бесспорная истина, но он не успел даже сосредоточить на ней свое внимание, как нить оборвалась, вот почему он так внезапно застыл на месте, словно сердечный больной, который пытается утихомирить свое сердце.

Он хитрил с собственной памятью. Он надеялся...

— Что там за свет? — спросил он Луи.

Невдалеке Мегрэ увидел расплывчатое светлое пятно. Он ухватился за это вполне конкретное явление, чтобы на некоторое время отвлечься от своих мыслей. Мегрэ уже как будто изучил городок. Что же это там светится напротив дома Гру-Котеля? Что там?

— Это почта?

— Нет, окно рядом с нею, — ответил Луи. — Там живет телефонистка. Она страдает бессонницей и допоздна читает романы. У нее лампа горит позже, чем у всех...

Из дома Гру-Котеля по-прежнему доносились голоса. Особенно надрылся Альбан. Так ведет себя человек, который не желает слушать никаких доводов. Голос Кавра звучал ниже, но в нем слышались властные нотки.

Почему Мегрэ так и подмывало перейти улицу и прильнуть к окну телефонистки? Что это? Интуиция? Но тут же он вернулся к прежним мыслям. Он знал, что Луи с тревогой, нетерпеливо наблюдает за ним, пытаюсь понять, о чем думает этот человек, который уже стал для него кумиром.

Но что же все-таки это было? Минуточку... Что-то связанное с Парижем... Книжонка напомнила ему квартал Сен-Мартен, где продают подобного рода литературу... Гру-Котель ездил в Париж... И примерно в то же время там находилась Женевьева...

Перед его глазами всплыло ее лицо: как она смотрела на Альбана, когда тот так подленько доказывал свое алиби! Мегрэ прочел на нем глубокое презрение.

И не только презрение. В тот момент он увидел в Женевьеве не молоденькую девушку, а искусственную женщину.

Любовница, внезапно осознавшая всю гнусность своего избранника...

Вот что молнией сверкнуло в голове Мегрэ и тут же угасло, оставив лишь смутное ощущение чего-то мерзкого.

А не обстоит ли дело совсем иначе, чем до сих пор он представлял себе? Драма, считал он, вызвана тем, что в богатой буржуазной семье произошел скандал. В постели у дочери застали бедного юношу, который не занимает в обществе достойного положения.

А мог ли Этьен Но в припадке гнева убить Альбера? Не исключено. И вдруг Мегрэ почувствовал чуть ли не жалость к Этьену и особенно к мадам Но. Бедная женщина, чего стоило ей это молчание! Какой пыткой была для нее каждая минута, проведенная наедине с комиссаром!

Но сейчас Мегрэ интересовали не Этьен Но и его жена, они отошли на второй план...

Надо попытаться связать все в единую цепь... У этого замшелого, лысеющего Альбана нашлось алиби. Что это? Случайность? Да случайно ли он вдруг обнаружил этот самый счет из гостиницы «Европа»?!

Пожалуй, он и правда ночевал там. Конечно, надо еще проверить, но Мегрэ не сомневался, что так оно и было.

А вот почему Альбан Гру-Котель именно в тот вечер отправился в Ла Рош-сюр-Ион? Действительно ли его там ждал начальник канцелярии префекта?

— Надо проверить! — пробормотал Мегрэ.

Он по-прежнему смотрел на неясный свет окна рядом с почтой, держа в одной руке кيسет, а в другой — трубку, которую так и не набил.

Дальше... Альбер Ретайо в тот вечер был в ярости...

От кого же он это слышал? Ах да, от Луи, от того самого Луи, что стоит сейчас рядом с ним, верного друга Альбера.

— Он в самом деле был в ярости? — неожиданно спросил комиссар.

— Кто?

— Твой друг Альбер... Ты мне сказал, что в тот вечер...

— Он был очень зол. Даже выпил несколько рюмок перед свиданием...

— Он ничего не говорил?

— Погодите-ка... Он сказал: «Я недолго пробуду в этом поганом городишке...»

— И давно он стал любовником мадемуазель Но?

— Не знаю... Хотя... В день святого Иоанна между ними еще ничего не было. Все началось позже...

— А когда он влюбился в нее?

— Да кто его знает... Они ведь были даже незнакомы до октября...

— Т-с-с-с...

Вдруг Мегрэ застыл, весь превратившись в слух: голоса в домике смолкли, но оттуда послышался какой-то странный звук, на который и обратил внимание комиссар.

— Телефон! — воскликнул он.

Он узнал этот звук — крутили ручку аппарата, чтобы вызвать телефонистку. Такие аппараты еще встречаются в провинции.

— Беги к почте и загляни в окно, посмотри, что там происходит... Ты проворнее меня...

Мегрэ не ошибся. Теперь рядом с первым зажегся свет и во втором окне. Телефонистка прошла в служебное помещение, от которого ее отделяла приоткрытая дверь.

Мегрэ не торопился. Что он, мальчишка, чтобы бегать! Странно, конечно, но присутствие Луи его почему-то смущало. При этом пареньке ему хотелось бы держать себя с достоинством. Набив наконец трубку, он раскурил ее и только после этого не спеша подошел к почте.

— Ну что?

— Я так и знал, что она будет подслушивать, — тихо сказал Луи. — Старая карга всегда подслушивает. Доктор даже как-то пожаловался на нее в Ла Рош, а она все равно опять за свое...

Мегрэ заглянул в окно: маленькая, неопределенного возраста черно-волосая женщина в черном платье сидела перед коммутатором, держала в одной руке опросный штепсель, а в другой — наушники. Абоненты уже, видимо, закончили разговор, так как телефонистка, вставив штепсели в гнезда, выключила свет.

— Как ты думаешь, она нам откроет?

— Надо постучаться в заднюю дверь. Идите за мной. Мы пройдем со двора.

Во дворе была крошечная тьма. Мегрэ и Луи лавировали между какими-то тазами с бельем. Из мусорного ящика выпрыгнула кошка.

— Мадемуазель Ренке! — крикнул Луи. — Откройте, пожалуйста, на минутку.

— Что случилось?

— Это я, Луи. Будьте добры, откройте.

Старая дева, отодвинув задвижку, приотворила дверь, и Мегрэ торопливо шагнул через порог, боясь, как бы дверь сразу же не захлопнулась.

— Не бойтесь, мадемуазель.

Большой, толстый Мегрэ с трудом помещался в крошечной, под стать своей миниатюрной хозяйке кухоньке, уставленной фарфоровыми и стеклянными безделушками, купленными на ярмарках, украшенной бесконечным количеством вышитых салфеточек.

— Сейчас по телефону звонил мосье Гру-Котель.

— Откуда вы знаете?

— Он звонил моему другу мосье Но... Вы подслушивали их разговор.

Она поняла, что ее уличили, и неловко попробовала защищаться:

— Простите, мосье, но почта уже закрыта. После девяти часов я не обязана соединять... Я просто оказала мосье любезность, потому что живу рядом...

— Что он сказал?

— Кто?

— Имейте в виду, если вы добровольно не ответите мне, я вынужден буду прийти к вам завтра, уже официально, составить протокол и передать его по инстанциям. Так что же он сказал?

— Говорили двое.

— Одновременно?

— Почти. Иногда просто сразу оба. Они так старались перекрыть один другого, что я даже не все поняла. Наверное, каждый схватил по одному наушнику, и они отпихивали друг друга от микрофона.

— Что они говорили?

— Сперва говорил мосье Гру-Котель: «Послушайте, Этьен, дальше так продолжаться не может... От меня только что ушел комиссар. Он столкнулся здесь с вашим агентом. Я уверен, что он все знает, и если вы будете вести себя так же, как...»

— И дальше? — спросил Мегрэ.

— Подождите... В это время вмешался другой голос: «Алло. Мосье Но? Говорит Кавр... Жаль, конечно, что вам не удалось задержать его подольше, чтобы он не застал меня здесь, но...», — а тут опять мосье Гру-Котель вмешался: «Это же компрометирует меня, — кричит, — я больше не могу, слышите, Этьен? Надо сделать так, как вы решили! Позвоните же наконец вашему болвану шурина — да, да, он так и сказал! — который только глупости и делает. Ведь он в некотором роде начальник этого проклятого комиссара. Раз он прислал его сюда, пусть теперь придумает, как отозвать его в Париж... Я вас предупреждаю, если вы снова меня столкнете с ним, я...» А мосье Этьен в ужасе вопил: «Алло! Мосье Кавр, вы меня слышите?.. Мосье Альбан меня пугает... Разве в самом деле...» «Алло! Говорит Кавр... Да замолчите вы, мосье Гру... Дайте мне сказать два слова... И не отталкивайте меня... Мосье Но, вы меня слышите? Так... Ну вот, ничего угрожающего нет, и если бы паника вашего друга, мосье Гру-Котеля нас не... Что?.. Звонить ли вашему шурина?.. Как вам сказать? Час назад я бы, пожалуй, не посоветовал бы вам... Нет, лично я комиссара не боюсь...»

Старая дева, со смаком передав этот разговор, ткнула пальцем в Мегрэ и спросила:

— Это он о вас говорил, да?.. Так вот он сказал, что он вас не боится, но из-за мосье Гру-Котеля, который способен надеть глупостей... Тсс....

На почте послышался звонок. Телефонистка бросилась туда и включила свет.

— Алло!.. Что?.. Гальвани 17-98?.. Не знаю... Нет, в это время ждать не придется... Я вас вызову...

Мегрэ вспомнил, что Гальвани 17-98 — домашний телефон судьи Брежона.

Он взглянул на часы. Без десяти одиннадцать. Если Брежон не пошел с женой в кино или в театр, он уже спит. Все сослуживцы знали, что судья встает в шесть часов и именно рано утром любит изучать очередные досье.

Телефонистка принялась манипулировать своими штепселями.

— Ниор?.. Будьте любезны, дайте Париж, Гальвани 17-98... Третья линия свободна? Соедините по третьей, ладно? По второй только что было плохо слышно... Как ваши дела? Сегодня всю ночь дежурите? Что?.. Нет, вы же знаете, я никогда не ложусь раньше часа... Да, у нас тоже... В двух метрах ничего не видно... Завтра будет гололед, это ясно... Алло! Париж?.. Париж? Алло, Париж? Гальвани 17-98?.. Да ответьте же, милочка... Говорите разборчивее... Дайте мне Гальвани 17-98... Что? Звонили?.. Ничего не слышу. Позвоните еще... Срочно нужно... Там должен кто-нибудь быть...

Телефонистка испуганно повернулась, потому что Мегрэ всем своим грузным телом придвинулся к ней и протянул руку, готовый в нужный момент схватить наушники.

— Мосье Но?.. Алло... Мосье Но?.. Да, даю вам Париж... Секундочку, туда звонят... Не вешайте трубку... Гальвани 17-98?.. Вас вызывает Сент-Обен... Да, да, мосье Но... Мосье Но, говорите...

Телефонистка не посмела возразить, когда Мегрэ, властным движением вырвав у нее наушники, надел их. Она решительно воткнула штепсель в нужное гнездо.

— Алло! Виктор?.. Что?

В наушниках послышалось какое-то шипение, и Мегрэ подумал, что судья, должно быть, разговаривает лежа в постели. После того как Но назвал себя, Брежон сказал кому-то:

— Это Этьен...

Наверное, своей жене, которая лежала рядом.

— Что?.. У тебя есть новости?.. Нет?.. Да?.. Не кричи так... от вибрации в трубке треск...

Этьен Но относился к той категории людей, которые, разговаривая по телефону, орут во весь голос, боясь, что их не услышат.

— Алло! Слушай, Виктор... Пока нового ничего нет... Но постарайся понять, что я тебе скажу... Я тебе напишу... А дня через два, возможно, приеду в Париж повидаться с тобой...

— Говори медленнее... Марта, отодвинься немножко...

— Что ты говоришь?

— Я сказал Марте, чтобы она отодвинулась... Ну так как?.. Что там у вас происходит? Комиссар приехал?.. Как он тебе понравился?

— Что? Сейчас не о том речь... Но как раз по поводу его я тебе и звоню...

— Он отказался заняться твоим делом?

— Нет... Он занимается им слишком рьяно... Послушай, Виктор, крайне необходимо, чтобы ты нашел повод отозвать его в Париж... Нет, сейчас я не могу тебе ничего объяснить... Я знаю нашу телефонистку...

Мегрэ с улыбкой посмотрел на мадемуазель Ренке. Видно было, что она сгорает от любопытства.

— Ты придумаешь что-нибудь?.. Что? Говоришь, трудно?.. Но все-таки можно что-нибудь придумать... Поверь мне, это необходимо...

Мегрэ представил себе, как нахмурился в этот момент судья и как у него начало зарождаться подозрение: а так ли уж невиновен его зять?

— Только ради бога, не воображай ничего дурного... Просто он всюду ходит, всех расспрашивает и причиняет больше вреда, чем пользы... Понимаешь? Если так пойдет дальше, он взбудоражит весь городок, и я попаду в весьма затруднительное положение...

— Не знаю, как быть...

— У тебя хорошие отношения с его непосредственным начальником?

— Да... Я бы мог, конечно, попросить шефа. Но как-то неудобно... Рано или поздно дойдет до комиссара... Ведь он согласился поехать к вам только из любезности... Понимаешь?

— Скажи, ты хочешь, чтобы у твоей племянницы — а она, напоминаю тебе, твоя крестница! — были нешуточные неприятности?

— Ты думаешь, дело настолько серьезно?

— Ну, раз я тебе говорю...

Чувствовалось, что Этьен Но дрожит от нетерпения. Панический страх Гру-Котеля передался и ему, а то, что Кавр счел возможным попросить судью, чтобы тот отозвал Мегрэ, посеяло в его душе еще большее смятение.

— Ты можешь передать трубку сестре?

— Она спит... Я один внизу...

— А как Женестьева?

Судья был явно обескуражен и попробовал перевести разговор на другую тему.

— У вас тоже дождь?

— Понятия не имею! — заорал Но. — Плевать мне на дождь! Слышишь? Ты должен во что бы то ни стало заставить уехать своего сыщика...

— Что с тобой?

— Что со мной? Что со мной? А то, что если так пойдет дальше, мы просто не выдержим. Он сует нос повсюду. И не говорит ни слова... Он... он...

— Успокойся. Я попытаюсь.

— Когда?

— Завтра утром. Как только начнется рабочий день, я пойду к начальнику полиции и поговорю с ним... Но не скрою от тебя, мне этот демарш не по душе. Впервые за свою службу я...

— Так ты сделаешь...

— Я же тебе сказал...

— Телеграмма придет часам к двенадцати... Он сможет уехать трехчасовым поездом. Проследи только, чтобы телеграмму отправили вовремя...

— Луиза здорова?

— Да, здорова... Спокойной ночи. Так не забудь... Потом я все объясню тебе... И не думай ничего дурного... Привет Марте...

Телефонистка поняла по лицу Мегрэ, что разговор закончился, взяла у него наушники, переставила в гнездах штепсели.

— Алло... Кончили?... Алло; Париж... Сколько минут?... Шесть?... Спасибо... Спокойной ночи, милочка...

Комиссар надел шляпу, раскурил свою трубку.

— Этого достаточно, чтобы меня уволили, — сказала телефонистка. — А как вы думаете, это правда?

— Что?

— А то, что говорят... Неужели такой человек, как мосье Этьен, мог... У него же есть все, чтобы быть счастливым...

— Доброй ночи, мадемуазель. Не беспокойтесь. Я не разболтаю...

— О чем они говорили?

— Ничего интересного. Семейные дела...

— Вы вернетесь в Париж?

— Возможно... Боже мой, конечно... Скорее всего завтра после обеда...

Теперь Мегрэ был спокоен. Он снова почувствовал себя комиссаром Мегрэ. Он даже немного удивился, увидев Луи, который ждал его на кухне. Луи, в свою очередь, тоже был поражен переменой, происшедшей с Мегрэ. Ему даже показалось — он подумал об этом с обидой! — будто комиссар вдруг посмотрел на него как-то свысока, чуть ли не с презрением.

Они снова вышли в ночь, в туман. Кое-где светились редкие огни этого нелепого маленького мирка.

— Это он, правда?

— Кто?... Что?...

— Мосье Но... Это он убил Альбера...

— Ничего не знаю, мальчик... Какое...

Мегрэ вовремя остановился. Он чуть не сказал: «Какое это имеет значение!..»

Так он думал, вернее, чувствовал. Но он понимал, какую бурю в душе Луи вызовет это признание.

— Что он говорил?

— Ничего интересного... Это касалось мосье Гру-Котеля...

Они пошли по направлению к гостиницам. Там еще горел свет. За окном одной из них виднелись силуэты посетителей.

— А что именно?

— Мосье Гру-Котель всегда был дружен с мосье Но?

— Подождите... Нет, не всегда... Я был маленьким, понимаете... Этот дом издавна принадлежал его семье, но, когда я был мальчишкой, мы часто играли неподалеку... Он пустовал. Это я помню потому, что мы не раз спускались в подвал, через люк, он не был заперт... Тогда мосье Гру-Котель жил у родственников, где-то в Бретани. Кажется, там у них замок... Вернулся он уже женатым... Вам надо бы поговорить с кем-нибудь постарше меня... Мне-то тогда было лет шесть или семь... Помню

только, у его жены была маленькая желтая машина, очень красивая, и она сама ее водила. И часто ездила одна.

— Гру-Котели встречались с семьей Но?

— Нет... Точно нет... Я хорошо помню, что мосье Гру-Котель вечно торчал у старого доктора... тот был вдовцом... Как сейчас вижу: сидят они у окна и играют в шахматы... Если не ошибаюсь, это, кажется, из-за жены мосье Гру-Котеля они перестали встречаться... Что-то там произошло между ними... Ведь раньше они дружили, учились в одном классе... А потом что-то разладилось. На улице они, правда, раскланивались... Даже разговаривали иногда, я сам видел, но и только...

— Значит, лишь после отъезда мадам Гру-Котель...

— Да... Года три назад... Мадемуазель Но тогда было лет шестнадцать или семнадцать... Она вернулась из Ниора, где долгое время находилась в пансионе. Домой она приезжала раз в месяц... Это я тоже хорошо помню, потому что здесь у нас все знали: если мадемуазель Но приехала, кроме каникул, конечно, — значит, можно не сомневаться — сегодня третье воскресенье месяца... Так вот тогда они и подружились... Мосье Гру-Котель стал чуть ли не дневать и ночевать у Но...

— Отдыхать они тоже ездят вместе?

— Да, в Сабль д'Олон... У мосье Но там вилла... Вы уже домой? А разве вы не хотите узнать, ушел ли агент...

Юноша повернулся в сторону дома Гру-Котеля, где сквозь ставни все еще просачивался слабый свет. Наверное, в представлении Луи следствие должно было вестись совсем иначе. Он был слегка разочарован поведением Мегрэ, но не решался показать это.

— Что он сказал, когда увидел вас?

— Кто? Кавр? Ничего... Нет, он ничего не сказал... Впрочем, все это не имеет никакого значения.

По правде сказать, мысли Мегрэ витали где-то далеко. Он машинально отвечал своему юному собеседнику, не вникая в смысл его вопросов.

С Мегрэ случалось, что он впадал в такое состояние. Сколько раз его товарищи по работе подтрунивали над ним из-за этого, судачили за его спиной!

В такие минуты Мегрэ казался надменным, важным, непроницаемым... Можно было подумать, что он ничего не видит и не слышит вокруг, всех презирает. Человек, не знающий Мегрэ, мог решить, что он просто самодовольный дурак.

Как-то один знакомый Мегрэ, вообразивший себя психологом, спросил его:

— Вы подводите итог своим мыслям?

И Мегрэ насмешливо ответил ему:

— Я решительно ни о чем не думаю.

И это не было красным словцом. Вот и сейчас, холодной, промозглой ночью, он стоял на улице и ни о чем не думал. В его голове не было ни единой мысли. Может, и правда, он похож на губку?

Это сравнение придумал капрал Люкас, с которым Мегрэ часто работал. Люкас знал своего начальника лучше, чем кто-либо другой.

— Когда патрон расследует какое-нибудь дело, — сказал он однажды, — наступает момент, и он вдруг как бы разбухает, словно губка. Можно подумать, что он заправляется особым составом.

Чем же он заправляется? В данную минуту, например, туманом и ночью. Город, который окружал его, уже не был для него чужим. И он не был в нем чужим, случайно заброшенным сюда судьбой человеком.

Теперь он чувствовал себя здесь всевидящим богом. Он уже так хорошо знал этот городок, будто всегда жил в нем, более того, будто он сам его создал. Он знал, что происходит сейчас в каждом из этих притаившихся в ночи домишек, он ясно представлял себе, как женщины и мужчины во-

рочаются в своих отсыревших постелях, какие им снятся сны, по свету ночника он догадывался, что вон за тем окном полусонная мать сует ребенку соску с теплым молоком, а там, в угловом доме, мучается больная, он мог заранее сказать, когда лунатичка-бакалейщица вдруг вскочит с постели.

Он незримо присутствовал в кафе, сидел за гладким коричневым столиком вместе с завсегдатаями этого заведения, а они шлепали по столу грязными картами и подсчитывали желтые и красные жетоны.

Он был и в комнате Женеьевы, рядом с нею. Он разделял ее страдания оскорбленной любовницы. Ведь она действительно страдала. Сегодня она пережила, наверное, самый тяжелый день в своей жизни и, кто знает, быть может, сейчас подкарауливает Мегрэ, чтобы снова проскользнуть к нему, когда все уснут.

И мадам Но не спит. Она уже легла, но не спит и в темноте своей спальни прислушивается к шорохам в доме, беспокоясь, почему до сих пор не вернулся Мегрэ, представляя себе, как, дожидаясь его, томится в гостиной муж. После разговора с шурином в его душе вновь затеплилась надежда, но долгое отсутствие комиссара его тревожит.

Мегрэ чувствовал тепло хлева, слышал, как бьет копытом лошадь в стойле, видел старую кухарку в ночной кофте...

А что же происходит у Гру-Котеля?.. Ага, вот распахнулась дверь. Альбан прощается со своим гостем, которого он уже ненавидит. О чем они еще говорили после звонка к Этьену Но там, в этой пыльной, затхлой гостиной?

Вот дверь захлопнулась. Кавр идет быстрым шагом, держа под мышкой свой портфель. Он доволен, и в то же время что-то гложет его. В общем-то можно сказать, что он выиграл. Он одержал верх над Мегрэ. Завтра комиссара отзовут в Париж, хотя жаль, конечно, что это не его, Кавра, заслуга. А вот угроза комиссара по поводу исчезнувшей кепки...

Помощник Кавра, потягивая из рюмки настойку, ждет его за столиком в «Золотом льве».

— Вы уже идете домой? — услышал Мегрэ голос Луи.

— Да, милый мой... А что мне еще остается?

— Но вы не бросите?..

— Что ты сказал?..

О, как хорошо знал их всех Мегрэ! Сколько таких Луи встречал он за свою жизнь — столь же горячих, наивных и в то же время отважных юношей, которых не страшат никакие препятствия, и они любой ценой хотят добиться правды...

«Это у тебя пройдет, мальчик, — думал он. — Через несколько лет ты будешь низко кланяться такому вот мосье Но или мосье Гру-Котелю, так как поймешь, что, раз ты сын Фийу, ничего другого тебе не остается».

Ну, а мадам Ретайо? Она уже, конечно, надежно запрятала деньги, лежавшие в супнице, и сейчас сидит одна-одинешенька в своем доме.

Уж она-то, она все это уже давно взяла в толк. А ведь эта женщина, наверное, была хорошей женой и хорошей матерью, не хуже других.

Возможно, раньше она и была подвластна своим чувствам, но потом поняла, что от этих чувств проку нет, и смирилась.

Смирилась с тем, что охранять себя надо при помощи иного оружия.

Смирилась с тем, что из всех несчастий следует извлекать деньги.

Смерть мужа принесла этой женщине дом и пенсию, которая позволила ей вырастить сына и дать ему образование.

А смерть Альбера...

— Держу пари, — пробормотал вполголоса Мегрэ, — что она мечтает о том, чтобы купить домик, но теперь уже не в Сент-Обене, а в Ниоре... Новый, чистенький домик... Мечтает об обеспеченной старости, которую проведет, глядя на портреты мужа и сына.

Старый Дезире, должно быть, отсыпается на своей грязной подстилке после дневных возлияний. Почтальон Иозафат, довольный собой, прикидывает, какую награду получит он за свое молчание и изворотливость.

Что же касается Гру-Котеля с его «Порочными наслаждениями»...

— Как вы быстро идете, мосье!

— Ты хочешь проводить меня?

— А вы против?

— Но твоя мать будет волноваться...

— Она обо мне не заботится.

Он сказал это с некоторой гордостью, однако в его словах сквозила и горечь.

Так! Вот уже и станция позади. Они вышли на топкую дорогу, идущую вдоль канала.

Там, в конце дороги, где виднелось светлое пятно — казалось, это луна, закрытая облаками, — стоял большой, теплый и покойный дом, один из тех домов, на которые с завистью поглядывает путник, думая: «Вот где хорошо живется!»

— А теперь, сынок, иди домой. Мне тут недалеко...

— Когда я вас увижу?.. Дайте мне слово, что вы не уедете прежде, чем...

— Обещаю тебе...

— Вы правда не откажетесь?

— Правда...

Увы! Как нелегко было Мегрэ сделать то, что ему предстояло. Он понуро вошел на крыльцо. Дверь оказалась незапертой. В гостиной горел свет. Его ждали.

Мегрэ вздохнул, снимая тяжелый, набухший от влажного воздуха плащ, постоял немного на коврике, раскуривая свою трубку.

— Ладно!

Бедняга Этьен Но ждал его, то окрыляясь надеждой, то впадая в смертельную тревогу. Он сидел в том же кресле, где днем в муках томилась мадам Но.

На столике стояла начатая бутылка арманьяка.

8. Мегрэ играет Мегрэ

Когда Мегрэ вошел в гостиную, вид у него был самый естественный. Он ссутулился и слегка склонил голову набок, как человек, который продрог и спешит поближе к огню. Впрочем, он и впрямь продрог, ведь он так долго бродил в этом промозглом тумане, забыв о холоде, и только теперь, когда снял плащ, его начало знобить, только теперь он почувствовал, сколько ледяной сырости впитало его тело.

Ему было не по себе, словно у него начинался грипп. Его тяготил предстоящий разговор, потому что все это было не в его духе. И главное, он колебался. Теперь, когда пришла пора действовать, принять окончательное решение, он вдруг стал выбирать между двумя диаметрально противоположными методами.

Именно этой раздвоенностью, а отнюдь не тем, что он хотел походить на того легендарного увальня Мегрэ, каким его обычно представляют, и объяснялось, что он вошел в гостиную с угрюмым видом, боком, как медведь, с пустым, невидящим взглядом.

Казалось, он вошел ни на что не глядя, но он заметил все: и рюмку, и бутылку арманьяка, и чересчур уж приглаженные волосы Этьена Но, который приветствовал его с наигранной беззаботностью.

— Ну как, комиссар, удачный вечер?

Видно было, что он только сейчас старательно причесал волосы расческой. Он очень следил за собой, но, наверное, раньше, в томительном одиночестве ожидая Мегрэ, он нервным жестом приглаживал их просто рукой.

Вместо ответа Мегрэ подошел к стене и поправил косо висящую картину. Это не было рисовкой, просто его действительно раздражало, что картина висела косо, а сейчас, в такой решительный момент, ему не хотелось раздражаться из-за ерунды.

В гостиной было жарко. Еще не улетучился запах блюд, которые подавались к ужину, благоухал арманьяк, и Мегрэ, не выдержав, налил себе рюмку.

— Так вот! — выпив, вздохнул он.

Этьен Но от неожиданности вздрогнул. Его охватила тревога. Это «так вот!» прозвучало, как вывод, сделанный после какой-то внутренней борьбы.

Если бы Мегрэ находился сейчас в стенах полиции или хотя бы имел официальное поручение вести это дело, он бы считал себя обязанным добиться максимального успеха, применив свой обычный метод. В данном случае целью его было бы довести Этьена Но до такого состояния, когда тот не сможет уже больше сопротивляться. Нагнать на него страху, сломить дух, то вселяя надежду, то приводя в трепет.

Это было бы нетрудно. Сначала надо дать ему запутаться в собственной лжи. Затем осторожно намекнуть, что ему, Мегрэ, известно содержание телефонных разговоров, и наконец — была не была! — в упор заявить: «Ваш друг мосье Альбан Гру-Котель завтра утром будет арестован...»

Но Мегрэ ничего этого не сделал. Он попросту подошел к камину и облокотился на него. Пламя камина припекало ему ноги. Этьен Но сидел рядом. Видимо, он еще не терял надежды.

— Я уеду завтра трехчасовым, как вы того хотели, — несколько раз коротко затянувшись из своей трубки, проговорил наконец Мегрэ.

Ему было жаль Этьена Но. Он чувствовал себя словно бы виноватым перед ним. Жил себе человек, немолодой уже — они с ним примерно одного возраста, — жил спокойной, размеренной жизнью, в довольстве и душевном покое, и вот сейчас над ним нависла угроза: он может все потерять и остаток дней своих провести за тюремной решеткой.

Попытается ли он защищаться, снова лгать? Мегрэ предпочел бы, чтобы он не делал этого. Так из сострадания хотят, чтобы скорее умерло нечаянно раненное животное. Избегая взгляда Этьена Но, он уставился на ковер.

— К чему такие слова, комиссар! Вы же знаете, вы у нас желанный гость, и все мы — и я в том числе! — ваши поклонники и глубоко симпатизируем вам.

— Я слышал, как вы говорили по телефону с вашим шурином.

Не хотел бы сейчас Мегрэ оказаться в шкуре Этьена Но. Да, неприятный момент, ничего не скажешь. О таких минутах потом обычно стараются не вспоминать.

— Кстати, — продолжал Мегрэ, — вы очень заблуждаетесь относительно меня, мосье Но. Ваш шуфин судья Брежон обратился ко мне с просьбой оказать ему услугу и приехать сюда, чтобы помочь вам в довольно щекотливом деле. Я сразу догадался, поверьте, что он неправильно понял вас и вы ждете от него совсем иной помощи. Ваше письмо было такое сумбурное, вы просили у него совета... Вы писали о слухах, что ходят по городу, умолчав, конечно, о том, что они обоснованны. И он, бедняга, честный, добросовестный человек, но ограниченный служака, не подозревая ничего дурного, послал агента, чтобы вызволить вас из затруднительного положения...

Этьен Но тяжело встал, подошел к столику и налил себе полную рюмку арманьяка. Рука его дрожала, и лоб, наверное, был покрыт потом. Мегрэ не смотрел на него, ему было жаль этого человека. Но, даже если бы и не жалость, он все равно просто из деликатности не смог бы сейчас встретиться с ним взглядом.

— Я бы тотчас уехал после первой же нашей встречи, если б вы не призывали на помощь Жюстена Кавра. Только его вмешательство вызвало во мне желание проявить упорство.

Этьен Но молчал, теребя цепочку от часов и не спуская глаз с портрета какой-то старой дамы.

— Поскольку я приехал сюда, не имея официального предписания, и мне не перед кем отчитываться, вам нечего меня опасаться, мосье Но. Мне же это облегчает разговор с вами. Вы провели чудовищные несколько недель, не правда ли? И ваша жена тоже, потому что, я убежден, она все знает...

Этьен Но еще не сдавался. А ведь стоит только ему сейчас кивнуть головой или сделать знак глазами, прошептать несколько слов — и кончится эта пытка неопределенностью. Кончится мучительное напряжение. Ему нечего будет скрывать, не нужно будет притворяться...

Наверху жена Этьена Но, верно, тоже не спит, прислушивается с беспокойством к каждому шороху, спрашивает себя, почему мужчины не поднимаются к себе в комнаты. А его дочь? Смогла ли уснуть она?

— Теперь, мосье Но, я поделюсь с вами моими сокровенными мыслями, и вы поймете, почему я не уехал, не поговорив с вами, как я уже готов был сделать, хотя вам это и может показаться странным. Выслушайте меня внимательно и не спешите с выводами, чтобы не ошибиться. Мне кажется — я даже почти убежден в этом! — что, хотя вы и виновны в гибели Альбера Ретайо, вы в то же время сами жертва. Я даже скажу больше: вы были орудием преступления, но не только вы ответственные за смерть юноши.

Мегрэ налил себе рюмку арманьяка, чтобы дать собеседнику время обдумать свои слова. И так как Этьен Но продолжал молчать, Мегрэ наконец-то посмотрел ему прямо в глаза, заставил его выдержать свой взгляд и спросил:

— Вы мне не доверяете?

Реакция Этьена Но была столь же тягостной, сколь и неожиданной: он разрыдался. Веки этого крепкого мужчины сразу набухли, на глазах выступили слезы, губы по-детски искривились. Какое-то мгновение он, пытаясь взять себя в руки, смущенный, стоял посреди гостиной, а затем, не в силах сдерживать себя больше, бросился к стене и, уткнувшись в нее, закрыл лицо руками. Плечи его судорожно вздрагивали.

Мегрэ ничего не оставалось другого, как ждать. Дважды он пытался продолжить разговор, но тщетно: Этьен еще не совладал с собой. Мегрэ сел перед камином, и, поскольку здесь нельзя было помешивать угли, как он привык у себя дома, он принялся щипцами ворочать поленья.

— А теперь, если хотите, расскажите мне, как все произошло. Впрочем, это не так уж необходимо. События того вечера восстановить легко, а вот другие...

— Что вы хотите сказать?

Этьен Но стоял перед Мегрэ, огромный, сильный, но это было лишь чисто внешнее впечатление. Сейчас он походил на ребенка, который не по возрасту рано физически развился и к двенадцати годам ростом и дородностью напоминает зрелого мужчину.

— Вы подозревали об отношениях, существовавших между вашей дочерью и этим молодым человеком?

— Я его даже не знал, господин комиссар. Конечно, я слышал о нем, потому что более или менее знаю всех местных жителей, но как он

выглядит, затруднился бы сказать. Я до сих пор ума не приложу, где Женестьева познакомилась с ним, ведь она почти нигде не бывает...

— В тот вечер вы уже лежали в постели?

— Да... И знаете... Это глупо... У нас на ужин тогда был гусь...

Он припоминал мельчайшие подробности, словно они могли своей обыденностью скрасить трагическую действительность.

— Я очень люблю гусятину, хотя она для меня тяжеловата... И вот что-то около часу ночи я встал, чтобы выпить соды... Вы примерно представляете себе наш дом... Рядом со спальней находится наша ванная, дальше — комната для гостей, затем еще одна комната, куда мы никогда не заходим, потому что...

— Знаю... Она напоминает о ребенке...

— А в конце коридора, на отлете, — комната дочери. Обе наши служанки спят на первом этаже... Так вот, зашел я в ванную и шарю там в темноте, чтобы не разбудить жену, а то начнет корить меня за обжорство... И вдруг слышу какой-то разговор... Словно кто-то ссорится... Я и подумать не мог поначалу, что это в комнате дочери...

Но когда я вышел в коридор, то убедился, что это именно там. К тому же из-под двери выбивалась полоска света... Слышу — мужской голос... Не знаю, господин комиссар, есть ли у вас дочь и что бы вы сделали на моем месте... Понимаете, здесь, в Сент-Обене, все мы немного старомодны... Может, я слишком наивен... Ведь Женестьеве уже двадцать лет... Но мне никогда и в голову не приходило, что она может что-то скрывать от меня и своей матери... Ну, а уж допустить, что мужчина... Нет, видите, я и сейчас еще...

Этьен Но приложил к глазам платок и машинальным движением достал из кармана пачку сигарет.

— Я чуть не бросился туда прямо в рубашке... В этом я тоже старомоден, сплю в рубашке, а не в пижаме... Но спохватился, понял, что буду нелепо выглядеть, вернулся в ванную и в темноте начал одеваться... Как раз когда я натягивал носки, я снова услышал шум, но уже со двора... В ванной ставни не были закрыты, и я раздвинул занавески... В ту ночь луна светила, и я увидел силуэт мужчины, который по приставной лестнице спускался из комнаты дочери во двор...

Сам не помню, как я сунул ноги в башмаки и ринулся вниз... Мне показалось, будто жена позвала меня: «Этьен!» — а может, послышалось...

Вы не обратили внимание на ключ от той двери, которая выходит во двор? Огромный старинный ключ, тяжелый, как молоток... Не могу поклясться, что я схватил его машинально, но, во всяком случае, здесь не было и продуманного намерения, потому что я не собирался убивать, и если бы меня в тот момент...

Этьен Но говорил тихо, голос его дрожал. Пытаясь взять себя в руки, он закурил сигарету и сделал несколько глубоких затяжек — так, наверное, в последний раз затягивается приговоренный к смерти.

— Мужчина обогнул дом, перелез через ограду, там, где она ниже, недалеко от дороги. Я побежал за ним. Я и не старался таиться, он, видимо, слышал мои шаги, но продолжал идти не спеша. Когда я подошел близко, он обернулся, и, хотя я плохо видел его лицо, мне показалось, что он смотрит на меня с насмешкой, даже с презрением.

«Что вам от меня надо?» — спросил он вызывающим тоном.

— Клянусь вам, господин комиссар, это было ужасное мгновение. Своему врагу я не пожелал бы пережить такое. Я его узнал. Для меня он был просто мальчишка. И этот мальчишка вышел из комнаты моей дочери да еще издевается надо мной! Я совсем потерял голову... подобные вещи происходят совсем не так, как обычно представляют себе... Я, не находя слов, молча тряс его за плечи, а он кричал мне:

«Ах, вас не устраивает, что я бросил вашу шлюху-дочь!.. Вы все заодно, да?»

Этьен Но провел ладонью по лицу.

— Дальше я ничего не помню, господин комиссар. При всем желании я не могу точно рассказать вам, что произошло потом. Он был в таком же бешенстве, как и я, но владел собою лучше. Он обливал грязью меня, мою дочь... Вместо того чтобы упасть на колени, упасть к моим ногам, как — пусть это было глупо с моей стороны, — представлялось мне, он должен был сделать, этот мальчишка насмеялся надо мной, над моей женой, над моим домом, ругал нас всех последними словами.

Я не могу повторить вам, что он говорил о моей дочери. Это были самые неприличные слова, и я, не помня себя, принялся бить его. А ведь в руке у меня был ключ... Парень в ответ неожиданно ударил меня головой в живот... Это была такая боль... и тогда я ударил его изо всех сил...

Он упал...

Сначала я убежал, хотел вернуться в дом...

Клянусь вам, что я говорю правду. Я решил позвонить в жандармерию в Бенэ... Но, подходя к дому, увидел свет в комнате дочери и подумал, что если расскажу все... Да вы сами понимаете... Я вернулся назад... Он был мертв...

— Вы его отнесли на железнодорожную насыпь, — вставил Мегрэ, чтобы помочь Этьену Но поскорее закончить свою страшную исповедь.

— Да.

— Один?

— Один.

— А когда вы вернулись?

— Жена ждала меня за дверью, за той, что выходит на дорогу. Она тихо спросила: «Что ты сделал?» Я попытался солгать, но она все поняла. Она глядела на меня с ужасом и в то же время с жалостью... Я лег и забылся в лихорадочном бреде, а она тщательно осмотрела в ванной всю мою одежду, не осталось ли...

— Понимаю...

— И знаете, вы можете мне не поверить, но до сих пор ни у жены, ни у меня не хватило мужества заговорить об этом с дочерью. И между собой мы тоже ни разу не обмолвились ни единым словом. Даже намеком. Вот что, наверное, самое ужасное, самое невероятное. В доме жизнь течет, как прежде, а ведь мы трое все знаем...

— А мосье Гру-Котель?

— Как бы вам объяснить... Сначала я о нем совсем забыл... Но на следующий день, когда мы сидели за стол, я с удивлением заметил, что его нет... Я спросил о нем — нужно было хоть о чем-то говорить! — сказал, что надо, мол, позвонить ему... И позвонил... Служанка ответила, что его нет дома... Но я был убежден, что слышал его голос: он был в той же комнате и что-то сказал ей...

Мне не давала покоя мысль: почему Альбан не приходит?.. Неужели он что-то подзревает? Глупо, конечно, но мне уже стало казаться, что единственная опасность — это он. Прошло три дня, четыре — он не появляется, и тогда я отправился к нему сам.

Я хотел только выяснить, почему он вдруг как в воду канул, и отнюдь не собирался ничего рассказывать ему... И все же рассказал...

Я нуждался в нем... Окажись вы в моем положении, вы бы меня поняли... Он передавал мне все, что говорили об этом в городке... От него я узнал, как прошли похороны...

Он же сообщил мне, когда впервые поползли слухи. И тогда меня начала преследовать мысль: я должен хоть в какой-то степени искупить свою вину. Умоляю вас, не смейтесь надо мной...

— Что вы, мосье Но, я столько видел людей, которые находились в подобном положении!

— И они вели себя так же идиотски? Они, как я, шли к матери своей жертвы? Знаете, все было, как в мелодраме: темной ночью, после того

как Гру-Котель убедился, что улицы пустынные, я отправился к ней... Нет, я не выложил напрямик ей всю правду... Просто сказал, что смерть сына — для нее большое горе, тем более что она вдова и теперь осталась без всякой поддержки...

Не знаю, господин комиссар, ангел она или черт... Как сейчас вижу: застыла у печки, белая как полотно, на плечах шаль накинута... У меня в кармане лежали две пачки по десять тысяч франков. Я не знал, как их вынуть, как положить на стол. Мне было стыдно... За себя... за нее... Да, да, стыдно...

И все-таки деньги переключались из моего кармана к ней.

— И я буду считать своим долгом, мадам, каждый год... — начал я.

Но она нахмурилась, и я поспешил добавить:

— Если вы предпочитаете, я в ближайшие дни передам вам ту сумму, которая...

Он замолк и, совершенно подавленный, подошел к столику налить себе еще рюмку арманьяка.

— Вот и все... Я очень сожалею, что не признался сразу же. А потом было уже слишком поздно... В доме внешне все идет по-прежнему... Не знаю, как у Женевьевы хватило мужества продолжать жить так, будто ничего не произошло. Иногда я спрашивал себя, не померещилось ли мне все это...

Когда я понял, что в городке подозревают меня в убийстве, да тут еще получил анонимные письма и узнал, что такие же были отправлены в прокуратуру, я написал шурина. Это было глупо, конечно... Чем он мог помочь мне, тем более не зная правды?.. Я наивно полагал, что юристы при желании могут замять дело, об этом часто поговаривают...

А он вместо этого прислал сюда вас, и еще как раз тогда, когда я уже связался с частным сыскным агентством в Париже... Да! Я решил и на это! Адрес я нашел среди газетных объявлений. И вот понимаете... Шурина я не смог признаться, а совершенно чужому человеку все рассказал! Мне необходима была чья-то поддержка...

Мосье Кавр знал, что вы приедете... Ведь как только шурина известил меня об этом, я сразу же дал телеграмму в агентство Кавра... Мы договорились встретиться на следующий день в Фонтенэ.

Что вы еще хотели бы узнать, господин комиссар? Как вы должны презирать меня!.. Да иначе и не может быть... Я сам себя презираю, поверьте мне... Держу пари, что среди всех преступников, с которыми вам довелось столкнуться, вы еще не встречали такого идиота, как я...

При этих словах Мегрэ впервые улыбнулся. Этьен Но говорил совершенно искренне. И отчаяние его было искреннее... И все же, как это бывает с каждым преступником, как он сам себя сейчас назвал, в нем вдруг заговорило самолюбие.

Ему было неприятно, досадно, что он такой жалкий преступник.

Несколько секунд, а может, и минут, Мегрэ сидел неподвижно, глядя на языки пламени, лизавшие обугленные поленья.

Этьен Но, сбитый с толку поведением комиссара, в растерянности стоял посреди комнаты.

Теперь, когда он во всем признался и добровольно покаялся, он считал бы естественным, если бы комиссар отнесся к нему более снисходительно и ободрил его.

Разве он уже не втоптал себя в грязь? Разве он недостаточно трогательно описал свои страдания и страдания всей семьи?

Вначале, до исповеди, он считал, что Мегрэ относится к нему с сочувствием, и думал, что это сочувствие не угаснет. Собственно, на него-то он и рассчитывал.

Но сейчас он не видел в комиссаре и следа участия. Спектакль окончился. Мегрэ спокойно покуривал свою трубку и, судя по его взгляду,

ду, о чем-то серьезно размышлял. Лицо его не выдавало никакого волнения.

— А что бы вы сделали на моем месте? — спросил все-таки Этьен Но.

Мегрэ так взглянул на него, что он подумал, уж не перегнул ли он палку, как ребенок, которого едва простили за злую шалость, а он уже спешит воспользоваться снисходительностью взрослых и становится еще более требовательным и нестерпимым, чем раньше.

О чем же думает Мегрэ? У Этьена Но даже мелькнула мысль, что благожелательное отношение комиссара к нему было не чем иным, как западней. А вот теперь комиссар встанет, вынет из кармана наручники и пронесет обычные в таких случаях слова:

«Именем закона...»

— Я вот думаю... — неуверенно начал Мегрэ.

Он снова сделал несколько затяжек, закинул ногу за ногу, потом опять принял прежнюю позу.

— Я вот думаю... да... что мы могли бы позвонить вашему другу мосье Альбану... Который час?.. Десять минут первого. Должно быть, телефонистка еще не легла и соединит нас... Да, пожалуй, правильно... Если вы, мосье Но, не очень устали, мне кажется, лучше со всем покончить сегодня же. Тогда завтра я смогу уехать...

— А разве...

Этьен Но не знал, как закончить свой вопрос, вернее, он не осмеливался произнести слова, которые чуть не сорвались у него с языка: «Но... разве мы еще не покончили?»

— Разрешите? — Мегрэ встал, прошел в переднюю и принялся крутить ручку телефона.

— Алло... Простите, дорогая мадемуазель, что я так поздно беспокою вас... Да, да, это я... Вы узнали мой голос?.. Нет... Никаких неприятностей... Будьте так любезны, соедините меня с мосье Гру-Котелем... Пожалуйста... Позвоните погромче и подольше, а то вдруг он крепко спит...

Через приоткрытую дверь Мегрэ видел, как Этьен Но в полном недоумении, весь какой-то обмякший, обессиленный, безвольный, залпом выпил рюмку арманьяка.

— Мосье Гру-Котель?.. Как вы поживаете?.. Вы уже легли? Что вы говорите?.. Читали, лежа в постели?.. Да, это комиссар Мегрэ... Я у вашего друга... Мы с ним болтаем... Что?.. Вы простудились?.. Как это некстати!.. Можно подумать, вы предвидели, что я собирался вам предложить... Нам бы хотелось, чтобы вы заглянули сюда... Да, да... Знаю, что туман... Вы уже разделись?.. В таком случае мы к вам приедем... На машине нам недолго... Что?.. Вы предпочитаете сами?.. Нет... Ничего особенного... Я завтра уезжаю... Представьте себе, важные дела призывают меня в Париж...

Несчастный Этьен Но, окончательно сбитый с толку, поглядывал на потолок, думая, наверное, о том, что его жена все слышит и очень волнуется. Может, пойти успокоить ее? А как он мог успокоить? Поведение Мегрэ сейчас вселяло в него тревогу, и он уже сожалел о своей откровенности.

-- Что вы говорите?.. — все еще доносился из прихожей голос Мегрэ. — Через четверть часа? Долговато... Поторопитесь... До встречи... Спасибо, мадемуазель...

Мегрэ повесил трубку.

— Он сейчас придет, — сказал он. — Очень обеспокоен. Вы не представляете, в какое состояние привел его мой звонок...

— Но ведь у него нет никаких оснований для...

— Вы так полагаете? — спросил Мегрэ.

Этьен Но уже совсем перестал понимать комиссара.

— Вы не будете возражать, если я поищу на кухне что-нибудь перекусить?.. Не беспокойтесь, я найду выключатель... А где холодильник, я уже заметил...

А не прикинулся ли Мегрэ голодным, не разыграл ли он комедию оттого, что ему просто не улыбалась перспектива провести еще десять минут в гостинной наедине с Этьеном Но? Возможно!

В кухне Мегрэ зажег свет. Плита уже остыла. Он разыскал куриную ножку, покрытую застывшим желе, отрезал себе толстый ломоть хлеба, густо намазал его маслом.

— Простите...

Мегрэ, жуя, вернулся в гостиную.

— ...у вас не найдется пивка?

— Может быть, рюмку бургундского?

— Лучше бы пива, но если нет...

— В погребе, кажется, есть... Я всегда заказываю сразу несколько ящичков, но я не знаю, осталось ли...

И вот, как бывает иногда, когда близкие, оплакивая дорогого покойника, вдруг среди ночи прерывают слезы и стенания, чтобы утолить голод, Мегрэ и Этьен Но после всех потрясений спокойно разгуливали по погребу.

— Нет... Это лимонад... Подождите... Пиво должно стоять под лестницей...

Так оно и оказалось. Они вылезли из погреба с бутылками. Еще надо было отыскать кружки.

Мегрэ, зажав в руке куриную ножку, продолжал жевать, и подбородок у него лоснился от жира.

— Интересно, ваш друг мосье Альбан придет один или нет? — как бы невзначай проговорил он.

— Что вы хотите сказать?

— Ничего. Предлагаю пари...

Но заключить пари они не успели. В входную дверь тихонько постучали. Этьен Но бросился открывать, а Мегрэ, держа в одной руке кружку пива, а в другой — куриную ножку на ломте хлеба, спокойно прошел на середину гостиной.

Он услышал шепот Гру-Котеля:

— Я встретил мосье и позволил себе привести его сюда, он...

Взгляд Мегрэ на мгновение стал жестким, но тут же, без всякого перехода, в глазах его вспыхнули веселые огоньки. Он крикнул:

— Входите, Кавр... Я вас ждал...

9. Шорох за дверью

Иногда бывает, что какой-нибудь сон, который длился, как нас заверяют, всего несколько секунд, мы помним очень долго, иногда всю жизнь. Вот и сейчас эти трое мужчин, что вошли в гостиную, на какое-то мгновение показались Мегрэ совсем не теми, что были в действительности, или уж, во всяком случае, не такими, какими они представлялись себе сами. Но именно такими они навсегда запечатлелись в памяти Мегрэ.

Все они, в том числе и сам Мегрэ, были уже немолоды, но, как это ни странно, при взгляде на них у Мегрэ создалось впечатление, что здесь собрались великовозрастные школьники.

У Этьена Но уже в юности, наверное, намечалось брюшко и была склонность к полноте — добрый здоровяк, хорошо воспитанный и немного застенчивый.

С Кавром Мегрэ познакомился давно, в дни его молодости, и уже тогда он был таким же желчным и необщительным, как и сейчас. И как он ни старался — а в те времена он следил за собой, — платью не имело на нем должного вида, как на других. Всегда он выглядел каким-то невзрачным, дурно одетым. От него веяло тоской. Когда он был ребенком, его мать, должно быть, постоянно твердила:

«Жюстен, пойди поиграй с детьми...»

И делилась с соседями своими опасениями:

«Знаете, мой сын никогда не шалит, не играет. Боюсь, как бы это не отразилось на его здоровье. Слишком уж он серьезен. Все время о чем-то думает, думает...»

Ну, и Альбан, по-видимому, не слишком изменился: наверное, он всегда такой и был: длинные, худые ноги, холеное, продолговатое лицо, узкие белые кисти рук, покрытые рыжеватыми волосами, аристократизм во всем облике... Он, наверное, списывал уроки у товарищей, курил их сигареты и где-нибудь в уголке рассказывал им непристойности...

И вот теперь эти трое мужчин оказались втянутыми в историю, которая для одного из них может кончиться пожизненной тюрьмой. А ведь они люди семейные. Двое детей, живущих где-то на юге, носят имя Гру-Котеля и, возможно, унаследовали кое-какие его пороки. Жена и дочь Этьена Но находятся сейчас здесь, в этом доме, и они едва ли смогли в эту ночь забыться во сне. Что касается Кавра, то его супруга, должно быть, по обыкновению, воспользовалась отсутствием мужа — зная это, он был еще мрачнее обычного.

Мегрэ сразу заметил, что с Этьеном Но за несколько минут, что он отсутствовал, произошла довольно странная перемена. Только сейчас он рассказывал Мегрэ о своем преступлении, откровенно, как мужчина мужчине, поверял ему свои душевные муки, и вот, войдя в гостиную вместе с Кавром и Гру-Котелем, еще весь пунцовый от волнения, он тщетно попытался принять независимый вид.

«А ведь в нем есть что-то детское, — подумал Мегрэ, — бедняга краснеет, как мальчишка». И он вдруг почувствовал себя школьным учителем, который только что отчитал ученика Этьена Но за неблагоприятный поступок, а теперь пришли его однокашники и выжидающе смотрят на своего товарища, словно спрашивая:

«Ну, как ты держался?»

А держался он плохо. Не защищался. Плакал. И теперь думал, не остались ли у него на лице следы слез.

Но Этьен не сдавался: пусть они считают, будто все прошло великолепно. Он засуетился, достал из буфета рюмки, налил всем арманьяка.

В Мегрэ вдруг вселилось какое-то мальчишество: бывают моменты, когда человек не задумывается над своими поступками. Он подождал, пока все рассядутся, а затем вышел на середину гостиной, посмотрел на Кавра, на Гру-Котеля и сказал:

— Итак, господа, вы влипли!

И именно в этот момент, впервые за весь день, он сам стал «играть Мегрэ», как говорили в полиции об инспекторах, которые пытались подражать своему знаменитому патрону. С трубкой в зубах, засунув руки в карманы, Мегрэ то становился спиной к камину, то склонялся к нему и ворошил щипцами обуглившиеся поленья, что-то говорил, бурчал себе под нос, тяжелой, медвежьей походкой переходил от одного собеседника к другому, задавал вопрос и вдруг замолкал, сея тревогу.

— Мы с мосье Но только что дружески долго беседовали. Я ему сказал, что решил завтра уехать в Париж, но, перед тем как расстаться, нам следует поговорить откровенно. И мы поговорили. Мосье Гру, почему

вы вздрогнули? Кстати, Кавр, извините, что из-за меня вас вытащили чуть ли не из постели. Да, признаюсь, виноват. Ведь когда я позвонил нашему другу мосье Альбану, я великолепно знал, что у него не хватит мужества прийти одному. Не понимаю, почему он в моем приглашении зайти к нам поболтать часок углядел какую-то опасность и за неимением адвоката привел с собой сыщика, благо, тот оказался под рукой... Не так ли, мосье Гру-Котель?

— Не я вызвал его из Парижа, — буркнул этот облезлый аристократ.

— Знаю. И не вы убили беднягу Ретайо, ведь в ту ночь вы случайно оказались в Ла Роше... И не вы бросили свою жену, она сама от вас уехала. И не вы... Словом, все не вы... И ничего хорошего вы тоже никогда не сделали...

Гру-Котель, встревоженный тем, что неожиданно оказался в положении обвиняемого, умоляюще взглянул на Кавра, как бы вызывая к нему о помощи, но тот, положив портфель на колени, обеспокоенно смотрел на Мегрэ.

Кавр достаточно хорошо знал полицию, и в частности своего бывшего коллегу, чтобы понять: вся эта инсценировка преследует определенную цель, после чего будет сделан вывод.

К тому же ведь Этьен Но ни словом не возразил комиссару, когда тот заявил: «Вы влипли, господа!» Так чего же еще он добивается?

А Мегрэ ходил взад и вперед, то останавливаясь перед каким-либо портретом, то подходя к двери в переднюю, то к двери в столовую, не переставая говорить, словно импровизируя, и Кавр даже подумал было, уж не тянет ли комиссар время в ожидании какого-то события, которое вот-вот должно произойти.

— Итак, завтра я уезжаю, — говорил Мегрэ, — ведь все вы хотели этого... Между прочим, я мог бы упрекнуть вас, и особенно Кавра, с которым мы давно знакомы, за такое недоверие ко мне. Вы же знали, черт побери, что я всего-навсего гость, да к тому же гость, принятый в этом доме наилучшим образом.

Все, что здесь произошло до моего приезда, в конце концов меня не касается. Но вы, конечно, могли бы со мной посоветоваться... В каком положении сейчас мосье Но? Да, он совершил преступление, тяжелое преступление... Но разве кто-нибудь подал на него в суд?

Нет! Даже мать юноши заявила, что она, если можно так выразиться, удовлетворена...

Мегрэ нарочно как бы вскользь произнес эту ужасную фразу.

— Мы все здесь люди порядочные, воспитанные. Правда, ходят кое-какие слухи, и можно было бы опасаться двух-трех неприятных свидетелей, но благодаря стараниям нашего друга Кавра и деньгам мосье Но, а также пристрастию некоторых субъектов к спиртным напиткам эта опасность устранена. Ну, а кепку, которая, впрочем, и не могла служить достаточной уликой, Кавр, как я думаю, из предосторожности уничтожил. Не так ли, Жюстен?

Кавр вздрогнул, услышав свое имя. Все повернулись к нему, но он предпочел промолчать.

— Вот каково наше положение, вернее, положение нашего друга мосье Но. Ходят анонимные письма. Их уже получили и прокурор и жан-дармерия. Не исключена возможность, что будет проведено следствие. Кавр, что вы посоветовали вашему клиенту?

— Я не адвокат.

— О, вы всегда скромничаете. Если разрешите, я выскажу свое мнение. Нет, это не совет юриста, поскольку я тоже не являюсь им, просто мои собственные соображения: думаю, что через несколько дней мосье Но пожелает отправиться всей семьей попутешествовать. Он достаточно богат,

чтобы позволить себе продать свои фермы и перебраться куда-нибудь подалее отсюда, может быть, даже за границу...

При мысли, что ему придется расстаться со всем, что до сих пор составляло смысл его жизни, у Этьена Но вырвался вздох, похожий на рыдание.

— Теперь поговорим о нашем друге мосье Альбане... Мосье Гру-Котель, каковы ваши намерения?

— Не отвечайте, — поспешно вмешался Кавр, увидев, что Гру-Котель уже открыл рот. — Разрешите мне заметить, что мы имеем полное право не отвечать на вопросы комиссара, тем более, что это не официальный допрос. Если бы вы знали комиссара так же хорошо, как я, вы бы поняли, что он ломает комедию, или, как это называют в криминальной полиции, берет вас на пушку. Мне неизвестно, мосье Но, признались ли вы в чем-либо и каким способом у вас вырвали это признание, но я убежден в одном: мой бывший коллега преследует какую-то цель. Какую, я еще не разгадал, но, какова бы она ни была, я советую вам остерегаться его.

— Великолепно сказано, Жюстен!

— Я не нуждаюсь в вашем одобрении.

— И все же я не могу не высказать его!

И вдруг Мегрэ заговорил совершенно другим тоном. Наконец произошло то, чего он ждал уже минут пятнадцать, ради чего он разыгрывал всю эту комедию. Ведь он не просто так вышагивал взад и вперед по гостиной, подходя то к двери в переднюю, то к двери в столовую.

Да и на кухню за куриной ножкой и хлебом он ходил перед этим отнюдь не потому, что был голоден или вообще любил поесть. Ему необходимо было узнать, есть ли в доме другая лестница, ведущая на второй этаж, помимо той, в передней. И он обнаружил узенькую лесенку около кухни...

Разговаривая с Гру-Котелем по телефону, он нарочно громко кричал, словно ему было невдомек, что в доме находятся еще две женщины, которым в этот час полагается спать...

Сейчас Мегрэ знал: за приоткрытой дверью в столовую кто-то стоит.

— Вы правы, Кавр, и хотя вы довольно мрачная личность, вы не дурак... Я действительно преследую одну цель, и я скажу вам, какую: я хочу доказать, что не мосье Но истинный преступник...

Больше всех был поражен сам Этьен Но, он с трудом удержал протестующий возглас. А Гру-Котель смертельно побледнел, и на его лбу Мегрэ увидел — раньше он не замечал ее! — мелкую крапную сыпь. Такая крапивница высypаает у нервных людей в момент душевного потрясения.

Это напомнило комиссару убийцу, виновника нашумевшего процесса, который после двух суток допроса, на котором он упорно все отрицал, вдруг с перепугу заболел медвежьей болезнью. Мегрэ и Люкас — они тогда вели допрос — потянули воздух носами и переглянулись, поняв, что они одержали верх.

Крапивница Гру-Котеля была того же происхождения, и Мегрэ с трудом удержался от улыбки.

— Ну что же, мосье Гру, вы предпочитаете сами рассказать нам правду или хотите, чтобы это сделал я? Не спешите, подумайте. Я охотно разрешаю вам посоветоваться с вашим поверенным, я имею в виду Жюстена Кавра. Уединитесь где-нибудь в уголке и решите там...

— Мне нечего сказать...

— Значит, придется мне объяснить мосье Но, который находится в полном неведении, почему был убит Альбер Ретайо? Мосье Но знает, как был убит юноша, но, хотя это и может показаться странным, он даже не подозревает, почему он был убит... Что вы сказали, мосье Гру-Котель?

— Вы лжете! — крикнул тот.

— Как вы можете утверждать, что я лгу, если я еще ничего не сказал? Хорошо. Я поставлю вопрос по-иному, это ровным счетом ничего не изменит. Не будете ли вы столь любезны сказать нам, почему вдруг однажды вы почувствовали такую настоятельную необходимость поехать в Ла Рош-сюр-Ион и предусмотрительно привезли оттуда счет из гостиницы?

Этьен Но по-прежнему ничего не понимал и, считая, что Мегрэ пошел по неверному пути, с тревогой смотрел на него. Еще недавно комиссар внушал ему чувство подобострастного трепета, сейчас же он сильно упал в его глазах. Эта ожесточенность против Гру-Котеля была лишена всякого смысла и выглядела отвратительно, настолько отвратительно, что Этьен Но, как человек честный, не мог допустить, чтобы очернили невинного, тем более его гостя.

— Уверяю вас, господин комиссар, вы идете по ложному пути, — поспешил он заверить Мегрэ.

— Я сожалею, дорогой мосье Но, однако я вынужден рассеять ваши заблуждения. Еще более я сожалею, что новость, которую вы от меня услышите, будет крайне неприятна. Не так ли, мосье Гру?

Гру-Котель вскочил. Была минута, когда казалось, что сейчас он бросится на своего мучителя, но он огромным усилием воли сдержал себя и только стиснул кулаки. Руки и ноги у него дрожали. Он направился к двери, чтобы выйти.

И тогда Мегрэ остановил его незначительным на первый взгляд вопросом, который он задал совершенно естественным тоном:

— Вы хотите подняться наверх?

Кто бы мог подумать, глядя на этого самоуверенного толстяка Мегрэ, что он волновался не меньше своей жертвы! Рубашка на нем прилипла к спине. Он напряженно прислушивался к чему-то. Он чего-то боялся.

Несколько минут назад он был уверен, что Женестьева, как он и предвидел, стоит за дверью. Именно для нее он звонил из прихожей Гру-Котелю и разговаривал с ним нарочито громко.

«Если я прав, — думал тогда Мегрэ, — она спустится...» И она действительно спустилась. Во всяком случае, он слышал легкий шорох в столовой, заметил, как при этом чуть дернулась дверь. И именно для Женестьева, чтобы она услышала его, он так резко говорил с Гру-Котелем.

Но сейчас за дверью была такая тишина, что он стал сомневаться, здесь ли она. Уж не упала ли она в обморок? Впрочем, тогда он услышал бы шум падения.

Ему не терпелось заглянуть за приоткрытую дверь, но не было повода для этого.

— Вы хотите подняться наверх? — спросил он Альбана, когда увидел, что тот направился к двери, и Альбан, потеряв над собой власть, ринулся назад и остановился перед своим мучителем.

— Что еще за инсинуация? Говорите! Какая еще клевета? Что бы вы сейчас ни сказали, все это ложь, сплошная ложь, вы слышите!

— Поглядите-ка на своего адвоката.

Действительно, вид у Кавра был жалкий. Он понимал, что Мегрэ напал на правильный след и его подопечный попался.

— Я не нуждаюсь в адвокате. Не знаю уж, кто и что мог вам наболтать обо мне, но заявляю заранее, что все это ложь, и если какие-то мерзавцы могли...

— Вы подлец, мосье Гру.

— Что?

— Я говорю, что вы омерзительный субъект. Так вот, я утверждаю, и я не отступлюсь от своих слов, что вы истинный виновник смерти Альбера Ретайо. Если бы наше законодательство было совершенно, вы бы заслужили большего, чем пожизненное заключение. Лично я, хотя мне не

часто доводилось это делать, с удовольствием проводил бы вас до гильотины...

— Господа, призываю вас в свидетели!.. — воскликнул Гру-Котель.

— Вы убили не только Альбера Ретайо, вы убили еще и других...

— Я?.. Я?.. Вы сошли с ума, комиссар!.. Он потерял рассудок!..

Клянусь, он опасный маньяк... Кто же эти люди, которых я убил?.. Скажите-ка мне, прошу вас... Ну, мосье Шерлок Холмс, мы ждем...

Гру-Котель дрожал от злости. Он был возбужден до предела.

— Вот одна ваша жертва. — спокойно сказал Мегрэ, указывая на Этьена Но, который теперь уже абсолютно был сбит с толку.

— Мне кажется, этот покойник чувствует себя великолепно, и если все мои жертвы...

И Гру-Котель ринулся к Мегрэ с таким решительным видом, что тот, защищаясь, инстинктивно поднял руку, и она, помимо его воли, опустилась на мертво-бледную щеку Альбана. Раздался глухой звук пощечины.

Возможно, они сцепились бы и, обхватив друг друга руками, принялись бы кататься по ковру, словно и в самом деле были подравшимися школьниками, если бы с лестницы, сверху, не послышался испуганный крик:

— Этьен!.. Этьен!.. Комиссар!.. Скорее!.. Женевьева!..

Мадам Но сбежала на несколько ступенек вниз, удивленная тем, что никто не отзывается на ее зов.

— Скорее наверх! — бросил Мегрэ Этьену Но. — В комнату дочери...

И, глядя в глаза Кавру, приказал тоном, не допускающим возражения:

— А ты не упусти его, слышишь?

Мегрэ вслед за Этьеном Но взбежал по лестнице и вместе с ним вошел в комнату Женевьевы.

— Взгляните... — в ужасе простонала мадам Но.

Женевьева, одетая, лежала на постели. Из-под полуприкрытых век пробивался тусклый взгляд. На коврик у кровати валялись осколки разбитой пробирки из-под веронала.

— Помогите мне, мадам...

Наркотик только начинал действовать, и в ней еще теплилось сознание. Когда комиссар подошел ближе, на лице ее отразился ужас. Он приподнял ей голову и силой разжал зубы.

— Принесите мне воды, побольше... Лучше теплой...

— Этьен, пойдись... Там, на плите, бачок...

Несчастный Этьен, как слепой, натыкаясь на стены, бросился вниз по лестнице черного хода.

— Не волнуйтесь, мадам... Мы подросли вовремя... Это моя вина... Но разве я мог представить себе, что она решится на такое... Дайте полотенце или платок, ну, что-нибудь...

Меньше чем через две минуты у Женевьевы началась обильная рвота. Обессиленная, она сидела на краю кровати и покорно пила воду, которую ей давал Мегрэ, чтобы еще вызвать рвоту.

— Можете позвонить доктору. Вряд ли он сделает что-либо большее, но на всякий случай...

Женевьева вдруг упала на постель и заплакала такими тихими, беззвучными слезами, что, казалось, они усыпили ее.

— Побудьте с ней, мадам... Мне кажется, что до прихода доктора ей лучше отдохнуть... Уж поверьте мне — а я, к сожалению, довольно часто сталкивался с подобными случаями, — опасность миновала...

Слышно было, как Этьен Но говорил по телефону:

— Да, сейчас же... Моя дочь... Я вам объясню... Нет... Да как есть, прямо в халате...

Мегрэ, проходя мимо Этьена Но, взял письмо, которое тот держал в руке. Он заметил его, когда оно еще лежало на ночном столике Женевьевы, но не успел забрать.

Этьен Но, повесив трубку, попытался отнять письмо у комиссара. В голосе его слышалось удивление.

— Что вы делаете... Ведь это же мне и ее матери...

— Я верну его вам позже... Поднимитесь к дочери...

— Как же так...

— Поверьте мне, ваше место там...

Мегрэ вернулся в гостиную и тщательно прикрыл за собой дверь. Он держал письмо в руке, думая, вскрыть его или нет.

— Ну, как дела, мосье Гру?

— Вы не имеете права меня арестовать.

— Знаю...

— Я не совершил ничего противозаконного...

За свою наглость он мог бы снова получить пощечину, но в таком случае Мегрэ пришлось бы пройти через всю гостиную, а на это его уже не хватило.

Он все еще вертел в руках письмо, не решаясь вскрыть сиреневый конверт. И наконец решился.

— Разве письмо адресовано вам? — запротестовал Гру-Котель.

— Ни вам и ни мне... Женевьева написала его перед тем, как покончить с собой... Вы хотите, чтобы я отдал его ее родителям? Послушайте-ка:

«Дорогая мама, дорогой папа, я вас очень люблю и умоляю вас, верьте этому. Но я должна покинуть вас навсегда. Иначе поступить я не могу. Не пытайтесь узнать причину и, главное, не принимайте больше у себя мосье Альбана, который...»

— Скажите-ка, Кавр, пока мы были наверху, он вам покался во всех своих прегрешениях?

Мегрэ был уверен, что Гру в панике во всем признался Кавру, ему нужно было уцепиться за кого-нибудь, кто бы защитил его. А Кавр был именно тем самым человеком, который может помочь ему, ведь это его профессия, стоит лишь заплатить ему за помощь.

Кавр молча опустил голову, и тогда Мегрэ спросил:

— Так что же вы скажете мне?

И тогда Гру-Котель, преступая пределы подлости, заявил:

— Она сама начала...

— О, конечно. И она давала вам читать мерзкие развратные книжонки?

— А я и не давал...

— И не показывали ей кое-какие гравюрки, которые я обнаружил у вас на полках?

— Она сама их нашла...

— Но вы сочли необходимым объяснить девушке, что на них изображено?

— Среди мужчин моего возраста не у меня одного молодая любовница... Я ее не принуждал... Она была так влюблена...

Мегрэ оглядел его с ног до головы и оскорбительно рассмеялся.

— И опять же это ей пришло в голову пригласить Ретайо?

— Согласитесь, если она решила завести другого любовника, дело ее. Я считаю, что это наглость с вашей стороны — упрекать в этом меня! Только что, при моем друге Но...

— Как вы его назвали?

— При мосье Но, если вы предпочитаете, я не мог вам ответить, и вы оказались в выигрышном положении...

У крыльца остановилась машина. Мегрэ вышел в переднюю, открыл доктору дверь и, словно он был хозяином дома, сказал:

— Быстрее к Женевьева...

Потом он вернулся в гостиную, все еще держа в руке письмо.

— Так вот, мосье Гру-Котель, вы потеряли от страха голову, когда она сказала вам, что забеременела... Вы трус. И всегда были им. Жизнь так пугает вас, что вы боитесь жить своим умом и цепляетесь за других...

Вот так и с ребенком... Ответственность за него вы решили взвалить на какого-нибудь простака, который поверит, что отец — он...

Как это вы ловко придумали!.. Заманили юношу, который был убежден, что его в самом деле любят... И в один прекрасный день объявили ему, что его объятия не остались без последствий... Что было бедняге делать? Только пойти к папочке, броситься перед ним на колени, вымолить прощение и заявить, что он готов искупить свою вину и жениться. А вы бы, как и раньше, оставались любовником Женеьевы, да? Подлец!

А ведь это Луи натолкнул Мегрэ на правильный путь, когда сказал: «Альбер был взбешен... Прежде чем пойти на свидание, он выпил подряд несколько рюмок...»

А поведение юноши с отцом Женеьевы? Он говорил с ним вызывающим тоном, оскорбляя Женеьеву...

— Каким образом Альбер Ретайо все узнал?

— Это мне не известно.

— Вы предпочитаете, чтобы я спросил у Женеьевы?

Гру-Котель пожал плечами. В конце концов что это изменит? Все равно ему ничего не угрожает.

— Ретайо каждое утро брал почту своего хозяина, когда ее еще только разбирали... Проходил за перегородку, иногда даже помогал сортировать письма. На одном из них, адресованном мне, он узнал почерк Женеьевы... Она прибегла к письму, потому что в течение нескольких дней нам не удавалось поговорить наедине...

— Понятно...

— Если б не это, все бы уладилось... И еще если бы вы не совали свой нос куда не надо...

Теперь ясно, отчего Альбер был в бешенстве в тот вечер, когда со злосчастным письмом в кармане шел на последнее свидание с любовницей, так низко обманувшей его. И естественно, он решил, что все, в том числе и родители Женеьевы, сговорились окрутить его.

Перед ним играли комедию. Встреча с отцом, который сделал вид, будто случайно застал его на месте преступления, — лишь последний ее акт, разыгранный для того, чтобы заставить его жениться на Женеьеве.

— Откуда вы узнали об истории с письмом?

— Немного позже я тоже зашел на почту, и мадемуазель Ренке сказала, что для меня, кажется, есть письмо...

Она долго искала его, но так и не нашла... Я позвонил Женеьеве... Потом я спросил на почте, находился ли там кто-нибудь при сортировке писем, ну и тогда понял, и...

— И, решив, что дело плохо, почувствовали необходимость поехать в Ла Рош повидаться с вашим другом помощником префекта.

— Это — мое личное дело.

— А вы, Жюстен, что скажете?

Но Жюстен Кавр снова уклонился от ответа.

Кто-то, тяжело ступая, спустился по лестнице. Дверь распахнулась, и вошел Этьен Но, мрачный, подавленный. По его глазам видно было, что он тщетно пытается найти ответ на мучившие его вопросы. И тут Мегрэ вдруг уронил письмо, да так неудачно, что оно упало в камин прямо на поленья, и его сразу же охватило пламя.

— Что вы сделали!

— Простите... Впрочем, это уже неважно. Ваша дочь вне опасности, и она сама сможет сказать вам, что там было написано...

Поверил ли Этьен Но, что она действительно вне опасности, или же он просто искал успокоения, как больной, который догадывается, что его

обманывают, и верит утешительным словам врача лишь наполовину, а то и вовсе не верит, но все-таки жадно ловит каждое слово надежды?

— Ей лучше? — спросил его Мегрэ.

— Она спит... Доктор говорит, что если бы не вы... Спасибо вам, комиссар, от всей души...

Бедняга Этьен, казалось, чувствовал себя неуютно в собственной гостиной, словно он надел пиджак с чужого плеча. Он бросил взгляд на бутылку арманьяка и хотел было налить себе, но не решился, и тогда Мегрэ налил ему и себе по рюмке.

— За здоровье вашей дочери и за окончание всех недоразумений...

Этьен Но удивленно посмотрел на него. Неужели же все это можно назвать просто «недоразумением»?

— Пока вы были наверху, мы здесь поболтали немного. Ваш друг мосье Гру, кажется, собирается сделать вам одно очень важное признание... Представьте себе, никому не сказав ни слова, он начал бракоразводный процесс...

Этьен Но терялся в догадках. К чему это клонит комиссар?

— Да... У него есть план, который, возможно, и не вызовет у вас особого восторга... Склеенную вазу не назовешь целой, но все же это ваза, не так ли? Ну, хватит! Я так хочу спать, что меня уже ноги не держат... Мне говорили, что есть утренний поезд на Париж?

— В шесть одиннадцать, — сказал Кавр. — Я как раз думаю поехать этим поездом.

— Значит, будем попутчиками... А пока что я часика на два-три прилягу...

Проходя мимо Гру-Котеля, Мегрэ, не удержавшись, остановился и бросил ему в лицо:

— Подлец!

Утро было такое же туманное, как и накануне. Мегрэ категорически отказался, чтобы его провожали, и Этьен Но не настаивал.

— Не знаю, господин комиссар, как мне благодарить вас. Я был по отношению к вам так несправедлив...

— О, вы чудесно меня приняли, великолепно угостили...

— Передайте, пожалуйста, моему шурину...

— Ну, конечно... Да, если вы не против, я позволю себе дать вам один совет... Относительно вашей дочери... Не терзайте ее...

Грустная отцовская улыбка убедила Мегрэ в том, что Этьен Но все понял, понял даже больше, чем можно было предположить.

— Вы, комиссар, хороший человек, очень хороший... Моя признательность...

— Ваша признательность, как говорил один из моих друзей, умрет только вместе с вами... это вы хотели сказать? Прощайте!.. Черкните мне когда-нибудь открыточку...

Мегрэ вышел из дома, который, казалось, был погружен в успокоительный сон. В городке лишь из двух-трех труб подымался дымок и смешивался с туманом. Молочный завод работал на полную мощность. Вдоль канала на лодке, заставленной бидонами с молоком, плыл старик Дезире.

Мадам Ретайе, конечно, спит, спит, и телефонистка, и Иозафат, и...

До самой последней минуты Мегрэ боялся, что он встретит Луи. Ведь юноша так надеялся на него... Утром, узнав, что комиссар уехал, он наверняка с горечью скажет:

— Он был с ними заодно!

Или же:

— Они его купили.

Да, они его купили... Но не красивыми словами и уж, во всяком случае, не за деньги...

И вот, стоя на перроне в ожидании поезда, поставив у ног чемодан, Мегрэ разговаривал вслух со своим невидимым собеседником:

— Понимаешь ли, сынок, я тоже хочу, чтобы все в мире было хорошо, по-честному... Я тоже страдаю и возмущаюсь, когда...

Так! А вот и Кавр. Он пришел на перрон и остановился метрах в пятидесяти от комиссара.

— Взять хотя бы этого типа... — продолжал Мегрэ. — Он же прохвост... способен на любую мерзость... Да, да, это так... И все же мне его немного жаль. Я его знаю... Знаю ему цену и знаю, что он несчастный человек... Ну, предположим, что Этьена Но осудили... А дальше что?.. Да еще и неизвестно, осудили бы его... Ведь улики-то против него никаких... Началось бы следствие, столько грязи на свет вытащили бы... И Женевьеву бы потянули в суд... А Альбана даже не потревожили бы... Наоборот, он был бы очень рад, что избавился от ответственности...

Но Луи не было рядом с ним, и хорошо, что не было. Честно говоря, комиссар сейчас не очень-то гордился собой, и его отъезд на рассвете сильно смахивал на бегство.

— Позже ты поймешь... Да, ты верно сказал, они сильны... Они все заодно...

Жюстен Кавр подошел к Мегрэ, но не решился заговорить.

— Вы слышите, Кавр? Я разговариваю сам с собой, как старик.

— Какие новости?

— Что вы имеете в виду? Женевьева спасена. Родители ее... Кавр, я вам сочувствую, но я не люблю вас... Ничего не поделаешь... К одним животным чувствуешь симпатию, к другим — нет... И все же я вам кое-что скажу... Есть одно выражение, которое мне кажется самым отвратительным из всех наиболее употребляемых. Каждый раз, когда я его слышу, меня всего передергивает, я даже зубы стискиваю. Вы догадываетесь, что я имею в виду?

— Нет...

— Все уладится...

К перрону подходил поезд. Сквозь нарастающий шум Мегрэ крикнул:

— Вот увидите — все уладится...

Два года спустя Мегрэ случайно узнал, что мосье Альбан Гру-Котель женился на мадемуазель Женевьеве Но. Свадьба состоялась в Аргентине, где отец невесты стал крупным скотовладельцем.

— Жаль, конечно, нашего друга Альбера, не правда, Луи? Но ничего не поделаешь, всегда какой-нибудь бедняк расплачивается за других.

Перевела с французского К. Северова.



В мире искусств

Эдуардас Межелайтис

МИР ЧЮРЛЁНИСА

«Вселенная представляется мне большой симфонией; люди — как ноты...»

М. К. Чюрлёнис

ЕГО ИНИЦИАЛЫ

«...я как вольная птица (без крыльев)...»

М. К. Чюрлёнис

МКЧ—

как странная птица,
из тех, что мы не видали,
из тех, несомненно, живущих в сказочных рощах,
летит и летит, пробиваясь к солнечной дали,
этот резкий причудливый росчерк.

МКЧ —

это волны
набегающего прилива,
где чайка четко очерчена лучом заката,
или реющая над раскрытым роялем грива
за роялем сидящего гениального музыканта.

МКЧ —

это в сумерках,
когда очертанья туманны
и звезды так странны над розовыми куполами,
рядом с легкой летящей готикой святой Анны
черная его крылатка бьет на ветру крылами.

МКЧ —

это башня и гений,
простирающий руку
к месяцу или к птице, что над ним летает:
гений — вольная птица, понимающая эту муку
быть вольной птицей, когда ей крыл не хватает.

— Чюрлёнис! —
 влюбленно и щедро
 и звонко,
 как сто скрипачей,
 уже перейдя на крещендо,
 ритмично чеканит ручей.
 И чище, чем юность:
 — Чюрлёнис! —
 бубенчик
 венчает прелюд,
 и в лад,
 не тая увлеченность:
 — Чюрлёнис! —
 поляны поют.
 Вечерние воды речные,
 где тучи скользят,
 как челны:
 — Чюрлёнис! —
 И своды ночные:
 — Чюрлёнис! —
 чернильно-черны.
 — Чюрлёнис! —
 его величая,
 венчает его Дайнава...
 И, чуткой листвою качая,
 как арфы,
 звучат деревья,
 и ели,
 как виолончели,
 поют и поют,
 подхватив
 наивную речь Ратничеле,
 причудливый речитатив.

ПОПЫТКА ПОНЯТЬ ЕГО

◆ 1

«...жить, широко раскрыв глаза на все, что
 прекрасно... ..забыть, откуда и куда идешь, как
 тебя зовут, и смотреть глазами ребенка...»

М. К. Ч ю р л ё н и с

Широко раскрытые, большие, удивленные глаза. Глаза ребенка. Глаза гения. Подлинная красота доступна только таким глазам. Мир должен дивить. Как сказка. И в сказку надо верить. Как в реальную жизнь. В сказку верят только дети. Подлинную красоту воспринимает только чистая, прекрасная душа. Душа ребенка. Греческий скульптор увидел свою исполненную очарования Афродиту глазами ребенка, как Рафаэль — красоту и непорочность Сикстинской мадонны. как Леонардо да Винчи — благородную прелесть Монны Лизы. Огюст Роден перенес в мрамор тончайшие линии, увидев их в природе глазами ребенка. Прекрасное не терпит лжи. Если душа осквернена ложью, глаза не видят прекрасного. Ложь уничтожает красоту, а красота — ложь. Чем талантливее художник, тем больше прекрасного видят в мире его глаза.

◆ 2

«Какая-то поразительная гармония, которой ничто не может замутить. Все существует как прекрасное сочетание красок, как звучание дивного аккорда...»

М. К. Ч ю р л ё н и с

О, как трудно вместить в себя мир!.. Сколько звуков в нем слышится, сколько красок сверкает! В каких бесчисленных ритмах пульсируют природа и жизнь... И какими же средствами можно совершеннее выразить его, этот мир? Звуками? Красками? Ритмами? Напрягается слух ребенка. Широко раскрываются его очи. Распахивается сердце. Пробуждается музыкант. Художник. Поэт. Уши полнятся шорохами пашни, где растет хлеб, недовольным ворчанием земли, таящей в себе вулканы, ревом морских волн, перекагывающих валуны, шуршанием зеленого леса, беззвучной симфонией космоса. Глаза захлестывает множество красок — зелень луга и синева небес, прозрачный смарагд моря и медь солнца... Сердце переполняют радость и печаль, удивление и боль, гнев и безмятежность, и оно ритмично бьется в такт морю и ветру, облакам и птицам, весне и зиме, планетам и гадактикам. Кровеносные сосуды художника перенасыщены звуками, красками, ритмами, чувствами. Он должен разгрузиться. Должен освободиться. Иначе сердце не выдержит. Он избранник природы. Природа с избытком наделила его прекрасным. И он должен освободить его, не утаивать красоты бытия, опустошить себя до конца. Создать образ мира. Звуками? Звуками! Но звуки увлажняются и превращаются в краски. Звучит голубая музыка неба, зеленая музыка леса, янтарная музыка моря, серебряная музыка звезд... Что же тут создается? Да это же цветовая мелодия! Значит, с помощью одних только звуков не выразишь в совершенстве мира? Надо браться за краски, браться за живопись. Да. Холсты. Холсты. Холсты. Теперь он точнее, полнее — образ мира!.. Но что это? Пиано зазвучал синий. Форте — взметнулся зеленый... Краски обрели звучание. Их голоса сплетаются, сливаются в едином хоре, в одном оркестре. Словно скрипичные струны, запели мачты деревьев, строчки птиц, острые пики гор, плавные линии облаков. Струнами арфы зазвенела небесная лазурь. Что это? Звучащая живопись? О, как гремит в груди колокол сердца: бом-бом-бом... Ворвавшийся в окно весенний ветер растрепал волосы. В руке палитра и кисть. И вот палитра оставлена. Пальцы вонзаются в черные и белые клавиши. Рояль рассыпает звонкие янтарьки. Средство — это неважно! Музыка ли, краски, поэзия... Важна суть. Важна мысль. Звук — скорлупка ореха. Мысль — его ядро. Мысль и в линии, проведенной карандашом, и в мазке, оставленном кистью. Философия объединяет краски, звуки, поэтическое слово. Гений ничем не стесняет себя. Гений не выбирает средств. Гений — это прежде всего творец мысли. А звук, цвет, слово — это лишь средства, чтобы поведать ее. Цель гения — созидание мира...

◆ 3

«...чем шире крылья расправит, чем больший круг облетит, тем будет легче, тем счастливее будет человек...»

М. К. Ч ю р л ё н и с

Послушайте, почтеннейшие! О чем это вы тут толкуете? Хотите отнять память? Лишить сна? Мечту отобрать хотите? Мы засыпаем и видим во сне бурные порывы ветра в хаотическом мире. Мы не можем помнить этого. Тогда мы были молекулами водородной туманности. Но это помнят частицы наших мышц, они трепещут во сне, как трепетали в хаотических вихрях галактики. Засыпаем, и нам снятся разрывы земной коры, земле-

трясения, извержения вулканов... Нам снится однообразно ритмичный морской прибой. Мы ощущаем жар солнца куда сильнее сегодняшнего его тепла. А как высоки во сне горы! Какие горы! Трудно взбираться на них. И вертолет не приходит на помощь. Потому что тогда еще не было вертолетов. А какой неизвестный вид у растений, растопыривших свои крылатые листья! Как на полотнах Руссо. То тут, то там вдруг появляются фантастические звери и летают давно сгинувшие птицы. А что там, в наших снах, так потрескивает, сверкает, гудит? Огонь! Первый огонь, разведенный пращурами в пещере. А замки? Нет, это не замки — это удивительные игольчатые кристаллы ледниковой эпохи. Похожие на замки. И сады. О, какие сады! Парящие над землей зеленые облака. Висячие сады Семирамиды. Остатки возведенных в пустынях алтарей. И пирамиды, пальмы, сфинксы. Бескрайние пространства вод. Наверно, это потоп. Человечество помнит. Ничто в мире не погибает, ничто не исчезает бесследно. Все хранит на века мозг человеческий. И потому люди создают поэтические легенды и сказки. В сказках — ориентиры, путеводные звезды, маяки грядущего. Наука реставрирует человеческую память. Определяет возраст галактик, солнечной системы, Земли, человека. Изучает перспективы будущего. Успехи науки никого не удивляют. Так и должно быть. Это естественно. Удивляет искусство, прокладывающее свои тропы рядом с магистральями науки. Куда же идет оно, искусство? Почему вторгается в область науки? Чюрлёнис одним из первых перешел этот Рубикон. Его фантастические видения — из сокровищницы памяти человечества. Эта память всегда помогала человеку творить сказку, легенду, миф. Эта память помогала ему осознать, обобщить, синтезировать реализм жизни. Разве не так родился эпос? Все мифологические символы? Все легендарные сюжеты? Только из земной действительности переносились они в сферу поэзии. И в этом секрет их могущества. Их основа — жизнь. Таков и Чюрлёнис. Гений стремится к всеобщности. Гению мало настоящего. Он погружается в пучину прошлого и воссоздает сгладившиеся горы, развалины городов, замков — все, что сделали человеческие руки. Творец связывает настоящее с прошлым и будущим. Он больше видит, больше вмещает в себя. Он всемогущ.

◆ 4

«Последний цикл не окончен; я думаю работать над ним всю жизнь... Это сотворение мира, но не нашего, библейского, а какого-то другого — фантастического. Мне хочется создать цикл по меньшей мере из ста картин...»

М. К. Чюрлёнис

Этот цикл он начал. И не окончил. И это прекраснейшее из созданного им — хаотическое переплетение цветных линий и музыки. Гений болен вечным протестом, беспокойством. Его не удовлетворяет действительность. Он мечтает пересоздать вселенную. И, разумеется, предлагает сделать ее более совершенной, справедливой, прекрасной. У него своя собственная программа добра, истины и красоты. Гений говорит о главном. О сотворении нового мира. О сотворении нового человека. Каждый гений борется, нередко титанически борется с извечными законами мира... Мир заново творили в пустынях строители пирамид, мечтавшие украсить солнцами их острые пики. В Сикстинской капелле заново творил мир Микеланджело. Мир заново творил недовольный собой и всем прочим в этом мире, трагически мрачный и суровый, окутанный хаосом звуков Бетховен. Он запечатлевал этот хаос, вечное ворчание земли и тоску по гармоничному миру. Чюрлёнис тоже был язычником. Он поклонялся источнику жизни — солнцу и считал, что сотворение мира еще не закончено. И необходима его.

Чюрлёниса, сильная помощь. Он был сторонником активной философии, утверждающей дальнейшее творение мира. И уж никак не пессимистической. Это очень важно, коль скоро мы хотим правильно понять и полюбить его. Чюрлёнис верно познал противоречивость творения, именуемого миром и человеком. Он угадал извечный конфликт между черным и белым дымами. И, наконец, он понял всю эфемерность отдельной человеческой судьбы. Трагически бесконечная черная процессия всех поколений человечества, символически несущая гроб, — это лишь аккорды черных клавишей. Творец, вознамерившийся заново создать мир, должен был взглянуть на него со стороны, облететь вокруг земного шара, подняться в космическое пространство, в туманности галактик. Творец должен был увидеть объект своего творчества. Он интуитивно предвидел приход новой космической эры. Он понял, что изменится взгляд человека на его собственную планету и на чужие планеты в бесконечных просторах Вселенной. Нет другого художника, который бы так реально, так осязаемо чувствовал романтику космоса. Чюрлёнис сумел преодолеть горизонты пространства и границы времени. Ведомый атактистической памятью, этот художник вторгся глубже других в прошлое человечества, в век его детства и юности, — в сферу легенды, сказки, мифа. И гораздо дальше других заглянул и зашел он в будущее человечества, которое сегодня тоже еще называется мечтой, сказкой, мифом. Огромна временная парабола этого художника — от первозданного хаоса до всеобщей гармонии будущего. Мы отсчитываем время своей земной меркой. Он уже тогда начал исчислять его галактическими мерами. Не менее значительна и его пространственная парабола, облизанная кометами, звездами, млечными путями. По этой параболе шагает крылатый человек. Может быть, Икар. И еще, может быть, космонавт. Гениально предчувствовал этот художник наступление космической эры. И космизм, позволивший преодолеть земные мерилы времени и пространства, дал ему возможность угадать в горизонтах грядущего идеал добра и красоты. Гений хотел бы вернуть миру утраченную гармонию — гармонию первых людей золотого века. И еще он хотел пророчествовать.

◀ 5

«...были и такие, что, глядя на мои картины, покатывались со смеху...»

М. К. Чюрлёнис

Реставрированный мир тех времен, когда он еще походил на сказку, в бесконечном спокойствии бесконечные пространства воды, напоминающие всемирный потоп,

миражи висящих в поднебесье садов, миражи вавилонских башен, сфинксов, пирамид в пустынях,

пылающее солнце, дружески протянутое на ладони ближнему своему, солнце, похожее на человеческое сердце,

младенец с невинными глазами и невинной душой, тянущийся к белой головке одуванчика, на вершине высокой горы,

бурная, как бушующее море, человеческая душа, на дне которой лежат затонувшие черные корабли воспоминаний,

гиперболы гор и замковых башен, которые устремлены в зенит и ширятся в пространстве, словно мелодия,

часы бесконечного спокойствия, когда, слившись со звездами, человек задумывается о мире и о себе,

солнечный сон Икара, когда человек перед лицом смертельной опасности ищет выхода для жизни в космические просторы, —

что же рассмешило вас?

УТОПЛЕННИКИ

Монолог художника

«...Была темная ночь, лил, хлестал ливень. Вдруг сверкнула безумная мысль: все на земле потонуло, все — города, деревни, избы, костелы, леса, башни, поля, горы — все затопила вода. Люди ничего об этом не знают, потому что ночь, и преспокойно спят в избах, дворцах, виллах, гостиницах. Спят глубоким сном — но ведь это утопленники, белые, распухшие, окоченевшие, нечеловечески храпят, укутываются во сне в одеяла, чешут распухшие поясицы, бормочут что-то бессвязное, и жутки их выпученные, белые, как сало, глаза...»

М. К. Чюрлёнис

И кары,

а также с орлом подстреленным схожи,
веками
космонавты поэзии, лезем мы вон из кожи...

Как Гомера — боги,
манят синие дали к себе все сильнее с годами...
Но увязли ноги
в этой почве илистой, где утопленники лежат рядами...

Кто нашептывал в уши,
что потоп окончился и улегся, у ног играя?
Нет ни метра суши —
только мутный один океан, без конца и края...

Тишина — как в могиле.
Ложью, кровью, слезами затопленное пространство...
Со своим Вергилием
по зловонному царству утопленников я странствую...

Ржавые пятна...
Распухшие лица, чудовищные, как маски...
Вверх! Скорее обратно!
Что тут делать? Утопленникам рассказывать сказки?

Зачем?

О Данте, пожалуйста,
свой сарказм убийственный дай мне в подмогу!
Им не на что жаловаться,
потому что сполна получили они, слава богу —

прежде, чем утонули
в грязи

лжи —
крови —
навоза —
слез —

золота —
они утопленники.

их никогда

не воскресить,
не докликаться,
не дожидаться...

Службу правили —
тупо глядели белыми, как сало, глазами.
Рухнул в пламени
золоченый алтарь их молоха — виноваты сами!

Что ж!..

Стоит ли пробовать
разбудить, воскресить попытаться хотя б на мгновенье?
Все проели, пропили
и ушли в забытьё, погрузились навеки в забвеньё.

Все...

В небе ясно, звездно —
только их не поднимешь ради этой манящей млечности.
Поздно —
не услышать им чистого голоса Человека и Человечности...

Звезды алмазные
я не стану им сыпать в мешок, как буханочки хлеба.
Что вам выдумки разные
и фантазии разные — что вам звезды неба!

Зачем они вам, утопленники?

Муки поиска
и синие дали оставляю себе, — вам молчания тризна.
Мы два полюса,
навсегда сведены наши счеты — отныне и присно!

ЧЮРЛЕНИСА НАХОДИМ В НИДЕ

«Трудно выразить словами, как взволнован я этим замечательным искусством, которое обогатило не только живопись, но и расширило наши представления в области полифонии и музыкальной ритмики. Сколь плодотворным было бы развитие такого содержательного искусства в живописи широких пространств, монументальных фресок...»

Ромен Роллан, 1930 г.

◀ 1

Этот великий француз, блестящий знаток музыки и пластического искусства, любовался «виденьями бескрайних просторов» и высоко ценил их творца. Стены его дома украшали картины великого литовского художника. Роллан именовал его «Колумбом новых художественных континентов». Таким и в самом деле был этот доб-

рый человек с большими глазами, новатор в искусстве — пророк космического века. И в то же время Роллан удивлялся: «Не могу понять, откуда он черпал эти впечатления в таком крае, как ваш, в котором, насколько мне известно, вряд ли можно найти подобные мотивы». Роллан, вероятно, имел в виду контраст между необыкновенными чюрлёнисовскими горизонтами и серыми распаханными равнинами Литвы. Чего не понял этот великий француз, любивший Чюрлёниса, но никогда не видевший его родины, то понял соотечественник Роллана — Жан Поль Сартр, не слыхавший прежде имени Чюрлёниса, но имевший случай погостить на его земле. Стекла очков не могли спрятать удивления и радости нового открытия в глазах этого французского писателя и философа, когда разглядывал он в Каунасе небольшие по формату чюрлёнисовские картины — виденья бескрайних просторов и необъятных горизонтов времени. А для раздумий над увиденным избрали мы Ниду.

◆ 2

Нида так же уникальна в мире природы, как Чюрлёнис — в мире искусства. Второго такого уголка, как Нида, не найти. И нет в мире второго такого художника, как Чюрлёнис. (Мы сравнивали, говорил Сартр, Чюрлёниса с Врубелем...) Чюрлёнис — совершенно обособленный мир самобытной красоты. Мир красоты, выросший над нашим миром и выше, чем наш мир. Кто однажды увидел Ниду, тот уже никогда ее не забудет. И точно так же, кто однажды встретился с видениями Чюрлёниса, тот никогда не забудет его своеобразного мира.

◆ 3

Мы карабкаемся на песчаную гору. Босые ноги увязают в золотом песке. А морской ветер поет свою величественную, монотонную, нескончаемую, как нить существования вселенной (нить Ариадны?), песню. А прозрачные песчинки, эти острогранные крупички алмаза, режут стекло глазного яблока. Пение песчинок напоминает жужжание золотых пчелок в лесном вереске. Кажется, никогда еще я не слышал такого поразительного пения крошечных острогранных алмазиков... Таких неземных, таких эфемерных звуков. словно космическая мелодия... Но ветер сплывает множество крупиц песка, они становятся тяжелее, и уши наполняются словами, слепленными из золотых песчинок и теплого летнего ветра... Что шепчут море и песок? Я напрягаю все силы, хочу понять, что нашептывает мне песчинками у самого уха морской ветер. «Pour nous, — я словно слышу его голос, — le faire est révélateur de l'être, chaque geste dessine des figures nouvelles sur la terre, chaque technique, chaque outil est un sens ouvert sur le monde; les choses ont autant de visages qu'il y a de manières de s'en servir. Nous ne sommes plus avec ceux qui veulent posséder le monde mais avec ceux qui veulent le changer et c'est au projet même de le changer qu'il révèle les secrets de son être».

Неужели ветер донес до меня этот шепот? Я поглядываю на бредущего рядом со мной невысокого, сухощавого, молчаливого человека. Взбираться на гору нелегко... Каждый мускул лица моего спутника напряжен, каждая жилка как струна... Человек должен победить... Нет, он ничего не говорил и, уж конечно, не цитировал собственных произведений. Ветер мне нашептал эти его слова. Это чюрлёнисовские витражи неба и иллюзии пустынь. А автор слов шагает рядом молчаливый и сосредоточенный. И ничего не говорит, только карабкается, лезет на самую высокую дюну... Человек всю жизнь так вот взбирается: он хочет взглянуть на мир с вершины. (Чюрлёнис — это взгляд с самых высоких гор вниз на уже пройденную человеком дорогу и на его будущие пути, на непокоренные и непри-

ступные вершины.) Человек существует потому, что он действует. «Для нас «действовать» — значит «быть», — приходит на память афоризм моего спутника, — каждый жест создает в мире новые образы, любая техника, любые орудия — это взгляд, открытый на мир. У вещей столько лиц, сколько способов воспользоваться этими вещами». Сартр снимает очки и протирает запорошенные мельчайшим песком стекла. Он, думаю я, не обожестил человека, но видит его божественное призвание — творить этот мир дальше («...каждый жест создает в мире новые образы...»). Потом он сказал: «Мы уже не с теми, кто хочет обладать миром, а с теми, кто хочет его изменить, и в этом намерении изменить мир заключается тайна бытия». Великое искусство всегда ищет ответ на главный вопрос: в чем тайна бытия? И в поисках божества художник всякий раз заново и неожиданно для себя находит человека. Сартр — атеист. Но, очутившись на вершине дюны, мы шутим, пользуясь традиционными символическими метафорами: «Вот она, краса Ниды». «Да, ничего подобного я не видел». «Когда «бог творил мир», он всех равно наделил красотой: не только большим странам, но и малым подарил нечто прекрасное». Верно. Только, к сожалению, это — исключение среди всего его остального отвратительного творчества. Человек получил «свободу» преобразить весь остальной мир в соответствии с этими эталонами прекрасного... Все это между прочим. Стоя на фоне синего неба, на дюне из золотого песка, мы непринужденно болтали. В шутовском разговоре мой собеседник, как истый галл, остроумен, галантен, тонок. Но за этими шутками, как солнце за пеленой тумана, скрывались те самые слова... Да, «боги» и «полубоги» всегда хотят деспотически править миром... А «человек»? А человек хочет «их заменить». (Символы, аллегории, гиперболы мира Чюрлёниса не что иное, как опозитивированные, трансформированные реалии этого земного мира. Это «шифр», который нетрудно разобрать, если мы сумеем найти к нему ключ, как к иероглифам, обнаруженным в египетских пирамидах. Тогда мы прочтем документ одной большой души, где есть свое конкретное время и место жизни, драма и конфликт... Чюрлёнис искал способы «изменить этот мир».)

◀ 4

О Нида, Нида! Где найти слова, которые выразили бы мою любовь к тебе? Долгими зимними вечерами, когда я далеко и лишь в мечтах вижу тебя, эти слова словно бы рождаются, приходят в мою скромную комнату... Но когда я смотрю на тебя, они бледнеют, как сон, исчезают, как корабли в бескрайних просторах чюрлёнисовских видений... И мне снова не хватает слов любви, которые я хотел бы сказать тебе, словно самой прекрасной женщине... Словами трудно передать настоящие чувства. Нида, всякий раз я вижу тебя иной! Так кто же ты? Возлюбленная моего воображения? Кто?

◀ 5

В Ниде, если стоять на вершине самой высокой дюны и смотреть вокруг, проекция пространства выглядит иначе, нежели в любой другой точке планеты. Простор, бескрайний простор. И поэтому все кажется здесь маленьким. Все предметы заключены под небесный свод, как под стеклянный колпак, за которым видна синева бесконечной вселенной, усеянная мерцающими крупными звездами. Такой гипертрофированный, словно раздвинутый простор, как на полотнах Рериха. Он тоже озирает мир с вершин Гималаев. Кажется, будто все его башни, горы, птицы, созвездия — это лишь небольшие камешки — красивые зеленоватые смарагды, сверкающие алмазы, жемчуга и акваарины, рассыпанные в каком-то кубическом стеклянном зале. Будто сказка, будто поэтические конструкции из стекла и металла. Но здесь совсем другие пространственные пропорции, другие раз-

меры и соотношения. Стекланные стены уходят в бесконечность, в недостижимые дали. Но и там эти стены остаются прозрачными и сквозь них можно видеть. За ними — эфемерные, хрупкие, трудно различимые миры галактик, волны звуков, космические объемы. А еще дальше? А еще дальше — сны, поэтические ощущения, гармонические сферы, дымка фантазии и мечты. Однажды, когда я рано утром пролетал над Африкой, мне довелось увидеть сквозь стекло иллюминатора волшебный мираж. Луч солнца, отразившись от крыльев самолета, преломился в облаках, и долгое время рядом с самолетом летела, широко распластав крылья, фантастическая птица. Чюрлёнис, безусловно, иллюзорен, эфемерен, рождает миражи. Но это только первое впечатление. Нельзя ведь стоять перед картиной, смотреть на нее и ни о чем не думать. Иногда мы хотим, чтобы в ней «все было сказано». А если «все сказано», но все сказанное очень своеобразно зашифровано? Тогда остается расшифровать и прочесть творца, чтобы понять его отношение к жизни.

◆ 6

Нида — золотые дюны под лазурным куполом неба. С обеих сторон водные пространства. Зеленоватое, пенящееся море. Голубой залив. А воздух вибрирует, словно трепещущие на ветру флажки из голубого, зеленого, желтого шелка, прошитого солнечными нитями. Как на одной из картин Чюрлёниса. И это еще не все. Запрокинем голову. Облака. Белые, снежные комья, мотки белого шелка, гигантские белые горы. А между ними — башни, башенки, замки, голубые озерца, горные речушки. И еще: фантастически белые крылья птиц, распахнутые для дальнего полета. Потом пальмовые ветки, купы деревьев. Затем — огромные головы. Великанов, зверей, птиц. Можно бы писать и писать с этих белых, вереницами проплывающих над Нидой облаков абсолютно конкретные полотна. В свое время жена Чюрлёниса так и пыталась объяснять его картины («...помнится, сидим мы как-то раз на высокой дюне... и вдруг у нас над головой поплыли такие чудные облака — корабли да и только, корабли с наполненными ветром парусами — палевые, надутые, розовеющие паруса — плывут... плывут... величаво. — Смотри, твои картины, — показала я»). Тут, конечно, конкретный образ. Но это еще не все. Можно смотреть на рисунок облаков (кстати, эти морские облака над Нидой какие-то особенные: напоминают аппликации из белой выкройки бумаги, наклеенные на голубое стекло неба — так они рельефны). Но можно посмотреть и на тени облаков. Какие интересные конфигурации! Какой пластический ритм в их движении! Представим себе вереницу стеновых дюн — словно древнюю китайскую стену, цепь замков, караван верблюдов-великанов, лежащих в пустыне, или вереницу сложенных в ряд невиданного размера седел из желтого сафьяна... И вот, словно крылья огромной птицы, ползут по ним причудливые тени. Квадраты, ромбы, треугольники. Темные пятна с вершины дюны начинают скользить вниз, к ее подножию, на песчаную равнину. Какой пластический ритм создают эти бурные плоские тени, ползущие по застывшим, как сфинксы, плавно выгнутым вершинам золотистых гор! Какой диссонанс, какой контраст! Это готовые декоративные фрески из цветowych пятен и музыкальных ритмов. Удивительные чюрлёнисовские видения! И это еще не все. По одну сторону косы — белесо-зеленоватые тона моря, по другую — синева залива. И блики солнца. Сколько? Тысячи крохотных круглых солнц, рассыпающих свои лучи. И сколько же таких миниатюрных солнц в картинах великого мастера! Сколько их, наколотых на многочисленные пики пирамид, на башни и башенки! Во Вселенной бесконечное множество солнц и миров. Вселенная гениально величественна в своей беспредельности. Чюрлёнис художественными средствами создавал философию бесконечности. Эту же бесконечность открывает перед нами Нида. Солнце сверкает над головой у челове-

ка, заливает его своими лучами; протяни руку к морю, и солнце вспыхнет у тебя на ладони, как костер древних язычников. Солнце катится, как шаровая молния, по застывшим волнам песчаных дюн. Огненным шаром подкатывается оно тебе под ноги. О, сколько же тут солнц!.. Но это только визуальный рисунок мира. Как удивителен здесь еще и другой — акустический его рисунок... Вслушаемся в монотонную музыку моря. Вслушаемся в пение золотистых песчинок. Волнистые песчаные хребты, кажется, окутаны нежной пеленой тумана. Нет, то не туман. То ветер поднял блуждающий песок. А кажется, что это золотистый туман. Настоящий туман. Зажмурься. И почувдится, что здесь вовсе и не дюны. Здесь простираются песчаные пустыни, выжженные солнцем пространства, и на них высятся грандиозные пирамиды... И даже не пирамиды. А скорее погрузившиеся в бездну дворцы, башни, каскады висячих садов Атлантиды. А затопившее все вокруг море гремит и гремит свою нескончаемую, свою вечную симфонию... Нет, это, наверно, еще невозведенные города гениальных архитекторов грядущего. Города, нисколько не похожие на наши. В них нет тяжелых квадратных плоскостей. Это мечта. Мечта Ле Корбюзье и Оскара Нимейера. Надо мечтать. Мечта — прелюдия человеческого творчества, начало творческого акта. Хотя всегда жить мечтами нельзя. Есть еще и будни. Но эти будни не должны закабалить нас. Мы должны бомбардировать их, свои будни, мечтами. Вместе с Чюрлёнисом. Со всеми другими гениальными мечтателями. Часто мы говорим: понять Чюрлёниса... А что же тут особенного? Мечта. Угол зрения. Призма для наблюдения. Вот и все. «В Ниде я нашел Чюрлёниса, — говорит мне Жан Поль Сартр. — Нида — это Чюрлёнис»...

◀ 7

Чюрлёнис — это Нида. Вспомним его картину, на которой два седых старца смотрят на лучащееся солнце. И видят в нем контуры творений человеческих рук. Что создают руки человека, то сияет, как солнце. И мы, «два старца», на вершине дюны разглядываем лежащий на ладони янтарь. Пока проползало облако, янтарек казался осколком камня. Но вот солнце брызнуло, раздуло огонек, и заколдованный янтарь вспыхнул. На ладони пылает, сверкает, лучится миниатюрное солнце. (Кстати, несколько слов о колорите Чюрлёниса. Всмотримся в главные краски его картин. Разве это не янтарь? Зеленоватый, желтоватый, матовый, даже рыжеватый и розовый. Что ж, такой же колорит и у холстов, вытканых нашими матерями. Мы прибалты. И в жилах у нас течет янтарь. Основу колорита Чюрлёниса не надо искать где-то еще. Художник, обладающий несказанно богатой фантазией, не всегда имел реальную возможность выразить свои мечты, свои виденья, ему не хватало красок. Поэтому иногда приходилось самому изготавливать их. Из всего — из литовских трав и цветов, из кирпича... И он придавал своим краскам янтарный оттенок: так видел глаз, так подсказывало сердце...) И вот сверкает на ладони миниатюрное солнце. Мы оба долго смотрим на него, смотрим на огонек янтаря. И видим контуры. Контуры архитектурных сооружений. Море порой одаривает нас уникальными самородками янтаря. А иногда наши народные умельцы вытачивают в куске янтаря какой-нибудь свой сон, мечту, свою песню. Очень впечатляюще выглядит такой рисунок, когда смотришь на него сквозь шлифованную грань. Будто города на дне морском, будто миры, залитые потоком солнца. Вот и Чюрлёнис: надо сквозь янтарь, по диагонали рассекаемый солнечным лучом, посмотреть на Нида. Здесь, в золотых дюнах, мир Чюрлёниса. (Жан Поль Сартр сказал в одном из своих произведений, что «себя можно увидеть только глазами другого». Мне почему-то пришла на ум эта мысль, когда мы вдвоем молча рассматривали найденную на вершине дюны горящую каплю янтаря. А ветер монотонно насвистывал чюрлёнисовский напев морских волн, и под стеклянным

куполом неба стояло такое бесконечное спокойствие...) Я ничего не хочу требовать. И ничего не хочу утверждать. Но если правда, что благодаря пылающему горячечному мозгу гениев народы и времена прозревают свое будущее и тогда рвутся к нему, то Чюрлёнис был для своего народа именно таким художником, был предтечей, возвещенным из грядущей космической эры. Разве здесь, у подножия стометровых золотых дюн, не могут вырасти конструкции из металла, стекла и янтаря, похожие на башни и другие удивительные архитектурные сооружения его картин? Солнечные лучи насквозь пронизывали бы их стеклянные стены. И с обеих сторон заливали бы их своими зеленовато-голубыми тонами море и залив. И полнились бы они шумом ветра и моря, криками чаек, потонувшими и гордо всплывающими кораблями, медузами и фантастическими травами. И в них сияло бы множество маленьких солнц и звезд. И это была бы человеческая жизнь, открытая всей Вселенной. И это стало бы тем плодотворным развитием содержательного искусства в живописи больших пространств, монументальных фресок, о котором говорил Роллан. И это был бы привидевшийся Чюрлёнису город Мечты.

СТРЕЛЕЦ

«...гляди, среди снежных горных корон, среди гор, стреляющих вверх и почти достигающих неба, стоит человек...»

М. К. Чюрлёнис

Среди гор,
как известно, нацеленных вверх
от века,
среди гор,
легко подпирающих синеву,
надо всем, что исстари
тянет вниз человека,
он из лука прицелился,
натянув тетиву.
(О добро, ты вынуждено
к стреле обратиться,
хотя стрелы и прочее
у тебя не в чести!).
Над головой человека,
крылья раскинув, кружится черная птица.
Не тяни же, стрелок!
Тетиву натяни
и пусти!
Птица кружится,
словно ворон Эдгара По,
черный ворон,
или тот самолет,
где суперпилот
Клод Изерли...
Стоит человек.
Кружится ворон —
вот он.
Стоит человек,
натянув тетиву,
на вершине Земли.

Мы — аргонавты.

Немало мы видели страшного —
как не искать красоты!

И если искусство не ложь,
а правда,
и если учит не злу,
а добру,
и утверждает собой
не древний звериный инстинкт,
а благородную красоту —
значит, оно для человека...

Мы — аргонавты.
Нас ведет мечта.

Мы хотим
возвратить
потерянное...

Помоги, Чюрлёнис!

◀ 2

Мечта?

Если мы хотим понять Чюрлёниса, то не должны анатомически препарировать его. Окинем взглядом панораму его грандиозных построений. Чюрлёнис — философ. Прежде всего философ, изложивший свои оригинальные взгляды на Вселенную с помощью звуков, контуров, линий, красок, поэтических образов. Трудно определить, где тут кончается музыка и начинается живопись, где кончается живопись и начинается поэзия. Так что же это такое? Музыка? Пластика? Поэзия? Я не берусь ответить на этот вопрос. Постигание Чюрлёниса продолжается. Наверно, Чюрлёнис — это все вместе: и музыка, и краски, и поэзия. Но главное в нем — мысль. Архитектурные чертежи и воздвигнутые по ним ансамбли мысли. Если все его разрозненные творения сложить в циклы (получится круг), а циклы объединить в систему (получится большой круг), если прослушать и осмыслить его музыкальные мотивы, прочесть его интимные поэтические записи и попытаться, наконец, все это суммировать, то нам станет ясно — мы имеем дело с цельной, очень оригинальной, своеобразной и сложной художественно-философской системой. Это — раздумье над самой сущностью бытия. В сложности этих раздумий трудно определить, где, в какой Вселенной очутились мы вместе с творцом. И очень нелегко конкретизировать время. Что это — будущее, настоящее, прошлое? Или первичный период формирования планетных систем, за которым кроется тайна? Неизвестно. Вечный холод. И на какой планете или звезде видел и слышал творец все то, о чем образно пытается рассказать нам? Странные виденья. Невообразимые миры. На земле такого не было. А может, и было? Как знать. Если и было, то уже, наверное, давно (как затонувшие корабли) покоится на морском дне или погребено под золотым песком. А может быть, это только интуитивные догадки художника? Где он все это видел? На дно какого моря погружался? Какие пустыни раскапывал? Где побывал? На Марсе? Во сне? Гениальная мысль этого художника мчится со скоростью света. И поэтому для него самого несущественно, какой объект изображать. Это может быть наша планета. А могут быть и другие галактики. Это нам трудно. А не ему. Он Колумб. Он первым высадился на конти-

ненте новой эры. Он жил там, где мы еще не скоро сможем жить. И его космический релятивизм не менее важен для философии искусства, чем теория относительности Эйнштейна для конкретных наук, для эксперимента и практики. У него было иное, совершенно отличное от нашего, ощущение пространства и времени. Такое, возможно, будет у людей грядущего...

◆ 3

Мечта?

Но самая светлая
и желанная —
где жила она
и когда?

Где я слышал имя ее?
На каком рассвете?
Сколько раз она существовала
на этом свете?

И что это за башни,
в которых ветер поет?
И кто это — звездный Рекс?
И что есть птицы полет?

Я гостил у Чюрлёниса —
может, в выдуманных садах?
А в каких это было годах?

Там звезды сияли,
и солнце слепило,
и облака отражались в воде...

Но где это было?
Не здесь это было...

А где?

Где эта точка пространства
и времени?

Спросим же Вечного Ребенка...

◆ 4

Мечта?

По Чюрлёнису, в равной мере относительны и добро и зло. Жителю Земли сопутствует постоянное и в общем-то правильное убеждение, что он живет на самой лучшей, самой совершенной и самой прекрасной планете. Может, так оно и есть. Но Чюрлёнис был жителем всего огромного мира, и только потому, вероятно, он смотрел на вещи несколько объективнее. Почему Земля? А может быть, существуют более совершенные планеты? Как знать. Возможно, их нет. Наука пока мало помогает нам. Иногда приходится доверяться интуиции художника. Фантазия, надо полагать, тоже материальна. Ничто не рождается из ничего. Это вечная истина. И образы фантазии, должно быть, тоже порождение некогда сущего. Мы считаем, что

наша планета — совершеннейший образец для других. Известно, что Данте и Гёте думали иначе. Они демонстрировали планете модели каких-то странных, неизвестно откуда возникших миров. Мы мыслим трезвее и реальнее, чем эти чудачки. Как знать; может, они и сами явились из других миров на нашу спесивую, круглую, а вообще-то удобную и вполне довольную собою, светящуюся отражением солнечной улыбки планету. Явились и подрывают ее корни. Разрушают самодовольство. Будят в сердце чувство непокоя, исканий. Чюрлёнис, верно, тоже пришелец с планеты Мечты, ибо каким же образом смог бы он иначе воздвигнуть в безвоздушной космической среде, в вакууме ансамбли архитектурных конструкций такой фантастической красоты? И для чего? Разве не хватало ему своей планеты? А как он сконструировал эти свои ансамбли красоты? Как это держатся они там в поднебесье, посылая нам звездный свет? С помощью каких сил держатся они? Такие силы есть. Это страдание и радость, счастье и боль, музыка и безмолвие... О, это могучие силы! А из какого же строительного материала возведены его странные архитектурные ансамбли? Для своих сооружений он использовал недоступный глазу, но очень прочный материал — любовь. Любовь к человеку. И это вовсе не материал. Скорее наоборот, антиматериал. Да, но если это антиматериал, то из него мог быть построен разве что антимир. Так скорее всего и было. Чюрлёнис создавал антимир и противопоставлял его материальному миру. И, наверное, вовсе не потому, что он не любил его, материальный мир. Нет. Скорее от огромной любви к этому миру. Он творил антипод мира и вопрошал мир, каким он хочет быть. Нравится ли ему гармония антимира? И мир отвечал, что нравится. И пусть он превращает антимир в мир. А как? А вот так: мир должен слиться с антимиром. — Попыаться можно, но это очень трудно. — Ясное дело, нелегко. Творчество — дело не простое. Но пусть пытается... И залетевшая в открытое окно синяя ночная бабочка сбила крыльями пламя свечи... И тогда вместе с этим огоньком угасла и мысль гения, которая облетела Вселенную со скоростью света... Но не знала этого беззаботная ночная бабочка...

◆ 5

А мир?

А мир таков,
каков он есть сейчас,
и этот час —
хороший час для нас,
пока другой
его не сменит час...
Да, мир таков,
каков он есть сейчас.

Но к миру черной злобы,
например,
есть доброты извечной антимир.
А к миру лжи
и к миру лживых мер
есть правды неподкупной антимир.

В нем вызревает эра доброты,
вглядись в него,
и вдруг увидишь ты,
что проступают ясные черты
и наступает эра доброты...

О антимир,
где черное — бело,
и антимир,
где темное — светло!..

Во сне,
уйдя от всех дневных забот,
сегодняшнего видим антипод...

КОЛОКОЛ

«...Словно гигантский колокол...»

М. К. Чюрлёнис

Над арфами сосен,
над сонной лесною сенью,
словно огромный колокол
этой земли,
медью грохочет
синее небо весеннее,
и по синему морю —
маленькие корабли.
И чайка бьется, как молния,
бела и упруга,
и волны — за ней, вдогонку,
и ветер — в лицо.
И солнечный блик серебрится,
как лемех плуга.
И в центре Вселенной —
двух рук сплетенных
кольцо.
И башни.
Причудливые башни
воображенья
и напряженья,
рвущегося напролом,
как душа гения,
жаждущая движенья.
ввысь устремленная,
к птице,
что бьет крылом...
О эти виденья!
Ощущенье пространства
и взлета...
Море и полдень...
И странные рыбы
в воде голубой...
И янтарное море...
И песчаных дюн
позолота...
И сети, как судьбы, таинственны...
И белый прибор...
И синее небо
вместе с алой зарею,

ПУБЛИЦИСТИКА и ОЧЕРКИ

Георгий Воробьев

ОТЧИЙ ДОМ

ДМИТРОВСК

Бывает же так — колесишь по великой стране своей, многое видишь, многим любишься, врубаешь все интересное в память, хочешь запомнить навек... Ан нет! Пройдет год, другой — и затянет дымка времени увиденное, отойдет даже самая яркая картина куда-то на задний план. Но вот кто-нибудь произнесет при тебе лишь одно слово: «Орел», скажем, «Дмитровск» или «Домаха»¹ — и сразу дрогнут какие-то струны в душе, защежит сердце... И все вспомнится до мельчайших подробностей.

В начале минувшего года, когда вновь создавались райкомы, мне пришлось побывать на Орловщине, в Кромах и Дмитровске. И события и встречи, прошедшие там, оказались интересными, да и места родные повидал — не отрада ли это сердцу журналиста?!

С двумя дмитровскими руководителями я встретился еще в Кромах. Они были здесь гостями районной партийной конференции.

Один из них, с улыбкой на широком добром лице, подошел ко мне как к знакомому.

— Здравствуйте... Не забыли Маркешина?

— Как же забыть, Сергей Ефимович! Вы ведь были вторым секретарем еще прежнего райкома в Дмитровске?

— А теперь там же председатель райисполкома, — сказал он, — избран несколько дней назад на сессии... Жизнь входит в нормальную колею... Завтра и у нас в Дмитровске партийная конференция. Изберем райком и мы. А то ведь что было последние два года? Парторганизации дмитровских колхозов и совхозов подчинялись парткому Кромского производственного управления, а коммунисты самого Дмитровска — парткому промышленной зоны с центром в Змиевке... Представляете? — И он снова повторил: — Да, жизнь входит в нормальную колею!

...Сергей Ефимович познакомил меня со своим товарищем Николаем Ильичом Зубовым.

— Конференцию готовит у нас, — пояснил он, — недавно созданное оргбюро райкома. Николай Ильич — его председатель.

...В ту же ночь мы вместе с Маркешиним и Зубовым отправились в Дмитровск.

¹ О Домахе рассказывалось в документальной повести Георгия Воробьева «Село мое родное» (журнал «Знамя» № 12 за 1963 год).

...Вдали мелькнули красные огоньки. Вначале я подумал, что впереди идет автомашина, поднимаясь в гору. Но нет, они проступили явственной, какой-то нестройной вертикальной цепочкой.

— Что это за огоньки?

— О-о! — спохватился Маркешин. — Я забыл сказать вам. Это ретрансляционная вышка. Выстроили совсем недавно. Прямо в центре, возле конторы связи. Теперь Дмитровск смотрит телевизионные передачи Москвы и других городов страны. Еще прежний райком хлопотал об этом... Помните, как было раньше? Подъезжаешь к Дмитровску — две высокие церкви видны. Война их не пощадила. И следа теперь нет их. А теперь вот вышка видна отовсюду. Горожане, конечно, гордятся ею.

— Не только вышка, — заметил Зубов.

— Да, выстроили мы и еще кое-что. На речушке, что под горой, за городским садом, плотину поставили. Большой пруд теперь там образовался. Приезжайте-ка летом — увидите, какое громадное водное зеркало. Семьдесят гектаров. Карпа запустили. Даже порыбачить можно, если любите. Расширился водопровод, в каждом квартале водоразборные колонки поставили, выполнили наказания избирателей.

— Знаете, мне тоже Дмитровск больше, чем Кромь, нравится, — признался Николай Ильич. — Он как-то компактней, уютней, зелени в нем, садов больше.

И помолчав немного, он добавил:

— Да и район, я думаю, тоже будет неплохой. И он ведь довольно компактный. Шестнадцать колхозов, два совхоза. Плюс к тому тридцать семь различных мелких промышленных предприятий и прочих организаций с общим объемом производства за прошлый год на два и восемь десятых миллиона рублей; семьдесят восемь школ, девятнадцать медицинских учреждений. Первичных партийных организаций будет пятьдесят две... Думаю, что можно конкретно и оперативно руководить всеми. Колхозы, надо признать, здесь победнее кромских. Урожай, например, в прошлом году они получили на три центнера с гектара меньше тех. Это по зерну. По конопле и говорить нечего: кромские всегда получали больше дмитровских. Кстати сказать, неладно с коноплей получилось: конопляники — это самые плодородные участки, но они в последние годы были отведены под кукурузу. Это нанесло большой ущерб хозяйствам. Ведь конопля — самая доходная культура в здешних условиях. Колхозы Кромского района выручили от продажи ее в прошлом году тридцать восемь миллионов рублей, а Дмитровского, где посева ее сократились, — от продажи всех продуктов сельского хозяйства только тридцать девять миллионов... Неладно и с планами, которые давались Дмитровскому району. Он никогда не продавал государству и семидесяти тысяч центнеров зерна, а ему все-таки наваливали в плане больше ста тысяч. Но многое зависит и от нас. Будем стараться. Главное — людей поднять, парторганизации укрепить. А резервы есть, и очень большие.

Фары вырвали из темноты какую-то ограду, ряд невысоких деревьев, затем кирпичную длинную стену с двумя рядами темных пустых проемов.

— Вот это наша новая школа слева, — пояснил Сергей Ефимович.

Мы въехали в улицу. Не успел он указать на телевизионную вышку справа, как шофер повернул влево и скоро остановил машину.

— А это наша гостиница...

Осмотревшись, я узнал старинный, почти кубический двухэтажный каменный домик, расположенный у края бывшей базарной площади. Мимо него я ходил от девятилетки к квартире — деревянному домику частного портного, у которого одну зиму снимал угол. Только площади теперь не узнать: на месте прежних торговых будок, вечно окруженных грязью и лужами, да длинных коновязей высятся стройные ряды тополей, обнесенные по периферии аккуратной деревянной оградой.

На первом этаже дмитровского пристанища командированного люда оказались три маленьких, довольно уютных комнатки даже с водопроводом-умывальником в тамбурах. Одну из них и предоставили мне.

Сергей Ефимович, пользуясь правом законной власти, взял на себя заботу о нас с Зубовым и представителем обкома партии, приехавшим сутками раньше. Утром он появился в гостинице, и скоро мы направились к кинотеатру, где должна проходить конференция. За ночь в городе поднавалило свежего снега. Ветер затих, но мороз усилился. Многие прибывшие из сел делегаты похаживали у подъезда в валенках и в тулупах.

В кинотеатре — старом здании, плотно зажатом двумя такими же уцелевшими в войну домами в центре города, — тесное фойе внизу, а зал наверху, на втором этаже. В фойе, где и без того всегда собирается плотная толпа, сумели втиснуться два киоска — книжный и продовольственный. Поэтому людское скопление, уже изрядно затянутое синеватым дымком, оказалось довольно плотным.

Мест ли не хватило в этой раздевалне или сказалась привычка сельских жителей обходиться, как правило, без нее, но только большинство делегатов уселось в зале, не сняв пальто, хотя тут было нехолодно.

Новый человек всегда вызывает у собравшихся людей известное любопытство. А тут еще объявленное Николаем Ильичом «присутствие земляка из Москвы». И я сразу почувствовал на себе многие взгляды, под которыми мне становилось даже неловко. Но один из делегатов смотрел на меня так пристально, что, казалось, он вот-вот встанет и подойдет ко мне. Не обращая внимания ни на что кругом. А когда мы встретились с ним взглядами, он заметно улыбнулся мне, как старому знакомому, а то и просто своему человеку. Но я не мог припомнить, узнать его, хотя мне уже начинали казаться знакомыми его продолговатое, какое-то смиренно-ласковое лицо, острый, почти иконописный нос с легкой горбинкой и черные, внимательно глядящие глаза.

В первый же перерыв он подошел ко мне, крепко пожал руку и, слегка улыбаясь, спросил:

— Не узнаете меня, Георгий Яковлевич? Я тоже Воробьев... Фрола помните? Через три двора от вас жил... Так вот я его младший сын, Иван. — И, еще не убедившись, что я припомнил, добавил: — В детстве тогда у меня прозвище уличное было «Пиряша».

И в памяти моей сразу всплыла почему-то одна картина. Жаркий летний вечер. Солнце уже клонится к закату. Вот-вот пойдет стадо коров с выгона. В такую пору матери или старшие сестренки и братишки гонят, тащат домой малышей, расшалившихся на пыльной дороге. Но шалуны не хотят уходить. Они, состязаясь друг с другом, схватывают пригоршнями тончайшую сыпучую пыль и бросают ее вверх, над своими головами. Пыль разлетается по улице, оседает на самих ребят, которые лишь закрывают глазенки при этом. Я уже стал школьником и останавливаю шалунов. А Пиряша в холщовой, «замашной» рубашонке до пупа, без штанишек работает усердней всех, швыряет пригоршни за пригоршнями, бегаёт под густой завесой пыли, и под носом у него образуются две черные линии.

И вот он стоит передо мною — высокий человек лет сорока, подтянутый, в строгом костюме, в рубашке с галстуком (да простит мне Иван Фролович помянутый штрих из его детства!).

— Где же вы сейчас работаете? — спросил я его.

— В Бычках. Директором восьмилетней школы. И жена там же. Не подалеку. Заведует начальной школой в Васильевке. Приезжайте к нам в гости. Мы ведь даже родня какая-то дальняя, наверно, а не только земляки.

Мне неловко было спрашивать, что это за Бычки. Я помню дмитровские села и деревни: Соломино, Круглое, Плоское, Долбенькино, Лубянки, Березовка, Мало-Боброво, Брянцево, Промклево, Работьково, Деятино, Упорой, Бородино, Власовка, Алешенка и многие другие. Но где находятся Бычки и Васильевка — хоть убей, не помню. Я их, кажется, и

не слышал прежде. Беседуя с Иваном Фроловичем, я и не подозревал, что мне придется встретиться с ним вскоре, действительно побывать у него в гостях и познакомиться с людьми Бычков и Васильевки.

Но вернемся к Дмитровску. Делегаты конференции не скрывали своей радости, говоря о том, что он вновь становится центром административного района. Георгий Александрович Корнеев — маленький, энергичный, подвижный — всю свою жизнь прожил в родном городе, долгое время был председателем городского Совета, постоянно хлопотал об улучшении коммунального хозяйства. На конференцию пришел председателем оргбюро райпотребсоюза, но его мысли все еще заняты городом. На трибуну он выкатился, словно капля ртути, и начал с наболевшего:

— Я тридцать шесть лет работаю в Дмитровске... Наш город насчитывает почти трехсотлетнюю историю. Но никогда мы не ощущали такой несуразницы, такого унижения, как в последние два года. Кромы и Змиевка надсмехались над нами, называли город и «вольным» и «заштатным». И ведь до чего дошло: по каждому даже пустяковому вопросу надо было ехать в Змиевку; учителям на конференцию — туда же, в центр так называемой промышленной зоны. Это примерно за сто сорок километров и через свой областной центр. За справкой какой-нибудь из Дмитровска человек должен был направляться в Змиевку. Ехал и, конечно, клял наши порядки!.. Правильно тут сказал Иван Николаич (это Музалев, директор средней школы): мы верили, что это сугубо временное дело и что оно существует недолго.

Конференция закончилась поздним вечером. На пленуме после нее первым секретарем нового райкома был избран Николай Ильич Зубов.

Воскресное утро выдалось такое тихое, ясное, что все кругом заискрилось. И когда, выйдя из гостиницы, я увидел за северным концом улицы темный гребень бора, четко вырисовывающегося по склону, меня неудержимо потянуло вдаль. Видимо, такое же настроение появилось и у других товарищей, потому что Зубов сказал первым:

— Давайте пройдемся малость, подышим: воздух уж очень хорош!

— А что за лес появился вон там? В мои школьные годы, помнится, был голый склон.

— Так мы можем пройти туда, — с удовольствием подхватил Николай Ильич. Ему, как видно, захотелось побродить по городу, с которым он, теперь уже полноправный секретарь райкома, быть может, на многие годы связывал свою судьбу.

— А может быть, сначала пройдем к городскому саду, — возразил Сергей Ефимович. — А к лесу проедем на «газике»: я вызову сейчас.

Мы охотно согласились с ним и двинулись в противоположную сторону, к южной окраине, на которой расположен старинный парк-сад. Когда-то мы бегали сюда из школы и, задрав головы, шарили глазами по верхним ветвям яблонь, ища «недостатую» антоновку: нам-то ничего не стоило достать ее — залезть как можно выше и стрясти. И каким же удовольствием было запустить зубы в желтое, как воск, наполненное ароматом осени яблоко!

...На «газике» за несколько минут мы пересекли город с юга на север по центру. Увидев небольшой деревянный мостик в низине, я попросил остановить машину. Это был мостик через Неруссу. Река лежала перед нами чистой снежной полосой, почти прямой и совсем неширокой. Река центра России. А когда-то граница государства Московского с Литовским проходила в этом месте по ее руслу. Оттого и назвали ее — Нерусса!

В каких-нибудь двухстах метрах за нею начинался сосновый лес. Он поднимался горою к северу и уходил на запад, вдоль Неруссы.

Приятным, опьяняющим запахом хвои пахнуло на нас, как только мы вылезли из машины. На разлапых ветвях молодых, но уже широко разросшихся сосен лежали охапки свежего, искрящегося снега и придавали им какой-то сказочный вид. Здесь и снегу было значительно больше, чем на

открытом поле. Он лежал пышный, не обдутый ветрами, не притоптанный, и лишь кое-где по нему меж деревьев тянулся таинственный след какого-то четвероногого обитателя.

Вдыхая полной грудью ароматный морозный воздух — не воздух, а хвойный настой, — мы шли, вглядываясь в стройные ряды сосен. И я заметил при этом:

— А ведь лес-то насажен. То-то же мне помнится голый склон за Неруссой.

— Да мы сейчас подсчитаем, сколько ему лет, — сказал Сергей Ефимович и остановился. Он выбрал взглядом сосну, на которой отчетливой вырисовывались слои ветвей, и начал считать их.

— Ну, вот. Примерно тридцать, — заключил он. — Значит, он посажен где-нибудь так в тридцать четвертом, ну, пусть тридцать втором году.

— А это что такое? — спросил вдруг Николай Ильич, увидя густо разбросанные вокруг одной из сосен какие-то развороченные шишки. — Ведь это кто-то работал.

— Да. Действительно работал. Это мастерская дятла...

Я порадовался, что под Дмитровском, неподалеку от которого родится Нерусса, неся свои воды в Десну, в Днепр, лесу поприбавилось. В ответ на это Маркешин заметил:

— А ведь и на левом берегу Неруссы, к востоку от Дмитровска, тоже больше стало лесу. Вон, посмотрите, отсюда видно. Там и сосны и смешанный лес. И туда, на восток, он километров на двадцать тянется. Хотите, мы туда сейчас проедем?

Никто из нас не стал возражать. Мы вновь вернулись в город, выехали в направлении Кром, в двух-трех километрах от Дмитровска пересекли неширокий, лишь по бороздам заснеженный взмет и остановились на опушке леса.

— Смотрите, — воскликнул Сергей Ефимович, показывая на след, — ведь это лось прошел!

— А разве тут есть лоси?

— О-о, да еще сколько! Если пойти по следу, обязательно увидим.

Пока Маркешин изучал след, мы уже продвинулись немало в глубь леса, да так и пошли и пошли.

Сначала были только сосны, как и там, по правую сторону Неруссы, только не рядами посаженные, а выросшие естественно и потому самые разнообразные, большие и малые. Потом — осинник вперемежку с березняком, и лишь кое-где среди него темнели сосны. Потом... Я остановился, пораженный редкостной красотой: перед нами сверкала тихим морозным сиянием чистая березовая роща.

День ли такой был особенный по своему освещению, березы ли необыкновенно стройны и чисты, но только ничего подобного я не видывал до тех пор. Казалось, когда-то над полями промчался сильный вихрь, поднял и закрутил столбами черноземные взметы, покрытые снегом, сквозь который местами пробиваются и темнеют отдельные комья, растянул вершины столбов многими струйками да на этом и замер вдруг.

БЫЧКИ

— В каком колхозе порекомендуете мне побывать на отчетно-выборном собрании? — спросил я Зубова и Маркешина.

Секретарь райкома и председатель райисполкома задумались. Наконец Николай Ильич сказал:

— Ладно. Езжайте-ка пока в Домаху: ведь надо же вам родных повидать. Дня два-три побудете там, а мы за это время прикинем, где рань-

пе смогут провести. Дело в том, что годовые отчеты еще не готовы. Видимо, возьмем колхоз имени Мичурина.

А когда через три дня я снова спросил о собрании, Николай Ильич ответил:

— Остановились все-таки на колхозе имени Мичурина.

— Какое это село?

— Соломино... Там бухгалтерия посильней, чем в других хозяйствах. Годовой отчет у нее уже готов. Да и председатель скорей других подготавливается.

— А кто там председатель?

— Стрелецкий Николай Никитич. Тот, которого мы избрали членом бюро райкома. Вы не познакомились с ним на конференции?.. Ну, это дело поправимое. Мы сейчас ему позвоним.

Николай Ильич снял трубку телефона.

— Дайте колхоз Мичурина... Колхоз? Колхоз? Это кто? Здравствуйте. Зубов говорит. А Стрелецкий есть там? Позовите, пожалуйста... Ну, вот, он еще там, в правлении... Николай Никитич? Здравствуй! Ты, может быть, заедешь утречком завтра в райком? Нет, не на бюро. Вот Георгия Яковлевича захватишь... Ну, хорошо. Договорились.

Наутро мы отправились в райком из гостиницы вместе с Николаем Ильичом еще затемно. Думалось, что там еще никого нет. Но только мы переступили порог проходной комнаты, как навстречу нам поднялся мужчина в зимнем пальто с цигейковым воротником. Широкоскулое круглое лицо; какие-то непослушные, в неопределенном порядке лежащие волосы, волосы шатена, приобретающие пепельный оттенок; узкие, немного прищуренные глаза в ласковых лучиках морщин.

— Здравствуй, Николай Никитич, — сказал Зубов, — знакомьтесь.

— Стрелецкий! — произнес, пожимая мне руку, ранний посетитель райкома. — Мы, собственно, уже знакомы.

— Вот как? — удивился Николай Ильич.

— Да, теперь и я могу сказать, что знакомы... По конференции.

Неполное наше знакомство произошло при таких обстоятельствах. В прениях по докладу на конференции выступал председатель колхоза из моей родной Домахи Степан Никитович Фак.

«Дмитровский район. — говорил он, — давал продуктов государству не меньше, чем Кромский. Но чем тот взял? Коноплей. Ведь центнер семенной конопли — это двести рублей!»

«Даже двести тридцать семь, если семена не ниже второй репродукции». — уточнил кто-то за моей спиной.

Я оглянулся и увидел симпатичное круглое лицо, поэтическую шевелюру, со вкусом завязанный галстук. «Кто он, этот человек? Местный журналист? Работник искусства? Но откуда он знает такие тонкости цен?» — подумал я. Тогда я так и не узнал, кто он. И вот теперь случай свел меня с ним.

— Значит, это твоя машина во дворе? А я думал, наша, — заметил Зубов и обратился ко мне: — Так вы езжайте, знакомьтесь с хозяйством, с людьми, а я потом, в день собрания, приеду. Как, Николай Никитич, не возражаешь? Ну, хорошо.

Через минуту «газик» уже вышел на шоссе Дмитровск — Кромы.

— Я ведь в Дмитровске живу, — сказал как бы для первого знакомства Стрелецкий. — Вам не говорил об этом Николай Ильич? Здесь жил и до избрания председателем. Занимаю коммунальный домик. Крохотный, правда. Но для моей теперешней семьи достаточный: вдвоем с женой остались. А дочь и сын на учебу уехали... Когда избрали, стал думать о переселении. Сами знаете, критиковали таких председателей, которые в городе живут. Фельетоны о них писали. Можно было бы, конечно, и меня раскритиковать... если подойти формально. Но когда в колхозе десять населенных пунктов, то в каком из них лучше жить? Да ведь и не жить, а только

ночевать, если сказать точнее. А тут от Дмитровска до правления колхоза столько, сколько от правления до некоторых наших бригад.

— А сколько их у вас?

— Шесть полеводческих бригад, по сути дела, комплексных. Четыре молочнотоварных фермы, одна свиноводческая, одна овцеводческая и птицеферма одна. Конюшня — на каждой бригаде. Это на пять с небольшим тысяч гектаров земли.

— А пашни?

— Пашни у нас четыре тысячи триста гектаров.

Немного помолчав, Николай Никитич вернулся к прежнему рассказу:

— Была и еще одна мысль: начини строить новый дом (а его надо построить приличным) — опять же осудят. Это уж я знаю. непременно скажут: «Вон с чего начал председатель — дом себе решил отгрохать!..» Да-а, нелегко иногда найти правильное решение. Ну, вот, это мы уже повернули на Соломино. Видите, и рассказать не успел...

Параллельно шоссе, не более чем в километре от него, тянулась низина, из которой виднелись отдельные крыши. потом показались домики, что шли по взгорью, а потом открылось и все село — несколько улиц по обеим сторонам впадины. За низиной, поодаль от села, чернела гряда вековых лип. А к ней лепился какой-то выцветший корпусок с неполным вторым этажом, почти мезонином. Индустриальный характер его показывала высокая и, казалось, необыкновенно тонкая металлическая труба, пускавшая еле заметный дымок.

— Это спиртозавод, — сказал Николай Никитич, очевидно, поймав мой взгляд. — Кормовая база нашего животноводства и болячка наша.

Над спуском к поперечной низине у края села показались два длинных двора с шиферными крышами. К ним поворачивала влево и наша дорога.

— Останови у фермы, — заметил тихонько председатель шоферу.

Вылезая из машины, мы услышали, как пронзительно завизжала свинья. Но тут же визг оборвался. Открыв одну половину ворот, Николай Никитич пропустил меня вперед и вошел сам, тут же громко сказал: «Здравствуйте». Перед нами посередине двора, как раз против ворот, стояли две женщины и один мужчина в темных халатах и резиновых сапогах. Они, как видно, только что отпустили свинью, которая и визжала, удерживаемая ими.

— Это вот заведующий фермой, — показал Николай Никитич головой на коренастого пожилого мужчину. — Степан Лукьянович Нестеров.

Тот подал мне широкую, с жесткой ладонью руку, предварительно вытерев ее о халат.

— Ну, как дела у вас?

— Да вот, Николай Никитич, прививки делаем...

Как бы в подтверждение этого откуда-то из-за перегородки вышел молодой человек в белом халате, держа в руках шприц и рассматривая его.

— А это наш молодой ветврач, — представил его Стрелецкий, — Иван Гаврилович Горбунов.

Молодой человек взглянул на нас круглыми немигающими голубыми глазами, слегка кивнул головой, и его чистое, почти девическое лицо залилось румянцем. Мне показалось, что он сконфузился.

— Падежа не было на ферме? — спросил я.

— Бог миловал, — сказала одна из женщин, даже как будто испугавшись такого вопроса.

— Да отчего ему быть? — ответил вопросом Нестеров. — Стараемся. И врач вот есть.

— Ты скажи, Лукьяныч, какие результаты, — предложил Николай Никитич.

— За прошедший год, — отчеканил, глядя на меня, Степан Лукьянович, — ферма должна была дать продукции на сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят рублей по плану, а дала почти на пятьдесят две тысячи.

— Ну, не будем вам мешать, — сказал председатель, и мы вышли к машине.

От фермы дорога поднималась в гору, и отсюда еще полнее открывался вид во все концы.

— А село очень большое. Пожалуй, больше Домахи.

— Нет, — возразил Николай Никитич. — Тут, собственно, два села. Они почти слились. Как раз вот тут кончается Соломино и начинаются Бычки. Правление-то у нас в Бычках.

— Так вот где Бычки! — не удержался я. — А ведь я знал только Соломино.

— Видите, Соломино, конечно, известно больше: здесь спиртозавод давнишний, сюда мужики со всей округи ездили, а Бычки редко и упоминались. Но центром колхоза стали Бычки.

— Это значит, у вас тут директором школы работает мой односельчанин и однофамилец?

— Иван Фролович-то? Да, да. А может быть, и родня в каком-нибудь дальнем колене?

— Не исключено: ведь когда-то и вся Домаха начиналась от одной семьи.

— Интересный он человек... У нас и еще найдутся ваши односельчане... А вот и правление, — вдруг проговорил Николай Никитич, и машина остановилась возле крыльца аккуратного широкого дома под шиферной крышей.

В кабинете, куда провел меня председатель, сидела миловидная девушка. При нашем появлении она медленно встала.

— Знакомьтесь, — сказал мне Стрелецкий. — Это Валя, наш секретарь парторганизации... Валентина Андреевна Панина, — добавил он, спохватившись. — Разрешите мне оставить вас? Пока побеседуйте с Валентиной Андреевной, а я кое с какими бумагами разберусь.

— Уж очень молодой секретарь парторганизации! — вырвалось у меня при знакомстве с Валей.

— Нет, не очень, — тихо сказала она, — уже скоро матерью буду.

Тут только я заметил, что она полна в талии и потому величаво медленна в движениях.

— Я вас по конференции знаю, — продолжала Валя, — как только увидела, сразу подумала, что вы... брат Ивана Яковлевича: очень похожи. Старшего-то брата вашего я хорошо знала: я ведь сама домаховская. Помните, может, Андрея Панина? Он на поселке Журавка жил, рядом с дядей вашим Трофимом Ильичом. А Журавка входила в первую бригаду, где бригадиром-то и был Иван Яковлевич покойный.

— Вы зоотехник? Какой институт вы окончили?

— Институт не кончала. Техникум, Глазуновский. А в институте учусь сейчас. Заочно.

— Ну, и как вам работается?

— Хорошо. Конечно, есть и трудности. Но председатель наш, Николай Никитич, очень хорошо к специалистам относится. У него специалисты всегда на первом плане. Спросить с нас он тоже, конечно, умеет, но умеет поддержать, поднять авторитет специалиста перед бригадами и всеми колхозниками.

— Вы неосвобожденный секретарь?

— Нет, конечно. Но то, что меня вот секретарем избрали, тоже ведь говорит об уважении к специалисту. И к учителям Николай Никитич очень хорошо относится. Не то что в иных селах вон жалуются... Да, у

нас ведь еще домаховцы есть. Ваш однофамилец, директор школы Иван Фролович...

— Я познакомился с ним на партийной конференции.

— Он ведь заслуженный учитель РСФСР, — подчеркнула Валя. — Очень интересный по характеру своему человек. Знаете, у него такая настойчивость, что прямо диву даешься. Настырность, как у нас говорят. И главное — он никогда не обижается... Ну, может, умеет сделать вид, что не обижается... Придет иной раз с какой-нибудь просьбой к председателю, да не вовремя: у того и без него голова кругом идет. Ну и скажет в ответ, может, резкое слово. А Иван Фролович будто и не заметит этого: будто и просьбу свою готов забыть совсем. Глядишь, выберет время по-лучше и снова идет. Как ни в чем не бывало. Ну, а Николай Никитич и доволен даже, что ему напомнили, когда нужно. И уважает Ивана Фроловича за то, что он упорно на своем настаивает...

Дверь кабинета вдруг резко отворилась, и через порог шагнул, но остановился в нерешительности детина почти во всю ширину проема.

— Проходи, проходи, Михаил Петрович, — сказала, заметив эту нерешительность, Панина и, взглянув на меня, добавила: — Это наш агроном. Познакомьтесь.

Крупное лицо Михаила Петровича с покатым лбом и прямым, островатым носом было, как видно, отшлифовано всеми полевыми ветрами почти до черноты, да еще и подсвечивалось густым румянцем. Короткое пальто, казалось, так и трещало на нем. Широленные плечи и могучие мускулы просто распирали его одежку.

— Лебедев, — сказал богатырь, сделав несколько шагов вперед и подав мне руку, которую мне не удалось обхватить.

— Ты мне нужен как раз, — заметила Валя. — Послезавтра партийное собрание...

Из коридора послышался голос Стрелецкого.

— Вы сейчас, наверно, по фермам поедете с Николаем Никитичем? — обратилась ко мне Валя.

— По всей вероятности.

— Пожалуй, я не смогу поехать с вами... Хотя и надо было бы как зоотехнику да и секретарю парторганизации. Но, видите, к собранию надо подготовиться.

Стрелецкий, распорядившись по каким-то текущим делам, вернулся и действительно предложил проехать на фермы.

Тут же, в Бычках, неподалеку от конторы правления, оказались коровники первой молочнотоварной фермы. Простые, дешевые постройки под соломенной крышей. Но в них чисто, сухо. Пол посыпан опилками.

Крупная женщина лет сорока пяти с коротким широким носом и живыми темно-кариими глазами встретила нас у ворот, приветливо поздоровалась.

— Это Анастасия Трифонова Нестерова, заведующая фермой, — отрекомендовал ее Николай Никитич.

— Не жена ли Степана Лукьяновича? — поинтересовался я.

Заведующая засмеялась.

— У нас тут Нестеровых — хоть пруд пруди.

— Опилочками посыпали, вроде как ради праздника...

— Почему же? — удивилась Анастасия Трифонова, видимо, задевая моим замечанием. — Мы это делаем каждый день. Скотники на то поставлены: почистят коровник, а потом снова посыпят. Вон пилорама-то рядом. Разве нельзя принести? За это им заработок начисляется. И нам, дояркам, приятно.

Нестерова больше пятнадцати лет работала дояркой, поэтому, очевидно, и говорит «нам, дояркам». Лишь года полтора назад она назначена заведующей. Старается, ни днем, ни ночью не знает покоя, добывает-

ся строгого порядка, повышения удоев. И если бы какая-либо из трех остальных молочнотоварных ферм достигла лучших результатов, отняла у нее первенство, Анастасия Трифоновна, наверно, очень бы горевала.

Несмотря на то, что ферма в центре села и доярки могут не задерживаться на ней, здесь для них имеется хорошее помещение. Заведующая с помощью Валентины Паниной понатащила сюда много специальной литературы; читает сама и заставляет читать других, требует того, чтобы все работники фермы посещали занятия.

— А что за занятия? — спросил я. — Кто их проводит?

— Зоотехминимум, — ответила Анастасия Трифоновна, удивившись вопросу: какие же, дескать, могут быть еще занятия у нас? И повторила: — Зоотехминимум, который должны знать все животноводы. А занятия проводят когда Валентина Андреевна, когда Иван Гаврилович. Смотря по тому, чего касаемся.

— Какие же надон на ферме?

— За прошедший год — две тыщи сорок килограммов от коровы. Не так много. Но первое место удерживаем. А главное — по жирности выполняем. Базисная жирность у нас — три и восемь десятых процента. А мы получили за декабрь, например, знаете, какую? Четыре и одна десятая! Поэтому еще прибавка: сдали четырнадцать тысяч килограммов за месяц, а нам засчитали за пятнадцать с половиной.

— Отсюда мы проедем в Кузьминку. Не возражаете? — сказал Николай Никитич, когда мы закончили беседу с Нестеровой. — Тоже на молочнотоварную ферму. За нее у меня душа болит: отстает она от других.

Кузьминка — небольшая деревня в одну улицу, которая тянется на взвлок километрах в двух от спиртозавода. Поэтому наш путь лежал сначала в обратную сторону, к свиноферме, потом через низину, поперек села Соломино, и мимо завода.

На выезде из Бычков нам встретился ветеринарный врач. Стрелецкий остановил машину.

— Ну что, Иван Гаврилович? — спросил он, приоткрыв дверцу.

— Закончили. Все в порядке, Николай Никитич, — ответил Горбунов.

— Молодец! Ну, отдохни теперь.

Иван Гаврилович махнул рукой. Ладно, мол, отдохну в другое время. А председатель, захлопнув дверцу, заговорил потеплевшим голосом:

— Вот золотой человек, если б вы знали! Трудится с утра до ночи. Постоянно он на фермах, в непрерывных хлопотах по своему делу. Всю душу он в него вкладывает. Если нет у нас никаких заболеваний среди животных, так это прежде всего благодаря его стараниям: постоянно ведет, я бы сказал, бдительную профилактику. Прямо-таки поэт своего дела. И какой скромный, какой бескорыстный, если б вы знали!

— У вас, я смотрю, и зоотехник и ветеринарный врач есть.

— Ну, а как же без специалистов?.. Вы, может, считаете, что нам их не надо много: хозяйство, мол, не так велико. А возьмите-ка совхоз с такими же посевными площадями и таким же количеством скота, как у нас, — сколько там специалистов! Их, как правило, раза в три больше наберется, чем у нас в колхозе. Нет, нам надо еще: по крайней мере агронома-семеновода, ну и энтомолога и экономиста. Да не формы ради, а для настоящего дела. Да чтобы все они работали вот так же вдохновенно, как Иван Гаврилович. Представляете, какой штаб имелся бы в хозяйстве!

— У вас он, мне кажется, уже имеется.

— Нет. Конечно, наши специалисты работают хорошо. Но надо, чтобы этот штаб был более полноценным, со всеми его отраслями. Тогда хозяйство быстрее пойдет в гору, поставит каждое дело на научную основу.

— Не кажется ли вам, что некоторые председатели колхозов боятся понести лишние расходы на специалистов и поэтому не стараются подыскать их?

— Пожалуй, есть кое у кого такой грех. Но это страшная глупость! — воскликнул Николай Никитич, начиная горячиться. — Каким бы талантом ни обладал председатель, он не сможет охватить всего. У нас, к сожалению, еще немало таких, которые считают, что они все знают. Может, поэтому главным образом и ведется у нас многое в сельском хозяйстве по старинке, как век назад. У нас, на мой взгляд, должно становиться все больше и больше специалистов по отдельным отраслям и полеводства и животноводства. Каждый вид животных или птицы, каждая культура имеют такие тонкости, о которых может и не знать специалист общего, широкого профиля. Специалист, говорится у нас, должен быть не только советчиком, но и организатором производства. Правильно, что организатором... Но хороший советчик — это тоже организатор. И для того, чтобы посоветовать что-нибудь дельное и особенно ценное, он должен постоянно изучать дело, а может, даже и ставить опыты, вести наблюдения, следить за опытом других. Вот как я понимаю работу специалиста. Работу, которая должна быть, что называется, мощным рычагом подъема хозяйства... Разве же справится с такими задачами председатель, порой ничего не имеющий, кроме доверенной ему власти? Да он без настоящих специалистов заморозит свое хозяйство, а то и потянет назад!

Слева от дороги показалось и проплыло какое-то крупное здание — не то склад, не то цех. Вдоль всей его длинной крыши тянулась застекленная с двух сторон надстройка — «фонарь», как его называют строители. Николай Никитич оглянулся на это здание, сказав:

— Это вот у нас откормочник. Мы заедем сюда на обратном пути... Очень интересное дело.

На кузьминской ферме мы увидели коровники более фундаментальные, чем в Бычках. Но в них было грязнее и холоднее, чем там. Некоторые окна оказались не только незастекленными, но и без рам, потому что через них выбрасывают навоз. Скотники решили, что им так удобней, а дояркам приходится возиться с коровами на сквозняках. На ферме установлено оборудование для запаривания грубых кормов, однако оно покрылось в последние дни снегом, к нему никто не прикасался, а корма выдавались без предварительного приготовления их.

— Где Юрчев? — спросил у доярку помрачневший председатель.

— Наверно, дома. Вон его дом, отсюда виден.

— Ну-ка, съезди за ним, — сказал Николай Никитич шоферу.

Скоро машина вернулась, и из нее вылез заведующий фермой Михаил Федотович Юрчев, пожилой мужчина с помятым, полусонным лицом и весь какой-то всклокоченный.

— Почему же ты перестал корма запаривать, Михаил Федотович? — спросил у него Стрелецкий, стараясь, как видно, сохранить хладнокровие.

— Топливо кончилось, Николай Никитич.

— А почему ж ты не сказал об этом правлению, не попросил подвезти?

Юрчев замялся. Сказать ему было нечего. А председатель, разговаривая с ним, почувствовал такой дух, что даже попятился.

— Пьяный был? Спал?

— Выпил немножко. День рождения у жены. Поэтому не удержался.

— День рождения, говоришь? Это можно легко проверить по метрикам в сельсовете. Понял? Врать, конечно, не следует. Тоже мне, нашел причину! Что же это ты, товарищ Юрчев? Придется нам с тобой иначе разговаривать... До Нестеровой-то, ой, как далеко тебе!

— Поправим, Николай Никитич. Постараемся, — заверял Юрчев.

— В бригаде-то лошади есть? Вот бери подводу и поезжай сам за топливом. Чем спать-то среди бела дня, лучше бы на санях прокатился по морозцу... после выпивки.

Потом, когда мы уже ехали с фермы, Стрелецкий сетовал:

— Ох, и трудно же бывает, если бы вы знали! И как только не бремся с пьянством!.. А глядишь, нет-нет да и сорвется человек. Я ведь недаром сказал вам утром о заводе, что это и кормовая база животноводства и болячка наша. Теперь вот сами видите... Да-а, не повезло нам в Кузьминке на заведующих. Придется и этого снимать.

Николай Никитич помолчал, нахмурясь, а потом добавил, как бы пополая свои прежние размышления о специалистах:

— А все ведь это от нашей нужды в хороших кадрах. Ну, какой он заведующий фермой. Юрчев! Так, мужик малограмотный. И учиться его уже не заставишь: стар, говорит, я. Нестерова-то, — вы почувствовали, наверно? — по сути дела, специалистом стала. Она учится постоянно. А тут вот не выходит. Да и сил своих маловато, чтобы всех, скажем, животноводов учить. Знаете, я о чем часто думаю? Подрастает у нас молодежь. Значительная часть ее остается теперь в деревне. Надо учить ее на каких-то курсах или специальных факультетах при техникумах и институтах. Ну, может быть, годичных или даже полугодовых: люди с восьмилетним образованием все же быстрее постигнут специальный курс... Пусть даже колхоз платит за их обучение — выдает им стипендию. Это все-таки нам будет выгодно: образуется какой-то резерв для выдвижения кадров в колхозе. Ведь фермой, по сути дела, должен заведовать специалист. А то вон облом полусонный... Что с него возьмешь? И заметить, как прикинешь, пока некем.

Мы подъехали к откормочнику. Стекла «фонаря» его горели закатным солнцем.

— Вот чем хотелось бы мне похвалиться в заключение дня, — сказал Николай Никитич. — Наше хозяйство недавно пытались специализировать на откорме свиней. Начали строить межколхозный откормочный пункт — вот это типовое механизированное помещение. Впрочем, вы взгляните, — предложил председатель, пропуская меня в приоткрытую половину ворот.

В помещении, светлом и просторном, с почти игрушечной железной дорогой для вагонеток посередине, находились отнюдь не свиньи, а молодые бычки.

— Но откорм свиней на барде, — продолжал Николай Никитич, — это, если хотите, зоотехническая неграмотность. Мы посоветовались с членами правления и специалистами нашими. Мне порекомендовали съездить в другие хозяйства, изучить опыт. Отправился я на Полтавщину. И когда сказал там о наших первоначальных планах, то надо мной посмеялись: не свиней, а крупный рогатый скот нужно откармливать на барде!.. Ну и вот. Мы уже поставили на откорм сотни молодых бычков и некоторую часть выбракованных взрослых животных. Есть уже первые результаты. Вчера мы сдали на мясокомбинат восемьдесят две головы, и все они приняты с оценкой средней, а четвертая часть — даже выше средней упитанности. Это высокая оценка. Такой раньше у нас не было.

Уже осенью Николай Никитич сообщал мне в письме:

«Животноводство выглядит в этом году хорошо. Обилие зеленого корма и большое количество концентратов, полученных колхозом за коноплю и свеклу, дали возможность значительно поднять продуктивность скота всех видов. План продажи продуктов животноводства намного перевыполнен. Откорм крупного рогатого скота (помните, мы на нем ведем специализацию?) дал отличные результаты. Чистая прибыль от продажи 320 голов — 45 тысяч рублей. За девять месяцев животноводство в общем денежном доходе колхоза составляет 69 процентов. Это чудесно! Ведь оно все время было убыточное и находилось «на иждивении» полеводства».

Так название села Бычки, села, являющегося центром колхоза имени Мичурина, «волею судеб» приобрело новый смысл, получило свое современное звучание. Молодые бычки на откорме стали важнейшей отраслью его хозяйства, основной статьей дохода от животноводства.

НИКОЛАЙ СТРЕЛЕЦКИЙ

...В Дмитровск мы возвращались поздним вечером. Небо, яркое и чистое при закате, уже затянулось тучами, которые летели с севера, заволакивая редкие холодные звезды. По полям поползли, чуть слышно шурша, белые полозья поземки. Они возникали где-то в темноте как будто для того, чтобы показаться в ослепительном свете фар и снова скрыться во мраке. Жутко становилось от снежного свиста. И, словно стремясь отогнать это чувство, Николай Никитич сказал:

— Давайте заедем ко мне: городская столовая теперь уже закрылась, поужинайте со мной по-домашнему. А может, и ночевать останетесь, если понравится мой приют.

Я охотно согласился. И вот машина остановилась на центральной улице Дмитровска.

Два оконца домика, обращенного торцом к улице. Рядом — калитка в дощатом заборе. Звякнула накидная щеколда. Залаял, гремя кольцом по проволоке, пес.

— Ну, замолчи, че-ерт! — крикнул на него Стрелецкий.

Мария Семеновна — кареокая, тихая супруга Николая Никитича — встретила нас очень радушно. Она стала готовить ужин, а мы втянулись в беседу.

— Вы не в здешних краях родились?

— В Сибири. В Минусинском уезде... Представляете по карте?

— Не только по карте, но и в натуре. Проезжал на автомашине из Абакана в Шушенское.

— Ну, вот, значит, и у вас перед глазами живая картина: Енисей, по которому молодой Ленин плыл от Красноярска до Минусинска (а в Шушенское его везли на телеге). Леса и степи. А вдали, на юго-востоке, особенно в ясное утро, — саянские вершины. Суровый край, могучий. Природа какой-то былинной красоты!

Николай Никитич, казалось, настроился на лирический восторженный лад. Однако же, произнеся эти слова, он смолк, и взгляд его сделался задумчиво-грустным. Видимо, что-то тяжелое пришлось испытать ему в жизни, и оно, всплывая в памяти, омрачает его сибирские воспоминания. «Стоит ли заглядывать в это прошлое, если оно так печалит человека?» — подумал я. Но скоро Стрелецкий рассказал все.

Он вспомнил деревню Успенку, в которой родился; село Березовку, где стал секретарем комсомольской ячейки и заведующим избой-читальней; молодежные сборы и споры о том, как вести хозяйство крестьянам, как покончить с батрачеством, с нищетой.

В селах уже создавались колхозы, когда девятнадцатилетний юноша Стрелецкий возглавил кустовую комсомольскую ячейку в селе Детлово. А через год он был принят в партию, избран здесь председателем колхоза «Пролетарий».

Потом рабфак. Для учебы ему, казалось, достаточно вечера: днем приходилось работать. Иначе на какие же средства жить будешь! И он работал. Ходил в речной порт, таскал грузы. Начал писать заметки в газету «Красноярский рабочий». Кое-когда выезжал в командировки. Во время одной из них встретился и подружился со студентом лесотехнического института Даниловым.

После рабфака отправился в Иркутск. А тут, в Красноярске, с организацией края увеличилось число газет. Знакомые ребята вспомнили про него, написали: «Что ты сидишь в Иркутске? Приезжай, дадим работу в редакции». Начал сотрудничать в «Красноярском комсомольце». Потом командировали в Коммунистический институт журналистики, на курсы подготовки работников детских газет.

Вернулся из Москвы — назначили ответственным секретарем краевой пионерской газеты «Сталинские внучата». Потом Николай Стрелецкий стал редактором газеты политотдела минусинского совхоза «Овцевод». Боевая работа в родных местах поглотила его без остатка. Он перевез в совхоз отца — человека невысокой грамоты, но ясного понимания событий: еще в девятнадцатом году Никита Стрелецкий вступил в партию; а теперь он радовался за сына. Хорошо стала налаживаться жизнь для них обоих. Но в это время, как градовая полоса на урожайные нивы, на Николая обрушилась беда.

Был август тридцать седьмого года. На полях колхоза зрели и впрямь редкостные хлеба. Проезжая среди них пыльными дорогами, молодой редактор с гордостью любовался плодами трудов коллектива, в которых виделась ему частица и его собственного труда. А вечером того же дня спешно созвали коммунистов. Повестка дня собрания вопреки обычному порядку не объявлялась. Начальник политотдела, отводя взгляд, сказал:

— Товарищи! Николай Стрелецкий не заслуживает доверия партии. Мы должны его исключить.

В чем состояла его вина, почему отказывают Стрелецкому в доверии, никто толком не понял, да и он сам был настолько потрясен, что расплывчатые, смутные слова начальника даже не остались в памяти. Николай Никитич и опомниться не успел, как дело дошло до голосования. Все, хмурясь, подняли руки. Только один человек был решительно против — отец.

Началась для Стрелецкого трудная пора. Обида обидой, беда бедой, но нужно было жить и трудиться. Он поехал в Красноярск, стал искать работу. Оказалось, что это непросто. Попытался устроиться на завод, на стройку... Но безуспешно.

Зашел как-то в краевую контору «Краслес», потоптался с сомнениями у дверей отдела кадров и взялся за ручку. Только открыл — перед глазами знакомое лицо. Батеньки-и... Данилов! Узнал, улыбается.

— Колька! Какими судьбами, дружище? Садись, рассказывай.

Стрелецкий сел и поведал ему грустную историю, не упустив деталей о поисках работы.

— Надо прежде всего писать заявление в КПК о реабилитации, — сказал Данилов.

— Писал уж. Пока никакого ответа.

— Пиши еще! Не успокаивайся! Не может же быть, чтоб так и оставили, не пересмотрели! А пока, — добавил Данилов потише, — я устрою тебя на свой страх и риск в Саянский леспромхоз. Поезжай, работай. Но сразу же напиши в КПК, добивайся восстановления!

Окрыленный поддержкой друга, кинулся Стрелецкий в неведомую даль. Триста километров от станции показались не столь уж страшными: где пешком, где с попутными возницами добрался даже раньше, чем рассчитывал. И не зря летел с какою-то надеждою: сердечные люди оказались в том лесном коллективе. Парторг леспромхоза Хорошилова встретила с материнскою заботою. Внимательным женским глазом разглядела на лице Николая затаенную печаль, а потом как-то естественно и просто вызвала его на откровенный разговор. Выслушав, сказала душевно:

— Ничего, Николай, не горюй: думаю, правда пробьет дорогу, возьмет свое.

А через каких-нибудь два или три месяца познакомилась она с решением февральско-мартовского Пленума ЦК, приводившего примеры подобных ошибок при исключении из партии. Встретив Николая, промолвила:

— Завтра в Красноярск отправляюсь. Думаю, и по твоему делу сумею кое-чего добиться.

Не успела она вернуться в леспромхоз — Николаю извещение: явиться в КПК. В краевую, стало быть, комиссию партийного контроля.

Прибыл в Красноярск с замиранием сердца от тревоги и радости. Принял его седовласый старичок с бородашкой клинышком, умудренный

всякими событиями в жизни большевик Канин. Посмотрел на Николая ласково, заулыбался даже:

— Ай-я-яй, Стрелецкий, Стрелецкий! Какой молодой и уже «враг народа». Да еще сын коммуниста, не побоявшегося голосовать против всех остальных... Ну, как же это вы, батенька, докатились!.. Нате-ка вот, почи-тайте. — Пододвинул Канин пухлую папку.

И тут Николай увидел совсем неожиданное: в папке лежали его собственные письма разным товарищам; юношеские письма с цитатами из Есенина, бог весть каким путем собранные и сюда попавшие. Но еще более оказалось писем одного нечистого работника пера, который был с ним когда-то в красноярской редакции. Тот писал, что Стрелецкий выставляет своим знаменем кулацкого поэта Сергея Есенина, «читает его, захлебываясь». Письма упорно повторяли одно и то же, утверждая, что Стрелецкий — враг народа, так как он пропагандирует среди молодежи вредные стихи Есенина.

Стрелецкий читал, сокрушенно покачивая головой от удивления, а Канин похаживал по кабинету сначала молча, а потом приговаривая:

— Вот до чего мы с вами дожили, батенька! И Есенина читать надо знать кому. Мы-то думаем, что замечательному поэту еще памятники будут ставить!.. А другие вот считают, что если вы любите стихи Есенина, то вы враг народа, прямо-таки контрреволюционно настроенный человек. А там, конечно, и еще чего-нибудь прицепят...

И читая и слушая, Николай не смог ухватить всего того, что произнес Канин. Но слова «мы с вами дожили», «мы-то думаем» сразу согрели его душу, приблизили его к этому немолодому, заслуженному человеку.

— Не обижайтесь только на партию, товарищ Стрелецкий, — сказал уже без улыбки Канин. — На глупцов и всяческих перестраховщиков, которые в ней, к сожалению, встречаются, обижаться можно и должно. Против них нам еще немало воевать придется... Считайте себя уже восстановленным в партии: решение завтра будет принято... Что ж, вернетесь на журналистскую работу?

— Подумаю, — сказал Николай и не узнал своего голоса: слезы радости выступили у него из глаз. — Спасибо вам. Мне надо пока вернуться в леспромхоз.

Ни распутица, ни превратившийся в серую кашу снег, в который нога проваливалась порой по колено, казалось, не затрудняли ему обратной дороги. Старушка хозяйка встретила своего квартиранта и поняла: человек вернулся, сбросив с души страшную тяжесть.

Редакция краевой газеты прислала ему письмо, приглашая к себе на работу. Но уже назревали события, которые изменили планы и судьбы многих молодых людей. Осложнения обстановки на Дальнем Востоке, бои у озера Хасан потребовали дополнительного призыва в армию, и скоро Николай Стрелецкий оказался в ее рядах.

А на следующий год он уже участвовал в сражении на Халхин-Голе, получил тяжелое ранение. Долго залечивал в госпитале простреленные ноги.

В прославленной ОКДВА (Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии) он оставался и в дни, когда разразилась Великая Отечественная война. Работал в армейской газете. У него снова открылись раны. И опять пошли томительные дни в госпитале. А командование, видимо, сочтя его хорошо знакомым с особенностями госпиталя, назначило Стрелецкого комиссаром медсанбата.

Комсоргом госпиталя была медицинская сестра Маша, тихая, заботливая и весьма настойчивая девушка. Комиссара связывали с нею многие общие дела в коллективе, но потом связало и большое чувство. Они стали мужем и женой.

Отгремела война на Западе. Стремительно пронеслась на Востоке. Супруги Стрелецкие демобилизовались. А куда ехать? У Марии в селе под

Дмитровском-Орловским жил дядюшка. Он когда-то удочерил ее, и по нему она Тимофеевна. Значит, там и дом ее. Туда вместе и поехали.

Так обрел сибиряк Стрелецкий новый отчий дом на моей родной Орловщине.

Вскоре он стал работником Дмитровского райкома партии, потом секретарем по зоне Неруссовской МТС, а потом и вторым секретарем райкома. Распрощался с Сибирью навсегда.

— Не всем же землякам моим отправляться в Сибирь, — заметил я, — пусть и оттуда кто-нибудь на Орловщину перебирается.

— Вот именно, — согласился Николай Никитич и перешел к заключительному эпизоду своей биографии.

В начале пятьдесят восьмого года участвовал он, второй секретарь райкома, в отчетно-выборном собрании в Бычках. Собрание было бурным и длилось три дня. Колхозники не захотели избрать председателем Михаила Радина, который два года руководил артелью, но уронил свой авторитет недостойным поведением. Думали, рядили, уже устали от споров, когда кто-то мечтательно, как бы про себя, произнес:

— Вот бы нам такого, как Стрелецкий...

Колхозники ухватились за эту идею и послали делегацию к первому секретарю райкома.

Так и стал Николай Никитич Стрелецкий председателем колхоза имени Мичурина.

НАКАНУНЕ

— **П**оговорите с нашим главным бухгалтером Василием Степановичем Бушуевым, — посоветовал мне Николай Никитич, — вам будет интересно.

Василий Степанович и в самом деле интересный человек. Когда создавался колхоз, он был уже двадцатилетним юношей. Сначала работал организатором труда, а потом, в тридцать третьем — тридцать шестом годах, — счетоводом. Еще позднее его, двадцатипятилетнего человека, избрали председателем тогдашнего небольшого колхоза «Озёра». Прошло еще два года. Он стал председателем сельского Совета, на территории которого было несколько колхозов. На этом посту и застала его война. Гитлеровцы, оккупировав район, арестовали Бушуева как партизана и посадили в Орловскую тюрьму, в камеру-одиночку. Через некоторое время перевели в другую камеру, где помещалось семеро. А там, где не один, и заключенные переносить легче.

У семерых пошла организованная работа. Они расшатали дверь, ухитрились открывать автоматический замок, делали вылазки из камеры, достали одну шинель. Это открывало кое-какие пути. Дело в том, что в тюрьме находились и военнопленные. Они содержались не так строго, как партизаны: немцы водили их на работу. Семеро и начали по одному, по очереди подстраиваться к военнопленным, надевая шинель, и выходить на работы в город.

В один из таких выходов Василий Степанович оказался с группой заключенных на железнодорожной станции. Оттуда он и бежал. С приходом Советской Армии на территорию района Василий Степанович стал в ее ряды, отважно и деловито воевал минометчиком, потом наводчиком орудия, а затем командиром расчета. Домой вернулся с двумя орденами Славы и другими правительственными наградами.

Главбух любит свое дело, знает его, ставит превыше всего. «Социализм — это учет». В этих ленинских словах он и видит чрезвычайно большую важность бухгалтерии. Все учетные книги содержатся у него в безукоризненном порядке. Любая хозяйственная операция, даже самая малая, на-

ходит в них свое точное и своевременное отражение. Но Василий Степанович не регистратор различных операций, а скорее аналитик. Он постоянно сопоставляет, сравнивает, составляет таблицы и по цифрам судит, как обстоит дело на том или ином участке колхоза, крепнет или слабеет данная отрасль хозяйства, во что обходится получаемая продукция.

Это он первый в колхозе потребовал от бригадиров, чтобы они при составлении своих рабочих планов точно указывали, сколько и каких материалов, горючего, средств, техники или запасных частей потребуется им для выполнения определенных заданий.

- Мы не сумеем этого сделать, — заявили бригадиры.
- Бухгалтерия поможет. Но и вы должны считать.
- А зачем это?

— Затем, чтобы добиваться экономии средств, материалов, горючего. Чтобы меньше было затрат на производство продукции, а сама продукция дешевле... Общий план получения продукции дадим вам в рублях. И оплату труда будем производить в зависимости от его выполнения. В зависимости от того, какие затраты на единицу продукции.

Так зарождался хозрасчет в колхозе. Так бригадам и фермам впервые были предъявлены условия борьбы за экономию, за снижение себестоимости продукции. Так бухгалтерия выступила организующей силой производства.

И вот подводятся итоги минувшего сельскохозяйственного года. Завтра — общее отчетно-выборное собрание членов артели, а сегодня вечером коммунисты колхоза рассмотрят предварительно отчет председателя правления, выскажут свои соображения по составу руководящих органов. Поэтому Василий Степанович еще и еще раз просматривает колонки цифр, чтобы поточнее представить результаты внедрения хозрасчета в бригадах и на фермах, разглядеть за ними живую картину труда и подлинные причины недостатков.

Вот тревожная строка, характеризующая работу третьей бригады: получено продукции на восемьдесят тысяч рублей, а план — почти сто двадцать тысяч. Что там случилось? Ах, да, вот что. Бригада еще не успела сдать пеньку. Сдаст и, пожалуй, подтянется к плану. Во второй бригаде вон как поднялся показатель после сдачи: вместо ста девяти тысяч рублей получено уже сто двадцать три. И вдруг Бушуев спохватывается. В таблице роста денежных доходов, которая завтра будет вывешена при отчете, надо выделить доход не только от растениеводства в целом, но и от конопли: очень важная статья! В шестьдесят втором году — 67 тысяч, в следующем — 84, а в отчетном шестьдесят четвертом — уже 132 тысячи!

Ну, а вот себестоимость продукции животноводства. Себестоимость центнера молока пока выше той суммы, которую платит за него государство. Но МТФ № 1 получила в декабре себестоимость уже ниже плановой, а МТФ № 2 — куда выше. Надо сопоставить.

И главбух вычерчивает новые и новые таблицы. Он с волнением ожидает партийного собрания, и ему начинает казаться, что многое совсем не раскрыто, упущено или по крайней мере не проанализировано.

Наступил вечер. В зале заседаний правления собрались все сорок семь коммунистов колхоза. В президиум собрания избрали двух человек — Николая Михайловича Гуркина и Ивана Андреевича Чебаткова. Председательствовать взялся Гуркин, немолодой колхозник с грустным выражением лица. Он объявил: «Слово предоставляется товарищу Стрелецкому» — и не проронил больше ни слова до конца собрания, даже и в те минуты, когда возник шум при случайном появлении в здании правления гурьбы ребят.

Николай Никитич, собственно, не делал доклада, а говорил о том, что он будет докладывать общему отчетно-выборному собранию:

— Товарищи! Я должен буду рассказать не только о выполнении планов, даже, вернее, не столько о выполнении планов, сколько о неиспользо-

ванных возможностях или вовсе не тронутых резервах. Здесь вы видите таблицы, в которых показан рост денежных доходов, а также производство продукции. Нам, конечно, важно показать это в отчете. Но еще важнее вскрыть, за счет чего мы могли бы увеличить доходы. Вот пример. Посмотрите на эти цифры в таблице. Доходы от конопли за последние три года выросли почти в два раза. Но мы могли бы разумнее организовать коноплеводство в целом. Мы в коноплеводстве пока профаны. Кромчане — те мастера. Мне как-то сказал директор Кромской коноплесемстанции товарищ Гапеев: «Сейте вы коноплю только на семена. Тогда мы вас будем обеспечивать элитой или по крайней мере семенами первой репродукции». Мы так и поступим в этом году. Вырастим семена не ниже, чем второй репродукции. А за центнер их государство платит уже не сто шестьдесят, как мы получали, а двести тридцать семь рублей. Прикиньте-ка: семьдесят семь рублей дополнительно за каждый центнер! Вот как можно повысить доходы от конопли.

В конспективном изложении доклада Стрелецкий выделял все то, что касалось воспитания людей, а стало быть, и деятельности партийной организации. Сначала он называл раздел доклада, как бы заголовок его, например: «О культуре села», — а потом кратко сообщал суть раздела, рассчитывая на совет коммунистов:

— Мне думается, что центром политической и воспитательной культурной работы должна стать бригада. До сих пор такая работа — лекции, доклады и так далее — ведется в центре колхоза, на центральной усадьбе. А разве можно таким образом охватить все население? У нас ведь и бригады — довольно крупные населенные пункты. Следует сказать и о внешнем облике села... Когда-то, лет семь назад, я впервые взглянул на наше село с того бугра, где находится теперь прекрасный двор откормочника. Я увидел ряды соломенных пирамидок, расставленных по низине. Недаром же село и названо — Соломино! Среди всех избенок я увидел тогда лишь двести белевших шиферных крыши. А теперь их уже не счесть. Но перестраивать надо все село. Пришло это время. Надо помочь колхозникам приобрести телевизоры, чтобы они могли смотреть передачи не только в наших общественных зданиях, но и в своих домах. Тем более что с постройкой в Дмитровске ретрансляционного центра уже не требуется больших наружных антенн.

Николай Никитич говорил, не имея перед собой заготовленного текста доклада, а держа в руках лишь два небольших листка бумаги. И, может быть, поэтому он очень умело подчеркивал то, что следовало, применительно к аудитории. Мне показалось, что Василий Степанович даже подосадовал, когда председатель заговорил, уже вовсе не обращаясь к таблицам. А тут и председатель ревизионной комиссии Федор Степанович Гридин, встав перед коммунистами с папкой, в которой держал все необходимые сопоставления, предоставленные ему бухгалтерией, сказал лишь двумя фразами:

— Мы проверили, как выполнялось решение последнего отчетно-выборного собрания. Цифр пока приводить не буду, но сообщаю, что все, за исключением прудов, колхозом построено и выполнено.

Федор Степанович — рядовой колхозник, работающий по преимуществу в строительной бригаде. И на собрании он сидел в легкой телогрейке, не снимая фуражки, как-то сутуловато, словно приготовившись обтесывать бревно. А когда он встал, обнажив наконец свою полыселую голову, думалось, что будет держать длинную и нескладную речь. Однако он умилился собравшихся своей лаконичностью. Возможно, это и определило оценку его работы. Коммунисты решили вновь рекомендовать его на пост председателя ревизионной комиссии колхоза.

Собрание приняло решение, в котором кратко сказано: «Одобрить тезисы отчетного доклада правления колхоза»; «рекомендовать выступить с отчетом тов. Стрелецкому».

Кто-то спросил:

— А на сколько времени Николай Никитич рассчитывает доклад?

— Часа на два — два с половиной, — ответил Стрелецкий.

— Много-ого!

— Для итогов-то года? Это не много! — загудели другие голоса.

На собрании присутствовал и секретарь райкома Николай Ильич Зубов. В Дмитровск мы возвращались вместе с ним и Стрелецким.

— Ну, как вам понравилось партийное собрание? — спросил меня Николай Ильич.

— Понравилось прежде всего то, что перед коммунистами председатель выступал, советуясь и называя лишь узловые вопросы. Вообще организовано прошло...

— Думаю, что и общее собрание пройдет хорошо. Надо вот только обеспечить, чтобы колхозников с дальних поселков вовремя привезли.

— Это, конечно, будет сделано, — сказал Стрелецкий. — А знаете, насчет организованности... Вот что интересно вспомнить. Когда-то и в такой маленькой деревушке, как Кузьминка, был отдельный колхоз. Назывался «Вольный край». Там колхозников-то немногим больше, чем у нас коммунистов сейчас... И вот мне рассказывали, как проводились там отчетно-выборные собрания. За день никогда не управлялись. Спорили до хрипоты, целые бои устраивали. Один конец деревни называется Сазоновой Горой, другой — Толмачевкой. Так вот Сазонова Гора всегда шла на Толмачевку, выдвигала и отстаивала кандидатуру своего председателя. А Толмачевка еще яростнее на Сазонову Гору налетала и с пеной у рта отстаивала своего.

«Толмачевцы в хозяйстве ничего не смыслят! Недаром их толмачевцами прозвали! Кого вы отстаиваете-то, бестолочи?» — кричит Гора.

«А сазоновцы — лежебоки! Любят пупки на горке греть!» — отвечает Толмачевка.

«Толмачи, заткнитесь!»

«Перестаньте, голопузые вы лентяи! Кого подсовываете-то?»

Шумят, кричат — чуть не до драки. А тут ребята поналезут на поддержку. Свист поднимут, как на стадионе.

Однажды, говорят, случилось так: кандидатуры обеих сторон получили по равному числу голосов. Тут спохватилась одна из них — не помню, какая, кажется, Толмачевка, — что на собрании нету бабки, которая прежде перекричать многих других могла. Побежали за нею. А бабка больная лежит. Подхватили и понесли ее на собрание. Больная выдюжила, подбодрилась и даже речь призывную произнесла. Так с помощью бабки одна сторона и победила другую.

Вот какая «организованность» была.

«ЭТО ВЕЛИКОЕ ДЕЛО»

— А знаете, над чем я раздумывал вчера вечером? — сказал Николай Никитич, когда мы с ним утром следующего дня направлялись в Бычки. — Вот сегодня я буду докладывать об итогах минувшего года. Придется сказать, что мы невыполнили план продажи зерна по некоторым культурам. А фактически мы перевыполнили его. Дело в том, что план нам устанавливали несколько раз, набрасывали вновь и вновь. Так вот, первоначальный-то план мы даже перекрыли, а последний малость не одолели.

— Очевидно, вы стоите за твердый план, который бы никак не менялся?

— Вот именно! И знаете, я верю, что мы все-таки придем к этому. Твердый план создавал бы уверенность у колхозников, у колхозов. А поэтому он был бы выгоден и государству... Вы не обратили внимания на одну мысль Фака на районной партийной конференции? Он сказал: следовало бы установить такой порядок, чтобы колхозу за сверхплановую продукцию платили больше. Я думаю, что он прав. Знаете, что это дало бы? При таком порядке любое хозяйство само старалось бы перекрыть план. А в этом и государство заинтересовано. Иначе мы не скоро добьемся укрепления колхозов, не скоро увеличим производство зерна, мяса и всего другого. Я даже хочу написать об этом... В Центральный Комитет... Так думаю не только я один.

— А октябрьский Пленум ЦК развязал руки колхозам? Как вы считаете?

— Несомненно. Взять такой пример. Наши почвы очень бедны перегноем. Посмотрели бы вы на эти вот поля летом!.. Увидели бы, что тут один песок. Без удобрений тут никак нельзя. А мы почти не вывозим навоза. Почему, спрашивается? Да потому, что не имеем ни одного гектара чистых паров. Запретили их иметь. А разве можно нам без чистых паров? Знаете, навоз-то лучше всего вывозить на чистые пары летом. В другое время бригады не управляют... Конечно, октябрьский Пленум помог: уже в этом году мы отведем поле под чистый пар, перделаем структуру посевов. Но нужен по крайней мере еще один шаг...

Перед поворотом от шоссе на Бычки нам встретился грузовик, в кузове которого сидела группа тепло одетых колхозников.

— Наверно, из Васильевки, — заметил Николай Никитич, — на собрание едут. Но что-то очень рано.

— А где это Васильевка? — спросил я, вспомнив, что ее упоминал и мой однофамилец.

— Да вот прямо за этим леском, влево. Она видна от дороги. Может, видели, когда ехали от Кром?

— Нет, не видел: мы ехали ночью.

— Приезжайте-ка к нам летом. Тут есть очень хорошие места. Приезжайте!

...Мне удалось откликнуться на приглашение Николая Никитича и побывать в колхозе примерно через полтора года — в июне. Поэтому, отодвинув покамест рассказ о предстоящем отчетно-выборном собрании, коротко опишу летнюю встречу.

В июне я приехал на пленум Орловского обкома партии. Вечером в пятницу пленум закончился. А в середине следующего дня я зашел к секретарю обкома Николаю Евстафьевичу Афанасьеву, чтобы договориться с ним по некоторым делам. Пока сидел у него, раздался звонок между-городной.

— Слушаю. Да, да, — отвечал Николай Евстафьевич. — А-а, здравствуйте, товарищ Стрелецкий!.. Могу помочь. Хорошо, разыщу. И даже немедленно... Передаю ему трубку.

«Значит, секретарь райкома уже сообщил обо мне председателю», — подумал я. А из трубки голос:

— Я очень рад, что вы приехали. Как раз очень хороший случай: мы завтра проводим праздник, День колхозника. Это у нас уже традиция... Раз в год, летом... Весь колхоз празднует. Прошу вас, приезжайте!..

— Может быть, не знаю...

— Да поезжайте! — сказал решительно Николай Евстафьевич. — День-то субботний. А воскресенье... Вы же с пользой его проведете там, да и отдохнете лучше, чем в городе! — Потом, взяв у меня трубку, он добавил: — Так что встречайте, товарищ Стрелецкий! Часа через два он будет у вас.

И вот мы сидим со Стрелецким в его маленьком кабинетике конторы правления. Николай Никитич в отличном расположении духа.

— Праздник в этом году будет особенно радостным, — говорит он. — Потому что настроение у людей лучше, чем когда-либо прежде... А помните наш тот зимний разговор? — спросил вдруг Николай Никитич и весь засиял.

— Насчет твердых планов?

— Да, да. Как видите, сбылось! И если б вы знали, как поднял мартовский Пленум настроение у колхозников, особенно у нас, председателей! Материальная заинтересованность... О-о, мы-то знаем, какое это великое дело! На своей, что называется, шкуре силу ее хорошо испытали...

В кабинет вошел Бушуев, главбух, с которым получасом раньше мы обнялись, как друзья. Сутуловато сел в сторонке.

— Понаблюдали бы вы, что тут было лет восемь назад, — продолжал Стрелецкий. — Вот Василий Степанович, как говорит, не даст соврать. Наступит сенокос — колхоз повыкосит лучшие участки луга, а заросшие кустарником не трогает, забрасывает. Глядишь — к ним и потянутся рабочие спиртозавода: они к этому времени как раз высвобождаются, потому что завод останавливается на ремонт. Ну, а на них глядя, кинутся и все колхозники: заводским, мол, можно, а нам разве нельзя? Да разбредутся по кустам и лесам — не сыщешь никого. На целую неделю, бывало, все работы останавливались.

— Да мало того, что сами разбредутся, — вставил Василий Степанович, — еще и конный транспорт с собою прихватят.

— Возмутился я такими порядками, но, вижу, ничего не поделаешь... «Да лучше, — говорю, — колхоз выделит вам для личного скота сто гектаров клевера!» А колхозники не верят: никогда, мол, так не было. «Обманете вы нас, — говорят, — нам и раньше много обещали!» На уборку картофеля тоже выходить уклонялись. Потому что обещанная когда-то десятая часть его не выдавалась.

— Два года понадобилось, чтобы убедить людей, — заметил Бушуев.

— Да, одного года оказалось даже недостаточно, — подтвердил Николай Никитич. — Видимо, думали так: «Председатель пошел для начала на такие выдачи, а потом все равно обманет». Но потом увидели, что и на второй год правление выделило десятую часть укосных площадей клевера, десятую часть полей картофеля. Да еще лучшие участки! По выбору самих колхозников. Ну, тогда и пошло! На сенокос высыпают и стар и млад. Целыми семьями! Чтобы выходóв побольше иметь. Ведь десятая-то часть распределяется в соответствии с количеством выходóв. И зато завершается сенокос или уборка картофеля в самые кратчайшие сроки!.. Вот что значит материальная заинтересованность. Нам удалось поднять ее уже лет шесть-семь назад. Внедрение хозрасчета в бригадах будет способствовать повышению материальной заинтересованности людей уже на всех работах. Ну, а мартовский Пленум ЦК, по сути дела, вот так же поднимает эту заинтересованность у самих колхозов.

Василий Степанович вдруг встал, вышел молча и в ту же минуту вернулся уже с тетрадью в руках.

— Вот как изменились закупочные цены, — сказал он. — Например, за тонну пшеницы до шестьдесят пятого года государство платило колхозу 75 рублей. А сейчас — 130. Если же продать сверх плана, то уже 195 рублей.

— Ну, как же не будешь стараться перевыполнить план! — воскликнул Николай Никитич. — В прошлом году, даже при небогатом нашем урожае, все же мы перекрыли план и получили только за сверхплановую продажу около пяти с половиной тысяч рублей. А всего дополнительного дохода от продажи зерна — примерно девятнадцать тысяч.

— Без двух рублей, — уточнил главбух.

— Не меньше поднялась заинтересованность хозяйства и в перевыполнении планов продажи животноводческой продукции. Прежде мы получали, скажем, за тонну говядины... Сколько, Василий Степанович?

— Там ведь зависит еще от того, какой упитанности продается скот и в какое время года, — пояснил, обращаясь ко мне, Бушуев. — Возьмем говядину средней упитанности... Значит, так. В первом полугодии — по 990 рублей за тонну, а во втором — по 880. Ну, а теперь плюс пятьдесят процентов к этому. Значит, — быстро прикинул в уме Василий Степанович, — 1 485 и 1 320.

— Видите, особенно значительно повышение цены на говядину в первом полугодии, когда большинству хозяйств труднее продавать ее. А мы, как вам известно, наладили откорм крупного рогатого скота и большую часть его продаем как раз в этот самый выгодный период. Сейчас июнь, а мы уже почти годовой план выполнили.

— Не только с продажей говядины дело улучшилось. Вот сравнимые данные. Взгляните, — сказал Бушуев, привыкший к языку цифр, и открыл нужную страницу тетради, где была небольшая таблица. Она выглядела так:

За первые пять месяцев продано	1964 г.	1965 г.	1966 г.
говядины	несколько	779 ц	874 ц
свинины	46 ц	182 ц	261 ц
молока	2 220 ц	2 320 ц	2 828 ц

— Вот что значит улучшение экономических взаимоотношений государства с колхозами! — воскликнул Стрелецкий. — Хозяйство выиграло, потому что поднялась его заинтересованность. Выиграет в конце концов и государство, коли производство продукции увеличивается. А то, что выгодно колхозу, выгодно и каждому колхознику. И знаете, как сильно возросла трудовая активность людей! Вскоре же после того, как рассказали о новых ценах, об увеличении наших доходов... Я не говорю уже о том, что твердый план вызвал у нас уверенность во всех наших расчетах...

— Колхознику как не стараться, если растет оплата? — заметил Бушуев. — В позапрошлом году на человеко-день мы выдали всего лишь по одному рублю семьдесят копеек, а в прошлом — уже по два двадцать восемь. В нынешнем будет еще больше. Гарантированная оплата, по сути дела, у нас уже установлена. И мы будем производить ее ежемесячно даже без всяких кредитов.

— Без таких мер, какие наметил мартовский Пленум, хозяйство не удалось бы настолько поднять и за много лет, — подытожил Стрелецкий и, помолчав немного, добавил: — Пусть даже председатель был бы о семи пядях во лбу.

Этот разговор происходил в конторе правления вечером. Но еще более интересное я услышал от Стрелецкого днем, вскоре же по приезде.

КЛАД

Мы ехали по шоссе Кромь — Дмитровск. Миновали совхоз «Лубянский». Впереди, под самым лесом, что тянется здесь справа от дороги, показалась небольшая деревенька. А против нее промелькнул столб с табличкой «Васильевка».

— Вон «газик» стоит, — сказал шофер. — Это, наверно, у поворота на Бычки.

Он сбавил скорость. Да, возле «газика» стоял Стрелецкий. Он и впрямь решил встретить меня на пути и тут же предложил:

— Я думаю, отпустим машины и просто пойдем по полям. Впрочем... Вы обедали? Ну, хорошо. Тогда, значит, поезжайте, товарищи...

Солнце сияло где-то между полуднем и закатом. В голубом, по-летнему ярком небе рождались и таяли редкие кучевые облака. Воздух, напоенный запахом только что выколосившейся ржи, был неподвижным и сизоватым вдаль, как и сама рожь. После бензинового запаха, к которому постепенно привыкаешь в машине, он казался особенно ароматным. Над полями стояла тишина до звона в ушах. Потом слух уловил знакомые с детства, но почти забытые в городе переливчатые трели жаворонка.

Словом, день был так хорош, что хотелось идти и идти по полям, плыть в эту манящую голубень, наполненную песней невидимой птицы-певуньи... «И какой же поэтической душой надо обладать председателю, чтобы суметь предложить такую прогулку!» — подумал я.

Миновав поле ржи, мы вышли на небольшой лужок, на котором то тут, то там белели гуси. За лугом — Васильевка. Небольшие домики в два ряда. Словно серые медлительные гуси, тянутся из леса на луг.

— Между прочим, вы не обратили внимания на одну особенность, — говорит Стрелецкий, — как располагаются наши деревни? Вернее, где они расположены? Пройдите даже всю Орловщину, и вы увидите, что они, как правило, гнездятся или в логах, как наши Бычки и Соломино, или на всяких неудобьях и жмутся к лесу, как Васильевка и Костобровка... Словом, на хороших, ровных землях деревни, пожалуй, не встретишь. Это значит, что предки-то наши были, что называется, не дураки. Они очень дорожили землей. Под застройку пускали всякие горки да буераки, а ровные места — только под обработку.

— Но в наше время, — возразил я, — вот на моей памяти, было немало случаев, когда под крупную застройку люди высматривали площадку обязательно поровнее и добивались-таки отвода ее. Хотя эта «площадка» в сотни гектаров и земля самая плодородная. Да мало ли как у нас разбазаривали землю!

— Вот я к тому речь и веду. Люди, не связанные с землей, не дорожат ею. А иные, может, и не понимают, что ею надо дорожить. Не так давно я увидел в двух разных газетах один и тот же снимок: две мощных линии высоковольтных передач — стальные ажурные мачты, тяжелые провисающие провода с двух сторон, а под ними человек, вздымающий руки кверху то ли от восторга, то ли желая дотянуться до проводов... Глупость-то какая! И ведь этот снимок — репродукция с какого-то выставочного фото. Понимаете? Выходит, что газеты уже дают ему высокую оценку. И никто не подумал, что две параллельные, рядом идущие электролинии — это двойная потеря хороших земель...

— Помню этот снимок. Я тоже был им удивлен.

— Поэтому мы и радовались, читая решения майского Пленума. Мне очень нравится, что ЦК и Совет Министров осуждают практику отвода без достаточных оснований ценных пахотных земель под строительство предприятий или линий электропередач. Нравится, что вопрос о мелиорации земель поставлен... ну, как это говорится, всеобъемлюще. Вот в наших условиях ни орошать, ни осушать земли особенно не требуется. Но мелиорация в наших условиях — это прежде всего повышение культуры земледелия, повышение плодородия и наилучшее использование каждого гектара. А в этом направлении мы уже кое-что делаем. Правильные севообороты, травосеяние, подбор самых ценных сортов, семеноводство, которое должно быть поручено специальным хозяйствам, улучшение лугов — вот что нам надо решать сейчас.

Мы пересекли улицу. Николай Никитич откинул легкие ворота из жердей, перекрывавшие дорогу в поле. И сразу же за деревней, за этими воротами, начался новый широкий разлив ржи. Колосья, еще не отяже-

ленные зерном, поднимались почти до плеча. Рожь была здесь особенно хороша и чиста, а поле так обширно и ровно, что с него далеко во все концы виделось вокруг. Лишь впереди справа небольшая часть горизонта закрывалась лесом, от которого как будто отплыла в сторону круглая стройная куртина и стояла, окруженная рожью.

— А знаете, где мы с вами сейчас находимся? — спросил Николай Никитич и тут же ответил: — На самом высоком месте водораздела между верховьями Оки и притока Десны — Неруссы. Поля наши тем и примечательны: если прольет ливень, то с одних из них потоки в конце концов попадут в Волгу, а с других — в Днепр. Так что мы могли бы похвалиться особенностью своего географического положения...

— Почему только «могли бы»?

— Потому что хвалиться этим не приходится: колхозу оно приносит не пользу, а вред. Потоки смывают с водораздела плодородный слой почвы, обедняют пашню. Вы посмотрите на дорогу. Вон она какая песчаная! На ней и после ливня грязи не бывает.

Председатель сделал два шага в сторону от дороги, наклонился и взял горсть земли.

— Вот посмотрите, попробуйте на ощупь. И вся почва здесь такая! Это уже не супесь, а песок.

— Однако рожь здесь очень хороша, — заметил я. — Центнеров по пятнадцать даст. Не меньше.

— Да. Примерно, — согласился Стрелецкий. — Но тут есть один секрет. Эта рожь посеяна по люпинищу... Вы представляете себе люпин?! Это — бобовое растение, красивое такое...

— Представляю малость. Есть желтый, есть синий.

— Так вот, мы высевали его на этом поле в прошлом году. А потом запахивали, как зеленое удобрение. Люпин очень глубоко пускает корни. Метра на два. А то и больше. Вот он и на этой почве хорошо развивается, дает пышную наземную массу. И таким образом, как насос, перекачивает питательные вещества с большой глубины на поверхность. А кроме того, как всякое бобовое растение, он обогащает почву азотом.

— Выходит, что колхоз достал с глубины двухметровой суший клад, — сказал я.

Председатель заулыбался:

— Пожалуй, что так: ведь урожай зерна по люпинищу по крайней мере вдвое выше среднего районного. Действительно клад!

ПРАЗДНИК В ЛЕСУ

Ночью шел сильный дождь. Стрелецкий досадовал, что праздник сорвется, и почти не сомкнул глаз до утра. Но утром засияло солнце. Засветились лучиками морщинок и глаза председателя. Он вышел на крылечко своего крохотного домика, посмотрел кругом и сказал, ни к кому не обращаясь:

— А может, оно и лучше, что дождь ночью прошел? Зато днем, может, не будет.

В девять мы выехали из Дмитровска. С асфальтированного шоссе повернули не вправо, на Бычки, а влево, к лесу.

Скоро перед нами была ровная и довольно возвышенная площадка метров на сто в поперечнике, окаймленная по преимуществу дубами с пышно разросшимися кронами. За дубами в северной стороне сразу же начинались густые заросли осинника, уходившего вниз по пологому склону. Трудно выбрать более уютное место в лесу для большого собрания людей!

— Вот тут мы и проводим каждый год наш летний праздник, — показал круговым движением руки Николай Никитич, как бы очертив ту линию, по которой редким пунктиром белели свежие скамейки.

В противоположной от нас стороне виднелась небольшая, тоже из свежих досок, сценка. Посредине же площадки возвышался белый, очевидно, вчера оструганный, высоченный столб со свисающим от самой его вершины крепким шнуром. Стрелецкий пояснил:

— На этот столб будут подняты разные вещи для розыгрыша. Знаете, как прежде на ярмарках устраивали? Должен сказать, что парни очень любят эти состязания — долезть до вершины и снять лучшую вещь.

— Уж очень большая высота.

— Да. Кажется, метров четырнадцать. Не каждый, конечно, доберется.

На поляне еще никто не появился, кроме нас. И это уже обеспокоило председателя.

— Что же это они опаздывают? — заметил он как бы про себя и пояснил: — Должны бы уже подъехать сюда товарищи, чтобы развесить транспаранты и украшения разные...

В это время откуда-то из глубины леса донеслось урчание мотора.

— А, вот, наверно, едут... Знаете, как ждут колхозники этого праздника! У людей вообще есть потребность собраться иногда, потолковать друг с другом или, как в старину говаривали, себя показать и других посмотреть. А тут тем более: ведь лучших людей чествуем, почетные грамоты, переходящие знамена и вымпелы вручаем, игры и танцы устраиваем, автолавки из города приходят... Невелики затраты колхоза на это дело, но дорого внимание к людям. Знаете, и стар и млад приходит. Целыми семьями тянутся. На такой широкой поляне даже тесно становится. Вот увидите!.. Кстати сказать, еще недавно у нас троицу справляли. Да ведь не только пожилые колхозники! А теперь вот этого праздника ждут. Разве это не достижение? А? Как считаете? Мы называли его прежде День животновода. Но теперь, по сути, это летний колхозный праздник.

Из лесу, со стороны Васильевки, на поляну вышел грузовик. Из его кузова посыпались подростки, а из кабины вылез директор школы Иван Фролович Воробьев. Он был в старом, измятом костюме, в фуражке, под низко опущенным козырьком которой блестели черные живые глаза.

— Иван Фролович, запаздываете: уже два часа остается до начала...

— Ничего, успеем, Николай Никитич, — ответил Воробьев спокойно. — Побуксовали немного в лесу. Поэтому подзадержались... Да ведь в двенадцать не соберутся.

— Но ты на это лучше не рассчитывай. Постарайся ускорить.

Оказывается, Иван Фролович со своими учениками из старших классов готовил к празднику всю «наглядную агитацию». И теперь ворох бумажных трубок и красных полотнищ ребята доставали из кузова, осторожно складывая их на траву.

Через каких-нибудь час-полтора поляна украсилась гирляндами флажков по кругу и шестью лучами их над сценкой. Где к деревьям, а где и к давно уже врытым столбам прикреплялись натянутые на рамы красные полотнища с написанными на них призывами.

Из-за кустов робко выступил косячок девчонок-подростков в пестрых платочках, словно бы любопытствуя только: а что вы, дескать, здесь делаете, мальчики и товарищи мужчины? Это была первая разведка праздничного шествия к поляне. Вслед за ней вскоре высыпала уже более оживленная гурьба юношей и девушек. А там уже и зазвучала, еще на подступах к лесу, разудалая двухрядка в руках непредвиденного самодельного гармониста. Значит, уже посыпались праздничные ноты, и ноги живее делают шаг, как бы самим течением направляются к зеленому лесному озеру — поляне.

И пошли и пошли. Яркие шелка; широкие, еще по старому сельскому обычаю сшитые, длинные и со многими складками, колоколом свисающие юбки; коротенькие, с кружевными украшениями кофточки; узкие и по-городскому короткие платья; резиновые полусапожки (грязь на дороге!) и светлые легкие туфельки, может, и запачканные немного по пути, но уже обтертые сырой травой; а вот и ненадеванные, еще не гнущиеся мужские костюмы узкого покроя; гимнастерки с брюками-галифе; широкие сапоги с кирзовыми холявами и ботиночки с носами кулика; белые ослепительные рубашки и немыслимых расцветок ковбойки; засупоненные узкими галстучками воротнички и свободные, полураспахнутые косые вороты. Словом, одежды всех возрастов, вкусов и десятилетий нашего века.

А вон трое вышли радугой: темно-синее, зеленое и оранжево-желтое платья в тесный ряд. Одна голова овсяная, другая черная, а третья как бы соединившая эти два цвета. Туфли-лодочки, каблучки в лесную почву легко втыкаются. Да неужто и эти соломинские?! Нет, то, видно, из Дмитровска. Да вон и фургончик урчит на колесах. Из него, наверно, все трое вылезли. И еще фургон. И еще. Это автолавки из города двинулись! Дает распоряжения, кому куда стать, Агеев.

Впрочем, вы должны познакомиться с Агеевым. Он один из тех, кого можно видеть в колхозе везде, и отвечает он, пожалуй, за все. Внешне он ничем не примечателен. Средний рост. Обыкновенное лицо. Крупный седловатый нос. Две глубокие морщины-обводины вокруг рта. Серые глаза с тяжелыми веками. Человек на пятом десятке. Одет по давней форме: темно-синяя, немного выгоревшая куртка и того же цвета галифе, хромовые сапоги. Но примечателен он тем, что имеет характерную для русского человека безотказную натуру. Пойдет всюду, куда пошлют. В огонь. В воду. Бескорыстно. По убеждению. По чистоте души.

В сорок втором был призван в армию. Пошел на фронт. Потом на курсы танкистов. Через год с небольшим стал командиром танка. Вел бои за Брест, за освобождение Польши, за Берлин. Вернулся домой лейтенантом. На груди награды: орден Красного Знамени, орден Отечественной войны, медали.

Сейчас живет в родной Кузьминке. Работает начальником пожарной охраны колхоза и одновременно бригадиром дорожной бригады. Но кроме того, у него должности: а) председатель группы содействия народному контролю; б) председатель комиссии по назначению пенсий колхозникам; в) член партбюро и заместитель секретаря парторганизации.

На поляну он пришел раньше других (и появился там, оказывается, еще до нашего приезда). Хлопотал о порядке, о подходе автолавок, об их расстановке. Под мышкой у него папка и какой-то сверток в газете. Сверток в одном месте прорвался, и из него виднелась золотистая бахрама. Это вымпелы «Передовой доярке», «Передовой свинарке», «Лучшему трактористу». Торжественные знаки отличия, а тем более папку со списками тех, кому они присуждены и кому объявляются благодарности, он не решался положить где-либо и так пронесил их до самого момента вручения.

— Пора бы вещи поднять, — сказал он, подойдя к Николаю Никитичу. — Молодежь уже вся собралась — начала бы состязания. Куда делся Иван Фролович?

— Он сказал мне, что поедет домой переодеться и привезет как раз эти вещи для столба. Да что-то вот задерживается...

— Непонятно, где он застрял. Ребята вон требуют даже...

Да, многие парни, особенно подростки, собрались вокруг столба, пробуют силы. К столбу, словно кусок железа к магниту, притягивало несколько раз и не очень уж молодого мужчину, который был, как видно, «под градусом». Притянет — вскинет его ноги, трепыхнет широкими штанинами — и отбросит. Тот постойт-постоит и снова к столбу, утопая в рыхлой куче опилок, насыпанных «на всякий случай».

— Не разбивай зря подстилку-то! — крикнул ему кто-то.

...Духовой оркестр разместился на помостике-сцене под густой тенью дуба. Но скоро тень с него сползла, и он весь так и брызгал осколками солнца. Как будто поэтому и музыка стала живей: плавные вальсы вдруг сменил краковяк, который сразу увеличил толпу танцующих.

Полдюжины автолавок развернули тем временем торговлю мороженым, бутербродами, колбасой, пирожными, фруктовыми водами да и напитками не без градуса. Семьи колхозников или группы друзей выбирали укромные уголки вокруг поляны, садились перекусить, «заморить червяка», дабы можно было не торопиться домой, провести день в этом благодатном месте. Оттого людской гомон, смех, песни ширились, разрастались, захватывали уже не только поляну, но и лесную чащу вокруг.

— Николай Никитич! Просим закусить с нами, хлеб-соль отведать.

— Григорий Андреевич! Милости просим к нашему шалашу.

Но руководители колхоза лишь благодарят за приглашение. Вон и Александр Сергеевич Федин, бригадир первой комплексной, ходит вразвалку и только морщит лоб, как будто что-то вспоминая. И бригадир самой дальней бригады — коренастый, широкоплечий и широкоскулый богатырь Николай Ефремович Комаров поддерживает его степенность. Все знают, что и они не пронесли бы чарку мимо рта, однако вот воздерживаются: порядок есть порядок, да и главное дело еще впереди. Поэтому самостоятельный перекус идет вокруг в хорошей норме.

— Александр Сергееч! На вальс приглашаем, а то мужчин не хватает! — кричит кто-то из группы молодых колхозниц бригадире. Но Федин только безнадежно машет рукой: какой, дескать, я вам танцор!

Года за три до войны пятнадцатилетним пареньком уехал Саша Федин в Ленинград, где сезонно работал его отец, поступил в ремесленное училище, окончил его и стал слесарем. Там и войну встретил, надел форму бойца и скоро получил винтовку с оптическим прицелом.

Много захватчиков взял на мушку снайпер Федин в осажденном городе. Однажды, отрезанный от своей части, он с другом добрался до нее и в пути отморозил пальцы ног. Пришлось ампутировать их. Вот откуда появилась у Александра Сергеевича походка вразвалку. Вот почему он не танцор, хоть и носит нормальные ботинки.

Наконец появился Иван Фролович. С помощью двух подростков он притащил большую охапку коробок и свертков, перевязанных веревочками, которыми и прикрепят их к шнуру, чтобы поднять на верх столба. Многие парни обступили столб и, как будто помогая, пытались прощупать свертки, определить, в каком из них вещи поценнее, дабы недаром взбираться на такую высоту...

— Ну, кто первый?

Низкорослый парень с растрепанными льняными волосами, без всякой подготовки, как был в широких своих брюках и зеленой, в черную клетку, ковбойке, обнял столб руками и ногами и полез. Быстро, как бы прыжками. Но, добравшись лишь до середины, резко сбавил темп, а потом замер на месте, подумал-подумал и начал сползать вниз.

— Смелости много, а силы и ловкости нет, — комментировал кто-то.

Состязания в ловкости становятся центром праздника. Многие из тех, кто гулял по поляне или танцевал, усаживаются на скамейках или на траве и следят за охотниками добраться до верхушки столба. Парни окружили его кольцом, один из них сбросил с себя костюм, рубашку и, оставшись в трусах, полез неторопливо и деловито. Он был худощав, и ребра его четко обозначались при подтягивании. Делез, потрогал крупную коробку, очевидно, взвешивая и прикидывая, что в ней находится, потом уже оторвал и взял ее за веревочку в зубы.

Он попытался было съезжать по столбу, но, почувствовав, что может при этом содрать себе кожу на голых ногах, стал так же «идти» вниз, как

и сверху. Спустившись немного ниже середины столба, он сбросил коробку. Товарищи тут же открыли ее и захохотали:

— Вася-а! Два носовых платка — и пустой груз.

Вася опечаленно замер. Повисел-повисел и полез опять вверх. Добрался. Потрогал небольшой сверточек, оторвал и почти сразу же бросил вниз. На этот раз его усилия не пропали даром: в сверточке оказалась добротная сорочка.

Подзадоривания продолжаются.

— Ну, ну, еще чуть-чуть, а потом уж рукой-то доставай!

Шум, гам, веселые реплики.

— Кишка тонка у твоего Петьки!

— А ты сам попробуй! Чужой-то пупок легко надрывать!

И снова смех.

Тем временем Николай Никитич встретился с Зубовым и Маркешиним (они тоже прибыли на праздник, как и многие работники из Дмитровска, благо лес в каких-нибудь восьми километрах от города). Посмотрев на потемневшее небо, он говорит:

— Будем, пожалуй, начинать официальную часть, а то как бы дождь не полил.

— Начинайте. Шум сейчас кончится.

Оркестр убирается с помоста и размещается поодаль. А на его место поднимаются Стрелецкий, Агеев, Бушуев, Лебедев, Горбунов, бригадиры. С ними Маркешин, Зубов и другие районные руководители. Николай Никитич начинает «короткое слово» перед микрофоном, который установили два работника городского узла связи. Но усилитель то выстрелит громовым голосом в лес, то затрещит, как сушняк во время бури, то совсем замолкнет, и тогда даже с середины поляны лишь видно, как председатель открывает рот или шевелит губами.

— Да-а, техника подвела, — произносит со вздохом Николай Ильич Зубов.

— Переходящие красные знамена колхоза, — кричит Стрелецкий, чтобы хоть вблизи сцены стоящие люди слышали его, — вручаются: первой комплексной бригаде...

Но кричать, пожалуй, нет надобности. Пусть и усилитель молчит: люди видят, что торжественно подтянувшись, на середину помоста выходит Александр Сергеевич Федин, а Григорий Андреевич Агеев передает ему знамя и пожимает руку. Федин, кажется, пытается что-то сказать, но оркестр играет туш и заглушает его.

— ...Тракторной бригаде номер один...

Выдвигается Иван Артемович Карелов, механизатор с обветренным лицом, которое кажется почти черным в сравнении с белым-белым воротничком его рубашки. Он обхватывает крепкими пальцами древко и произносит: «Это знамя...» — но оркестр заглушает его — и лишь по движению губ можно догадаться, что бригадир обещает: «Не отдадим никому!»

— ...Молочнотоварной ферме номер один...

Выходит Нестерова, которую я не узнал бы теперь: лицо ее не то, что было зимой. Оно загорело до черноты, а брови стали почти незаметными. Лишь глаза Анастасии Трифоновны, крупные, живые, светятся по-прежнему. Она в короткой шелковой кофточке приятного кремового цвета и широкой юбке, повязана яркой косынкой. Люди уважают ее: словно вихрем подхваченная листва, шумят на весь лес рукоплескания. Да и оркестр играет туш, кажется, дольше обычного.

...После «официальной части» на поляне становится просторней: растекаются люди в разные стороны, поглядывают на небо. Видно, день не обойдется без дождя. Но, слава богу, все же он постоял солнечным почти до вечера. Николай Никитич говорит, что пора, дескать, совесть знать: надо и нам сделать перекус. Мы направляемся в Васильевку. Оказывается, здесь, в просторном классе, уже накрыты столы, составленные

вдоль стен большой буквой П. Заходят бригадиры, заведующие фермами, весь актив колхоза.

— Ого! Да тут закуски больше, чем я ожидал! — воскликнул Стрелецкий, окинув хозяйским взглядом столы. — Откуда же у нас караси-то взялись?

И тут Иван Фролович, даже как будто смутясь, скромно произнес:

— На этом самом я давеча-то немножко подзадержался.

Оказывается, поехав за вещами для розыгрыша, он посмотрел на все то, что его жена Марина Ивановна с помощницами готовила к колхозному обеду, и нашел набор закусок недостаточным. На том же грузовике смотался к рыболовам и вместе с ними добыл сетью из пруда немалое количество карасей.

Обед начался тостом Сергея Ефимовича Маркешина. Рослый, статный председатель райисполкома встал за столом в своем праздничном черном костюме, ослепительно белой сорочке с воротничком без единой морщинки и поздравил колхоз, его актив с досрочным выполнением плана по животноводству. Он пожелал им новых больших успехов.

А через двадцать—тридцать минут наступило уже то оживление, при котором и ораторы и запевалы обнаруживаются сами собой. Провозгласили еще несколько тостов. Гармонист развел двухрядку, и пол заходил под чьими-то каблуками. А потом гармонь оказалась уже в могучих руках бригадира Комарова. Его широкоскулое лицо и так не отличалось бледностью. А тут еще выпитая чарка, а тут шелковая, в яркую красную клеточку ковбойка с полураспахнутым воротом, видневшаяся из-под серого пиджака... И он весь зарумянился, засветился, переливая перед собой меха и покачивая головой.

Что может быть живее плясового такта «Русской»? Агеев вдруг вылетел из-за стола, и пошел погромыхивать сапогами, и пошел дробить чечетку, словно каблук сами задевали за какие-то незримые рифления пола.

— Ефремыч! — крикнул другой бригадир, подмигнув Комарову. — А все-таки он под твою музыку пляшет.

Николай Ефремыч заулыбался, кивнул головой в знак согласия и еще усилил темп. Оказывается, в этой шутке был намек на прошлогоднюю стычку Агеева с Комаровым. Заметив, что кое-кто из колхозников бригады Комарова стал косить для себя траву в непопозволенном месте, руководитель группы содействия контролю поднял шум.

— А нам бригадир разрешил, — попытались найти оправдание нарушители.

— Снять надо такого бригадира! Что-о? Как это кто позволит? Я сам его сниму! — погорячился Агеев.

Угроза была передана Комарову, и тот разволновался, даже на работу не вышел. Вот на это недоразумение и намекает сейчас коллега Комарова.

А перепляс нарастает, усиливается залихватскими запевками-частушками. С задором и подковырками их тут же импровизируют и Агеев, и Нестерова, и Комаров, беззаветные труженики колхоза, молчаливо хранящие свои бесхитростные веселые таланты от праздника до праздника.

БОЛЬШОЙ ХОЗЯИН

Однако же я все еще рассказываю об июне этого года, но начал-то я с более раннего периода, с прошлогоднего отчетно-выборного собрания. И нужно вернуться к тому времени.

...Общие собрания членов артели при разросшихся размерах хозяйства стали редкостью. Даже и очень важные вопросы решает теперь, как пра-

вило, собрание уполномоченных — лиц, избираемых здесь от каждого трех колхозников. Но отчеты и выборы правления и председателя, ревизионной комиссии и руководителя группы содействия партийно-государственному (теперь народному) контролю производятся именно общими собраниями. Тут произносит свое слово весь коллектив. И мне было весьма любопытно, какое слово скажет этот большой хозяин о Стрелецком — человеку, который всегда чуток, но, конечно же, не для каждого добр.

Колхозный клуб, уже давно выстроенный на высоком взгорье промеж Бычков и Соломина, начал заполняться еще задолго до назначенного часа. Но люди толпились главным образом в широких сенях, соединяющих клуб с читальным залом. Им не хотелось первыми заходить в еще пустой зал, и они переговаривались здесь, тем более что за пределами зала можно и покурить, пусть хоть и украдкой — из рукава.

— Вон Костобобровка, наверно, подъехала, — роняет кто-то, видя подошедший к клубу грузовик.

— Нет, это Калинов Куст, — компетентно заявляет другой голос.

В сени вваливается толпа колхозников, отгибая на ходу припорошенные снегом воротники тулупов или грубосуконных свиток, надетых поверх пиджаков или телогреек.

— «Газик». Наверно, из Дмитровска, — замечают наблюдатели в сенях.

Но они ошибаются. Секретарь райкома партии Зубов давно уже здесь. Это подъехал председатель колхоза «Первое мая», теперь уже другого района — Кромского, «глава делегации» соревнующегося с мичуринцами коллектива Павел Васильевич Трофимов.

И Стрелецкий и Панина просят людей проходить в зал и занимать места. Однако, несмотря на все их просьбы, первые два-три ряда сочлененных кресел остаются свободными, а у задней стены гудит густая толпа мужчин. Они упорно не желают садиться: сядешь, мол, да и выйти покурить не сможешь: услышим и отсюда! Председатель переговаривается с секретарем парторганизации. Необходимый кворум есть. Надо открывать. Избирается немалый президиум, в который включают и гостей — Трофимова и председателя соседнего колхоза «Новая жизнь» Александра Андреевича Пронькина, который сказал потом: «Наши колхозники выразили пожелание соревноваться с вами и подняться до вашего уровня».

За трибуной на сцене вывешены таблицы, и на первой из них крупные цифры показывают общий денежный доход артели за последние три года (в тысячах рублей): 405, затем 472, а потом 594. Но Стрелецкий мало обращается к ним.

— Отчетный год, — говорит он, — ознаменовался новыми достижениями в организации труда. В бригадах и на фермах колхоза был введен хозрасчет. Люди стали бережней относиться к общественному добру, к технике, к расходованию горючего и различных материалов. Дальнейшее укрепление хозрасчета поможет нам повысить доходы хозяйства. Колхозникам и в новом году следует строжайше экономить во всем и на каждом участке производства.

Николай Никитич рассказывает просто, доходчиво, и его внимательно слушают. Вот он касается такого сложного понятия, как себестоимость.

— Производство одного центнера мяса в позапрошлом году обошлось колхозу в 113 рублей, а в минувшем — в 80; одного центнера молока соответственно — в 13 рублей 70 копеек и в 13 рублей 10 копеек.

И тут находит простые примеры того, как можно снизить себестоимость и поднять доходы:

— Государство нам платит за центнер молока около двенадцати рублей. Но за тонну его, если кислотность молока не превышает требуемой, начисляется дополнительно пять рублей. А если превышает, оплата снижается на пять рублей. Стало быть, на медочах — помыл, скажем, или не

помыл как следует бидоны, просушил или не просушил их — разница может составить десятки рублей на каждой тонне продукции.

Резервы повышения продуктивности животноводства председатель показывает на сопоставлении двух молочнотоварных ферм — в Бычках и Кузьминке («Там ферма принесла убытки, а здесь — прибыль»), рисует живую картину нераспорядительности заведующего кузьминской фермой Юрчева.

— Надо и там женщину поставить! — раздается чей-то голос.

Тепло говорит Николай Никитич о лучших людях колхоза и сообщает, что правление и партийная организация поощряют передовиков, добиваются того, чтобы все колхозники работали «так же хорошо, как и эти товарищи».

Вслед за Стрелецким на трибуну выходит Федор Степанович Гридин. Он лаконичен, как на партийном собрании.

На этом кончаются доклады. И когда председательствующий Александр Сергеевич Федин встал и спросил: «Какие будут вопросы?» — переполненный клуб сразу ожил, загудел. Наступил момент, который для большинства колхозников является самым излюбленным. Не очень-то много находится охотников подниматься на трибуну и держать речь. А вот задавать вопросы, даже не прося слова и не вставая с места, спрашивать, глядя в самый корень. — это колхозники делают с удовольствием. Спрашивают не о мелочах, а о самом главном, о том, за что «душа болит». Это и в самом деле наиболее оживленный момент, потому что на вопросы отвечают тут же, заставляя отвечать тех, кого вопрос касается.

— Почему озимую пшеницу не пересели? — спрашивает кто-то, очевидно, хорошо зная, что она не дала планового урожая, в то время как яровые в большинстве случаев превзошли его. Встает Стрелецкий:

— Потому что весной трудно было определить, даст или не даст она приличного урожая. Пересеять, очевидно, было б выгодней...

— Почему у нас был очень большой разрыв между подлафечиванием и обмолотом озимых? — доносится из зала.

Отвечает опять же Стрелецкий.

— Косовицу лафетными жатками, — говорит он, попутно поясняя мудреное слово, — мы начали раньше других. Это хорошо. Но комбайнов у нас мало, и мы не успевали подбирать валки вовремя. Будем впредь разумнее рассчитывать, чтобы не допустить потерь.

— У меня вопрос агроному, — говорит находящийся в президиуме один из лучших тружеников колхоза, Петр Ильич Селифонов. — Докуда мы будем сеять вдоль пахоты, семена как следует не заделывать?

Из глубины зала к сцене выходит Михаил Петрович Лебедев. Он спокойно отвечает:

— На больших массивах мы всегда сеем поперек пахоты. А узкие поля, чтобы не терять на холостых разворотах, сначала выравниваем культиватором, потом засеваем вдоль пахоты.

— Был такой наказ правлению: подводить итоги расхода горючего поквартально. Как он выполняется? — спрашивает механик Василий Васильевич Терехов.

— Правление рассмотрело вопрос о расходовании горючего за первый квартал, а потом уже не рассматривало... Перерасход был в основном на уборке кукурузы...

— А напрасно! Надо рассматривать и учитывать условия работы машинного парка.

— Вопрос Агееву!.. Андреич, ты установил причины пропажи теленка в пятой бригаде?

Вопрос, оказывается, коварный: теленок пропал в то время, когда теперешний председатель группы содействия контролю был там бригадиром. Поэтому Агеев не находит слов. Его выручает Стрелецкий:

— Теленок утонул. Стоимость его удержана с пяти виновных работников фермы.

— К Агееву!.. Как вы проверяли качество уборки, потери?

— Проверяли. То, что проросло в валках, трудно было учесть.

— Вопрос Гридину! Проверяли ли лесосклад?

— Проверяли. Может, есть излишки, может, и недостача. Черт его душу знает, скажу откровенно. Трудно установить, — отвечает Гридин.

— Есть предложение сократить штаты. Уж очень много у нас штатных должностей!

— Правильно, — отвечает Стрелецкий. — Мы допустили ошибку, установив оклады токарям мастерской... Вы это, наверно, имеете в виду?

— Да.

— Теперь мы перевели их на работу по нарядам. Нормировщик очень серьезно взялся за дело... И хоть один будет, хоть десять токарей — им дается наряд, и они будут получать от выработки.

— Давно бы так!

И долго еще раздается в зале: «У меня вопрос к председателю ревкомиссии...». «Вопрос к Агееву...». И все вопросы бьют в точку, напоминают о тех или иных промахах, выражают заботу членов артели об укреплении общественного хозяйства. А когда наконец они иссякают и председатель собрания предлагает выступать в прениях, создается немалая пауза: трудно взять слово первым. Да и на речи не очень-то люди горазды. Все, мол, главное высказано уже в вопросах.

Но вот поднимается механик Терехов. Он решил сказать о нуждах ремонтников, о том, чтобы «присутствующий здесь секретарь райкома помог им железом». Валентина Андреевна Панина заговорила о необходимости повышать материальную заинтересованность людей в производстве и сознательность их, о хороших трудовых примерах Николая Ивановича Зарубина, Петра Ильича Селифонова, Михаила Ивановича Алешина, а также о тех, кого партийной организации, к сожалению, приходится осуждать за нарушения трудовой дисциплины, одергивать; Анастасия Трифоновна Нестерова — о лучших доярках и обязательствах фермы. Вслед за ней вышел на трибуну Андрей Кузьмич Калугин, пастух, и как бы в ответ ей заметил:

— Шестнадцать лет я пасу стадо, и никогда еще так не боролись за надои... Говорят: доярки, доярки... А наша роль не меньше ихней! Не попасешь как следует — не надоишь...

Николай Иванович Зарубин, тот самый колхозник, которого Валентина Андреевна назвала в числе «выполняющих авангардную роль в труде», сказал, как хороший политик:

— Отрадно, что на нашем колхозном собрании присутствует первый секретарь райкома партии. В последние два года, когда район был слишком крупным и центр его находился не в Дмитровске, а в Кромах, к нам редко попадали люди, которым очень важно послушать наши разговоры.

Раскачивались долго, но говорили сельчане веско и с большой озабоченностью, как хозяева этого края.

Взял слово и председатель колхоза «Первое мая» Павел Васильевич Трофимов. Он передал собранию привет от своих колхозников и с деликатностью гостя сказал о том, что первомайцы во многом недотянули до своих «соперников», хотя, мол, урожай зерновых получили и повыше на несколько центнеров. А когда он заметил: «Вот собрания у нас проходят гораздо шумнее». — кто-то баском произнес тихонько:

— А чего шуметь? Дело надо делать!

Будто в поддержку этой мысли вскоре раздались возгласы:

— Прекратить прения!

— Давайте наказ!

Люди знали, что проект наказа, решения общего собрания, приготовлен заранее. Валентина Андреевна, зоотехник, начинает зачитывать его,

и все затихают, внимательно слушают. Не успел председательствующий сказать по прочтении: «Какие будут замечания?» — как посыпались дополнения:

— Бани нужны в каждой бригаде, а не только в крупных селах!.. Построить везде!..

— Создать свое звено по выделке кирпича-сырца!

— Правильно! Незачем на этом переплачивать!..

И еще многое другое, насущное, важное для всех. Сокровенные думы об укреплении хозяйства, об улучшении быта колхозников, об экономии средств... Наказ со всеми дополнениями принимается единогласно. Собрание выносит оценку работы правления: «Признать удовлетворительной» — и переходит к следующему вопросу. К выборам.

Тут секретарь райкома партии Николай Ильич Зубов попросил слова.

— Товарищи! — сказал он. — Прежде всего собрание должно избрать председателя колхоза. Поэтому позвольте сообщить вам мнение райкома насчет товарища Стрелецкого...

Колхозники притихли, насторожились. Так вот, мол, зачем приехал на собрание первый секретарь! Выходит: райком дал нам Стрелецкого, райком и возьмет его у нас. Ну конечно же!.. Вот почему, значит, его избрали членом бюро райкома!..

А Зубов после, казалось, очень длинной паузы продолжал:

— У райкома мнение совершенно определенное: Николай Никитич Стрелецкий вполне отвечает предъявляемым ему требованиям.

И тут впервые с начала собрания грянули аплодисменты.

— Кто за то, чтобы избрать товарища Стрелецкого председателем колхоза, прошу...

Ведущий собрание Александр Федин не договорил привычной фразы, как дружно взметнулись руки. Николай Никитич посмотрел растроганным взглядом в зал — на механизаторов, доярок, коноплеводов, колхозных строителей, а они рукоплескали с новой силой.

С начала минувшего года до этого лета произошло немало добрых перемен. Я рад, что мне удалось побывать у своих земляков не один раз, что пишут они мне, рассказывают о своих новостях. Это позволяет лучше увидеть изменения в их жизни, сопоставить день прошедший с нынешним. В пору восстановления райкомов люди села задумывались о дальнейшем укреплении сельскохозяйственного производства, дерзали, экспериментировали. Мартовский Пленум ЦК четко сформулировал их думы, их точку зрения, определил задачи.

Прошло время, и я воочию убеждаюсь, что слившиеся в одно целое решения партии и интересы колхозников дают зримые полновесные результаты. Щелкает счетами колхозный главбух Бушуев, удовлетворенно прикидывая прибыль хозяйства, заработки сельчан; активней трудятся люди, щедрее колосятся нивы, богаче стали мои земляки.

И в лесу в День колхозника празднуется им весело, с легкой душой.



ХАНТЫ И КЕННЕДИ

СКОРЬБЬ ЗА 20 ЦЕНТОВ

Солнечным утром 22 ноября 1963 года по улицам Далласа катил большой черный «кадиллак». Он выбирал дорогу подальше от той, которой должен был проследовать автомобильный кортеж президента Соединенных Штатов, — прибытие его ожидалось с минуты на минуту. Избегая людных улиц, черный «кадиллак» подъехал к ничем не примечательному дому и остановился у тротуара.

Из машины вышел высокий, несколько грузный мужчина в темном пальто и шляпе и, буркнув что-то коротко и зло шоферу, откормленному малому в фуражке с кокардой, тяжелой, неверной походкой, выдававшей немалый возраст, направился вдоль улицы. Пройдя несколько кварталов, долговязый джентльмен вошел в массивные двери здания, хорошо известного каждому. У его входа на медной, начищенной до блеска дощечке выбито: «Мерчентайл бэнк билдинг». Это цитадель и штаб-квартира богатейших банкиров Далласа.

Мягко гудящий красного дерева лифт поднял пришедшего на седьмой этаж. Не отвечая на угодливые поклоны и почтительные приветствия — «Доброе утро», «Здравствуйте, босс», — он проследовал в обширную комнату и плотно прикрыл за собою дверь.

Несмотря на мрачный и обшарпанный вид комнаты, в которой он уединился: потрепанные, выцветшие обои, ободранные разностильные кресла, затхлый воздух давно не проветриваемого помещения, — человек, усевшийся за письменный стол, далеко не беден. Наоборот, богат. Больше того, богат чудовищно, неправдоподобно, фантастически.

Гарольдсон Лафайет Хант — делец, приближающийся сейчас к восьмому десятку, а это был он, — не любит разговоров о том, сколько у него денег. И потому гадания о размерах капиталов Ханта — одна из излюбленных тем для американских финансовых кумушек. Цифры его состояния в этих гаданиях колеблются от двухсот миллионов до двух миллиардов. Думается, как то, так и другое не соответствует действительности: первые преуменьшают, вторые явно преувеличивают хантовские богатства. Пожалуй, ближе всего к истине сумма в 750—800 миллионов долларов, которую называют наиболее осведомленные.

Во всяком случае, эта цифра делает Ханта вторым, после Гетти, толстосумом в Америке и вводит его в первую пятерку богатейших людей

мира наряду с эмиром Кувейта и королем Саудовской Аравии. Это, впрочем, не мешает Ханту быть весьма экономным, о чем свидетельствует отнюдь не только обстановка, его окружающая. «Кадиллак», стоящий много тысяч долларов, он оставляет в нескольких кварталах от своего офиса не почему-нибудь, а из соображений экономии: стоянка машин напротив банка платная, надо раскошелиться на 50 центов, а это, что ни говорите, расход...

В то утро обычно пунктуальный босс нарушил привычный распорядок дня.

Не дотронувшись до бумаг, он направился к радиоприемнику и, настроив его на волну местной радиостанции, стал напряженно прислушиваться.

Шли минуты. Из приемника лилась бравурная музыка. Но вот что-то щелкнуло, и диктор, задыхаясь, сообщил: только что неизвестные обстреляли машину, в которой по улицам Далласа ехал Джон Кеннеди. Ни слова не говоря, Хант покинул свой кабинет и, спустившись вниз, вышел на улицу.

Завернув за угол, он спокойно и неторопливо дошел до писчебумажной лавчонки и приобрел там за 20 центов небольшой флажок Соединенных Штатов на деревянной подставке. Вернувшись к себе, он водрузил покупку на письменный стол, предварительно опустив лоскуток в знак траура до половины дровка. Пусть все видят, как скорбит Гарольдсон Хант о смерти президента Джона Кеннеди.

Через несколько часов Ханта осаждали репортеры:

— Ваше мнение о покушении?

— Кто за ним стоит?

Вопросы следовали один за другим. Но на все был лишь один ответ:

— Комментариев не будет.

Почему именно к Ханту, а не к кому-нибудь другому бросилась пишущая братия с вопросами относительно убийства президента Соединенных Штатов?

Вряд ли можно дать исчерпывающий ответ на это «почему». Хотя о некоторых вещах, пожалуй, можно говорить уже и сейчас. Но, думается, нет пока ясного и однозначного ответа. Жизнь не учебник геометрии, уверенно утверждающий, что кратчайшее расстояние между двумя точками — только и исключительно прямая. В жизни все сложнее.

И потому попытка проследить жизненные линии, связи и интересы представителей двух богатейших в Америке семейств — семейства Хантов и семейства Кеннеди, — попытка разглядеть те точки, в которых эти линии пересекаются, если не даст нам полного ответа на все вопросы, то, во всяком случае, поможет кое-что понять.

ОХОТА ЗА «ДИКОЙ КОШКОЙ»

Они были едва знакомы, Гарольдсон Лафайет Хант и Джон Фитцджеральд Кеннеди. Изредка встречались на официальных раутах, съездах демократической партии. Вряд ли сказали друг другу больше нескольких фраз. Что могло связывать блестящего молодого аристократа, в 43 года ставшего президентом Соединенных Штатов, и 74-летнего техасского воротилу, что могло быть между ними общего?

Джон Фитцджеральд Кеннеди родился в 1917 году в одной из аристократических семей Бостона — одного из наиболее аристократических американских городов.

Гарольдсон Лафайет Хант родился в 1889 году в семье фермера из штата Иллинойс, ковьярившего землю недалеко от городка с красноречивым названием Вандалия. Аристократизмом на хантовской ферме не пахло. Пахло навозом.

Бостонская знать кичится своим происхождением от первых переселенцев. Высокомерная замкнутость семейства Кеннеди стала в Бостоне притчей во языцех.

Одна из сестер будущего президента как-то призналась, что в течение долгого времени дети Кеннеди считали, что обречены на безбрачие, поскольку интересоваться кем-либо, кроме своей родни, у них в семье считалось дурным тоном.

Семейство Хантов было многочисленно, но друг другом отпрыски его интересовались мало и, покинув отчий дом, разошлись в разные стороны.

Джон Фитцджеральд Кеннеди получил образование блестящее: окончил сначала Гарвардский университет в Америке, а затем лондонскую школу экономических наук.

Гарольдсон Лафайет Хант едва осилил начальную школу. А затем, убоявшись бездны премудрости, принялся колесить по Америке в погоне за удачей.

Джон Фитцджеральд Кеннеди... Впрочем, о Джоне Кеннеди, всем семействе Кеннеди, о том, как и где пересеклись пути Хантов и Кеннеди, почему сплелись они в трагический узел, речь впереди. А сейчас вернемся к Гарольду Ханту, посмотрим, каким образом полуграмотный сын фермера выбился в миллиардеры.

Здесь мне хочется напомнить читателям, что в этом году на страницах «Знамени»¹ я рассказал о Поле Гетти — сыне миллионера, получившем пятнадцатимиллионное наследство, использовавшем для своего обогащения знания инженера и экономиста, о том, что эти знания немало помогли в его восхождении на вершины делового Олимпа. И вдруг Хант — полуграмотный сын захудалого фермера! Ну что ж, карьера Ханта среди обладателей миллиардных состояний — случай вполне уникальный — отнюдь не опровергает общего правила.

Покинув родной дом, Хант кочевал из штата в штат. Его видели в притонах Калифорнии и там, где совершали свои сделки мелкие спекулянты Северной и Южной Дакоты, владельцы игорных домов Аризоны и темные дельцы Канады. Был случай, когда молодой Хант вдруг вынырнул в качестве владельца хлопковой фермы, но быстро разорился и в 1921 году, будучи объявлен банкротом, вновь принялся гоняться за фортуной.

В Америке о начале хантовского бизнеса говорят по-разному. Однако я не встречал наивного чудака, который был бы склонен всерьез принимать высказанную как-то на страницах «Нью-Йорк геральд трибюн» версию о том, что первоначальную сумму, позволившую ему начать нефтяной бизнес, Хант скопил, работая батраком и лесорубом. Так в Америке не бывает.

Пожалуй, значительно более достоверным выглядит утверждение журнала «Тайм», что «начало богатства Ханта положено за игорным столом».

В поисках сведений о начале хантовского бизнеса я разговаривал в Америке со многими информированными людьми, в том числе хорошо и много лет знающими самого Ханта. В той или иной степени, с большими или меньшими оговорками, но большинство из них подтверждает именно эту версию. В течение нескольких лет Хант добывал свой хлеб при помощи колоды карт.

¹ «Самый богатый человек в мире» «Знамя» № 3 за 1966 год.

Он был известен во многих игорных притонах юга Америки. Были выигрыши, были проигрыши. Однажды в игорном доме «Эльдорадо» в Аризоне его партнер по покеру, спустив все, что при нем было, поставил на кон последнее свое достояние — нефтяную скважину. И проиграл. Так было положено начало одной из крупнейших нефтяных компаний современного капиталистического мира.

Конечно, по меньшей мере наивно утверждать, что сотни хантовских миллионов — результат карточной игры. Речь идет о первом толчке, хотя замашки игрока прочно остаются в арсенале воротилы и по сей день. Хант не любит, когда ему напоминают о его первой нефтяной скважине. Он даже пытается отрицать эту историю. Но он не в состоянии отрицать нашу мевшую историю с Дэйзи Брэдфорд.

Этим женским именем мелкий старатель, некто Джайнер по кличке «Папуля», назвал самый крупный в истории нефтяного дела фонтан, который забил из скважины, пробуренной им наугад в пустынных прериях Восточного Техаса. Вне себя от радости, кустарь-одиночка, в один день ставший богачом, скупил все прилегающие земли — 4 тысячи акров.

Вот, казалось, та самая удача, о которой грезили десятки тысяч ловцов случая, бросившихся в те годы на нефтеносные земли, удача, обернувшаяся бесплотным призраком, миражем, погубившим столь многих и обогатившим лишь считанные единицы.

Однако вскоре Джайнер внезапно умер, а его наследники, опять же неожиданно, обнаружили, что по всем оставшимся после него документам собственник этого богатейшего месторождения не кто иной, как Хант. Каким образом месторождение, открытое старателем, попало в хантовы руки, неизвестно и по сей день.

Сам Хант объясняет дело просто: он, дескать, приобрел месторождение, заплатив Джайнеру миллион долларов. Но это объяснение из разряда тех, которые только громоздят неясности и недоумения. Во-первых, непонятно, откуда Хант, тогда мелкая сошка, мог достать миллион долларов. Во-вторых, с какой стати Джайнер стал бы продавать за миллион то, что стоило значительно больше, и, наконец, в-третьих, коль скоро этот миллион все-таки существовал, то куда он делся: Джайнер умер в нищете, не оставив наследникам ни цента. Что ни говорите, а без крапленых карт здесь не обошлось.

Есть в словаре американских нефтепромышленников термин «уайлдкэт» — «дикая кошка». Так называют нефтяные скважины, которые бурят, что называется, наобум лазаря: на глазок, без всякой геологической разведки.

Просто человек, жаждущий во что бы то ни стало разбогатеть, всякими правдами и неправдами сколачивает некую толику долларов, покупает на них самое примитивное, чаще всего подержанное буровое оборудование, приезжает в никем не занятый район и начинает бурить — авось, повезет.

Такая скважина и есть «дикая кошка». Владельцы их зовутся «уайлдкэтеры».

Время от времени в Америке появляются тысячи «уайлдкэтеров». Это происходит тогда, когда в каких-нибудь обычно малонаселенных районах либо обнаруживают нефть, либо ползут слухи, что ее можно найти. Крупные компании не препятствуют такого рода «самодельности». Ведь геологическая разведка и пробное бурение стоят денег. Не лучше ли предоставить дело «частной инициативе»? Все равно в случае, если нефть будет найдена, она попадет в руки крупных компаний.

До сих пор в Америке вспоминают «черную лихорадку» начала тридцатых годов. В Восточном Техасе были обнаружены признаки большой нефти. Десятки тысяч людей сорвались с мест. По своим масштабам

и трагизму техасская «черная лихорадка» под стать знаменитой клондайкской «золотой лихорадке».

Вспомните страшный рассказ Джека Лондона «В далеком краю», запечатлевший трагедию тех, кто теряет облик человеческий в погоне за золотыми крупинками.

«Из-за отсутствия свежих овощей, а также неподвижного образа жизни у них началось худосочие и по телу пошла отвратительная багровая сыпь. Но они упорно не хотели замечать опасности. Затем появились отеки, суставы стали пухнуть, кожа почернела, а рот, десны и зубы приобрели цвет густых сливок. Однако общая беда не сблизила их — напротив, каждый с тайным злорадством следил за появлением злобещих симптомов цинги у другого.

Вскоре они совсем перестали следить за собой и забыли самые элементарные приличия. Хижина превратилась в настоящий свиной хлев; они не убирали постелей, не меняли хвойных подстилок и охотнее всего вовсе не вылезали бы из-под своих одеял, но это было невозможно: холод стоял невыносимый, и печка требовала много топлива. Волосы у них висели длинными спутанными прядями, лица заросли бородой, а одеждой погнушался бы даже старьевщик. Но их это не трогало».

Суровые прерии Восточного Техаса в годы «черной лихорадки» видали картины и похлестче. Не холод и цинга, так другие напасти косили искателей счастья. А главное, что в сумасшедшей погоне за ускользящим миражем миллионов люди зверели, теряли все человеческое и грызли глотки один другому. Но в отличие от клондайкской лихорадки на сей раз не нашлось Джека Лондона, чтобы поведать миру об исковерканных судьбах десятков тысяч людей, о разбитых семьях, затоптанных в прах надеждах, поломанных жизнях...

...Минувшей осенью мне довелось наблюдать самое популярное, пожалуй, в Техасе спортивное состязание — родео.

Прямо скажу, зрелище сильное. Сначала соревнуются всадники на необъезженных конях: выигравшим считается тот, кто сумеет продержаться дольше других.

Затем повторяется то же самое, но уже не с лошадьми, а с дикими быками.

Страшно смотреть на взбесившихся животных, швыряющих оземь ковбоев, взгромоздившихся им на спину. Ни одному не удалось продержаться хотя бы минуту.

И вот, глядя на прихрамывающих, в изодранных костюмах, выглядящих далеко не так импозантно, как в ковбойских фильмах, с разбитыми, в кровоподтеках лицами наездников, нелегко добывающих хлеб свой насущный, я подумал об «уайлдкэтерах». Единицам из единиц удалось удержаться на спине взрывающегося на все лады случая. А большинство оказалось безжалостно затоптанным жизнью.

Сам Хант сказал как-то:

— Поиски нефти — рискованная игра. Вероятно, только одна из тридцати пробуренных скважин окажется продуктивной. И только одному нефтянику из тридцати повезет. Остальные останутся без штанов.

Бухгалтерия Ханта явно приукрашена.

Что же касается штанов, то если бы дело ограничивалось только штанами! Хант оказался среди тех немногих, очень немногих, кому повезло.

— Как, — скажет читатель, — опять случайная удача? Гетти — удача, Хант — счастливый случай; сплошные удачники, именуемые «исключением». Быть может, в Америке действительно не столь уж сложно стать миллиардером, надо только дожидаться случая, так выходит?

Нет, не выходит, и вовсе не так. Речь действительно идет об исключительных, из ряда вон выходящих, редчайших сочетаниях случайных обстоя-

тельств, оборачивающихся богатством для единиц. Сотни тысяч, миллионы неудачников, погнавшихся за миражем быстрого обогащения, потерпели крушение, несть им числа, и имена их неведомы, а Гетти, Хант и еще несколько выкарабкавшихся используются как приманка для пропаганды американского образа жизни, в которой каждый может стать миллионером.

Десятки тысяч разорившихся, обанкротившихся, впавших в нищету людей, зачастую не видящих никакого другого выхода, кроме как свести счеты с жизнью, — это не абстракция, это страшная реальность сегодняшней Америки. Только в 1965 году, по официальным данным американского правительства, в США было зарегистрировано 163 тысячи банкротств.

...Приезжающего в Нью-Йорк обычно ведут на галерею для публики нью-йоркской биржи, расположенной на знаменитой Уолл-стрит. Это явный просчет тех, кто стремится поразить воображение иностранцев видом лихорадочно бьющегося сердца американского бизнеса.

Трудно придумать зрелище, более унижающее человеческое достоинство, нежели потная, орущая, мечущаяся по огромному помещению орава биржевиков. На колоссальном световом табло, расположенном где-то под потолком двухъярусного зала, непрерывной чередой бегут цифры биржевых котировок. Ревом отвечает зал на любое резкое их изменение. Ведь прыжки цифр означают, что кто-то хапнул куш, а кто-то эти же деньги потерял.

Нет, не темпераментность дельцов искажает время от времени лица людей, спящих от телефонов к конторкам, за которыми оформляются сделки. В любой момент многие из них могут оказаться и оказываются нищими. Я обратил внимание на плотного мужчину, с когда-то, очевидно, красивым лицом, изборожденным глубокими морщинами. Всклоченный, со сбившимся на сторону галстуком, он попался мне навстречу, когда выходил из операционного зала биржи. Что-то в его облике остановило меня, и я, повернувшись, пошел за ним.

Этот не старый еще человек брел по длинному коридору на подгибающихся ногах, тычась в стенку. По его лицу стекали крупные капли не то пота, не то слез. Вдруг он остановился и, покачнувшись, привалился к стене. Меня поразили его глаза — мертвые глаза человека, для которого все кончено. Не знаю, что произошло за несколько минут до этого. Не знаю, что произошло после, когда он на неверных ногах вышел через пышный подъезд нью-йоркской фондовой биржи и, шатаясь, побрел по Уолл-стриту, но мне было ясно, что для этого человека речь идет не о штанах, а о жизни...

НЕФТЯНОЙ БИЗНЕС И... БЛОШИНЫЕ СКАЧКИ

Гарольд Хант делает нефть. Нефть сделала Гарольда Ханта. «Хант-ойл компани» росла очень быстро. Серия удач — и Хант обходит многих конкурентов. Бурно растет потребность в нефти. Она нужна для миллионов автомобилей, которые опередили по своему значению железные дороги и суда и стали основным видом транспорта. Все больше нефти нужно авиации и флоту, химии и металлургии. И Хант растет, как на дрожжах. Он ухитряется заполучить многие нефтеносные участки. Ему принадлежит несколько сот скважин в тринадцати штатах страны; наиболее крупные из них в Техасе, Арканзасе, Луизиане.

Но самое удивительное не это. Самое удивительное, что он сумел оградить свои сокровища от жадных лап могущественных конкурентов. Спрятать нефтеносные участки от Рокфеллеров — это в Америке требует изворотливости чрезвычайной, ловкости рук, незаурядной и подлинной головоногости. Недавно мне попался знаменитый американский справочник «Ху из ху» — «Кто есть кто» года издания 1950-го. Это был год, когда состояние Ханта, судя по всему, уже перевалило за несколько сот миллионов. А вот в справочнике, где вы можете найти сведения о лицах вовсе малоприметных, о миллиардере Ханте всего две строчки: «Нефтепромышленник, основатель радио- и телевизионной программы «Форум фактов». И — все. Даже без традиционного указания года и места рождения. И справочник этот издан в стране, где обладателей тугих кошельков почти что обожествляют.

Что и говорить, глубоко законспирировался Хант, прячась от жадных и длинных рук Рокфеллеров, что называется, от греха подальше. Из подполья и безвестности он вынырнул, по существу, лишь в начале 50-х годов, в то время, когда могущественные конкуренты уже не могли прихлопнуть его, как муху. Впрочем, даже и сейчас Хант не любит вдаваться в разговоры о своих делах и своих богатствах. И причиной тому отнюдь не скромность.

Нефть не цель, нефть — средство. Хантова цель — деньги. Не знаю, читал ли Гарольд Хант сочинения Марка Твена. Скорее всего, нет. Он ничего не читал. Но заповедь американских бизнесменов, сформулированную великим сатириком, он выполняет неукоснительно. Заповедь гласит: «Наживай деньги. Наживай как можно больше. Наживай бесчестно, если можешь, и честно, если нельзя иначе». Хант предпочитает бесчестно. Главное для него — наживать. А как и на чем — не столь уж важно.

В последние годы Хант «вышел» за пределы Соединенных Штатов. Вместе с четырьмя своими сыновьями и двумя дочерьми, точнее, мужьями дочерей, он усиленно вторгается в экономику тех стран, которые не могут противостоять его нахрапу. Следуя по стопам Гетти, своего давнего знакомого и конкурента, Хант получает крупную нефтяную концессию на Ближнем Востоке: эмир Кувейта в 1958 году заключает с ним сделку. Сам Хант назвал эту концессию «фантастической». В арабском мире ее зовут иначе — «грабительской».

Одной из наиболее громких сенсаций последнего десятилетия было открытие прежде никому не ведомых огромных запасов нефти в недрах ливийских пустынь. Специалисты считают, что в скором времени в одной только Ливии будет добываться нефти столько, сколько в середине шестидесятых годов дают все страны Среднего и Ближнего Востока.

Одному богу известно, да и то, пожалуй, не наверняка, каким образом ухитрился Хант наложить лапу на булькающее в недрах Ливии нефтяное море. Но факт остается фактом: нефтяные концессии пронырливого техасца охватывают огромную территорию, превышающую 11 миллионов акров. На вопрос репортеров, как ему это удалось, он с хвастливостью, по распространенному в Америке мнению, типичной для техасцев, заявляет:

— Моя политика — покупать все, покупать везде.

И действительно, Хант покупает везде: ведет разведку урановой руды в Пакистане, эксплуатирует нефтеперерабатывающие заводы в Либерии, ищет нефть в Австралии (совсем недалеко от Техаса).

В отличие от Гетти рыскать по свету в поисках новых источников обогащения он предоставил своим сыновьям и зятьям. Сам же, как клещ, присосался к американским недрам. Принадлежащие ему нефтяные промыслы в Восточном Техасе за годы второй мировой войны дали нефти больше, чем добыли за это время Германия, Италия и Япония, вместе взятые.

После войны Хант скупил нефтеносные земли во многих других районах Америки. Среди его важнейших приобретений — огромное месторождение в штате Монтана.

Выходцу из фермерской семьи толстые пачки акций, нефтяные вышки и танкеры кажутся хотя и прибыльными, но ненадежными: того и гляди, вылетишь в трубу. Этот внезапно разбогатевший мелкий буржуа стремится вложить свои деньги в ценности прочные. Но если Гетти достаточно образован для того, чтобы сделать ставку на непреходящую ценность Рембрандта и Гейнсборо, то малограмотный и вульгарный Хант, следуя классическим образцам нуворишей прошлого века, единственной реальной ценностью почитает землю — самое недвижимое из всех недвижимостей.

Он превратился сейчас в одного из крупнейших американских помещиков. Принадлежащие ему сельскохозяйственные угодья — они оцениваются в 200 миллионов долларов — можно сравнить с огромными латифундиями богачей Латинской Америки. Лишь на одном его ранчо в штате Вайоминг — стадо в 9 тысяч голов крупного рогатого скота и 12 тысяч овец.

Но бизнес есть бизнес. И далласский толстосум не ограничивается бараньей идиллией. Он владеет также предприятиями консервной промышленности, цитрусовыми и ореховыми плантациями, заводами и фабриками пищевой промышленности и фармацевтическими предприятиями, на которых утилизируются все продукты животноводческих ферм и скотобоен хантовского сельскохозяйственного комплекса. Среди его богатств — обширные лесные угодья. И не потому, что Хант — любитель природы: лесопромышленное производство весьма прибыльно, а мимо прибыли он не пройдет.

Огромное, сложное хозяйство. Миллионные обороты. И вполне закономерен возникает вопрос: а как может не очень грамотный, не обладающий специальными познаниями в нефтяном деле, финансах, промышленном производстве человек управляться со всем этим многотрудным хозяйством? Как удастся ему руководить делами, тонкости которых для него подобны темному лесу?

А никак. Он не считает нужным обременять себя изучением биржевой конъюнктуры и разглядыванием геологических карт. Но при том Хант отнюдь не бездельник. Как уже говорилось, ежедневно с пунктуальной точностью он появляется в своем кабинете. Туда со всех концов Америки сходятся многочисленные, специально арендованные кабельные линии. С неослабным вниманием следит он за непрерывной чередой цифр, строчка за строчкой сменяющих одна другую на большом световом табло, укрепленном на стене прямо над столом. Но это не пункты котировок биржевых акций. Провода соединяют кабинет не с фондовыми биржами Нью-Йорка и Чикаго.

Немалые деньги потрачены для того, чтобы незамедлительно узнавать самые последние новости с... крупнейших американских ипподромов. Именно они, эти новости, — результаты каждого из заездов — и сообщаются беспрестанным мельканием лампочек на световом табло в деловом кабинете Гарольда Ханта. По стенам кабинета стоят огромные шкафы. Картотеке, хранящейся здесь, говорит, показывая на шкафы, хозяин кабинета, нет цены. Тут родословная всех породистых рысаков Северной Америки.

Надежная информация, получаемая за соответствующую мзду, орава околоипподромных жучков, учиняющая без особого почтения к уголовному кодексу головоломные трюки и темные махинации, приносят свои результаты. Хант признается, что сумма его ежегодных выигрышей на бегах колеблется где-то на уровне миллиона долларов.

Впрочем, не следует упрекать далласского воротилу в узости интересов. Играет он не только на бегах. Петушинные бои и бейсбол, бокс и

собачьи бега, гольф и еще бог весть что — все это увлекает и поглощает Ханта. Он до сих пор сокрушается о казусе, происшедшем с ним десять лет назад во время всемирного чемпионата по бейсболу: он поставил на команду янки 300 тысяч долларов, которые плакали после сокрушительного проигрыша его фаворитов.

Ну, а дела? Кто занимается ими в то время, когда Хант обсуждает со своими приятелями сравнительные достоинства жеребцов или перипетии блошиных скачек? На жалованье у него команда специалистов. Уже после первых удач на нефтяном поприще он, не переоценивая собственных знаний и умения, стал привлекать к своему бизнесу опытных людей — администраторов и финансистов, инженеров и геологов. В стране, где все покупается и все продается, талант и знания — такой же товар, как нефть и макароны. Их можно продавать и покупать. Хант покупает.

Во главе его огромного предприятия целый штаб специалистов высокой квалификации. А хозяин не утруждает себя руководством деятельностью штаба: оно доверено визирю и правителю хантовского королевства проницательному, опытному и преданному Сиднею Латаму — человеку, которого называют «правой рукой Ханта».

В регентский совет, руководимый Латамом, входят четыре сына и мужа двух дочерей Ханта. Это люди уже другой формации. Папаша позаботился о том, чтобы не только передать им свои деловые качества: жестокость и беззастенчивость, изворотливость и полную неразборчивость в средствах, лживость и пиратский нахрап, — но и отполировать эти свойства специальными знаниями в области финансов, геологии, инженерного дела. Дескать, Латам — это хорошо, а свой глаз лучше.

Так, начав свою карьеру за зеленым сукном игорных домов Арканзаса, Хант остался игроком и взгромоздившись волею случая на вершину делового Олимпа.

Вот сидит он в своем кабинете, массивный старик с одутловатым лицом, пушком редких седых волос и бесцветными глазами. Под темным костюмом светлый жилет и красный в белую горошину галстук бабочкой. Перед ним, прямо на письменном столе, разложена на несвежей салфетке нехитрая снедь: черный хлеб, сыр, изюм, стакан апельсинового сока. Хант настроен философски. Бесконечно самовлюбленный, он убежден, что его привычки должны стать нормой для каждого американца. Поэтому описанная трапеза имеет рекламно-просветительный характер: она происходит в присутствии представителей печати.

— Белый сахар — это яд номер один, — глубокомысленно изрекает новоявленный пророк. — Белая мука — яд номер два, жиры — яд номер три.

Миллиардер безмерно доволен собой. Он поучает присутствующих, уверяет их, что открыл секрет долголетия и процветания и что этот секрет невероятно прост: нужно только «избегать употребления в пищу продуктов белого цвета».

Надо думать, что в свете такого сногшибательного открытия известный профессор Висконсинского университета Роберт Лэпман срочно пересматривает выводы своего многолетнего труда, изложенные им в вышедшем недавно в Америке обширном исследовании. Не ведая о роли белого цвета в пище, бедный профессор Лэпман, очевидно, по наивности своей считает: «Важным моментом в характеристике богатых людей является то, что они живут дольше, чем остальное взрослое население Америки». Иными словами, обладатели крупных состояний, независимо от цвета продуктов, которые они поедают, имеют ярко выраженную тенденцию к долголетию.

Впрочем, неизвестно, чье мнение в Америке возобладает — профессора Лэпмана или миллиардера Ханта. Пока что в этой стране деньги говорят громче, нежели ум и талант.

ДАЛЛАС — УЮТНОЕ МЕСТЕЧКО!

Экстравагантность, скажете вы. Типичный далласский стиль, скажет американец. Далласский стиль, те-хасские манеры в обиходе, бизнесе, политике — эти выражения все чаще мелькают на страницах американской прессы. А Ханта называют одним из типичных представителей Техаса, столпом далласского общества. Собственно, гражданином богоспасаемого города Далласа он стал не так уж давно — в 1938 году, после скитаний в погоне за долларом по городам и весям. Но с тех пор Даллас наложил свой отпечаток на Ханта, а Хант влияет на многое в Далласе. Каков же он, этот стиль, откуда происходит, как выглядит, чем грозит?

После роковых выстрелов, стоивших жизни президенту, в Соединенных Штатах появилась целая литература о Техасе вообще и о Далласе в частности, своего рода «Далласиада». Много тут дешевки, погони за сенсацией, плоских анекдотов, кургузых теорий, смехотворных выводов. Но есть и серьезные размышления, бесспорно, представляющие интерес. К числу такого рода размышлений можно отнести статью профессора социологии Техасского университета Риса Макги, озаглавленную «Корни несчастья». Позволю себе привести несколько выдержек из этой статьи.

«За цветущими полями, — пишет Рис Макги, — великолепными шоссе-сейными дорогами и вздымающимися в небо небоскребами скрывается суровый, привыкший к насилию штат. Его климат и культура не очень изменились с тех пор, как всего 130 лет назад первые поселенцы отвоевали эту дикую пустыню у Мексики, или, скорее, у индейского племени команчей, которому она фактически принадлежала. Историческое развитие и суровая борьба наложили свой отпечаток на характер штата и его население. Один здешний климат в состоянии за год сломить людей, не обладающих выносливостью. Установки для кондиционирования воздуха и центральное отопление помогли сделать его терпимым, но не более. Сто лет назад первые поселенцы писали родственникам, что Техас — это ад. Он по-прежнему остается адом».

«Споры, которые в Миннесоте разрешаются при помощи кулаков, в Техасе разрешаются убийством противника. Хьюстон и Даллас прославились среди других американских городов тем, что в них совершается наибольшее число убийств. Рост числа убийств в Техасе в основном результат индивидуальных усилий рядовых граждан... Частное имущество в Техасе должен защищать прежде всего сам владелец этого имущества, и если вам приказано убраться подобру-поздорову, а вы не подчиняетесь этому приказу, вы рискуете поплатиться жизнью за свою медлительность».

Не правда ли, уютное местечко этот Техас! А Даллас, пожалуй, самый уютный город этого уютного штата. Впрочем, внешний облик города вполне привлекателен. А его центр, как мне кажется, даже красив. Огромные современные здания из стекла, алюминия и пластика поражают и восхищают.

Даллас — город, где особенно ярко выступают противоречия, город, где богатые богаты очень, а бедные бедны особенно; роскошный город, контрастирующий суровой природе, город, без которого Хант не стал бы Хантом.

Сверкающие огнями небоскребы, шикарные бурлески, ночные клубы со стриптизом, где конвейерная система применяется для демонстрирования обнаженных женщин, и даже миллион с небольшим жителей, его населяющих, — это еще не главное в Далласе. Главное — это банки: «Рипаблик нэшнл бэнк оф Даллас», «Ферст нэшнл бэнк ин Даллас», «Меркантайл нэшнл бэнк Даллас», «Тексас бэнк энд траст компани».

Именно вокруг них и ради них, собственно, и возник Даллас, в некотором роде город-уникум — единственный американский крупный центр, не расположенный на судоходной реке. Сто лет назад в пустынных прериях без всякой видимой причины — ни «пограничный город», ни морской, ни речной порт, ни железнодорожный узел — начался Даллас. Он обязан возникновением и ростом несколькими оборотистым ростовщикам, в конторы которых поначалу повезли доллары владельцы хлопковых плантаций, затем устремились нефтяные нувориши со своими сумасшедшими миллионами, а в самые последние годы — люди, разбогатевшие на электронике и ракетостроении.

В городе мало промышленных предприятий, зато много банковских сейфов. «Белые воротнички» — клерки — хранители этих сейфов — заполняют днем городские улицы.

Предметом тщеславной гордости далласского обывателя является то обстоятельство, что город занимает одно из первых в Америке мест по числу обитающих в нем миллионеров, и вообще это — вместилище всего «самого».

Как только вы приезжаете туда, вам сразу же сообщают, что в течение сезона (между октябрём и мартом) в Далласе устраивается больше балов, чем в любом другом американском городе, — 150; что на организацию этих балов уходит самое большое число долларов; что на балах съедается самое большое количество яств, выпивается самое большое количество бутылок самого лучшего французского вина и что слух веселящихся услуждает самое большое число оркестров, в которых играет самое большое число самых лучших музыкантов Америки.

Если вы не сумеете вовремя остановить далласца — а сделать это неизмеримо трудно, — то он сообщит вам далее, что в Далласе находится самый изысканный в Соединенных Штатах и, конечно же, самый большой в мире магазин «Нейманн-Маркус», в котором вы, заглянув туда от нечего делать, можете купить самую элегантную в мире безделушку. Безделица сия представляет собой модель необитаемого острова размером в 50 квадратных сантиметров. Сделана она из чистого золота, скалы платиновые, пальмовая роща изумрудная, а Робинзон Крузо бриллиантовый. Цена игрушки всего сто тысяч долларов.

Впрочем, это еще не все «самое». Вам расскажут, что в Далласе самый удивительный в мире банк: потолок его главного операционного зала сделан из чистого золота, — и закончат панегирик произнесенной восторженным полусшепотом фразой о том, что самый богатый человек самой богатой Америки живет в Далласе и зовут его Гарольдсон Лафайет Хант.

Третье французские журналисты, которых, казалось бы, трудно удивить: они видели Ниццу и Монте-Карло, Марсель и Лион, — попав в Даллас, были ошарашены и так выразили свои чувства в парижском журнале «Экспресс»:

«Ни в одном городе мира страшная сила денег не выступает столь явно, как в этом городе, насчитывающем миллион жителей. Подобный общественный порядок, наверно, можно было наблюдать разве только в Венеции времен дождей. Этот порядок определяется просто: группа граждан, объединившихся в клуб, на первый взгляд весьма безобидный, именуемый «Советом белых граждан», за последние 25 лет безраздельно и бесконтрольно вершит судьбами Далласа. Сейчас клуб объединяет 238 человек. У них есть одна общая черта: все они миллиардеры и каждый в своей области владеет крупным предприятием».

Один из членов этого совета, Стэнли Маркус, тот самый, который «Нейманн-Маркус» — «самый изысканный и самый большой в мире магазин», — обходительный мужчина с мягким гольсом и непрерывно бегающими глазками, весьма словоохотлив.

— Наш совет; — говорит он, — возник в 1937 году. Тогда мы намеревались организовать большую международную выставку, и, поскольку это было выгодно и городу и его наиболее состоятельным гражданам, мы решили объединиться, чтобы финансировать выставку.

— Каков принцип формирования совета? О-о, он очень прост. В совет вошли все, кто может немедленно, не отчитываясь ни перед кем, сказать «да», когда у кого-либо из них попросят сто тысяч долларов.

Давно уже позабыта далласская международная выставка 1937 года, не осталось следа от ее экспонатов, а совет не только сохранился, но стал полновластным хозяином жизни миллионного города. Его влияние распространилось не только на весь юг США, но ощущается и в Вашингтоне. Долгое время председателем «Совета белых граждан» Далласа был некто Торнтон — закадычный друг Ханта, сподвижник его по многим похождениям. Сам Хант, как нетрудно догадаться, — один из влиятельнейших членов совета.

Не следует думать, что деятельность этого совета протекает в заседательской суете. Обходятся без зеленых скатертей, без депутатов и выборов. Все и проще и сложнее. Это вообще очень интересная штука: механизм различных организаций, созданных монополиями и корпорациями, и их воздействие на муниципальную и государственную политику. Кое-кто склонен несколько упрощать проблему. Дескать, монополии предписывают министрам и президентам то-то и то-то, то-то и то-то запрещают. В действительности дело обстоит не столь примитивно. Нет никакого сомнения в том, что линия поведения властей городов и штатов, политика правящих кругов страны определяются интересами кучки самых богатых, а потому и самых могущественных. Но механизм воздействия этих людей на органы власти гибок и сложен.

На первый взгляд происходит нечто, ничего общего не имеющее ни с политикой, ни с бизнесом. Просто съезжаются в клуб очень богатые джентльмены, чтобы отдохнуть, повеселиться, пообщаться с себе подобными. Клубы, где проводят время деловые люди Америки, по понятным соображениям, мало описаны и плохо изучены: миллионеры предпочитают не выставлять напоказ свою интимную жизнь. А между тем не будет преувеличением сказать, что в аристократических клубах Нью-Йорка и Вашингтона, Чикаго и Сан-Франциско, Далласа и Бостона воротили большого бизнеса не только кейфуют, но и занимаются политикой, высказывают мнения, которые потом эхом отдаются в министерских и сенаторских кабинетах. Закрытые клубы — явление, без которого, пожалуй, не понять экономической и политической жизни современной Америки, не постигнуть ее тайный механизм, не разглядеть шестерни и приводные ремни власти.

Как правило, джентльмены посещают эти клубы одни, без жен: супружеская идиллия там не принята. В клубах есть все: бассейны, турецкие и финские бани, девицы (они, правда, обретаются в частных комнатах членов клуба, а в общих помещениях появляются редко) и, конечно же, рестораны с наилучшими поварами. Члены клуба располагают личными аппаратами, обычно шикарными, где можно пребывать в собственном халате и шлепанцах, в одиночестве или не в одиночестве.

Но главное — это возможность общаться с себе подобными вдали от шума городского, от посторонних и нескромных глаз, от назойливого любопытства прессы. Принадлежность к одному из таких клубов — уже сама по себе признак процветания и носит в современной Америке характер, идентичный, пожалуй, средневековому посвящению в рыцари. Во всяком случае, последствия не меньшие: вступив в клуб, человек становится своим в узком кругу могущественных заправил, приобщается к их тайнам. Гостиюми этих клубов бывают министры и сенаторы, генералы и редакторы, маститые профессора и крупные издатели.

Здесь не ведутся протоколы, не подсчитываются голоса. Здесь голосят деньги, доллары. И чем долларов больше, тем увереннее и властнее звучит голос их обладателя. Внешне все очень респектабельно. Джентльмены разговаривают, обмениваются мнениями в перерыве между двумя изысканными блюдами; высказывают точки зрения, сдавая карты; изрекают истины, запивая их сухим «Мартини». Но мнения эти и точки зрения, высказанные во время застольной беседы, на яхте или с бильярдным кием в руках, отнюдь не повисают в воздухе. Переданные непосредственно собеседнику — приглашенному отведать творения клубного повара сенатору, мэру, судье, издателю — либо доведенные до сведения законодателей и иных представителей властей предрежащих каким-нибудь другим способом, они обычно и становятся ориентиром, на который те держат курс.

Крутятся колесики государственного механизма, крутятся легко, бесшумно, обильно смазанные за плотно закрытыми дверями фешенебельных клубов золотой смазкой.

И в Далласе есть, конечно, такие клубы. Одно из излюбленных мест сборищ магнатов, к примеру, поражающий даже видавших виды своей роскошью Драммер-клуб. (Кстати, его официальная задача — поддержка движения бойскаутов.) Стоит побродить по великолепным холлам клуба (попасть туда можно только в качестве гостя одного из его членов), прислушаться к разговорам, которые ведутся за партией бильярда или крикета, во время гольфа или за карточным столом, за рюмкой коньяка или за чашкой кофе, как понимаешь, что все это не просто светская болтовня.

Вот лысый, с астматической одышкой, жировой мешок сообщает двум пожилым джентльменам о своих планах, связанных с ростом безработицы. Рядом партнеры по партии в бридж обсуждают вопрос о расширении городского зоопарка. В соседнем помещении некий долговязый детина с бриллиантовым перстнем и булавкой для галстука, камень которой изъят, наверно, из подвалов какого-нибудь магараджи, развивает свои идеи по поводу борьбы с детской преступностью, а в почтительно внимающем ему откормленном мужчине узнаешь виденного накануне по телевидению мэра города. Выходишь подышать свежим воздухом и слышишь, как играющие в гольф договариваются о программе симфонического концерта, имеющего быть в будущем месяце, и о приглашении с этой целью в город заграничных знаменитостей.

Вообще, далласский «большой свет» очень озабочен меценатством. Денежным тузам Далласа уже не хватает их провинциальной славы. Они становятся на цыпочки, им страсть как хочется, чтобы их считали людьми просвещенными. И далласские мещане во дворянстве покупают Матисса и Ренуара, одеваются у Шанель и Диора, слушают Марио дель Монако и Леопольда Стоковского. Они хотят слыть людьми культурными. Они основывают музей, театр — для Америки редкость и даже оперу, надменно пропуская мимо ушей жалобный вопрос мэра города: «И куда так много скрипок, джентльмены? Разве нужно столько?»

О, далласская аристократия очень любит искусство, не жалеет на него денег. Правда, увы, не всегда достает времени им пользоваться. В отделе светской хроники одной из далласских газет я прочитал такую подслушанную репортером на знаменитых балах тираду дамы из высшего городского света.

— Ах, дорогая, — говорила она своей приятельнице, принимая бокал у метрдотеля-мексиканца в белоснежном костюме, — у меня совсем нет времени слушать музыку. Представь, душечка, три вечера в неделю я борюсь против коммунизма.

Что требовать от слабого пола? Великосветская пташка, жена видного далласского промышленника, борется против коммунизма три вечера в неделю. Гарольд Хант тратит на это времени значительно больше.

ВСТРЕЧА НА ОЗЕРЕ ТИМБЕРЛЕЙК

Собственно говоря, сейчас даже трудно сказать, что для Ханта главное — бизнес или политика. Сколотив длиннорукую, оборотистую и опытную команду, поставив в упряжку сыновей и зятьев, он лишь надзирает за делом, строго проверяя доходность своих компаний. Основное же время он делит между политическими интригами и азартной игрой.

Пользуясь тexasской терминологией, политический облик его можно нарисовать всего лишь несколькими словами — «самый реакционный человек в Америке». Печать иногда добавляет к этому еще и «самый опасный человек в Америке». Зоологический мракобес, патологический антикоммунист, воинствующий негрофоб и антисемит, это субъект, для которого определение «правый» еще ни о чем не говорит. Критерий его прост: все, кто не разделяет его убеждений, — опасные, или, как он выражается, «заблуждающиеся», и по отношению к ним все методы хороши. Для Ханта нет существенного различия между либералами и коммунистами, активными борцами за мир и просто «приличными» буржуа, не одобряющими крайности маккартизма и Голдуотера. Для него что негритянский лидер Мартин Лютер Кинг, что кумир либеральствующих буржуа Эрл Уоррен — председатель Верховного суда США, в общем, одно и то же.

Иногда говорят о скупости Ханта. Это, пожалуй, не вполне точно. Правда, он прижимист до крайности, когда речь идет о бизнесе. Он сам рекламирует свою экономность, рассказывая о ней репортерам и демонстративно отказываясь пользоваться платными автомобильными стоянками. Но он более чем щедр, когда речь идет о финансировании погромных фашистских и полуфашистских организаций и банд.

Прихрамывающий, дергавшийся как в эпилепсии, доводивший себя на трибуне до иступления и нечистый на руку Маккарти, зловонной кометой мелькнувший в 50-е годы на американском политическом небосклоне, так бы и остался лихонимцем-взяточником и мелким политиканом из штата Висконсин, если бы не дружба, а главное, деньги, которыми одарил его без счета Хант. Разглядев в беспринципном крикуне демагога крупного масштаба, Хант сделал тогда ставку на Маккарти. Он произвел с ним операцию, известную многим мальчишкам-сорванцам, которые при помощи незамысловатых манипуляций с соломинкой надувают лягушек. Из их опыта, однако, известно, что отсутствия чувства меры приводит к тому, что маленькая лягушка, из которой пытаются сделать крупного зверя, лопаются самым жалким образом. Именно так и произошло с Маккарти.

Позорный конец бесноватого сенатора мало чему научил Ханта; он и по сей день, пользуясь чековой книжкой вместо соломинки, раздувает одну фашиствующую лягушку за другой. Руководитель «Общества Джона Бэрча» прогоревший кондитер Уэлч, далласский земляк Ханта фашиствующий генерал Уэкер, шизофреничный проповедник главарь «Христианского крестового похода» Шварц, циклопы и драконы ку-клукс-клана и прочая сволочь, грязной накипью покрывающая американскую политическую арену, в немалой степени обязаны поддержке, а главное, деньгам Гарольда Ханта. Погромный лозунг бэрчистов: «Лучше быть мертвым, чем красным» — вполне отражает политическое кредо Гарольда Ханта.

Сам он как-то признался, что ежегодно тратит свыше миллиона долларов на субсидирование крайне правых организаций. Миллион долларов в год — большие деньги; сумма, ощутимая даже для Ханта. Но он, не задумываясь, подписывает чеки, в которых стоят четырех- и пятизначные цифры, одаряя фашиствующие банды. Нужно ли удивляться, что тexasский воротила сопричислен к лику фашистских святых, а имя его с почтением и восторгом произносится в коричневом подполье Америки?

— Какое там подполье, — говорил мне недавно благодушный, склонный пофилософствовать нью-йоркский адвокат, в прошлом активный деятель знаменитой «Тамани-холл», всемогущей партийной машины демократов в Нью-Йорке, а сейчас вернувшийся к юридическому бизнесу в собственной адвокатской конторе. — Вы, русские, всегда склонны преувеличивать. Для вас, по-моему, не существует оттенков — либо белое, либо черное.

Разговор происходил в небольшом аргентинском ресторанчике, расположенном в центре Нью-Йорка.

...Когда коренной ньюйоркец хочет как следует попотчевать гостя, он ведет его в ресторан китайский или немецкий, шведский или русский, аргентинский или итальянский — словом, какой угодно — а их в городе великое множество, — но только не в американский. При всем своем патриотизме житель Нью-Йорка отлично понимает: то, что называется типично американской пищей, быть может, и способно насытить отвлеченную едоцкую единицу, но уж ни при каких обстоятельствах не удовлетворит не только гурмана, но просто нормального человека.

Когда меня спрашивают о самом характерном для американской кухни, я отвечаю, не задумываясь: умение придать сверхаппетитный вид всему съедобному, полусъедобному и несъедобному, помноженное на талант превратить съедобное в полу- и совсем несъедобное. Русскому человеку вовсе не понятно, как ухитряются американские кулинары перегонять такое количество первосортных продуктов в красивую, но, я бы сказал, отвлеченную, почти что абстрактную по своим вкусовым качествам пищу. Ее तो ропливо поглощают в обширной сети отлично оборудованных кафетериев и других имеющихся в изобилии забегаловок, где не столько едят, сколько на скорую руку проглатывают определенное число калорий, необходимых для жизнедеятельности.

Мне представляется, что для гарантии полного и быстрого разгрома абстракционизма борьбу с ним в Америке следует начать в сфере искусства кулинарного — успех обеспечен.

Словом, знаменитый «стэйк» — здоровенный кусок говядины, фунта этак на полтора, нам подавали темноглазые и стремительные парни в широкополых шляпах и национальной аргентинской одежде, плохо говорившие по-английски. Помимо адвоката, за столом сидели приведший меня сюда коллега, известный нью-йоркский журналист высокой профессиональной квалификации с многолетним опытом и авторитетом среди читателей, завоевавший себе возможность быть на газетной полосе больше самим собой, нежели это принято среди американской газетной братии, и два преподавателя Нью-йоркского университета.

— Фашистская угроза — очередная выдумка газетчиков, — продолжал адвокат. — Америка — страна с устоявшимися демократическими традициями, и у нас германский 1933 год просто-напросто невозможен. Американец за фашистами не пойдет.

— А как насчет 27 миллионов голосов, полученных на президентских выборах Голдуотером? — ринулся в спор газетчик. — У Гитлера в 1933 году столько не было. Не кажется ли вам, что за фанфарами по поводу «невиданной победы» Джонсона в 1964 году мы проглядели эту страшную цифру — двадцать семь миллионов американцев, проголосовавших за весьма смахивающую на фашизм голдуотеровскую программу.

Разгорелся ожесточенный спор, в ходе которого благодушный адвокат доказывал, что цифра в 27 миллионов ни о чем не говорит, что средний американец, особенно в провинции, весьма далек от политики и вряд ли может сколько-нибудь внятно объяснить разницу между Голдуотером и его политическими противниками, что голосует он просто по традиции: Смиты вот уже сто лет от деда к сыну и внуку — за демократов, а Джонсы так же давно — за республиканцев.

Мой американский коллега желчно возражал. Так и не договорившись, они перевели разговор на бейсбол и тут быстро обрели согласие, сойдясь на том, что команда Нью-Йоркского университета, безусловно, превосходит «этих выскочек» из Джорджтауна.

Много раз с того вечера я возвращался мысленно к этому спору. Благодушные адвокаты, пожалуй, типично сейчас для значительной части американской интеллигенции. «У нас это невозможно» — за этой страусиной формулой прячут свое беспокойство. Между тем вопрос о том, возможно или невозможно, уже перестал быть вопросом. Жизнь дала на него ответ недвусмысленный и горький: возможно!

Фашизм — болезнь не национальная, а социальная. Несмотря на все различия, в капиталистической Америке он так же возможен, как и в капиталистической Германии. Конечно же, нельзя фетишизировать цифру 27 миллионов человек, голосовавших осенью 1964 года за Голдуотера. В доводах адвоката есть несомненная доля истины.

Но как быть с фашистскими и полуфашистскими организациями, число которых в Америке, по данным властей, приближается сейчас к тысяче и объединяет в своих рядах от четырех до шести миллионов человек? Это тоже от дедушки к бабушке, а от бабушки к внучку? Однако бабушки и дедушки не маршировали под украшенным свастикой знаменем американской нацистской партии, не готовились к вооруженному захвату власти, как отряды «минитменов», не разрабатывали планов массового уничтожения «расово неполноценных».

Опасным самообманом занимаются те, кто не хочет видеть, что современное американское фашистское движение располагает массовой базой и опирается на нее. Массовой базой фашизма в Германии, так же как и всякого фашизма, была мелкая буржуазия. Лавочники и деклассированные элементы, мелкие буржуа города и деревни, ограниченные, озлобленные, фанатичные, легко становятся добычей ловких демагогов, за спиной которых стоят силы хоть и могущественные, но как огня боящиеся, что прозревший народ придет в движение и лишит их этого могущества.

В послевоенной Америке число людей, которых американский социолог Райт Милс остроумно и метко назвал «люмпен-буржуазией», исчисляется миллионами. Фермеры, вынужденные продавать с молотка свои хозяйства, в которых ковырялось несколько поколений их предков, мелкие предприниматели города, не выдерживающие конкуренции с могущественными компаниями, лишаются места в жизни, озлобляются, отчаиваются и, не видя подлинных виновников своих бед, нередко становятся добычей фашиствующих демагогов, твердящих, что во всех бедах виноваты коммунисты, негры, евреи и «эти проклятые интеллигенты».

— Ну, а Хант? — скажет вдумчивый читатель. — Ведь он не мелкий буржуа и тем более не разорившийся. Что привело людей, подобных ему, в фашистские ряды? Что заставило его действовать не только из-за кулис, как действует большинство могущественных магнатов, но и вылезть на передний план?

Мне не довелось разговаривать с Хантом, хотя я видел его, наблюдал за этим нагло-самодовольным, неопрятным, в засыпанном перхотью пиджаке господином с развязными манерами, слышал, находясь вблизи, его громкие путаные, сумбурные разглагольствования, излагаемые на вульгарном жаргоне — этакой смеси языка завсегдатая скаковых конюшен и те-хасского барышника.

И все-таки многочисленные факты, все, что довелось прочесть о Ханте, узнать из разговоров, услышать из его уст, долго не складывались в четкую картину. Мне не хватало чего-то важного, штриха, что ли, какого-то толчка, чтобы все стало на свое место, чтобы ухватить не детали, а суть этого матерого и мрачно-могущественного субъекта.

Как принято говорить, помог случай. В одно из солнечных воскресений прошлой осени советские журналисты, постоянно живущие и работающие

в американской столице, решили выехать на пикник вместе со своими коллегами, приехавшими из Москвы. Запихав в машины нехитрый туристский скарб вперемешку с детишками, жаровню, расфасованный в бумажные мешочки древесный уголь и мясо для шашлыка, мы отправились за город.

Милях в тридцати от Вашингтона свернули с шоссе и, проскочив между холмами, вскоре выехали к небольшому живописному озеру Тимберлейк. На берегу стоял уютный мотель, водную гладь бороздило несколько лодочек. Идиллической пасторали контрастировал вполне прозаический шлагбаум, преградивший нам путь и поднявшийся лишь после того, как каждый из нас отдал по доллару парню в джинсах и линиялой майке, меланхолично жевавшему резинку.

За свои деньги мы получили завидное право расположиться на берегу озера.

Очень скоро картина напоминала такую, какую вы можете видеть в солнечный день на берегу любой из наших речек или озер под Москвой и Ленинградом, Киевом и Новосибирском. Женщины разворачивали свертки, а мужчины, сбросив пиджаки, а вместе с ними излишки степенности, разбились на две партии и, соорудив футбольные ворота из шляп и рубашек, упоенно гоняли мяч.

За перипетиями жаркой схватки мы не заметили, как недалеко от нашего стойбища, у самой воды, остановилась небольшая машина, из которой вышли двое. Специальный корреспондент «Известий» Викентий Матвеев, меланхолично наблюдавший за нашей игрой со стороны — свойственная ему солидность и рассудительность не позволяли принять в ней участие, — вдруг стал проявлять явные признаки оживления, а затем решительно двинулся к вновь прибывшим. Взглянув на машину повнимательнее, мы поняли, что сдуло с нашего друга налет флегмы, обнаружив подлинно журналистский темперамент: на прикрепленном к бамперу рядом с номером большим куске жести, выкрашенном в желтый цвет, черными буквами было четко выведено: «Голдуотер в 1968 году».

Даже на расстоянии было видно, как мрачны лица пассажиров этого автомобиля. Позже Матвеев рассказывал нам, что начало разговора было весьма многообещающим.

— Кто вы? — спросил высокий худощавый поклонник Голдуотера.

— Русские. Советские журналисты, — последовал ответ.

— Черт вас поберит! Если бы у меня в руках был заряженный автомат, я бы с удовольствием разрядил его в вас.

— Это очень интересно! — ответил Матвеев. Так начался этот изысканно вежливый разговор.

Вскоре, не желая испытывать наше терпение, Викентий Александрович решил великодушно поделиться журналистской добычей и подвел к нам своих воинственно настроенных собеседников.

Один из них, невзрачный сутулый человек в кургузом пиджачке и темном галстуке, промолчал почти все время. Зато другой говорил беспрерывно. Он являл собой фигуру весьма колоритную: долговязый, в измятых парусиновых штанах, стоптанных башмаках и тельняшке с закатанными рукавами, огненно-рыжий, густо усеянный веснушками, даже глаза его с белесыми ресницами казались рыжими и в веснушках; он говорил возбужденно и быстро, проглатывая окончания слов, брызжа слюной и размахивая руками.

Для начала он «расправился» с полутора миллиардами людей, заявив, что, не колеблясь, сбросил бы ядерные бомбы на все города социалистических стран и что единственное стабильное правительство в мире — это правительство Южной Африки, а затем принялся громить коммунистов внутри Соединенных Штатов. Из громко выкрикивавшихся фраз, беспорядочно выскакивавших из его рта, уснащенных эпитетами, которые не принято воспроизводить на бумаге и в дамском обществе, нам удалось

установить, что к числу коммунистов и их попутчиков он относит, в частности, бывшего президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, нынешнего президента Линдона Джонсона, вице-президента Губерта Хэмфри, председателя Верховного суда Эрла Уоррена, губернатора штата Нью-Йорк Нельсона Рокфеллера, губернатора штата Мичиган Джорджа Ромни и еще полтора десятка таких же «красных». Потом последовали злобные антинегритянские высказывания, заявление о «15 веках еврейского заговора» и все прочее в том же духе.

Согласитесь, экспонат нам попался диковинный. Не каждый день у нашего брата есть возможность свободно, неофициально разговаривать и пространно обмениваться мнениями с фашиствующим фанатиком. И мы, подавляя вполне естественное отвращение, оттерев плечами молодого коллегу, когда он, не выдержав, поднес к самому носу гнусного оратора, прогавкавшего что-то о необходимости сбросить на Москву водородную бомбу, здоровенный свой кулачище и по-русски спросил при этом: «А вот этого не видел?» — продолжали исследования.

То, что выяснилось, было очень поучительно. Рыжий детина — зовут его Джон Янг — собственник этого озера и территории, к нему прилегающей. Он был когда-то фоторепортером широко распространенного журнала «Лайф». Ловил сенсации, проникал в замочные скважины, не брезговал ничем, скопил толику долларов. Бродя как-то в окрестностях Вашингтона, он наткнулся на большой, поросший лесом овраг с отлогими песчаными скатами и теплыми ключами на дне. Решил, что на этом можно хорошо заработать. Пустил в ход все сбережения, по уши влез в долги — купил овраг, соорудил запруду.

Теплое озеро, песчаный берег, лесок, реклама сделали свое. Тысячи жителей американской столицы, спасаясь от влажной городской духоты, стали проводить здесь субботние и воскресные дни. С каждого по доллару — рыжему капиталец; построил мотель, лодочную станцию, ресторан, прикупил соседние овраги. Дело растет быстро, принося большой доход. Сейчас на текущем счету Янга уже около полутора миллионов долларов.

...Само по себе все это — и овраг, превращенный в озеро, и воскресный отдых горожан — конечно же, неплохо и разумно. Но баланс большого счета не сходится: чистоган, помогая создать в данном случае пляж, убивает в человеке человеческое. Оборотистый фотограф, которому повезло, воплощает собой те моральные издержки, которыми в обществе, где все мерится на деньги и только на них, сопровождается эта самая «частная инициатива». Волею случая, хотя и не без собственной изворотливости, выбившись из низов и обогатившись, он, что называется, сошел с резьбы. Будучи одним из очень немногих, такой выскочка уверовал в свои сверхчеловеческие данные и убежден, что он не должен обществу, но общество должно ему.

Янг и представители его разновидности не способны увидеть и не видят ничего, кроме своих долларов, и приходят в неопишемую ярость от всего, что, по их мнению, может помешать самовозрастанию оных. Они еще не обрели уверенности в прочности свалившегося на них богатства, трепещут от мысли, что могут его потерять. Странная смесь высокомерия, граничащего с манией величия, и комплекса неполноценности, самоуверенности и страха, удачливости и невежества, беспредельной агрессивности и трусости, толстой чековой книжки крупного предпринимателя и ввешшейся в плоть и кровь психологии мелкого лавочника, озлобленности и мучительной зависти в отношении старых и могущественных родов финансовой аристократии, не дающей им широкого ходу, презрения к той среде, которую волею случая они покинули, и опасения быть вновь низринутыми вниз — таков этот социальный тип, хотя и не столь уж многочисленный, но играющий в сегодняшней Америке роль немалую и опасную...

— Кто мне помог? — уже не вопит, а философствует рыжий детина, расположившись на траве. — Президент мне помог, правительство, сенат?

Черта лысого. Я сам себе помогу! Так какого же дьявола, — голос его опять поднимается до визга, — эти гниды из Вашингтона, это сучье племя, лезут в мои дела? Почему я должен платить им налоги, которые все растут, с какой стати меня обязывают заключать эти вонючие коллективные договоры с моими рабочими? Это вы во всем виноваты! Это все коммунистические идеи, Карл Маркс и прочее!..

— А что вы знаете о коммунизме и Марксе?

— Я не читаю всего того, что понаписала вшивая интеллигенция. Но я хорошо знаю, кто и почему засовывает руку в мой карман. И вы меня не собьете. От вас идет вся зараза, налоги, пенсии и прочий социализм. А эти хлюпики из Вашингтона, вместо того чтобы дать в морду, поджимают хвост. Нужен такой парень, как Бэрри. Он всем покажет!

И дальше, без всякого перехода:

— Кстати, джентльмены, вы не знаете, почему русские дипломаты в воскресные дни стали меньше ездить на мое озеро? Скажите им, что самая лучшая вода в окрестностях Вашингтона здесь. И недорого — всего доллар с человека. Не забудете, джентльмены? Пожалуйста.

Бизнес есть бизнес, и, отодвинув в сторону свою политическую платформу, позабыв о сетованиях по поводу отсутствия автомата в руках, рыжий голдуотеровец приглашает нас всех к себе в гости.

— Не обращайтесь внимания на мой вид. — Он показывает на проптевшую тельняшку и разбитые парусиновые башмаки. — Это рабочий костюм. А дом у меня «о'кей», здесь недалеко, там продолжим беседу.

Не очень заботясь о дипломатичности формы, мы отвели неожиданное приглашение. Но под вечер, когда собрались уезжать, вновь увидели рыжего. В элегантном костюме, он восседал за рулем шикарной и очень дорогой спортивной машины.

Ему явно хотелось покрасоваться.

Сидя на траве напротив яростно жестикулировавшего и разглагольствовавшего о коммунизме Янга, я поймал себя на том, что все время мучительно пытался сообразить, кого он мне напоминает. И вдруг все стало на свои места — я понял: Ханта.

То было не внешнее сходство. Почти 80-летний техасец, степенный и преисполненный сознания собственной значимости, не походил на суетливого, взвинченного лет сорока пяти хозяина озера, призывавшего на наши головы все кары небесные. И тем не менее и в том и в другом было что-то явно сходное: манера поведения, дремучее невежество, фанатичная иступленность, злобная ограниченность, невероятное самомнение. Словом, это был один род, один вид, один и тот же социальный тип.

Попав благодаря куче долларов в большие забияки, они не только по рождению, но и по нынешней психологии мелкие буржуа, злобствующие от сознания непрочности своего положения, неуверенности в будущем.

«Все мы разбогатели довольно быстро. И, признаться, кроме денег, нас ничего не интересовало и не интересует. Но вот рост сил коммунизма ощущается во всем мире. Почему мы должны терять то, чего достигли?» Кому принадлежат эти слова: Джо Янгу или Гарольду Ханту? Их мог произнести и тот и другой, они одинаково точно отражают ход мыслей обоих, объясняют их поведение, их позицию.

Высказывание это принадлежит одному из близких друзей Ханта, крупному техасскому миллионеру, и было воспроизведено недавно в журнале «Форчун». Как видите, речь идет не об индивидууме-феномене, а о чем-то типическом, характерном.

Джо Янг — хозяин озера в окрестностях Вашингтона и Гарольд Хант — владелец огромного нефтяного бизнеса, несмотря на разницу между янговским миллионом и хантовским миллиардом, — явление одного и того же порядка, порождение одних и тех же условий. У них общие страхи, общая ненависть, общие кумиры, общая судьба.

АЛЬПАКА — ГОРНЫЙ КОЗЕЛ

Впрочем, есть и различие. Рыжий хозяин озера уповает на Голдуотера, а Хант глубоко убежден, что господь бог возложил особую миссию на него самого. «Хант одержим убеждением, — рассказывал на страницах «Нью-Йорк таймс» Дэвид Джонс, по поручению этой газеты неоднократно встречавшийся и беседовавший с нефтяным магнатом, — что он должен спасти Америку». Всего-навсего! Претендуя на роль нового мессии, он считает необходимым довести свою проповедь до каждого американца.

Альпака — это один из видов горного козла. Почему именно козел покорил воображение Ханта, трудно сказать, но покорил. Во всяком случае, вымышленную, с его точки зрения, идеальную страну он назвал «Альпака».

О рае на земле, картины которого возникают в его старческом склеротическом мозгу, Хант поведал в романе, названном им «Альпака». Видно, писание книг в наш просвещенный век стало модой среди миллиардеров. Раньше они выхвалялись друг перед другом рысаками, шапокляками, любовницами, драгоценностями на мясистом тулове своих жен. Сейчас к этому прибавились графоманские увлечения. Гетти пишет, Рокфеллер пишет, Хант тоже пишет.

Но если в книгах Гетти есть и знания и стиль, то хантовская «Альпака» — рукоблудие графомана. Я держал в руках это творение, листал его, продираясь сквозь чудовищные нагромождения абракадабры, стараясь вникнуть в суть. Делал я это, что называется, по обязанности и думал: ну какой же нормальный человек станет мучиться над всем этим просто так, без особой надобности? И еще думал: как могли издать в цивилизованной стране подобную макулатуру и почему автор не нанял хотя бы литературных правщиков, чтобы как-то причесать все им нагороженное?

И не только думал. Я расспрашивал людей сведущих. Оказалось, несмотря на то, что автор книги — один из богатейших людей Америки, в стране не нашлось ни одного издателя, который рискнул бы ввязаться в такую авантюру, как опубликование этого бреда. Получив отказ нескольких издательств, Хант напечатал и распространил «Альпаку» на собственные деньги. Что же касается литературной правки, то здесь дело обстоит еще комичнее. Хант, оказывается, убежден, что он неповторимый мастер прозы и большой стилист. «Я, правда, пишу медленно, но пишу лучше всех», — заявил он. Вот так! О каких уж правщиках может идти речь, когда «хотя и медленно, но зато лучше всех»!

Это говорит о себе субъект, едва окончивший четыре класса, не знающий как следует ни одного языка, изъясняющийся на вульгарнейшем жаргоне, с путаницей в понятиях необыкновенной. Весьма красноречиво в порыве не то откровенности, не то раздражения описал людей типа Ханта американский миллионер Генри Люс, человек их общества, издатель «Лайфа», «Тайма» и «Форчуна»: «Всегда и везде деловые люди производят отталкивающее впечатление. Что собой представляют почти все те, кого я знаю из людей нашего круга? Все мы лишь буржуа, увлеченные материальной стороной жизни, полные предрассудков, вульгарные, неотесанные грубияны, нелепые и тупые». Сказано зло, видно, что накипело. И берусь свидетельствовать, что, будучи приложенным к Ханту, это описание приобретает характер документальной фотографии.

Вот такой-то субъект и ударился в романисты. А мне пришлось покорпеть над «Альпакой», процесс чтения которой вполне сравним с жеванием вара: удовольствия никакого, а зубы вязнут, челюсти не разомкнешь.

Идиллия, нарисованная романистом-миллиардером, если говорить коротко, вполне фашистского толка. По страницам книжонки победно разгуливает некий Хуан Ачалу, писанный красавец, помесь породистого жеребца

с традиционным голливудским ковбоем, и на ужасающем воляпюке вещает истины на тему спасения Америки от язв демократии. Правда, Хант предназначил свой роман для читателей-американцев. Поэтому порядки в государстве «Альпака» внешне подмалеваны под демократию. Но какова эта хантовская демократия, можно видеть хотя бы из того, что избиратели «Альпаки» голосуют сообразно своему кошельку. Люди с капиталом имеют 7 голосов, если денег поменьше — 6, если еще поменьше — 5 и т. д.

Что же касается тех, у кого капитала нет совсем, то Хант их в книгу не пустил, легко и просто, таким образом, разрешив все проблемы. Большие доходы, по Ханту, обложению не подлежат, ибо они и есть пружина развития общества. Мракобесие идеалов, изложенных в романе, настолько густопово, что даже буржуазная критика, фыркнув по поводу «литературных недостатков» романа, вынуждена была констатировать, что хантовская демократия «это своего рода фашистская демократия».

Вы думаете, Хант обиделся? Ничуть не бывало. Он удостоил автора рецензии, это констатировавшей, собственноручно написанным посланием, в котором растроганно заявил: «Только вы поняли меня правильно».

Но романы романами, а дело делом. Не ограничиваясь финансированием фашистских и полуфашистских организаций, Хант, засучив рукава, лезет в драку. В 50-х годах он создал пропагандистскую организацию «Фактс форум», которая была главным рупором Маккарти. Сейчас излюбленное детище Ханта — «Лайф лайн» («Линия жизни») — передающаяся из Вашингтона радиопрограмма, которую ежедневно слушает около пяти миллионов американцев в 45 штатах.

Стоимость всего этого предприятия весьма солидна — два миллиона долларов ежегодно. В сегодняшней Америке за два миллиона долларов можно наговорить чего угодно. И говорят. Ежедневно, ежечасно 331 радиостанция, работающая на программу «Лайф лайн», посылает в эфир отравленные стрелы клеветы, подстрекательства, разнузданной антикоммунистической, антинегритянской, антирабочей пропаганды.

Но Хант не альтруист. В чем в чем, а в бескорыстии его упрекнуть нельзя. Сотрясая эфир погромными политическими тирадами, он не забывает и о бизнесе. Надо признать: делец он изворотливый и фантастически пронырливый, обладающий какой-то особой «сверхтекучестью», способностью просочиться куда угодно. По существующим в Америке порядкам различного рода благотворительные организации не облагаются налогами. Хант ухитрился подвести «Лайф лайн» под разряд благотворительных и использует время, захваченное им в эфире, не только для поношения всего, что ему не по душе, но и для рекламного превознесения таблеток, улучшающих пищеварение, и других лекарств, а также пищевых продуктов, производимых его фирмами и компаниями. Злые языки утверждают, что, экономя таким образом на рекламе, он полностью возмещает расходы, которые несет в связи с финансированием своей политической деятельности.

«Для Ханта, — пишет американский журнал «Нейшн», — не существует различия между патриотизмом и выгодой». Сказано точно. Козлопоклонник глубоко убежден: все то патриотично, что ему выгодно, а что невыгодно — антипатриотично и заслуживает быть изничтоженным. «Все, что я делаю, — заявил как-то репортерам он сам, — я делаю ради выгоды».

На сей раз Хант не лукавит. И горе тем, кто становится ему поперек пути, кто угрожает его выгоде. Тут он не знает удержу. За ним огромная сила денег. Он сознает эту силу и пребывает в уверенности, что все в Америке, включая ее президентов, должны работать на его, хантову, выгоду.

Джон Кеннеди был не первым хозяином Белого дома, вызвавшим неудовольствие Ханта. В течение нескольких лет техасский нефтепромышленник вел тайную и упорную войну против генерала Эйзенхауэра, войну, завершившуюся, по мнению Ханта, его победой.

В конце сороковых годов геологическая разведка установила, что те- хасские песчаные отмели на побережье Мексиканского залива таят бога-

тейшие запасы нефти. Но береговая линия по американским законам — собственность государства. И поэтому частные предприниматели и компании не могли наложить руку на только что разведанные богатства.

И вот Хант задумал не больше, не меньше, как посадить в Белый дом своего человека. В благодарность за поддержку тот возымет на себя обязательство подарить нефтеносные земли ему, Ханту. Выбор падает на генерала Дугласа Макартура, с которым тexasца связывала личная дружба. Хант принимается за дело. Самолично направляется он к генералу Эйзенхауэру и просит его использовать свой авторитет для избрания Макартура. Как выяснилось позже, у Эйзенхауэра была собственная точка зрения по поводу наилучшей кандидатуры для президентских выборов 1952 года. И он Ханту отказал. Техасец продолжает стоять на своем: создает специальную избирательную машину, вербует сторонников, грозит, улещает, обещает, подкупает. За три-четыре месяца он потратил на кампанию в пользу Макартура несколько сот тысяч долларов. В «Уолдорф-Астории» — шикарнейшем отеле Нью-Йорка — собирает Хант руководителей республиканской партии и требует, чтобы они поддержали его фаворита. Но силы, стоящие за Эйзенхауэром, были превосходящими. Потерпев неудачу, Хант продолжал ершиться. «Мне не хватило двух часов, чтобы добиться на съезде выдвижения Макартура», — заявил он на пресс-конференции.

Однако проигрыш ему дорого обошелся. Богатые нефтеносные отдели в годы пребывания у власти правительства Эйзенхауэра перешли все же в руки частных компаний. Но злопамятный генерал постарался, чтобы подставивший ему ногу Хант не получил ничего. Невозможно оскорбить Ханта больше, нежели помешать ему прикарманить то, на что он позарился. Между ним и генералом-президентом была теперь уже не политическая, а кровная вражда. Ханта душила злоба. Люди, знающие тexasца, говорили, что у него темнело лицо при одном лишь упоминании об Эйзенхауэре.

Следующий ход принадлежал Ханту. И он его сделал. До середины 50-х годов в американской политической жизни существовала традиция, по которой президент не должен был находиться в Белом доме больше двух сроков, то есть больше восьми лет. Но традиция не закон, и она нарушалась. Хант решил поставить на пути Эйзенхауэра к продлению власти препятствие непреодолимое. Он имел прямое отношение к принятию 22-й поправки к конституции, законодательным путем запретившей пребывание на президентском посту больше двух сроков. Сам Хант в припадке мстительного восторга разболтал эту историю.

— Я добился всего этого лишь за семь недель. Я считаю это моей важнейшей победой в области внутренней политики. Это была большая победа. Если бы не она, Эйзенхауэр оставался бы на президентском посту и по сей день, — хвастался он в 1964 году.

Эйзенхауэр удалился от дел на свою ферму в Геттисберге. Трудно сказать, в какой степени, но то, что руку к этому Хант приложил, не вызывает сомнений. В Белый дом въехала чета Кеннеди, и молодая хозяйка, «ферст леди» Жаклин Кеннеди, начала переоборудовать резиденцию американских президентов на свой вкус, насаждая в ее холодных, официальных залах стиль французских королевских апартаментов с шелковыми тиснеными обоями и изящной мебелью. Но замена пуфиков мадам Эйзенхауэр жакобовскими креслами Жаклин Кеннеди оказалась мероприятием, недостаточным для прекращения «холодной войны», которую объявил владелец нефтяной империи Белому дому. Джон Кеннеди ходил еще в кандидатах, когда хантовские батареи дали по нему первый залп. На собственные деньги летом 1960 года Хант отпечатал сотни тысяч листовок, направленных против Кеннеди, поминая всевозможные его грехи, вплоть до католического вероисповедания, что в преимущественно протестантской Америке отнюдь не плюс, и разослал их по всей стране. Причина: в одной из своих речей сенатор Джон Кеннеди недобрым словом помянул лихоимство нефтяных компаний. В тот предвыборный год все хантовские симпатии

были на стороне тexasского сенатора Линдона Джонсона, с которым, по словам газеты «Нью-Йорк таймс», его связывали «многолетние дружеские отношения». Это, впрочем, не помешало Ханту на следующих выборах активно финансировать предвыборную кампанию Б. Голдуотера.

За первым залпом последовали другие. И вскоре вражда между нефтяным королем и новым президентом приняла масштабы, по сравнению с которыми хантовские интриги против Эйзенхауэра выглядели детскими игрушками. Почему? Причин здесь несколько — и общих, и частных, и психологических, и экономических, и политических, и личных. Если говорить о личном, то неприязнь хантовского семейства к семейству Кеннеди можно объяснить своеобразным «комплексом неполноценности» внезапно разбогатевших выскочек по отношению к высокомерным аристократам.

Надо сказать, что, хотя Америка никогда не знала дворянской элиты: там не было ни графов, ни князей, — аристократического снобизма, чванства и спеси за океаном едва ли не больше, чем в старушке Европе. Было время, когда Морганов, Рокфеллеров и Вандербильдов не принимали в аристократических домах Бостона и Филадельфии; несмотря на их миллионы, они были парвеню — выскочки, купчишки. Избранными, аристократами считали себя потомки первых переселенцев из Старого Света, кичившиеся этим не меньше, чем бояре-рюриковичи древностию своего рода.

Время постепенно стерло разницу, и первоначальники вошли в круг избранных. Но теперь уже они воротили нос от «всяких там» Фордов и Меллонов. Затем и те, при помощи династических браков, а главное, тугой мошны, проложили себе путь в «высшее общество».

В недавние, послевоенные годы в американском бизнесе появилась новая плеяда богачей. По своим деньгам они сравнялись, а иногда и превзошли представителей старой промышленно-финансовой аристократии. На бирже и в директорских кабинетах корпораций и фирм Гетти и Ханты чувствуют себя равными Дюпонам и Гарриманам. Но не всегда еще они допущены в круг избранных. Они не доказали еще своей прочности и долговечности — на Уолл-стрите знают, как быстро подчас лопаются мыльные пузыри спекуляциями сколоченных состояний, — и поэтому перед ними не спешат распахивать двери аристократических салонов и клубов. Аристократы взирают свысока и ждут. Выскочки завидуют и негодуют. Вот вам психологическая основа неприязни Ханта и его сыновей к аристократическому бостонскому роду Кеннеди. Если же говорить не о психологии, а об экономике и политике, то следует отметить, что Ханты и Кеннеди представляют различные, враждующие монополистические группы и объединения, интересы которых все чаще сталкиваются, приходят в резкое противоречие. Мы еще вернемся к этому подробнее, когда речь пойдет о семействе Кеннеди.

Так же, как в случае с Эйзенхауэром, вражда хантовского семейства к Кеннеди — отражение той внутренней острейшей борьбы вокруг жирных кусков пирога, которая раздирает американские монополии.

Кеннеди, как и Эйзенхауэр, представлял у кормила власти прежде всего могущественные старые промышленно-финансовые династии американского Северо-Востока, плотью от плоти которых был он сам. Хант — один из лидеров новых монополистических групп, вставших на ноги в ожесточенной борьбе с могущественными конкурентами. Нахапав огромные деньги, они рвутся теперь к власти.

Итак, еще раз: семейство Кеннеди — фавориты могущественнейших старых династий американского капитала; Ханты — типичные представители новых групп миллиардеров, испуганно прущих на рожон — к деньгам, к силе, к власти.

Окончание следует.



Николай Тихонов

БЕССМЕРТНЫЙ РУСТАВЕЛИ

1

Профессор был лиричен и говорил, как поэт. Он, сделавший в своей жизни столько открытий, достаточно странствовавший в поисках исторических и филологических материалов, много лет проводивший в чтении древнейших рукописей, рассказывая, как в Иерусалиме, в Крестном монастыре, был найден портрет Шота Руставели, не мог сдерживать волнения.

— Что мы знали? Все было окружено тайной. Мы знали, что, согласно легенде, и поэма «Витязь в тигровой шкуре» и сам поэт были признаны нежелательными явлениями. Церковники преследовали Шота Руставели, заставляли замолчать всякие толки о нем, уничтожали списки поэмы, поэта принудили покинуть родину. Он отправился паломником в Иерусалим и там остался. На родине его имя запретили произносить. Поэму запретили читать и распространять. Вот почему даже в «Картлис Цховреба», в летописи, описывающей многие события, многих лиц того времени, нет упоминания о Руставели. И никто не сообщил о том, где он путешествовал, что делал. Легенда говорит, что он умер в Иерусалиме... И вот после легенд мы находим изображение Шота Руставели на колонне Крестного монастыря. Подпись под портретом: Руставели. А на самом портрете надпись: «Расписавшему это — Шоте да простит Бог (грехи). Аминь». И портрет помещен под другими портретами, как знак особого уважения к тем высшим иерархам, знаменитым монастырским деятелям. Разве это не удивительно? Это много удивительнее, чем находка, сделанная, кажется, бельгийскими или итальянскими археологами, там же, в Иерусалиме. Там сейчас много работает ученых, откапывающих древности. Эти же нашли пол какого-то древнего здания, расчистили от мусора место работ, обнаружили прекрасную мозаику и по краям обрамляющую эту мозаику грузинскую надпись. Там еще много необычного...

— Я вас понимаю, — сказал я, — так же, как понимаю Ираклия Абашидзе, вдохновившегося написать поэму, которую он назвал «Палестина, Палестина». Это лучшее, что он написал. Он пошел на большой риск — говорить от имени Шота Руставели, не придавая ему черты современного человека, но пытаюсь угадать, как бы он комментировал свою поэму, разговаривая с временем, с родиной, с вечностью, наконец. Сделать это убедительно — трудное дело. Ираклию Абашидзе этот монолог из мрака веков удался. Мы ему верим. Но скажите, в Палестине и около, если поискать в других монастырях, может быть, там найдутся другие доказательства пребывания Шота Руставели и свидетельства современников?

— Видите ли, грузинские монастыри в Палестине существовали издавна. И не только там — очень известен монастырь на Афонской горе. на Черной горе около Антиохии. Да и в монастырях в Палестине, и в Иордании, и на Синае есть документы, но они пока недоступны. Если бы получить возможность с ними поработать, мы бы узнали необыкновенные вещи, и я думаю, что когда-нибудь ученые будут иметь эту возможность...

— А сейчас, — сказал я, — все в его жизни темно, все неясно. Есть книга — евангелие любви и верности, проповедь свободолюбия, она лежит перед нами, и мы разгадываем жизнь ее автора и жизнь, изображенную в романе, может быть, зашифрованную, хотя сначала как будто ясно говорящем о главном. Уже в четвертой строфе поэмы мы читаем (в переводе Нуцубидзе, не таком поэтическом, как другие, но гораздо более точном, чем у других переводчиков):

Воспоем Тamar-царицу, слезы с кровью проливая!
Я и раньше пел ей гимны, звуки строго выбирая,
Глаз-озер писал я чернью, брал перо из тростника я,
Песнь моя копьем ударит, прямо в сердце проникая.

Кажется, все ясно. Речь идет о дочери Георгия III, которую отец сделал соправительницей и еще при своей жизни венчал ее на царство. Она училась править в тени живого царя до его смерти в 1184 году. В этом году, если признать условно, что Шота Руставели родился около 1166 года, ему было восемнадцать лет. Он родился через сорок лет после смерти великого Давида IV Строителя. Только в 1122 году этот воинственный царь освободил Тбилиси из-под ига сельджуков. Когда Шота исполнилось 23 года, царица Тamar уже вышла вторично замуж за Давида Сослана. Надо ли считать, что в этот период он уже писал поэму или еще нет? Царица Тамара, или Тamar, в 1207 году, следуя примеру отца, сделала своим соправителем своего сына Георгия IV, Лашу. Шота Руставели шел уже сорок первый год. В 1213 году царица скончалась. Шота Руставели — 47 лет. Где он был тогда? Нет ответа на эти вопросы?

— Поэма написана в конце двенадцатого века, — сказал профессор, — таково мнение многих специалистов. Она не могла иметь широкую известность, если бы была написана позднее, так как через семь лет после смерти царицы Тamar впервые в пределы Грузии вторглись монголы, а через два года умер Лаша, и через три года после его смерти Джемал эд-дин уже разрушал грузинское царство и взял и разорил Тбилиси. Шота Руставели находился в возрасте шестидесяти лет. Где он был тогда; по-видимому, уже в Иерусалиме — и там узнал о несчастье, постигшем родную землю.

— Представим себе, — сказал я, — что он был уже в Иерусалиме. Но ведь и Иерусалим испытал всякое. В 1192 году Салах эд-дин отнял у крестоносцев, у Иерусалимского королевства Иерусалим, но в 1228 году его наследник, египетский султан Ал-Кармил, заключил договор с императором Фридрихом II, по которому Иерусалим становился снова христианским. И если Шота Руставели дожил до глубокой старости, то, будучи 69 лет, он со скорбью узнал о том, что монголы вторглись в 1235 году на его родину и подвергли ее страшному опустошению... Таким образом, вот каких событий он был свидетелем. и тем более не удивительно, что если сюда добавить разрушение Византии крестоносцами и собственные трагические переживания, то станет оправданным его пребывание в монастыре, единственном убежище от бурь, потрясавших окружающий мир...

— Мы ничего еще этого не знаем, у нас нет никаких доказательств, и даже место последнего успокоения Шота Руставели неизвестно, хотя возможно, что могилу можно обнаружить, но подробности жизни гениального поэта, высокого гуманиста, провозвестника Восточного Возрождения от нас еще скрыты...

— Правда, — сказал я, — могила его вдохновительницы царицы Тamar тоже неизвестна. Может быть, она была перенесена в скрытое место

ввиду нашествия монголов, но ведь монголы появились только через семь лет после ее смерти, а до этого где-то была гробница. Ведь не могли же такую царицу хоронить тайно, а если не тайно, то почему ни у кого не сохранилось записей о первом захоронении?

— Вероятно, были рукописи, но они погибли в том потоке битв и пожаров, которыми сопровождалось разное нашествие. Надо искать ее тайное захоронение или в Гелати, или в Бетании. Эту тайну мы еще долго будем разгадывать...

2

...Я сидел во внутреннем дворике некогда славного Икалтойского монастыря, на толстой доске, положенной на мшистые камни, перед большим, грубым столом, на котором уже лежали пожухлые листья, вестники ранней осени.

Я видел низкую стенку, оббегающую запущенный участок. в одном углу которого стоит старый-престарый храм, пустой двор, заросший травой, серо-коричневые стволы чинар, дающих добрую тень путникам, забредающим сюда в жаркие часы. Птицы в их листве продолжали свою дневную, немного тревожную, крикливую болтовню. Но тишина, широкая, как тень чинар, тишина лежала на всем. Только в памяти, где-то в самом дальнем углу еще сохранился бесконечный треск мелких камней и щебня пересохшей речки, по которой пробиралась наша машина, съехав в сторону от дороги, ведущей в Тионеты.

В этой жаркой, не гнетущей, а какой-то оживленной чуть слышным шелестом листьев тишине так прекрасно было сидеть и смотреть, как выступают какие-то очень древние руины, на которые сначала не обращаешь внимания. Но чем больше в них всматриваешься, тем более всяких мыслей приходит в голову, потому что это не простые, омытые всеми дождями стены, кое-где заросшие кустами и травами, — это остатки, как говорят, прославленной Икалтойской академии, где, по легенде, учился когда-то сам создатель «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели.

И если на улицах сладостной Флоренции, говорят, незримо проходит тень великого флорентийца и Данте является сонным видением замечтавшимся путникам, пришедшим пилигримами в священный город поэзии и искусства, то почему здесь не может проскользнуть в полутонах вечернего затишья мучительная тень того, кто опередил Данте на целый век, провозгласив впервые свободные законы любви, дружбы, верности?

Ведь был же он на самом деле, ходил по этой земле, сидел, может быть, таким же облегчающим душу вечером на грубой скамье и смотрел на далекие горы, тающие в синем тумане, на деревья, которые так же бросали дружескую тень, и думал о том, что станет с его родной страной в ближайшем будущем.

Я не знаю, существовал ли еще в Тбилиси тот удивительный дом, который основал храбрый и мудрый Давид Строитель, чтобы ученые, философы и поэты могли собираться и говорить о всех вопросах, волнующих умы, и бывал ли в нем Шота Руставели в дни своей молодости.

Встречался ли Шота с теми, кто вернулся из Греции, в свое время посланный туда для совершенствования в науках и искусствах? Давид Строитель хотел, чтобы молодые люди изучили языки и стали переводчиками лучших чужеземных произведений на грузинский.

Кто же сегодня в Грузии мог бы рассказать об этом? Разве тот исполненный чудотворный представитель зеленого царства, что окружен царскими почестями и народным вниманием в уютном, маленьком Телави. Там стоит чинар, которому насчитывают девяносто лет. Он мог видеть и говорить с Шота. Приходите сегодня к нему на торжественную аудиенцию. Он примет вас в окружении большой свиты своих зеленых родствен-

ников и сановников. Он имеет собственного садовника и собственный родник.

В тишине, которая окружает вас на дворике древней Икалтойской академии, вы можете представить себе, что на другом конце этой долины высоко, как темный палец, указующий в небо, стоит, если смотреть издали, какая-то странная, конусообразная скала.

Это Тамарис-цихе, крепость царицы Тамар, пограничная крепость, наблюдающая, чтобы враг не мог незаметно войти в долину. Если там вспыхивал яркий флаг костра, его пламя как будто перекидывалось с одной сторожевой башни на другую, достигало Сигнаха и шло на Цинандали и Телави, и вскочившие по тревоге воины города Икалто тоже зажигали заранее приготовленные сучья, чтобы и дальше бежал огонь, возвещающий, что враг ворвался в пределы Кахетии.

Как давно это было, как давно! Я вспоминаю Тамарис-цихе. Там еще можно видеть большие пространства, защищенные стеной и башнями, там может вам показаться сквозь дикие заросли, с крутого склона, в вознесенной на огромную высоту бойнице тень стрелка, готовящегося пустить в непрошеного гостя смертельную стрелу. Там еще существует узкий, глубокий лаз и лестница, приводящая к колодцу, откуда брали воду защитники крепости.

И если вы встанете перед воротами, то можете проследить путь одинокого всадника, поднимающегося к крепости с доброй или черной вестью, и внизу далеко лежащую пеструю долину, сверкающую, как хвост павлина, сине-лиловыми колдовскими всплесками. И там мог проезжать Шота Руставели, и недаром эту крепость рисовал со всей романтической живописностью Лермонтов и восхищенный Зичи взял ее за образец крепости каджей, вытянувшуюся к небу неприступным, острым обелиском.

Со старых чинар тихо слетают и падают с каким-то синим стуком листья. Краски вокруг свежи, и листва пронизана белыми лучами, играющими на стене, которую складывали восемьсот лет назад. Трудно представить, что здесь тогда жили и работали, как мы теперь говорим, видные грузинские философы и филологи. Если бы они явились сейчас, они заполнили бы этот пустой дворик шумной толпой, пестрыми одеждами, многоязычной речью.

«Витязь в тигровой шкуре» не мог явиться среди пастушеского народа. Уже были и блистали такие имена, как Иоанэ Петрици, Арсений Икалтели, уже появились на свет страницы «Картлис цховреба» — истории Грузии, «Висрамиани» — роман, «Абдул-Мессия» Иоанэ Шавтели и «Тамариани» Чахрухадзе.

И над всеми возникла, как вершина Мкинвари, поэма Шота Руставели, месха из Рустави, человека, в век неслыханной вражды племен восславившего дружбу народов, в век немыслимого бесправия и гнета — человечность и свободу духа, в век беспощадного угнетения и презрения к женщине — верность в любви и дружбе, красоту и душевную прелесть женщины свободной и равной мужчине.

Трудно даже представить себе, как родилось это все, такое удивительное в обществе, еще полностью стесненном предрассудками и страшными традициями феодализма, церковного и мусульманского догматизма.

И какая сила поэтического слова! Где-то на другом конце тогдашнего мира, в далеком Иерусалиме, в одиночестве и неизвестности живет и умирает, если верить легенде, создатель мирового произведения поэзии, а на родине не знают ни судьбы поэта, ни его земных дорог, но слово его, несмотря на все гонения, берегут, переписывают, читают, прячут от врагов, передают, как лучший подарок, вручают девушкам, как лучший дар, в приданое. И она живет — песня, которая не горит в пожарах, не тонет в воде, не обезглавливается мечом.

...Тени на икалтойском дворе шире, лучи догорают, а вот и тень Шота. В черной одежде идет человек из дверей старого храма, тихо, смот-

ря под ноги, задумавшись. Идущий повернул голову, поднял ее, увидел нас и пошел навстречу. Это старый монах, он живет здесь, как сторож и как отшельник.

Нет, он ничего не может рассказать об Икалтойской академии времен Давида Строителя и царицы Тамар. Люди говорят, что здесь когда-то учился Шота Руставели. Может быть, так давно это было, так давно...

3

Я написал как-то, что в сегодняшней Грузии все неузнаваемо изменилось.

Весь облик Грузии любимой —
Он стал другим в сознание жить.
И тучи мчатся мимо, мимо,
Чтоб небо жизни не темнить..

Не то было, когда Советской Грузии шел только третий год. Не было ни одного из тех социалистических гигантов, которые ныне украшают долины Грузии. На месте могучих стен Рустави были маленькие домики и большие деревья, Кутаиси не могло похвалиться Рионгэсом, на улицах Тбилиси еще можно было увидеть караваны тяжело нагруженных верблюдов, большие отары овец шли по проспекту Руставели, перекочевывая на север, в Сванетию ходили с юга по тенистой тропе среди первобытных лесов, ни о какой добыче кахетинской нефти не думали в Мирзаяни.

Вот тогда я увидел скромный рабочий городок. Рядом с ним вагонетки, доверху заваленные обломками скал, гром непрерывных работ, толпы работающих. Два года назад здесь была пустыня, в которой бегали скорпионы и муравьи и росла жесткая, маленькая трава. Не только дома, не было признака доски.

Разработка в скале шлюза близилась к концу. По скрипучим доскам мы спустились на двадцать метров в область пневматических молотков и черноволосях, загорелых, крепкоплетчих, как быки, людей. Одни из них раскалывали большие камни на десятки кусков тяжелыми и ровными ударами каменщиков. Другие сверлили гору пневматическими сверлами, концы сверл дрожали непрерывной винтовой дрожью, и руки людей и лица их с большими темными глазами тоже шатались, как заведенные.

Треск и стук молотков, протяжный свист маленького паровоза, увозившего шеренгу вагонеток, грохот падающих камней, неумолчный шум реки, бегущей рядом, плеск воды под ногами, воды, просочившейся сквозь почву на дно канала, голоса людей, скрипение блоков и лестниц, камней, дерева и металла — все соединялось здесь в какую-то захватывающую песнь труда, увлекающую куда-то, в неведомую даль будущего.

Я видел, как рос Загэс. Я стоял, очарованный всем виденным. Отсюда не хотелось уходить. Но здесь нельзя было стоять равнодушным зрителем. Пот, который выступал на плечах, щеках, руках работающих, сверкал на солнце, как драгоценные камни. По колено в воде, под палящими лучами солнца, под ночными дождями и ветрами, среди летящих во все стороны осколков камня люди выдолбили двадцатиметровый прорыв в скальной груди.

Река бросалась на них с дикостью разъяренного зверя. Она приходила ночью, взлохмаченная, в пене и шуме, и прорывала преграды, хотела залить отвоеванное у нее пространство, и с ней боролись врукопашную.

Всюду я видел неутомимых строителей, техников, каменотесов. Здесь рождалось то новое, что должно было положить начало такой жизни, о которой еще не мог сказать ничего ни этот пастух, смотревший с горы на скальные работы, ни тот труженик, что долбил гору тяжелым сверлом.

То, что это — всенародное дело, было ясно по размаху и силе работы. Невольно вспоминалась Грузия прошлого, закованная в латы война

или держащая плуг земледельца и мотыгу виноградаря, Грузия, размышляющая в стенах монастырей о тщете жизни, и Грузия богатырских подвигов ради родины, любви, славы. Далеко на горе надо мной виднелись стены древнего монастыря. Я был там недавно. От трудовых будней Загэса я поднялся к задумчивой лени полуразрушенных стен, через заброшенные поля, по узкой пыльной тропинке. В развалинах старуха в равном платье возилась с худой, тощей лошастью. Ветер сыпал песок с потрескавшейся стены.

Священник пришел с козами и козлом. Он был небольшого роста, черноволосый, добродушный, с мягкими чертами лица, с бородой, как у турецкого янычара. Он показал нам внутренность опустелого храма, какие-то книги в пудовых переплетах, каменные кресла, каменный аналой, потемневшие дочерна изображения византийских святых, высеченные на стенах кресты и непонятные надписи неизвестного времени. От всего веяло пыльным налетом времени, все предметы и стены умерли давно, и ничто уже не могло оживить их.

Мы ушли смотреть коз. Козы не подпускали к себе и бегали из угла в угол в каменной загородке. Черношерстные и тонконогие, они были, как пленники, которым очень хотелось вырваться на свободу. Стены, среди которых они бегали, были все исчерчены надписями туристов, по-видимому, часто посещавших это место. В расколотом своде свистел ветер. Когда мы вышли на воздух, мы снова увидели нашего священника.

Он запряг тощую лошадь в сани без полозьев и, приплясывая на доске, так что его черная рубаша, давно пришедшая в ветхость, прыгала на нем, ездил по пшеничным снопам, раскиданным правильным кругом. Лошадь спотыкалась на поворотах, сворачивала не туда, он кричал на нее и ехал дальше, смешно подпрыгивая. Штаны сползли с него, черные волосы свешивались на лоб, борода тряслась, но сам он смеялся неизвестно чему. Он щурил глаза и смеялся. Увидев нас, он остановил лошадь, нагнулся, взял горсть пшеничных колосков, уже раздавленных, и пригласил нас дунуть на них. Мы дунули. Пыль улетела. На ладони осталось с десяток гладких, желтых-желтых зерен.

— Пшенà! — сказал он и затрусил по кругу опять. Так молотят повсюду. Старик не был исключением. Когда мы уходили, он соскочил со своей доски, поклонился, пожал нам руки самым сердечным образом. Пыль с развалин падала на его плечи, но он не замечал ее.

Да, там на горе остались мертвые воспоминания и заботы не о величии души и мира, а горсть желтых зерен, забота о куске хлеба, о том, чтобы не пропасть с голоду. Но с этой горы хорошо видны работы строителей Загэса.

И, думая о судьбе грузинского народа, я увидел одного рабочего необычного вида. Надо сказать, что все работавшие были или голы до пояса, или в очень разорванных рубашках, потому что острые каменные осколки рвут беспощадно всякое одеяние, и поэтому люди предпочитали работать или без одежды, или в лохмотьях, которых не жалко.

Этот работающий был юношей, которому можно было бы приделать крылья и рисовать с него ангела для любой из бывших знаменитых церквей. Он был в черном длинном одеянии. Лицо его было освещено как бы изнутри. Глаза сияли. Силы он был большой, судя по его ударам по камню. Длинные волосы, резко подстриженные, все же почти достигали плеч.

— Это мцыри, — сказали мне, — по-русски — послушник! Их много здесь. Они оставили монастыри, там нечего делать, там голодно. А здесь — настоящая жизнь. Он красив и молод, зачем ему пропадать! Он опыта наберет, учиться пойдет, инженером будет, плотины будет строить. А что монастырь? Голые стены, мертвые книги...

Я вспомнил священника на горе, смеющегося, едущего на доске по снопам. Может быть, он смеется тоже над своим мертвым миром?

— Вы знаете, — сказал мне огромного роста человек — техник, когда мы встали с ним на тридцатипятиметровой высоте на перекидном мосту, — отсюда будет падать в канал водопадом Кура. Дальше она пойдет по каналу. Какой канал, игрушка-канал, три километра в бетоне, в чистоте, тридцать метров ширины, восемь — глубины. Он встретит на дороге овраг «Падия хеви», но разве это остановит! Там будем строить трубу...

Этот громадный человек говорил громадными цифрами, но я плохо запоминаю цифры. Поэтому я записал некоторые, все не записывал. Меня интересовало не это. Пусть пройдут тысячи и тысячи рабочих часов, но каждый поворот блока, каждый шаг маленького паровозика, каждый удар механизма, взрываются столетиями неподвижную землю, приближает победу.

Я увидел настоящий азарт работы. Три смены, по восемь часов каждая, бросались в канал, в ямы, на скалы — непрерывно стучали молотки, ходили вагонетки, летели камни, а рядом выла река, чувствующая свое бессилие против этой человеческой воли и упорства.

Волны людей сменялись, как речные. Новые и новые пришельцы приходили и уходили обратно в деревни, поработав на Загэсе, но они уходили не такими, какими пришли.

Руки, державшие лом или кирку, долго помнили их. Люди, евшие хлеб Загэса, долго помнили его. Рядом с клубом в садике был посажен кипарис. Я не знаю, цел ли он сегодня, но тогда он был как маленький символ большого упорства.

— Автандил! — позвали моего спутника-техника.

Я удивленно посмотрел на него. Он засмеялся:

— Нет, меня зовут не так. Это так меня прозвали здесь. После того, как раз Кура пришла, и мы с ней поборолась, и я возглавил ночной бой, и дрались мы как на войне. Вот с тех пор меня прозвали Автандилом. Ничего, мне нравится! Как вы думаете? Это — красивое прозвище!

Он пошел к позвавшему его, а я смотрел вслед и думал: конечно, этот человек — богатырь и он не только не уступит поэтическому образу, но даже как-то продолжит его в сегодняшней Грузии. И вдруг мне захотелось смеяться про себя, как смеялся тот священник на горе.

Все ясно! Раз мцыри, пламенный юноша, жаждущий бурь и жизни, полной тревог, оставил седые стены и пришел на Загэс, раз Автандил, сказочный герой-богатырь, нашел где применить сегодня свою силу, здесь, на Загэсе, значит, все в порядке.

Как и в поэме Шота Руставели, в этой долине себя нашли и стали друзьями в общем труде и Автандил, и Таризл, и Фридон. Это была та дружба народов, которую предвидел острый гуманист двенадцатого века и которая в его родном краю показала себя через неисчислимое количество лет!

Там на стройке рядом работали и осетины, и русские, и армяне, и грузины, и азербайджанцы, и греки и мало еще какие племена и народы.

И закат был похож на много знамен, которые несут на необыкновенную высоту великаны-демонстранты!

В ясный полдень нехолодной карталинской зимы мы с друзьями-грузинами осматривали только что, как принято говорить, введенный в эксплуатацию Зестафонский завод ферросплавов.

Нас поражали и неизвестные нам машины и конвейеры, переносившие марганцевую руду, и таинственные процессы, не имевшие ничего общего со знакомыми нам производствами. Нас поражали и светлые, неслыханного размера цеха. В этих цехах в стены были врезаны очень боль-

шого размера картины-пейзажи с романтическим уклоном, холмы, сады, вдали горы, покрытые снегом.

— Кто это так хорошо придумал?! — воскликнул в восторге один из гостей. — Это же просто открытие! Жизнерадостные пейзажи всегда перед глазами работающих. Это оптимизм, это поднимает настроение. Чья это работа? Кто этот одареннейший мастер?

— Про что вы говорите? — спросил инженер. Он не сразу понял восторг приезжего товарища. — Ах, вы про картины. Прошу поближе...

И мы шли за ним по очень длинному белому цеху, пока не приблизились к картинам вплотную.

— Кто мастер? — сказал, улыбаясь, инженер. — Догадитесь, если не догадаетесь, тогда скажу...

Но мы уже догадались. Перед нами просто были прорезаны стены, и в эти большие прорезы мы видели самый настоящий пейзаж со всеми тонкостями ближайших холмов, со всеми выгибами заснеженного Рачинского хребта, за которым в синем небе плавали чуть туманные Лечхумские горы. И мне показалось, что наш двадцатый век пришел в какой-то древний горный мир со своими машинами, со всеми своими чудесами, но он признает очарование этого древнего пейзажа и входит в него как друг.

Нечто подобное испытывал, вероятно, такой тонкий, такой мудрый человек, простой сердцем, правдивый до боли, резкий и мужественный, как Важа Пшавела, возвращаясь из горящего огнями Тбилиси, с его шумом и соблазнами, в свои тихие темные ущелья. Но из этих ущелий он привозил в хурджинах в город мировой славы достойные его стихи и поэмы.

Как далеки от нас времена, когда жил и творил великий Шота Руставели! Не приблизиться к ним, даже если прикоснешься к камням, положенным людьми его времени и сохраненным до сегодня. Кто стоял на скалах, где вырублены пещерные покои города Вардзии, кто смотрел там на росписи руставелевского века, видел изображение молодой царицы Тамар и ее отца — старого Георгия Третьего, тот, несомненно, был окружен какими-то тенями исчезнувшего прошлого. Он мог трогать каменные лежа, видеть ангела, летящего из-под купола. Землетрясение обрушило в пропасть полстены и второе крыло ангела. Все это перед вами, но трудно воображению представить себе картины того века, когда здесь сначала готовили город и дворец, потом стали все переделывать под монастырь, трудно представить, как над Курой вечером горели костры и вокруг них сидели усталые мастера, борющиеся с горой во имя непобедимого искусства.

И даже там, где знак Руставели ощутим, как в Гелати или в Кутаиси, все равно только книга, бессмертная поэма может открыть вам путь в неведомое царство средневековья — и все оживет. Лошади начнут ржать, рев диких охот прорежет границы, гром битв, удары мечей, факелы — все оживет, и тени станут богатырями, так велика сила слова, такая могучая магия и энергия в нем, что может воскресить прошлое. Шота Руставели изобразил людей, которые добивались своего счастья упорной борьбой, воспитанием души и верой в любовь и дружбу.

Друг для друга да послужит, не щадя себя ни в чем,
Должно сердцу быть для сердца и дорогой и мостом!

Поэт смотрел в даль веков, потому что в его времени, среди кровавых искателей славы, богатств и власти, мало было таких характеров, чтобы они являлись образцами для его героев. Попадались и смелые сердцем и смелые духом, но это были отдельные личности, или в характерах иных были отдельные черты того человека, какого мы назовем потом полновластным сыном века Возрождения.

И он пришел со своей поэмой в наш великий век нового преобразования мира и человека, и мы приняли его, как старого друга и равного гражданина царства свободы духа и свободы высших устремлений!

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

Из опыта советской литературы

А. Дубровин

Живая традиция

Тотчас к 50-летней годовщине Советской власти и подводя итоги пути, что лежит у нас за плечами, мы извлекаем драгоценные уроки из богатейшего, нелегко доставшегося народу опыта сознательного исторического творчества, в том числе и опыта строительства новой художественной культуры.

Социалистические традиции — это не каноны и не шаблоны, это прежде всего коренные, ведущие принципы развивающихся у нас общественных и культурных процессов. Одним из таких непреложных принципов является сознательная и дейная целеустремленность творчества наших мастеров искусств.

О ней-то и пойдет речь. Тема эта не новая, но требует она современного подхода. Точно так же, как мы не можем недооценивать ее сегодняшнее значение, не можем мы и удовлетворяться ее упрощенным пониманием, ограничивающим художественные поиски рамками жесткой доктринерской регламентации. Необходимо вдумчивое изучение и обобщение художественной практики, приводящее к выводам, важным для нынешнего художественного процесса. История советской литературы дает для этого обширные возможности.

Между двумя стихотворениями своего американского цикла — «Атлантический океан» и «Блек энд уайт», стихотворениями, типичными для политической лирики поэта-трибуна. — Владимир Маяковский поместил маленькую, окрашенную улыбкой элегию, само название которой, казалось

бы, говорит об ее незначительности: «Мелкая философия на глубоких местах». Поэт и вправду склонен был считать, что особой идейной глубины в ней искать нечего. Он ставил «Мелкую философию» в один ряд с другим стихотворением, о котором прямо писал: «Идеи нет... Это не стих, годный к употреблению». Чтобы лирическая безделушка превратилась в «стих, годный к употреблению», она должна была «обрастать... мясом злободневных строк». И вот появляется второй, более «актуальный» вариант стихотворения, с новыми строфами — о диспутах, об издержках нэпа. Маяковский и дальше намеревался переделывать «Мелкую философию», приводя ее в соответствие с меняющимися событиями. Мало того, к такой «актуализации» этого своего стихотворения он призвал и других поэтов: пусть помогут! Это ли, кажется, не стремление к партийной остроте поэзии, к ее связи с жизнью, к ее активному вмешательству в современную борьбу?

И вдруг в полном противоречии с такими своими намерениями Маяковский помещает в собрании сочинений первоначальную, «устаревшую» редакцию стихотворения. И именно она известна нам как один из классических шедевров лирики, составляющих гордость советской поэзии.

Напрасно стали бы мы искать в «Мелкой философии на глубоких местах» лежащих на поверхности признаков политической устремленности поэзии. Тут ни слова нет ни о ревкоме, ЦИКе и Советах, как в «Атлантическом океане», ни о Коминтерне, как

в стихотворении «Блек энд уайт». Поэт стоит на палубе океанского парохода и в задумчивости смотрит за борт, туда, где бегут и бегут бесконечные волны... Их шум не напомнит ему сейчас ни гула митингов, ни грома боев. И не то чтобы улеглись его чувства — нет, но устремлены они куда-то очень далеко, а куда — он, пожалуй, и сам не сразу мог бы сказать. Рассеянным взором окинет он водную гладь, бросит взгляд на какую-нибудь проплывающую рыбешку, а уже через минуту и не вспомнит о ней.

Что-то другое владеет его душой. Такое, перед чем все вокруг бледнеет, все оказывается незначительным, преходящим, бранным — будь то пароход, будь то океанские волны, будь то вся прожитая жизнь.

Да, жизнь. Как-то не думалось об этом, пока не засмотрелся он на улетающих белых птиц и не пришло неожиданно в голову безжалостно точное сравнение:

Годы — чайки.
 Вылетят в ряд —
 и в воду —
 брюшко рыбешкой пичкать.
 Скрылись чайки.
 В сущности говоря,
 где птички?
 Я родился,
 рос,
 кормили соскою, —
 жил,
 работал,
 стал староват...
 Вот и жизнь пройдет,
 как прошли Азорские
 острова.

Что же это — громадное, необъятное, как океан, — в сравнении с чем вся жизнь кажется всего лишь незначительным эпизодом? Ответа нет...

Мы знаем немало прекрасных стихов Маяковского, исполненных пафоса прямого, непосредственного утверждения «высочайшей высоты» — создаемой «коммуны». Но сейчас-то он вовсе не думает о политике. Только ощущение какой-то беспредельной шири говорит нам в этот момент, как грандиозно то, о чем он тоскует.

И все-таки идейный смысл стихотворения ни на йоту не расходится с тем духом партийности, что пронизывает остальные произведения великого поэта революции. Чтобы доказать это, придется несколько подробно остановиться на поэтическом строе этих

стихов: идейный анализ искусства — это непременно анализ художественный.

Есть в структуре каждого произведения какие-то самые важные, определяющие черты. Поэтика «Мелкой философии» — это прежде всего поэтика паузы. В одном из сборников «крылатых слов» можно было найти такой афоризм, записанный «в строчку», прозой: «Вот и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова». И подпись: В. Маяковский. Но Маяковский никогда не писал такой пошлости. У него вся суть, вся боль, вся горечь усмешки — в этой паузе, такой напряженной, что замирает дыхание: жизнь пройдет, как прошли Азорские... постой... еще, может, и нечего грустить... может, есть надежда... И только тогда — иронически-безжалостный ответ: нет, дружище, острова.

Горько, что пролетает жизнь. Лучше всяких псевдооптимистических деклараций выражает эта боль жизнелюбие поэта, душа которого враждебна «всяческой мертвечине».

И варьируется и повторяется эта интонация, и каждый раз тщетно будешь надеяться на что-нибудь неожиданное: не уйти от короткой концовки, напрашивающейся, неизбежной, как судьба, даже, пожалуй, банальной. «Все течет. (Пауза). Все меняется». «Ни дна (пауза), ни покрышки». «Разделение (пауза) труда». Один раз, другой, третий... Так появляется грустный лейтмотив: поэт опечален не только тем, что жизнь проходит, но и тем, как она проходит. Проходит не так, как хотелось бы. Обычной. Тусклой. Поэт революцией, Маяковский так жаждет нового, так стремится к преобразованиям, решительным переменам, что все сделанное им представляется ему недостаточным, и в момент, запечатленный в «Мелкой философии», именно такое недовольство, святая неудовлетворенность выступили на первый план. «Все меняется» — это звучит почти как «ничего не меняется».

Осторожные люди могут спросить: уж не попахивает ли тут пессимизмом, отчаянием, безнадежностью? Но лирический герой Маяковского ничего общего не имеет с теми, кто готов на все махнуть рукой. Оттого-то и горечь, что никак не может он примириться с мыслью о застое. Мы застigli лирического героя, кажется, в минуту некоторой расслабленности; тем знаменательней даже теперь увидеть в нем черты непримиримого активного характера, внутренне противостоящего, как мы видели, мысли о торжестве.

ве банальности и «мертвечины». Той мысли, которая подчас, как это ни парадоксально, примиряет человека со злом: раз уж впереди просвета нет — шут с ним, будем довольствоваться тем, что есть, будем рады хоть малым радостям, которые еще доступны... Эта психология чужда Маяковскому. Его переживания бесконечно далеки от впечатлений и настроений праздных зевак, «ловящих мгновение». Вчера был шторм, сегодня уже солнце. Кого из путешественников это не обрадует! А поэту сейчас глабоко безразлично, что там — буря ли, тишь ли: «Какая разница!» Промелькнула в волнах туша кита. Уж, наверное, все столпились на палубе, делятся впечатлениями: шутка сказать — живой кит! Но равнодушие слышится в словах поэта:

Это кит — говорят.

Возможно и так.

Кит так кит. Что тут особенного!

Нет, конечно, перед нами не аскет, отвергающий невинные удовольствия туриста. Но утешаться созерцанием океанской экзотики — это ему не по сердцу. Душевная неудовлетворенность ищет выхода, она должна вылиться в активные действия. И вот звучит поэтическая «самокритика». Стихотворение начинается легкой шуткой:

Превращусь
не в Толстого,
так в толстого,—
ем,
пишу,
от жары балда.

«Ем» и «пишу» — рядом. На равных правах. Поэтому «пишу» сразу стало таким же раскисшим от лени и жары словом, как «ем». Не пишу — кое-как пописываю. Не Толстой — толстый. Вот, оказывается, еще одна причина этого недовольства поэта: с о б о й он не удовлетворен. И это — несмотря на то, что вся его жизнь — горение! Такое, что «машину души с годами изнашиваешь»: «стал староват» — это написано, когда поэту всего 32 года...

Неприятное отношение лирического героя к ленивому, однообразному, замедленному, как ему кажется, течению своей жизни проглядывает в самых разных деталях, окрашивает собой представляющие перед ним картины. Вспомним хотя бы строки о встречном пароходе, связанные тягучей, ленивой интонацией; быстро их не прочтешь,

невольно будешь тянуть это «е»: на встрече... ме-едленней... чем те-ело... тюле-енье... И — как отзвук первой строки — из Ме-ек-сики... Можно написать с пафосом: «рваться в завтра, вперед», а можно — с недовольством о тюленьей медлительности; в обоих случаях перед нами будет один и тот же Маяковский — до боли любящий жизнь, не принимающий праздности и самодовольной сытости поэт труда.

И пусть о постоянном круге своих интересов он здесь упоминает мимоходом, невзначай; пусть в его шутовском сравнении кита с Демьяном Бедным («обхвата в три») — та же ирония, что и в отношении самого себя («превращусь... в толстого»); пусть, вспомнив на мгновение о редакторе «Известий» Стеклове, он лишь между прочим, походя сострит насчет водянистых газетных статей, — все равно, и эти мимолетные, с усмешкой брошенные штрихи важны как приметы, по которым сразу узнается домашний адрес поэта советской земли, тот адрес, что ни на секунду не может быть им забыт. Сосредоточенный на глубоко личном, поэт и в такие минуты не мыслит себе это личное отъединенным от общественного.

Это человек, который судит себя судом народа. Вот стоит он сейчас один, наедине с собой, а ведь мысленно он с людьми разговаривает. Привык. Не может иначе. Об этом свидетельствуют даже лексика, фразеология, ритм:

Вчера,
океан был злой,
как черт,
сегодня
смирней
голубицы на яйцах.

Попробуйте-ка втисните эти стихи в glandькую силлаботоническую рамку:

Вчера океан был свиреп, точно черт,
Сегодня — смирней голубицы на яйцах...

Нет, убрали мы разговорную интонацию — и стихи лишились жизни. Лирический герой, и не видя людей, разговаривает с ними, остается с обществом.

Перед обществом он, собственно, и извиняется: как-то неловко, что раскис. Извиняется своеобразно: все оборачивает в шутку. Подумайте только, в этом стихотворении, одном из самых грустных в мировой лирике, нет ни одной строфы без улыбки. Тут и каламбуры. тут и неожиданное столк-

новение лбами разнородных понятий или далеких друг от друга стилей, тут и строки эпиграмм, и ирония над самим собой, и окрашенные юмором концовки четверостиший:

Кто над морем не философствовал?
Вода.

Это не беззаботно порхающий смешок. Здесь юмор — признак душевной силы и самообладания человека, не дающего себя сломить унынию, тоске, душевной усталости.

Если недостатки свои поэт гиперболизирует, то значение своего горького «философствования» он преуменьшает этой усмешкой. Вода, жиденькая водица... Все это, дескать, «мелко». Вот они откуда, эти уменьшительные суффиксы, эти слова-лилипуть: рыбка, плавнички, крылышки, птички. И тут же намеренное снижение поэтичности: «балда», «дохлая», «пичкать»... Все это должно убедить незримо присутствующих собеседников поэта в том, что его невеселые переживания — это, в сущности, так... ерунда.

Ерунда? По сравнению с чем? Что является главным для поэта, не позволяет ни удовлетвориться малым, ни поддаться отчаянию, что дает ему силу отшучиваться, мужественно держать себя в руках даже в тоскливые минуты? Не тот ли высокий смысл жизни, что определен всем революционным мироощущением Маяковского, с гигантской художественной мощью проявившимся в его творчестве, до последней строчки отданном атакующему классу!

В «Мелкой философии» многое — в подосознании; но у Маяковского, поэта поразительно цельного, сознательного и подосознательного неразрывны и едины, как два сообщающихся сосуда.

И, вероятно, сам автор, вопреки упрощенным толкованиям актуальности поэзии, которым он отдал было известную дань, просматривая свои стихотворения перед тем, как включить их в «тома партийных книжек», сердцем почувствовал эту близость первого, не «исправленного» варианта «Мелкой философии» другим своим вещам. Это было поэтическое, а по существу, и политическое чувство, коммунистическая партийность «не по службе, а по душе», ставшая более необходимой, чем воздух.

И вот встает вопрос: коль скоро, даже обгоняя ожидания самого художника, у него может родиться произведение, достойное высокого предназначения советского ис-

кусства,— так есть ли, собственно, нужда в том, чтобы заранее сознательно ставить себе ту или иную общественную задачу? Не достигается ли решение таких задач само собой, непроизвольно? Ведь явно же в стихотворении Маяковского господствует не исчерпывающе-ясное, трезвое, сознательное начало, а как раз начало интуитивное. Нечто недосказанное, угадывающееся между строк составляет его лирическую атмосферу. И это может смутить горе-ортодоксов вроде тех, о которых Маяковский иронически писал:

Тот,
кто постоянно ясен —
тот,
по-моему,
просто глуп.

Такие люди никак не могут понять, что партийная целенаправленность творчества не выражается в грубо прямолинейных формах. Нелепо представлять себе дело так, будто художник непременно кладет перед собой какое-либо постановление, штудирует его с карандашом в руках, затем ставит себе ту или иную утилитарную цель, вытекающую из этого постановления, и в соответствии с ней заставляет себя творить. Художественная мысль сильна лишь тогда, когда она способна естественно, свободно выплеснуться из души; иначе перед нами будет не произведение искусства, а рационалистическая схема.

Другое дело, что мастера нашего революционного искусства не могут творить без идеала, без цели, самой гуманной в истории человечества, освещающей всю их жизнь, всю работу. Вот в чем суть! «Помни, что каждый день — этап, к цели намеченной шаг» — эти слова Маяковского, обращенные к юношеству, прекрасно характеризуют и его собственное отношение к жизни. Не будь этого пламени коммунистической целеустремленности, не было бы и тех переполнивших душу поэта чувств, которые уже стихийно, сами собой, без всякой преданмеренной «запрограммированности» отлились в совершенную поэтическую форму «Мелкой философии на глубоких местах». Да, эти чувства были неподконтрольны трезвому аналитическому рассудку; но даже сама их непроизвольность стала еще одним доказательством того, каким цельным, единым было мироощущение Маяковского.

Если сопоставить «Мелкую философию» с другими стихами цикла, куда она вхо-

дит совершенно органично,— со стихами, политическими уже не только по направленности, но и по теме,— станет особенно ясно: и там и тут сердцем и пером поэта владеет один и тот же пафос, только в одном случае высокое и тонкое искусство звучит по-агитаторски, в другом — более интимно. Разве, например, некоторые мотивы «Мелкой философии» не перекликаются явно и непосредственно и со стихотворением «Кемп «Нит гедайге», где звучат строки о мосте, перекинутом «прямо к коммунизму», и со знаменитым четверостишием из стихотворения «Домой!»:

Вот лежу,
уехавший за воды,
днем
еле двигаю
моей машины части.
Я себя
советским чувствую
заводом,
вырабатывающим счастье.

Недаром же глубинная — вовсе не «мелкая!» — философия, выстраданная великим советским поэтом, впоследствии укоренилась в социалистической литературе, давая ростки в творчестве художников разных индивидуальностей, талантов, склонностей.

— Выходи на балкон.
Слышишь —
гуси летят.
— Как тогда?
— Как тогда!
Время к старости, брат...

Конечно, эти летящие гуси не похожи на чаек из «Мелкой философии», и совсем вроде не похожи на лирического героя Маяковского участники лирического диалога Владимира Луговского «Ночь весны». «Нет, я в старость не верю, на крыльях держись!» — скажет один из них своему другу еще по гражданской войне. Казалось бы, эти два человека преуспевают, один стал адмиралом, другой — академиком. Но слушайте:

— Адмирал,
под луной
вновь стаканы налей.
Пью за синий твой дом,
пью за путь кораблей!
— Счастлив ты?
— Я не знаю...
— Не знаю и я.

Все в порядке —
работа,
любовь
и семья,
Только,
если не замерло
сердце в груди,—
Настоящее счастье
всегда впереди.

Всегда? Не правда ли, этот бодрый афоризм не дает утешения, не заглушает грустной интонации. Жажда счастья — полного, несомненного, не завтрашнего — все-таки живет, она не удовлетворена. Как и у Маяковского. И так же, как и у него, это счастье — в самоотдаче ради того, чтоб победил «планеты пролетарий».

Нам положено было
закалять в пути:
Для пяти континентов
все счастье
найти.
— Через горе и смерть?
— Через горе и смерти!
Только б истину знать,
только б верить
и сместь!

Верить в такое счастье — это не значит веровать. У Луговского слово «верить» стоит рядом со словами «истину знать». Его герои сердцем верят в счастье оттого, что знают истину истории, уже давшей много прекрасных плодов, как тот ботанический сад, куда старый ученый пригласил адмирала.

Слышишь —
варево жизни
кипит, как в котле,—
Это корни
ворочаются
в земле,
Это травы ползут,
это почки шуршат,
Это юность весны
потревожила сад.

Так же цветет земля, так же врывается юность в жизнь немолодого человека в «Грустной песенке» Михаила Светлова:

Ходят грустной парюю
Комсомольцы старые.
Как горел их жадный взгляд
Ровно сорок лет назад!
А земля березовая,

А земля сосновая,
 А земля вишневая,
 А земля рябиновая,
 А земля цветет!..
 Я прошу вас всеми чувствами:
 Никогда не будьте грустными!
 Это в старости, друзья,
 Привилегия моя.
 По земле, накрытой зеленью,
 Ходит, ходит население,
 Ходит в поле и в лесу,
 Я ответственность несущу.

Печальная и теплая, осенняя светловская улыбка! Частушечное лукавство не скроет от нас, что поэт и впрямь «ответственность несет» за молодость мира, что он действительно чувствует себя хозяином этой земли; смотрите, он назвал ее не «покрытой», а «накрытой зеленью». Накрытой — точно стол скатертью у радушного хозяина.

«Вырабатывать счастье» — это выраженное Маяковским стремление по-своему преломилось у Светлова:

Я радость добывал, и есть усталость,
 Но голос мой не стих и не умолк.

Перед нами и тут не безбедное житье. Читая последние стихи Светлова, мы знакомимся с человеком, чья благородная старость — это подведение итогов жизни мужественной и чистой, отданной одной цели — быть «живою каплей в коммунистической волне».

И у других поэтов находишь пафос трудного пути к этой цели, ради которой многое приходится на своем веку преодолевать. В том числе «амортизацию сердца и души».

Сердце мне сказала: я устало,
 Не кори меня и не суди,
 Вспомни, как нас в жизни помотало,
 Глянь, какие дали позади.

Это Николай Грибачев. А вот Леонид Мартынов:

...И что не удавалось,
 То удалось.
 Отсталость наверсталась
 Давным-давно.
 Осталась лишь усталость.
 Не мудрено!
 Усталость разрасталась
 В вечерней мгле;
 Усталость рассталась
 По всей земле...

Стихотворение Грибачева «Своему сердцу» кончается прямой патетической публицистикой:

Не могу стоять затылком к бою,
 Перед новым делом быть в долгу...
 Значит, бейся, сколько можешь биться,
 А когда почувствуешь беду,
 Не проси меня остановиться —
 Можешь разрываться на ходу!..

Иной эмоционально-образный строй отличает стихотворение Мартынова «Усталость». Поэтическая идея преодоления тяжести пути настоящим человеком выражена здесь опосредствованно, но она ясна:

Прилег ты напоследки,
 Едва дыша.
 Но ведь в грудной-то клетке
 Живет душа!
 Вдохнул. И что же случилось?
 Твой вздох, глубокий,
 Повеял на усталость,
 Как ветерок.

Это преодоление усталости, которую несут с собой годы трудной работы, не проходит бесследно, — иначе бы мы не говорили о героике народной жизни.

«Он долго стоял с непокрытой головой, словно прислушивался... стоял не шевелясь, по-стариковски горбясь». Таким на последней странице «Поднятой целины» видим мы Андрея Разметнова. А вот строки о его друге Нагульнове: «Он взял ключи и, молча повернувшись, шаркая подошвами сапог, пошел к сельсовету» (разрядка моя. — А. Д.). Но ведь он далеко еще не старик, секретарь партячейки Макар Нагульнов! И далеко не старик председатель колхоза Семен Давыдов, который, однако, ловит себя на том, что стал как-то уж очень сентиментален. «Нет, не старость этому имя!» — опять вспоминается Маяковский. И еще:

Товарищ жизнь,
 давай
 быстрее протопаем,
 протопаем
 по пятилетке
 дней остаток.

Остаток — когда, казалось бы, жить даже жинть...

Сказываются нечеловеческие усилия борьбы. «Машину души с годами изнашиваешь». Сказываются «года труда и дни

недоеданий». Сказываются и тяготы будней, иногда внешне и благополучных, но норовящих придавить человека своей повседневной, надоедающей обыкновенностью. Той, кто, наскучив шолоховскому Давыдову, толкнула его в Лушкины сети. Той, что заставила Нагульнова и Разметнова искать себе диковинные занятия: один слушает ночами петушиное пение, ища хоть в нем недостающей ему с некоторых пор романтики, другой иступленно палит по кошкам, охотящимся за голубями... Только большевистская закваска героев, остающихся бойцами партии, да очистительное воздействие общества, влияние революционизирующейся деревни, ими же разбуженной к новой жизни, а теперь глядящей на них с надеждой и требовательностью, дают им силу выстоять, не изменить себе, победить.

В творчестве художников самых разных литературных (да и не только литературных) пристрастий звучат мелодии, показавшиеся сперва автору «Мелкой философии на глубоких местах» не очень законными для искусства, «годного к употреблению». А они законны для него, законны потому, что вызваны к жизни самой реальностью, прошедшей через сердца художников, верных коммунистическому идеалу. И если такие мелодии у того или иного автора перехлестнут границы его первоначальной литературной программы, оказавшись не предусмотренными заранее,— что ж, значит, эту программу пора расширить и обогатить.

Соотношение замысла и его воплощения, соотношение «запланированного» и стихийного в творчестве бывает разным, в одних случаях идейная задача с самого начала вырисовывается в сознании художника с большой четкостью и конкретностью, в других она заметно уточняется в самом процессе работы и даже может оказаться теоретически не до конца осознанной самим автором. Как бы то ни было, художник-ленинец лишь тогда отдает свое произведение на суд народа, когда сам убежден, что оно отвечает идеалам Коммунистической партии, интересам трудовых масс, строящих новую жизнь. «Я меряю по коммуне стихов сорта»,— писал Маяковский. Это мерило чуждо всякой аморфности, оно отличается строгой классовой определенностью и вместе с тем — это тоже нужно подчеркнуть! — широтой и гибкостью.

Что же скрывать, порой недоверчивое отношение к принципам творчества «прицельного», исходящего из сознательно поставленных идеологических и политических

задач искусства, в значительной степени объясняется тем, что на практике истолкование таких задач нередко оказывалось не лишенным субъективизма, волюнтаристской предвзятости, ограниченности. Эти извращения действительно связывали творческую инициативу, в какой-то мере лишали искусство и эстетической и политической эффективности. Что, однако, отсюда следует? То, что в литературно-художественном процессе надо отмежеваться от произвольно заданной, ложной нормативности, а вовсе не от любых критериев и норм вообще. То, что должны быть выброшены на свалку необоснованные и некомпетентные требования к искусству, тогда как нельзя отрещиваться от объективных требований жизни, требований развития подлинно социалистической культуры. То, что художнику нужно бичевать в себе склонного к перестраховке «внутреннего редактора», но отнюдь не отказываться в принципе от всякого самоконтроля, продиктованного устремленностью к намеченной общественной цели.

Разумеется, такая устремленность не заменяет творческих поисков, направлений, которых корректируется с каждым новым художественным открытием и с каждым новым поворотом жизни, а лишь облегчает их, делает более эффективными. Надо ли доказывать, что это уже очень много!

Идейная целеустремленность художника, вооруженного марксистским взглядом на мир, не только дает ему ключ к глубокому обобщению даже скрытых от глаз процессов, но и определяет, говоря словами кинематографистов, высокую «точку съемки» — точку зрения борцов за коммунистический уклад жизни, определяет наибольшую общественную отдачу правдивых типических образов, рельефно показывающих важные стороны жизни, положительные и отрицательные, и помогающих их правильно оценить строителям и защитникам нового общества. Именно такой характер типизации отличает классические произведения социалистического реализма.

Вспомним главу из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин», где герой перед боем рассказывает своим товарищам, как вместе с другими бойцами он выходил из окружения, пробираясь по занятой врагом земле. С самого начала этой чрезвычайно емкой главы ее действие развивается сразу в двух планах: мы следим, во-первых, за тем, что происходило, когда Теркин с товарищами отстал от своих войск, и, во-вторых, за тем,

как он теперь, много времени спустя рассказывает об этом бойцам, которым скоро идти в сражение. Эти две линии проходят параллельно: читатель одновременно воспринимает сюжетное, эпическое изображение прошлых событий и лирико-психологическую характеристику героя в настоящем. Такая композиция главы позволяет показать, что Теркин в пути и Теркин перед боем — это один и тот же типический характер, но в различных обстоятельствах он проявляется по-разному. Художник, как бы наложив один рисунок на другой, дал нам их посмотреть на свет. В результате те контуры, которые в обоих рисунках совпадают, выделились особенно резко. В них-то и выражены центральные идеи главы.

Сопоставим оба художественных пласта — и мы увидим, что общим в них, и оттого наиболее подчеркнутым, явилось воплощение той закономерности нашей жизни, той внутренней связи, которую коротко можно определить так: рядовой советский человек — партийная совесть — гуманизм.

Вспоминая, как группа бойцов, отставших от своих частей, избрала себе командиром одного из солдат, герой добавляет:

Я ж, как более идейный,
Был там как бы политрук.

И краткость этого сообщения, и застенчиво-иронический оттенок слов «как более идейный», и то, что Теркин, прямо назвав товарища «командиром», себя называет «как бы политруком», — все это говорит о том, что он стесняется рассказывать о своих заслугах. Но, по существу-то, он выполняет именно роль политрука и именно в этой роли воспринимали его спутники. Когда группа проходила мимо деревень, где жила семья «командира», тот мог бы взять и зайти к себе домой, ни у кого не спрашивая ни совета, ни разрешения. И все же он обратился за советом — и не к кому-нибудь, а именно к Теркину, потому что тот, рядовой воин, стал в глазах этой группы партийной совестью:

— По пути моя деревня,
Как ты мыслишь, политрук?

Читателю ясно, что «мыслить» Теркин мог только одно: не надо бы туда заходить, рискованно задерживаться. И «командира» одного отпускать нельзя: без него легко заблудиться. И все же любой поймет, почему Теркин не в силах был отказать товарищу:

Тут какой бы ни был строгий,
А сказал бы ты: «Зайдем...»

Разрешение этого конфликта — один из ярких образцов социалистического гуманизма нашей литературы. Быть рядом со своей семьей и не зайти к ней, зная, что ты можешь уже никогда с ней не увидаться, — это кажется бойцу невыносимым, это свыше его сил. Ради того, чтобы в таких исключительных обстоятельствах пойти навстречу товарищу, рискуют жизнью десять человек. Ведь их путь к фронту, как и вся их жизнь, имеет целью одно: служение людям, таким, как этот воин и его семья. Но в то же время смущение «командира» и колебания «политрука» дают нам почувствовать и другое: долг перед страной, перед миллионами людей властно зовет их дальше, в путь, к своим. В этом стремлении — та же высокая человечность советских патриотов.

Так эпический план повествования раскрывает в Теркине большевистские качества, качества политрука не по должности, а по призванию. Те же качества, но уже по-иному выявляет другой художественный план — лирический. Весь рассказ, или, как говорят, «сказ», Теркина — это, по существу, агитационная беседа перед сражением (глава так и названа — «Перед боем»), беседа, которую заключает мобилизующий вывод: врага надо «бить спешить».

Вот герой повествует о прошлом. Слушающим его воинам не пришлось испытать тяжести пути «с той, с немецкой стороны», того пути, память о котором так властно ведет Теркина на борьбу с гитлеровцами. То полностью отдаваясь нахлынувшей на него волне воспоминаний и как бы забывая о слушателех, то прямо обращаясь к ним («вот как было с нашим братом»), боец заставляет их почти воочию увидеть и пережить то, о чем он рассказывает. Тем больше будет у них болеть сердце при мысли о земле, стонущей под игом фашизма, тем яростнее они будут сражаться в предстоящем бою. Поэтому Теркин не пытается скрыть горькую правду:

То была печаль большая,
Как брели мы на восток.

Совсем иначе действовал герой тогда, в пути. Он и там был агитатором, воспитателем. Но если бы в то время он дал волю своим горьким чувствам, это только усилило бы и без того угнетенное, подавленное состояние бойцов. Нет, тогда он не мог излить накипевшую боль...

Тут мы снова перешли к эпической стороне главы, к картине прошлого.

Шли бойцы за нами следом,
Покидая пленный край.
Я одну политбеседу
Повторял:
— Не унывай.

Вот он, знаменитый теркинский юмор!.. Таким образом, один рисунок просвечивает сквозь другой. В одном — улыбка, в другом — печаль. В одном — сдержанность, почти скрытность, в другом — откровенная лирическая исповедь. В одном — события, фабула, действие, в другом — психология, повествование, раздумье. Но в какой-то части оба рисунка полностью совпали, и в этом месте краска, естественно, кажется нам наложенной более густо, а контуры — очерченными более четко. Так возникает резко выделяющийся, общий для обоих рисунков силуэт, в котором как раз и выражено то решающее, основное, без чего образы этой главы, как и всей поэмы, не были бы типичными. Через единичные проявления общей сущности проступает сама эта сущность. Проявления разные, а суть одна — партийная, коммунистическая.

И заметьте, она не отрицает, а несет в себе и наполняет новым смыслом общечеловеческие начала. Замечательна, например, особенность героя, присущая и самому поэту, — свойство мысленно ставить себя на место других людей, входить в их положение, смотреть на вещи их глазами. Перечитаем прекрасные строки в рассказе Теркина о «старшем воине» и его жене:

Кончив сборы, разговоры,
Улеглись бойцы в дому.
Лег хозяин. Но не скоро
Подошла она к нему.
Тихо звякала посудой,
Что-то шила при огне.
А хозяин ждет оттуда,
Из угла.
Неловко мне.

Теркин не может остаться равнодушным к переживаниям этой женщины, которая утром должна проститься с самым родным на земле человеком, и — кто знает? — может быть, уже навеки. Тихая, взволнованная, она не гасит свет, ждет, пока все уснут в доме, моет посуду, шьет что-то — не хозяйину ли в дорогу? Всего несколько часов осталось до рассвета, но она, как невеста, долго еще не подходит к нему,

боясь хоть каким-нибудь неосторожным движением нарушить высокую и чистую праздничность этой ночи. «Грустный праздник» у нее сегодня... Противоречивые, горькие и в то же время радостные чувства «доброй женщины простой» близки герою. Наглядно проявляется эта способность Теркина смотреть на окружающее глазами тех людей, которым он всей душой сочувствует, в его воспоминаниях об эпизоде с детьми:

Поглядеть — бойцы чужие,
Ружья разные, ремни.
И ребята, как большие,
Словно поняли они.

Все тут, вплоть до выражения «ружья разные» (а не «винтовки»), говорит об умении героя проникнуть в психологию этих ребят. Он понимает, что непривычные солдатские ремни сразу бросятся им в глаза и что горькие и тревожные чувства взрослых, может быть, и не совсем понятные ребенку, не могут не отозваться в восприимчивом и чутком детском сердце.

Такие общечеловеческие черты героя не имеют ничего общего с готовностью возлюбить любого и каждого, ведущей к всепрощению и пацифизму. Именно революционный, героический гуманизм, патриотический долг, совесть, страстное желание одолеть врага ведут героя из прошлого и настоящего в победный завтрашний день. Этим и объясняется одна из важных особенностей сюжета и композиции главы. И экспозиция (путь бойцов на восток), и завязка (решение зайти к жене «старшего воина»), и кульминация (плач детей перед расставанием) — все это в прошлом. Развязка же — возвращение Теркина с армией-освободительницей в ту деревню, где он оставил семью товарища, — в будущем.

И снова параллельно идут две линии: на этот раз лирической линии теперешних чувств и раздумий сопутствует новая эпическая линия, воссоздающая то, что еще предстоит. Подобно тому как лирически выраженное в беседе с бойцами сопереживание, сочувствие «старшему воину» не могло быть раньше открыто высказано ему самому, — не сможет быть открыто выражено сочувствие и его жене, если Теркин в один из дней войны встретит ее:

Про хозяина ли спросит —
«Полагаю — жив, здоров».
Взять топор, шинелку сбросить,
Нарубить хозяйке дров.

И дальше следует потрясающей силы четверостишие:

Потому — хозяин-барин
Ничего нам не сказал.
Может, нынче землю парит,
За которую стоял...

Сказать так, так подумать может лишь тот, кто сам каждый день смотрит смерти в глаза. Со злой и горькой иронией вспоминает Теркин пословицу «Хозяин — барин»: какие мы теперь хозяева! Сегодня наш брат — хозяин на своей земле, а завтра, глядишь, ляжет он в эту землю — вот тебе и все... Не весела эта ирония Теркина. И скорбью полны последние два стиха строфы, в которых сливаются нарочито грубое «землю парит» и возвышенное «стоять насмерть за родную землю», передавая всю откровенную, резкую, безжалостную и в то же время святую правду войны.

Итак, характер Василия Теркина в этой главе почти постоянно раскрывается в двух плоскостях: мы, как правило, одновременно видим, с одной стороны, прошлое или будущее героя, когда подлинные импульсы его поведения скрыты, а с другой стороны — его настоящее, когда эти импульсы непосредственно выявляются в воспоминаниях и раздумьях. Первому соответствуют главным образом эпические, изобразительные средства, второму — лирические, выразительные. Объединяет же оба плана повествования, повторяется в них, оказываясь, таким образом, наиболее заметным, выпуклым, рельефным, прежде всего подлинное человеколюбие передового — и в то же время рядового — советского человека. Отчего солдаты называли Теркина «политруком»? Он ведь был таким же, как они, рядовым бойцом. Теркин полюбился товарищам своим активным и человеческим характером, такими чистыми душевными свойствами, которые в сознании этих людей связаны с партией, открывшей им свет новой жизни. И, с другой стороны, именно социалистический гуманизм героя заставляет его взять на себя обязанности «политрука», идейного вожака солдат. Не менее характерно и то, что к роли такого вожака, идейного вдохновителя оказался готов простой боец.

Мы видим, что поэтическую идею этой поэмы, ее центральный нерв составила проникновенная и активная человечность, обогащенная тем новым, чему народ обязан социалистической революции и что исключительно важно для его дальнейшей борь-

бы за коммунизм. События войны можно было типизировать под разным углом зрения; поэт упорно искал таких акцентов, которые бы отвечали задаче типизации с партийных ленинских позиций.

Известно, что Б. Горбатов называл создание повести «Непокоренные» выполнением «партийного поручения». И хотя прямого «заказа» он не получал, все же он был прав: партия и народ «поручили», доверили советским писателям принять своей литературной работой максимальное участие в священной борьбе против фашистской чумы, а выбор поэтического оружия был уже делом самих писателей. Это ощущение боевого партийного задания, ощущение долга перед страной было характерно и для других советских художников. «Твой тяжкий заказ принимаю» — эти слова О. Берггольц были обращены к юной читательнице, а по сути дела — и к тысячам других читателей, к народу. О сознательной целенаправленности поэзии писала В. Инбер:

Используем все огневые средства
Для ненависти огненной к врагу.
Боль старости, загубленное детство,
Могилка на далеком берегу...
Пусть даже наши горести и беды
Являются источником победы.

«Я так приступаю к решению задачи...» — вот какими словами начинается поэма М. Алигер о Зое Космодемьянской. «Партийное задание», «задача», даже «заказ» — наши художники не боятся этих слов, потому что задание времени есть одновременно задание их собственной совести. Не оно ли определило в годы войны то «направление главного удара» в литературе, на котором родилось столько прекрасных произведений! В каждом из них с большой силой раскрылась личность его автора.

Так, по-своему, зазвучал в творчестве каждого поэта могучий мотив жажды победы, жажды мира, жажды жизни, свободной от фашистского кошмара. Буквально — жажды!

Воду пить.

Вспомни, как это было.

Постой!

Можно пить из стакана —

и вот он пустой.

Можно черпать ее загорелой рукою.

Можно к речке сбегать.

можно к луже

припасть

и глотать ее,
 пить ее,
 пить ее всласть.
 Это сон,
 это бред,
 это счастье такое!

Это тот эпизод из поэмы Маргариты Алигер «Зоя», когда гитлеровский палач вместо кружки с водой подносит к иссушенным губам партизанки горящую керосиновую лампу без стекла.

Сходный мотив найдем мы в поэме Веры Инбер «Пулковский меридиан»:

Вода!.. Бывало, встанешь утром рано,
 И кран, с его металла белизной,
 Забулькает, как соловей весной,
 И долго будет течь вода из крана.

Наконец, припомним самую первую строфу поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин»:

На войне, в пыли походной,
 В летний зной и в холода
 Лучше нет простой, природной —
 Из колодца, из пруда,
 Из трубы водопроводной,
 Из копытного следа,
 Из реки какой угодно,
 Из ручья, из-под льда,—
 Лучше нет воды холодной,
 Лишь вода была б вода.

Известная общность художественных путей здесь несомненна. Она сказывается даже в сходстве поэтических деталей. Привычные пропорции смещаются, обыкновенное и естественное отчасти переводится в план возвышенный. У Твардовского и Алигер это сказывается, в частности, в так называемых анафорах — повторениях в начале стихотворных строк, в нагнетании однородных мотивов. Твардовский пишет: «из реки какой угодно», Алигер — «можно к речке сбегать»; Твардовский говорит «из копытного следа», Алигер — «можно к луже припасть». Простое желание переходит или почти переходит в мечту, связанную с воспоминанием о том, с каким наслаждением человек когда-то пил воду. «Бывало, встанешь утром рано...» — пишет Инбер. «Вспомни, как это было», — как бы вторит ей Алигер. В этих мечтах-воспоминаниях наряду с живым, конкретным, «осязаемым» представлением, связанным с образом воды, появляются самые поэтичные сравнения.

У Инбер кран «забулькает, как соловей весной», у Алигер мы видим сравнение с русской песней, с ветром «над лунной рекою».

Каждый из поэтов самостоятельно пришел к этим образам. Надо было еще и еще раз заставить читателя во всей остроте ощутить, что фашизм лишает людей самого насущного в жизни, самого необходимого, самого естественного. Для выражения этого ощущения в палитре разных художников нашлись сходные краски. И отсюда появлялся и повторялся мотив поэтизации воды, хлеба и т. п., приобретающий символический характер. Выражение переживаний человека, начавшего по-особому ценить то, что прежде было простым и незаметным, человека, мечтающего о глотке воды, как о чуде, способствовало созданию общей эмоциональной атмосферы, усиливающей у читателя неистребимое стремление к освобождению социалистической Родины, без которой нельзя жить, как нельзя жить без воздуха или без воды. Вместе с тем воплощение переживаний человека, ценящего, как счастье, каждую каплю влаги, не теряло и своего конкретно-бытового значения. Оно передавало те испытания, которые легли на плечи народа; чем тяжелее эти испытания, тем яснее вырисовывалась стойкость советских патриотов. Можно прожить без воды и без пищи, говорили эти произведения, но без коммунистической правды мы жить не можем и ради нее пойдем на любые трудности и испытания.

А всего иного пуще
 Не прожить наверняка —
 Без чего? Без правды сущей,
 Правды, прямо в душу погущей,
 Да была б она погуще,
 Как бы ни была горька,—

писал Твардовский. «Я умру, но правда победит!» — восклицает Зоя в поэме Алигер.

Совпали задачи, совпали и какие-то грани таланта поэтов. Но даже из приведенных маленьких отрывков видно, что ни одному из них не пришлось поступаться своей оригинальностью. У каждого — свой особый слог, своя тема, свое восприятие мира. У Твардовского во всей конкретности рисуется повседневный армейский быт и ясно слышатся интонации неторопливого солдатского разговора, рассказа бывалого воина. В чеканных строках Инбер переживания лирической героини фиксируются ее четкой, отточенной мыслью, и строфа со-

храняет целостность и завершенность очередной дневниковой зарисовки, запечатлевающей будни осажденного Ленинграда. Большого эмоционального накала достигает в своей поэме Алигер, передавая невыносимые муки героини и стойкость ее духа, усиливая трагическое и героико-романтическое звучание произведения.

Как видно из этого небольшого сопоставления, художники сохраняют всю свою самобытность даже в тех случаях, когда необходимо сосредоточить, сконцентрировать на одном направлении силы разных авторов. Но можно привести десятки и сотни примеров обратного порядка, когда требуется именно «непохожесть», разумное «разделение труда» между художниками.

В биографии Аркадия Гайдара был такой эпизод. Писатель с увлечением работал над повестью «Бумбараш». Но вот появилась книга Валентина Катаева «Шел солдат с фронта», в чем-то близкая к тому, что он задумал. И Гайдар не стал заканчивать рукопись, несмотря на все уговоры друзей. Зная неповторимый гайдаровский талант, можно не сомневаться, что его произведение было бы не только правдивым, но и оригинальным, не перепевало бы мотивы повести Катаева; но Гайдар органически не мог пойти проторенной тропой.

Советский писатель, понимающий, что он в долгу «перед всем, что не успел написать», ищет на литературной карте белых пятен, неразработанных тем, неиспользованных возможностей. Из этих возможностей писатель социалистического реализма выбирает те, которые имеют существенное значение для жизни трудового народа и в то же время близки его таланту,— только в этом случае его произведение будет наиболее сильным, прочувствованным, убеждающим. Вот в чем своеобразие «распределения сил» в литературно-художественной жизни. На заводе рабочим дает задание мастер. В искусстве дело обстоит иначе: там сама природа труда другая, автор сам является мастером, сам выбирает себе «технологию», «детали», «производственные задания». Ему можно помочь подробной во-время мыслью, тонким наблюдением, добрым советом, товарищеской критикой, на-

конец; но ему нельзя дать распоряжение создать такие-то произведения, такие-то образы. Тем больше ответственность самих художников за правильный выбор «рабочего места», за то, чтобы ни один важный участок идейного фронта не оставался оголенным. Они не могут себе позволить жить как попало, брести куда придется, писать что бог на душу положит, забыв о своей ответственности перед народом.

Нельзя не согласиться с Г. Марковым, говорившим в своей речи на XXIII съезде партии, в частности, об ошибочности рассуждений, «что был бы, мол, талант, а все остальное — знание жизни, идейная убежденность, ответственность перед народом — придет само, талант при любых обстоятельствах вывезет. Конечно, талант в искусстве подобен зерну, без которого не взрастет никакого колоса. Но идейность художника, его партийное мировоззрение, его прочные связи с народом — это и солнце, и воздух, и вода, без избытка которых семя заглохнет в почве, едва лишь выпустив первый росток, или вырастает хилым и неполноценным».

Об этом говорил на съезде и Л. Кулиджанов, подчеркнувший, что для наших мастеров искусств «сознание собственной партийности, собственной принадлежности к армии борцов за коммунизм составляет предмет огромной гордости».

Решения XXIII партийного съезда, ориентирующие нас на все более полное овладение реальными закономерностями революционно развивающегося общества, помогают глубже понять и миссию сегодняшней советской литературы. Успешно выполнять эту миссию — значит быть верными коммунистическим традициям нашего искусства. Традициям, не терпящим эпигонства и «хрестоматийного глянца». Традициям, немислимым без смелых поисков нового, жажды открытий, остроты взгляда на мир, неуемности художественного дерзания. Именно такой традицией является гуманнейшая в истории нацеленность писательского труда, его сознательное подчинение одной генеральной идее: приблизить предсказанное наукой счастье трудового люда всех материков земли, счастье, свободно творимое им самим.



Герой против автора

Недавно в широко известной читателю серии «Жизнь замечательных людей», основанной еще Максимом Горьким, вышла книга Льва Копелева «Брехт».

Самый факт включения в эту серию биографии Брехта — великого писателя современности и крупнейшего театрального деятеля — нельзя не приветствовать.

Хорошей, обстоятельной биографии Брехта пока не существует даже на родном ему немецком языке. Лев Копелев не имел в этом смысле предшественников, он провел немалую самостоятельную работу по сбору материалов о жизни замечательного немецкого художника, творчество которого вошло в мировую прогрессивную культуру.

Итак, самое намерение создать биографическую книгу о Брехте — несомненно, доброе намерение. Сбор сведений о его жизни и творчестве также, безусловно, доброе дело. И тем не менее результаты работы Льва Копелева над книгой о Брехте нельзя оценить положительно.

Нельзя по многим причинам. И прежде всего по причине глубокого непонимания автором монографии характера избранного им героя, важнейших принципов, лежавших в основе его жизни и творчества, составлявших, как сказал бы Белинский, его задушевленную идею.

Бертольт Брехт жил в сложные времена. Он пережил две мировые войны. Великий Октябрь помог ему встать в ряды борцов за революционное изменение мира. Он был среди тех, кто мужественно сражался

с фашизмом и кто позднее строил на востоке Германии молодую социалистическую республику — ГДР. С юных лет Бертольт Брехт был не свидетелем событий, а их участником — политическим борцом. Не сразу, но рано пришел он к марксизму. В начале своего пути он нередко упрощал идеи марксизма, но скоро избавился от идейных упрощений и вырос в крупнейшего марксистского мыслителя, в художника, произведения которого сложились на прочной основе марксистско-ленинской эстетики. И, наконец, Брехт был одним из зачинателей социалистического реализма в немецкой литературе. Он достиг поистине новаторских успехов на своем писательском пути, все лучшее, что он создал, было завоевано им на путях трудной и непреклонной социальной борьбы. Именно политическая активность, глубокая партийность составляли подлинный стимул и нерв его творчества.

Есть у Брехта стихотворение «Литература будет проверена», в котором писатель, обращаясь к грядущему, говорит о тех, кто, подобно ему самому, жил и творил для народа:

...будут прославлены те, кто писал,
Сидя на голой земле.
Кто сидел среди униженных,
Кто сидел бок о бок с борцами,
Кто писал о страданиях народа,
Кто писал о днях борцов...
Их описанья нужды, их призывы
Будут нести на себе отпечаток

Пальцев простых людей. Ибо им, этим
людям, их поручили,
И они их несли под своей пропотевшей
рубахой,
Сквозь цепь полицейских кордонов —
К своим собратьям.

Да, настанет время,
И все эти мудрые, все эти добрые,
Гневные и радостно ждущие,
Те, кто писал, сидя на голой земле,
В тесном кругу борцов и униженных,—
Вот кто будет прославлен!

Да, написать биографию Брехта — это значит прежде всего прославить его как революционного борца, показать его могучий творческий характер, в котором органически слились убежденность марксиста, воля воителя и отвага мастера.

Как же представлен в книге Л. Копелева образ, характер Брехта? Видим ли мы его таким, каким он был на самом деле?

У Л. Копелева довольно широко выписан исторический фон, на котором протекала деятельность Брехта. Но связь немецкого писателя с событиями, включенность его в исторический процесс показаны мало и слабо. В книге Л. Копелева Брехт нередко выводится за пределы политической борьбы, дается как человек, созерцающий происходящее как бы со стороны, колеблющийся, присматривающийся. Между тем Брехт был всегда человеком действия, слово его всегда становилось делом. Не будучи формально в партии, он был с молодых лет человеком партии, и творчество его было партийно. Он был с первых своих шагов в литературе и искусстве бойцом, и революционная цель, революционное намерение всегда освещали его творческие замыслы.

Л. Копелев пишет о Брехте увлеченно, но, к сожалению, совсем недостаточно выясняет именно революционную целеустремленность большинства художественных произведений своего героя. Это тем более странно, что писатель сам прокомментировал многие свои пьесы, открыто рассказал, какими намерениями они были вызваны к жизни. Зачастую Брехт как бы вступает в спор с собственным биографом.

Автор книги рассказывает о раннем Брехте довольно обстоятельно. Он показывает его окружение, говорит о том, что Брехт уже в юном возрасте выделялся «над средой», но цели его творческих исканий выявляет крайне нечетко, неясно. Брехт, пишет он, начинает борьбу за новый театр.

«Мнение литературных кондитеров, любителей сладкой кремовой словесности, цукатных стишков и пьес-тортов он может предсказать заранее. Новый театр нужно создавать вопреки им». Но в чем же сущность нового театра, за который боролся Брехт? На это следует такой ответ: «Нужны такие пьесы, такие спектакли, чтобы могли соперничать с боксом, футболом, гонками». Вряд ли Брехт признал бы такой ответ точным и полным: он ведь уже в юные годы задавался социальными целями.

В характеристиках ранних пьес Брехта Л. Копелев упускает важнейший мотив их социальной направленности, их острой для Германии того времени идейной проблемности. «Ваал», «Барабаны в ночи» описаны критиком, но при этом острота пьес притушена. Ведь критик не говорит ни о протесте против «асоциального общества» в «Ваале», ни о развенчании взбесившегося мещанина в «Барабанах». О пьесе «Жизнь Эдварда II, короля Англии» (по Марло), созданной драматургом в сотрудничестве с Лионом Фейхтвангером, сообщается, что она написана, чтобы «начинать мятежный штурм старого театра», но опять-таки не говорится, что же нового хотели принести Брехт и Фейхтвангер на немецкую сцену.

Пьесе «Что тот солдат, что этот» Л. Копелев перевел на русский язык. Он, следовательно, хорошо знает ее текст. Но почему же он так аполитично ее трактует? Ведь сам Брехт в разного рода комментариях к этой пьесе подчеркивал ее политический характер, ее актуальное значение в борьбе против милитаризма и обывательской капитуляции перед силами политического зла. Все это в высшей степени остро звучало в условиях тогдашней Германии. Все это имело отчетливую социальную окраску. И опять герой книги приходит в противоречие со своим исследователем. Ведь Л. Копелев в комментариях и к этой пьесе не считается с замыслом, с мыслью Брехта. У писателя его персонажи — солдаты — это убийцы, бандиты, шакалы, это ландскнехты империализма. Но Л. Копелев пишет о них так: «А чем отличается киплинговский томми от любых других вояк, от нацистских штурмовиков? В толпе, в строю они убийцы и герои...» Мягко говоря, тут критиком выражен взгляд со стороны, любование этаким «экзотикой» конквистадорства, будь это «киплинговские томми» или .. «нацист-

ские штурмовики». Но Брехт-то находился в гуще схватки, и тут было уж не до «экзотики».

Брехт в своих комментариях к той же пьесе говорит, что его интересовал процесс превращения обывателя, мелкого буржуа в бандита. А Л. Копелев предлагает нам иную, абстрактно-гуманистическую, а в сущности, пацифистскую трактовку темы Брехта: «как человек перестает быть личностью, а становится солдатом...» Брехт — и Л. Копелев сообщает об этом — в дальнейшем дописывает к пьесе новые сонги. Но, даже цитируя один из них, критик так и не замечает его прямой антифашистской, политической в условиях тогдашней Германии направленности. Разве трудно распознать намерение автора в строках, которые приводит сам же биограф:

...Тот, кого так переделать сумели,
Будет средством, пригодным для всякой
цели.
Упустим сегодня, забудем о нем,
А завтра он к нам же придет палачом.

Но Л. Копелев верен себе, — он, как сказал бы старик Гегель, элиминирует политическую проблематику, обходит ее.

При рассмотрении других пьес зачистую происходит то же самое: автор книги о Брехте гасит остроту реальных жизненных противоречий, смягчает смысл социальных конфликтов, интересно и сложно отразившихся в творчестве немецкого драматурга. А там, где герой его не укладывается в созданную для него биографом схему, Л. Копелев его не одобряет и даже журит.

В «Махагони», утверждает Л. Копелев, «прямолинейно, даже упрощенно высмеивается буржуазная мораль, а заодно и романтическая идеализация Америки». Но о том, какое значение эта пьеса имела в тогдашних германских условиях, не сказано ничего. Биограф Брехта не видит в мотивах этой «оперы» проекции на современную немецкую действительность, на капиталистическую Германию шибберов, рафке и прочих спекулянтов. Автор упускает, не развивает даже собственное сообщение, из которого явствует, что под городом «Махагони» Брехт не раз имел в виду Берлин, о чем существуют его прямые высказывания. Так же и с остро актуальной в предфашистской Германии пьесой «Чрезвычайная мера», — пьесой, ставившей с большой силой проблему революционного долга, проблему, волновавшую немецких револю-

ционеров. О ней Л. Копелев дает целую сводку различнейших мнений — все они подаются, как, в сущности, равноправные, так что в общем хоре голосов тонет и остается не поддержанной автором брехтовская мысль: «нравственные принципы — это классовое понятие».

Из привлеченных самим Л. Копелевым высказываний Брехта видно, как прочно стоял этот писатель на классовых позициях, как важны были для него классовые критерии. Но вопреки смыслу фактов и документов биограф то и дело стремится приглушить их подлинную остроту. Он нередко отказывается от классовых, политических критериев в анализе, в комментариях к творчеству Бертольта Брехта. Сошлюсь на характерный пример, на определение капитализма, которое дает критик. «Капитализм, — пишет Л. Копелев, — безлик и существует не только в банках, конторах трестов, особняках фабрикантов, но и в душах миллионов людей. Капитализм — это микробы стяжательства, спирохеты корысти, которые проникают в убогие жилища бедняков, под рабочие куртки, в кудрявые ребячьи головы». Так довольно легко и просто стираются грани капитализма, как вполне определенного социального, исторического, классового явления, оно становится расплывчатым: в капитализме повинны все, даже бедняки и дети; становится идеалистически туманным, почти христианским: дави в своей душе микробы стяжательства, корысти, и не будет на земле никакого тебе капитализма! И пишется все это таким образом, что читателю и не понять, кто же это утверждает: Копелев или Брехт? Но Брехт не мог считать капитализм «безликим», не мог растворить в чем-то массовидном объект своей ненависти, образ реального классового врага. И здесь герой книги снова оказывается несогласным со своим комментатором. Это Брехт в 1933 году написал «Песню о классовом враге», содержащую такие политически страстные, бескомпромиссные строки:

Мы с тобою враги по классу, —
Надо раз навсегда сказать.
Кто из нас не отважился драться,
Отважился умирать.

.
Генерал, фабрикант, помещик,
Ты — наш классовый враг.
...Что бы ни было, помнить нужно:
Пока мне жизнь дорога,

Мне навеки пребудет чуждо
Дело классового врага.

Соглашений с ним не приемлю
Нигде, никогда, никак.
Дождь падает с неба на землю,
И ты — мой классовый враг.

Так писал Брехт в 1933 году, в трагическом году немецкой истории. Но он пришел к таким позициям намного раньше, пришел как мыслитель и художник. А это, к сожалению, старательно притушено его биографом. Единственная пьеса Брехта, о которой Л. Копелевым написано довольно верно, — это «Мать» (по Горькому). И замысел, и история постановки, и содержание пьесы освещены биографом хорошо. В связи с постановками этой пьесы упомянута и рабочая самодеятельность, с которой был связан Брехт. Но в целом творчество раннего Брехта все же «политически обесценено». Даже о замечательном революционном фильме «Куле Вампе» упомянута лишь бегло, вскользь. Совсем почти ничего не сказано о Брехте-песеннике, Брехте-агитаторе. Мельком процитирована «Песня единого фронта», а о таких блестящих песнях, как «Песня солидарности», «Все или никто», «Песня против войны» и другие, об огромном их политическом резонансе ничего не сказано. Странно, что в книге, где автор справедливо уделяет внимание лирическим стихотворениям Брехта («Расцветающий сад» и др.), не нашлось места для характеристики его песенного творчества революционера. Я меньше всего хочу сказать, что Брехт-лирик не заслуживает внимания, — он был великим лирическим поэтом. Но цикл его агитационных песен имеет совершенно особое значение: он был и остается знаменем политической борьбы трудящихся.

Такая недооценка политического «нерва» творчества Брехта до 1933 года, с какой мы встречаемся у Л. Копелева, естественно приводит к недооценке связей писателя с рабочими массами и с партией коммунистов. Между тем известно (в том числе из статей самого Брехта), что драматург и в ту раннюю пору был крепко связан с рабочими зрителями, изучал, учитывал их интересы и запросы. Он не был членом КПГ, но работал с партией в тесном союзе, уже тогда был непартийным коммунистом. Однако Л. Копелев счел нужным подчеркнуть иные недоразумения, которые порой возникали у молодого Брехта с некоторыми сотрудниками партийной печати того вре-

мени. Биограф охотно упоминает, что на «Махагони» появилась отрицательная рецензия критика-коммуниста. (Раньше, замечает он, «Роте фане» в таком же духе отнеслась к театральным исканиям Друга Брехта — Эрвина Пискатора.) Нерасшифрованный намек: «...кое-кто поет «Интернационал» как рождественский гимн или изображает красногвардейцев такими нибелунгами в кепках и думает, что это революционное искусство», — способен создать впечатление, что в коммунистических кругах господствовали консервативные вкусы. Но достаточно вспомнить, как высоко ценились в партии коммунистов революционные стихи Бехера и Вайнерта, плакаты Хартфильда и песни Брехта, боевые драмы Вольфа и пьесы того же Брехта, чтобы понять всю несправедливость этого намека Л. Копелева.

Бертольт Брехт еще до 1933 года стал писателем, выразившим боевой дух коммунистической партийности. — его творчество завоевывало себе признание в борьбе, развивалось при поддержке рабочего класса Германии и его коммунистической партии.

Уже в эту пору, в 1931 году, было создано Брехтом замечательное стихотворение «Хвала партии»:

У одного человека — два глаза,
У партии — тысячи глаз.
Один человек видит только свой город,
А партия видит всю землю.
У человека — одна короткая жизнь,
У партии — тысячи жизней.
Легко убить одного человека,
А партию убить невозможно...

С этим глубоко партийным убеждением, с этой верой в партию и в бессмертие народного дела Брехт ушел в эмиграцию, когда в Германии победили нацисты.

1933—1948-й — таковы даты эмиграции Брехта. Целых пятнадцать лет. Время напряженнейшей работы, которая вся посвящена острейшим темам современности (даже и тогда, когда Брехт обращается к старинным хроникам и к сюжетам классиков, обрабатывая и перерабатывая их). Написано множество новых пьес и стихов, — Брехт вошел в пору своей творческой зрелости.

Л. Копелев говорит о многих произведениях писателя, созданных в эту пору. Некоторые из характеристик точны и интересны: характеристика «Жизни Галилея»,

«Мамаши Кураж», одноактной пьесы «Винтовки Тересы Каррар». Удачно прокомментирована пьеса «Карьера Артуро Уи», но тут удача всецело приходится на счет самого Брехта: его биограф использует записи писателя, в которых все определено точно и ясно. Хуже с некоторыми другими пьесами — перед нами снова «деполитизация». О драматической серии «Страх и отчаяние третьей империи» говорится в одном абзаце, бегло, мимоходом. А ведь это — произведение большого политического и художественного значения. Брехт не случайно писал его в виде коротких сцен: он рассчитывал на то, чтобы вооружить репертуаром и самодейтельную антифашистскую сцену. О «Снах Симоны Машар» написано так, что в значительной мере пропадает политическое содержание замысла и пьесы. Автор цитируются интересные записи Брехта, говорящие о творческой истории этого произведения, но не рассказывается о самой пьесе, посвященной обличению коллаборационизма в оккупированной Франции и прославлению героизма борцов Сопротивления. А в такой пьесе, как «Господин Пунтила и его слуга Матти», биограф Брехта не увидел главной темы — классовой непримиримости.

В годы эмиграции Брехт очень много писал по эстетическим вопросам. «Откорректировалась» его теория эпического театра, возникли интереснейшие мысли о широте и многообразии реализма, принцип партийности явился организующим принципом эстетики писателя. Об этом Л. Копелев почти ничего не пишет. Но стремится представить Брехта в качестве некоего «свободного художника», для которого искусство, творчество — что-то вроде стихийной игры. Трудно придумать более антибрехтовскую концепцию творческого состояния, чем та, которую предлагает нам Л. Копелев, когда он пишет: «Радостна игра с неподатливым словом. Это радость внезапного сближения, сшибания слов, рождающих образ, вспыхивающих живой мыслью. Это радость открытия неожиданных поворотов и перелетов мыслей на стыках света и тени, печали и смеха. Но это ведь только его радость — его и немногих друзей». Изображение Брехта одиноким эстетствующим формалистом, действующим в кругу «немногих друзей», не имеет ничего общего с правдой. Брехт был всегда среди людей, в гуще событий. Он был решительным и принципиальным противником формализма и узко-

лобого эстетства. Никогда творчество не являлось для него самоцелью, игрой ума, и потому наивно звучит утверждение, что Брехт писал «о Мэкки и Цезаре, о Иоанне Дарк и Пелагее Власовой потому, что каждый из этих характеров сам по себе (?) ему интересен, возбуждает его воображение». А Брехт вопреки своему биографу писал о великом значении фабулы для разработки образа, о роли обстоятельств при создании характеров, он шел к характеру от проблемы. Содержание, цель искусства для него были важны и обязательны. И уж совсем непонятны слова Л. Копелева, утверждающего о Брехте, что «это себя самого он поучает, когда спорит с писателями, которые хотели бы, уклоняясь от повседневной политической борьбы, ограничивать свое творчество общими вечными истинами». Нет, в данном случае можно смело сказать, что спорил Брехт именно с другими, спорил по праву и убеждению. Ведь он не только не уклонялся от политической борьбы, но находился в самой ее гуще.

Таковы некоторые противоречия в обрисовке биографом эстетических позиций Брехта. Еще большие странности находим в книге Л. Копелева, когда автор принимается за рассказ об отношении писателя к Советскому Союзу.

Бертольт Брехт был всегда убежденным и последовательным другом советского народа. В нашей стране он видел оплот и надежду всех угнетенных. В течение всех тринадцати лет господства Гитлера над Германией он верил и знал, что спасение Германии придет с помощью Советской страны. Брехт благоговел перед Лениным, усердно изучал его сочинения, обогащался ленинской мыслью. Словом, в своем отношении к Советской стране Брехт был бескомпромиссно последователен.

К сожалению, в книге Л. Копелева этот ясный вопрос запутан множеством странных наслоений. Оказывается, когда Брехт во второй раз приезжал в Москву (1935 год), ему еще нужно было объяснять элементарные истины: «почему нельзя допускать никаких оппозиций в партии». Оказывается, будто Брехт охотно прислушивался к тому, как Рут Фишер «обличает» Коминтерн и советские порядки, и считал ее и ей подобных «субъективно честными», но не хотел, подобно им, становиться на третий путь, так как «у коммунистов миллионы сторонников, за ними Россия — настоящая мощь», направленная «против фашизма, против вой-

ны и против капитализма вообще». Не знаю, откуда черпал биограф Брехта такого рода «сведения», но недобрый смысл тут очевиден.

Брехт знал, что Рут Фишер — закоренелая троцкистка, он знал, как важно единство коммунистическому движению, он был противником всех и всяческих раскольников. Это хорошо известно, и никакие домыслы тут ни к чему. И напрасно Л. Копелев пытается изобразить Брехта этаким «теоретиком» компромисса, человеком, которого, дескать, многое не устраивало в коммунистическом движении, но который не порывал с ним лишь потому, что уважал его силу, не хотел оказаться между двух сил. «Выбор,— пишет Л. Копелев, фантазируя насчет раздумий Брехта в конце сороковых годов,— сегодня тот же, что и вчера. И, значит, приходится, стиснув зубы, терпеливо читать и слушать глупости, пошлости и даже подлости, которые говорят, пишут или совершают люди, с которыми ты не можешь порвать, не порвав заодно со всеми друзьями и товарищами». Нет, это не соответствует действительности, это произвольный домысел, фантазия — мрачная фантазия, оскорбительная для памяти Брехта. И не о таком прославлении мечтал Брехт, обращаясь к грядущему, думая о том, что литература будет проверена ее реальными делами, участием художников в классовых схватках эпохи.

Настойчиво проводит Л. Копелев мысль о расхождении Брехта с советским искусством тридцатых и сороковых годов. Известно, что в это время в нашем искусстве возникали и развивались некоторые отрицательные тенденции, которые не могли нравиться Брехту, как и ряду советских художников. Тенденция к парадной монументальности, к натурализму огорчала не только Брехта, но и наших мастеров — Вишневского и Катаева, Эйзенштейна и Довженко, Шостаковича и Прокофьева, Дейнеку и Сарьяна. Было бы, однако, глубоко неверно считать, что тридцатые и сороковые годы явились временем «сплошного» упадка нашего искусства. Несмотря на трудности, вызывавшиеся субъективистскими оценками и рекомендациями, связанными с культом личности Сталина, в нашем искусстве творили талантливые и интересные мастера, с которых Брехт знал и к которым он чувствовал художественное «притяжение». Великого немецкого писателя и режиссера привлекало творчество

Вишневского; он, кстати, высказал однажды мысль о близости своих исканий к исканиям Вишневского в области эпизации драмы. Его интересовала поэзия О. Берггольц, драматургия Е. Шварца, поэзия и драматургия М. Светлова. Л. Копелев не видит, не замечает контактов Брехта с советским искусством середины века. Зато он старательно фиксирует каждый намек на «расхождение», не подтверждая, однако, этого документами, фактами, а оставаясь в пределах домыслов и догадок. В 1935 году Брехта якобы «удивляет и огорчает, что здесь, в столице мировой революции, еще сильны буржуазные мещанские вкусы». В 1940 году проездом через Москву Брехт знакомится с Александром Фадеевым, и он кажется ему «командиром, военачальником» — «натурой» для актера, собирающегося сыграть Кориолана или Валленштейна. В 1955 году Брехт приезжает в Москву, чтобы получить Международную Ленинскую премию. И снова ему, по словам Л. Копелева, нравится немного. Понравились «Баня» Маяковского в Театре сатиры, артист Грибов в спектакле МХАТа да еще «его московский редактор и комментатор Илья Фрадкин», который «говорит по-немецки с медлительной обстоятельностью ученого».

Странное впечатление оставляет все это. Брехта нет, вот уже десять лет, как он умер. Все свои «сообщения» Л. Копелев приводит со слов разных неизвестных, анонимных лиц. Да, Брехт мог говорить о некотором консерватизме вкусов, но говорил ли он именно о буржуазном их характере? О Фадееве... Не хотелось бы вставлять на путь Копелева, который нередко говорит за Брехта. Но мне припоминается разговор с Брехтом, в котором он очень тепло отзывался о Фадееве. Наконец, о впечатлениях от Москвы в последний приезд. Не придает ли им Л. Копелев весьма односторонний характер, когда пишет, что в театральной Москве Брехту казалось, что оформление спектаклей «как было в Аугсбурге еще в кайзеровские времена» и что в Москве за двадцать лет некоторые деятели театра «ухитрились вернуться на полвека назад»? Спору нет, конец сороковых и начало пятидесятых годов были далеко не счастливым временем в развитии нашего театра. Но были и такие спектакли у Охлопкова, у Завадского, у Плучека, у ряда других режиссеров, которыми мы вправе гордиться и сегодня. Брехт был очень серьезным, всегда

обдумывающим свои суждения человеком, сдержанным в словах, ответственным в высказываниях. Ему мог не понравиться тот или иной спектакль, но он не был склонен к таким поспешным обобщениям, которые теперь делает за него его биограф или некто безвестный, от кого Л. Копелев почерпнул эти односторонние обобщения.

Но мы уже зашли вперед, заглянули в послевоенный период, в пору, когда Брехт вернулся на родину из эмиграции. И тут возникает также большая тема — о Брехте в ГДР, о его патриотической деятельности в молодой республике, о создании им театра «Берлинер Ансамбль», о новых пьесах, спектаклях, стихах и песнях.

Биограф Брехта с пафосом пишет о том, что Брехт обрел свою родину именно в ГДР, о его кровной связи с делом строительства социализма на востоке Германии, и с этим нельзя не согласиться. Однако показ большой патриотической деятельности Брехта в ГДР, показ его творческих достижений, популярности его спектаклей, успех его новых песен («Песня стройки», «Песня о единстве» и др.) и стихотворений развернут биографом далеко не полно. Брехт-песенник отсутствует, Брехт — автор поэмы «Воспитание проза» не охарактеризован. Далеко не полно показано и отношение к Брехту в ГДР, которое определялось прежде всего пониманием и поддержкой.

Зато Л. Копелев собрал множество фактов и фактиков, которые говорят о трудностях, встречавшихся на пути Брехта в период становления ГДР. Я не хотел бы, чтобы меня поняли неверно: меньше всего я призываю к тому, чтобы обходить трудности, с которыми сталкивался писатель, меньше всего я зову к лакировке, к идиллическому письму. Но я убежден, что важно показать в противоречиях ведущее, определяющее, а оно не в этих преходящих затруднениях, а в том уважении и почете, которыми старались окружить и окружали Брехта на родине. Я стою и за то, чтобы факты и даже мелкие фактики, которые собраны в книге Л. Копелева, носили не случайный, а серьезный, научно проверенный характер.

Вероятно, Л. Копелев не был лично на тех встречах у покойного Вильгельма Пика, на которых обсуждалась опера Пауля Дессау на текст Брехта «Допрос Лукулла». Но критик пишет (опять неизвестно с чьих слов) почти как очевидец, принимая на веру то, что было ему где-то и кем-то рассказано, и создает впечатление, что обоим художникам

навязывали оглуляющие оперу предложения. Односторонне изложено и положение, образовавшееся в результате противопоставления Брехту Станиславского. Действительно, догматически настроенные критики пытались нападать на театр Брехта, ссылаясь на опыт Станиславского. Но почему бы Л. Копелеву (ведь он это, разумеется, знает!) не рассказать читателю, как на это реагировал сам Брехт, как относился он к системе Станиславского, которой в театре «Берлинер Ансамбль» была посвящена специальная творческая конференция? Если бы биограф проявил в этом вопросе необходимую объективность, впечатление у читателя сложилось бы иное — он понял бы, что между Брехтом и Станиславским — при всех различиях — было и немало общего и что это отмечал сам Брехт.

Но Л. Копелев и сам недостаточно объективен, да еще к тому же находится в плену каких-то анонимных мемуаристов, от которых в его книге исходят странные, темные, невнятные намеки. Подчас автор отступает от серьезного, строго научного изложения и явно обращается к кулуарным разговорам, перенося их на страницы своей книги. А это уж никак нельзя считать заслугой научного исследования.

Приведем некоторые из довольно неприятных примеров. «Немецкий литератор-коммунист, один из тех, кто провозжал его (Брехта.— А. Д.) в эту поездку, объясняет едва ли не все трудности, возникающие в социалистических странах, многообразным сопротивлением мещанства», — пишет Л. Копелев. «Один из тех...» — и вот уже вслед за этим суждением анонима появляется длинное и более чем сомнительного свойства рассуждение автора о мещанстве как о «соединительной ткани, присущей разным классам и разным общественным формациям». И далее: «Один из тех литераторов, которые давно и стойко ненавидят Брехта, шепчет соседу...». Снова какой-то «один из тех», и вот инсинуации, которые «один из тех» шепотом извергает на Брехта, становятся достоянием гласности. Ну, что это, право, за странное пристрастие к разного рода липким мелочам, которые пятнают картину отношений писателя со средой!

Прямота, твердость, последовательность Брехта кажутся порой его биографу проявлениями «догматизма» и «рационализма». Он и сам об этом пишет и охотно выбирает аналогичные суждения из записей швейцарского писателя Макса Фриша. Цитируя М. Фриша, Копелев и не думает опровергать

ошибочных утверждений о программной статье Брехта «Пять трудностей пишущего правду»: «Ведь это у вас настоящая иезуитская хитрость: годны любые средства, чтобы утвердить то, что вы считаете правдой...» Копелев не спорит с М. Фришем. Более того, он приводит весь набор эпитетов, которыми тот ошибочно честит Брехта: «марксистский пастор», «иезуит посюстороннего». В записях М. Фриша тому находятся, однако, возражения самого Брехта, и есть признания Фриша в капитуляции перед диалектикой, перед правдой Брехта. Но Л. Копелев отнюдь не становится здесь на сторону своего героя. Нет, он даже считает нужным одобрительно подчеркнуть, что Фриш «ненавидит всякое подобие фанатизма, все, что ему напоминает догматическое доктринерство, требующее человеческих жертвоприношений во имя религиозных или политических абстракций и символов». Но какое отношение это имеет к Брехту? Ведь он-то был не доктринером, а честным революционером, смелым политическим бойцом.

Революционной прямоотой, твердостью и последовательностью проникнуто и одно из последних произведений Брехта, «Дни Коммуны», посвященное героике и трагедии Парижской коммуны. Эта пьеса становится под пером Л. Копелева объектом деятельного переосмысления: авторской концепции критик противопоставляет свое толкование. Акценты смещаются самым беспощадным образом. Л. Копелев знает, что «Дни Коммуны» возникли в творческой полемике с пьесой Нурдаля Грига «Поражение». У Грига, как известно, ошибки и беды Коммуны были в значительной мере приписаны субъективным недостаткам ее руководителей. Брехт посмотрел на эту проблему по-иному, с позиций историка-марксиста, который ищет объяснение исторических ошибок и заблуждений в социальных закономерностях, стоящих за теми или иными позициями. При этом Брехт отнюдь не думал снимать ответственность перед народом и историей с ошибающихся и заблуждающихся.

Л. Копелев со свойственной ему торопливостью суждений поспешил кинуть в Нурдаля Грига самые тяжкие обвинения. «Ошибки и заблуждения коммунаров должны предстать в чистом свете исторической правды, а не в зловещем, сумрачном освещении подозрительного фанатизма, уродливо мечущемся, как огонь в подземелье, в пыточных горнах». Так сказано по адресу Грига. Но не менее субъективно и высказывание о Брехте. По Л. Копелеву выходит, что

Брехт отказывается от классовых критериев, от революционной политической оценки, от «метафизического» противопоставления: «друг или враг; третьего не дано». Конечно, метафизика была принципиально чужда Бертольту Брехту, он был убежденным диалектиком. Но автор «Песни о классовом враге» никогда не пересматривал своей позиции бескомпромиссной борьбы с классовыми врагами и различием на друзей и врагов не считал метафизическим.

И здесь герой приходит в противоречие со своим биографом. Они расходятся в понимании основных проблем времени. «...Если б коммунары не были добры, великодушны и доверчивы, они не стали бы коммунарами. Ведь коммунизм — это и есть безоговорочная, неограниченная власть доброты и великодушия», — заявляет Л. Копелев, приписывая свою концепцию коммунизма Брехту. Не говоря уже о том, что представление критика о коммунизме сильно походит на представление о стране Шларифии, трудно согласиться с его тезисом о том, что коммунары должны были быть добры и великодушны перед лицом безжалостного наступления классового врага. Во всяком случае, у политического реалиста Брехта в его пьесе нет и намек на такую концепцию. Брехт решительно критикует либерализм и мягкотелость, а его биограф совершенно непостижимым образом старается навязать художнику в его драме революции чуть ли не оправдание непротивленчества. Л. Копелев утверждает, что герои пьесы «хорошие, мужественные люди, которые, однако, убеждены, что насилие опасно прежде всего для прибегающих к насилию». Узнаем мы также от Копелева, что якобы, согласно Брехту, и «те, кто верит иллюзиям, не перестают быть честными революционерами». Нет, не похоже это на бескомпромиссного Брехта. Полемизируя с мыслью Грига о субъективной злой воле некоторых руководителей Коммуны, он не намеревался, однако, оправдывать ошибки этих руководителей их субъективно добрыми намерениями. Брехт писал с позиций марксизма, развивая в этой пьесе реалистические традиции горячо любимого им Георга Бюхнера, автора «Смерти Дантона» и «Войска».

Для Брехта — и для его эстетики и для его творчества — чрезвычайно характерен строгий историзм. И от театра он требовал строго исторического подхода к явлениям, изображаемым на сцене. «Актёр, — писал он, — должен изображать каждое событие как историческое. Историческое событие —

это событие преходящее, неповторимое, связанное с определенной эпохой. В ходе его складываются взаимоотношения людей, и эти взаимоотношения носят не просто общечеловеческий, вечный характер...» Тем удивительнее, что именно этому писателю его биографом приписывается мысль, что... «простые нравственные основы человечности связывают евангелие и «принципы 1789 года» с «Коммунистическим манифестом» и моралью нового мира Социализма».

Итак, воедино все перемешано, все свалено: бессильные мечтания о потустороннем загробном мире и классовая борьба, идеалы евангелические и идеалы коммунизма. И приписано это Брехту. Отражение этих мыслей об «общности идеалов» евангелия и коммунизма Л. Копелев рекомендует искать в «Днях Коммуны», но, право же, эта пьеса была посвящена не общечеловеческим проблемам, а урокам истории, вооружающим и обогащающим современную действительность в странах, вступающих на путь нового исторического развития, на путь свободы и утверждения свободы.

Книга Л. Копелева написана живо. В ней встречаются интересные, содержательные эпизоды — к ним можно отнести описания переживаний Брехта в дни кровавых расстрелов Цергибеля, сцену допроса Брехта в комиссии по антиамериканской деятельности и некоторые другие. И в то же время написана книга в том «фразистом» стиле, который менее всего мог одобрить ее герой — Бертольт Брехт, любивший точность и ясность мысли, определения. Фраза у Л. Копелева рассчитана на эффектность, на красоту, но неизбежно приводит к неточностям мысли. В увлечении бойкостью слога автор нередко теряет контроль за мыслью. И тогда он может написать: «Ловкий, умный журналист Геббельс». И тогда он может в самых черных красках изобразить одного из самых светлых людей немецкой революционной истории, павшего жертвой реакции, Евгения Левине: «Тихий фанатик, добродушный и приветливый, он каждую минуту, не колеблясь, готов умереть сам, отправить на смерть друзей и уничтожить любое число врагов».

Очень пестрый, крикливый стиль у этой книги. Одна из ее глав открывается, к примеру, таким пассажем: «Успех «Трехгрошовой оперы» просверкал фейерверком в неугомонной сутолоке Берлина. Злая ирония Брехта гулко резонирует в какофонии всегерманской и всевропейской ярмарки

тщеславия, на шумном торжище иллюзий и сомнений». Это, так сказать, «лирическая публицистика». А есть и эпизоды, написанные по принципу так называемого беллетристического «оживления». Например: разговор Брехта с Вильгельмом Пиком. Дело происходит на приеме, во время речей, произносимых в честь Брехта. Пик, сидящий с ним рядом, говорит: «— Небось, привычней, когда ругают, на комплименты отвечать труднее». Он же, по Л. Копелеву, замечает: «— Вы злюка...» И он же «тихо смеется в салфетку». Все это, видимо, должно служить задаче беллетризации.

Выше я говорил, что Л. Копелев, подготавливая биографию Брехта, провел немалую собирательскую работу. Сам он в конце книги сообщает, что имел «доступ ко многим источникам ценной информации». Но, к сожалению, критик поступил со своим материалом весьма бесхозяйственно: он не документировал его. Читая книгу, мы не знаем, не узнаем от автора, где факты, где вымысел, где домысел, кто и когда сообщил ему те или иные сведения. Книга существенно выигрывает там, где есть момент документации (выписки из дневников Элизабет Гауптман, из записей М. Фриша, М. Векверта и т. д.). Недокументированность приводимых материалов становится особенно опасной там, где в изложении автора стираются границы между передачей размышлений Брехта и рассуждениями его биографа. Мы уже встречались с такими местами. Сошлюсь еще на один случай. Л. Копелев пишет об отношении Брехта к опере и замечает следующее: «Опера — искусство абсурда... Нормализации абсурда служит сладкая, кондитерская музыка. Это и есть задача буржуазного театра». В изложении Л. Копелева нетрудно принять эти слова за слова Брехта. Между тем говорит это автор книги, упрощая некоторые мысли, высказанные Брехтом в примечаниях к пьесе-опере «Подъем и падение города Махагони». Что же касается героя книги, то он боролся со слащавой «оперностью», но оперу, как таковую, не отрицал. Больше того, он участвовал в создании новых опер, защищал оперную работу Ганса Эйслера, хотел обработать для кино «Сказки Гофмана» Оффенбаха.

Есть и еще существенный момент, позволяющий мне озаглавить эту рецензию так, как я ее озаглавил. Между Брехтом и его биографом имеется и то принципиальное расхождение, что Брехт был человеком твердого знания, тогда как автор книги о

нем слишком часто выступает в качестве дилетанта. Вся линия освещения вопросов культуры и искусства отмечена обильными проявлениями той «болезни», которую я назвал бы воинствующим дилетантизмом.

Для того, чтобы написать книгу о Брехте, надо многое знать. Тут не отделаешься полужананиями, стилистическими выкрутасами и пируэтами. Читатель у нас умный и серьезный, его гипнозом слов не проведешь. Прочтет он, что «Брехт с юности любит стихи и поэтическую прозу Рембо, напоенную красками и запахами. Слова, не связанные никакими формальными правилами, как водопады, покорны только земному притяжению», — и скажет: «Друг Копелев, не говори красиво!» А главное — уж если затронул важную тему, то скажи что-либо конкретное, ясное, содержательное.

Но Л. Копелев не любит конкретных и четких характеристик. Так, он сообщает, что Гуго фон Гофмансталь — «печальный и строгий первосвященник в храме австрийского искусства, ревнитель старинных традиций немецкого художественного слова». И читатель снова вправе осердиться на автора за его дилетантизм, за то, что сказано что-то, а, в сущности, не сказано ничего. Говоря и о художниках, автор также ничего дельного не выразит, хотя и произведет некоторый эффект словесной неожиданностью. Вот, к примеру, о Гогене: «...Гоген пресекает пряные, разноцветные туманы и пишет словно бы не красками, а тягучими соками, выдавленными из сказочных плодов. Эти соки разноцветны — коричневые, шафранные, винно-золотистые, винно-алые и лиловые». Щегольнет и соображениями насчет отличия немецкого художника Оскара Кокошки от французских импрессионистов. Пожалуйста: «Ван-Гог и Гоген громкие, дневные художники, а Кокошка — тихий, ночной. Его сине-зеленые лунные ландшафты прохладны и влажны; они освежают глаза, разгоряченные знойной пестротой». Даже о таком остро социальном художнике, как Георг Гросс двадцатых годов, Л. Копелев умудряется написать «красиво», но бессодержательно и уж совершенно внесоциально: «Каждый беглый штрих прорезает до потрохов, до кости, насквозь. Режет черным по белому. Но сколько тончайших оттенков в этих, казалось бы, небрежно стремительно прочерченных лицах и рылах, в наплывающих друг на друга паутиных слоях улиц, домов, интерьеров». Сказано «изящно», но не сказано о главном — о Гроссе, обличителе буржуазии, художнике

трагических социальных контрастов, раздиравших Германию двадцатых годов.

Высказывается Л. Копелев и по вопросам театра. Макса Рейнгардта, одного из крупнейших реалистов немецкой сцены, он третирует прямо-таки бесшабашно. «Рейнгардт, — пишет он, — прослыл дерзким бунтарем еще в начале века. До войны он ставил полуреалистические-полуромантические грандиозные спектакли...» «Нельзя боксировать с кучей теста» — так пишет Л. Копелев о спорах Брехта с Рейнгардтом. Так же резко отзывается он о некоторых театральных критиках. Герберт Иеринг с молодых лет поддерживал Брехта, — его надо похвалить, и вот уже появляется неистовый дифирамб: Иеринг «говорит и пишет с истовостью проповедника, озаренного откровением». Альфред Керр долго не признавал талант Брехта, напал на него. И вот, хотя Керр был, безусловно, крупным литератором, о нем уже быстро сооружается следующее суждение: «...самоуверенный и злой театральный критик». Резвому перу ничего не стоит вывести и такое замечание: «Лангхоф поставил «Оптимистическую трагедию» не хуже, чем Таиров». А между тем постановки Лангхофа и Таирова незачем противопоставлять друг другу. К тому же немецкий режиссер (и это ничуть не снижает значения его превосходной постановки) ездил в Москву, готовя свой спектакль, встречался с Таировым и изучал материалы его поистине классического спектакля.

Немецкая литература... Сколько приблизительных и неточных характеристик ее писателям и целым направлениям дано в книге Л. Копелева! И так начиная с классиков — Гете, Шиллера, Гердера, которые названы не более и не менее, как «великими космополитами». Но кто же не знает, что Гердер, Гете, Шиллер с их живым интересом к культуре разных народов были прежде всего великими немецкими патриотами, обогатившими своим творчеством родную национальную культуру, а потому и культуру мировую.

Натурализм в театре — о нем говорится: «Тридцать лет назад показалось, что натурализм — великий переворот. Но в действительности тогда просто вытащили на сцену романы: французские, немецкие и русские романы с их подробным анализом психологии и подробным бытом. Как если бы акварели, лубки и олеографии заменили тщательно ретушированными фотоснимками». И эта тирада вдобавок преподнесена так, что ее авторство можно приписать Брехту,

который не раз высказывался о натурализме, но, разумеется, не столь упрощенно. Брехт отлично знал, что творчество Гауптмана — это не романы, вытасканные на сцену, а самая что ни на есть драматургия.

Совершенно противоречивые суждения содержатся у Л. Копелева относительно другого художественного течения — экспрессионизма. Сначала «захлеб»: «Экспрессионизм. Свистящее, пронзительное слово. Оно стало знаменем всех (?), кому надоело затхлое и слащавое, фальшивое искусство казенных театров, казенных музеев и картинных галерей». Затем — «отбой»: драматургия и поэзия экспрессионистов «отвлеченны, бестелесны», в них «идеалистические абстракции, бесплотная риторика»; сообщается, что молодого Брехта «раздражает пустотелая высокопарность экспрессионистской поэзии». И, наконец, нечто уже совершенно новое: Л. Копелев утверждает, что, оказавшись в эмиграции, Брехт решил пересмотреть свое отношение к экспрессионизму. Он, пишет биограф, «внезапно почувствовал, что они (экспрессионисты.— А. Д.) были необходимы, как первая атакующая шеренга Театральной Революции». Между тем это последнее утверждение ничем всерьез не подтверждается: в эмиграции крепнет реализм Брехта и вместе с тем крепнет убеждение, высказанное им впоследствии, о творческой противоположности реалистов и экспрессионистов, «которые, не обращая внимания на историю, являющуюся (для них.— А. Д.) лишь, так сказать, предлогом», стремятся «к тому, чтобы предоставить персонажам повод «себя выразить».

Немало несправедливого написано Л. Копелевым о Лионе Фейхтвангере. Он, как известно, дружил и творчески сотрудничал с Брехтом. В отличие от Брехта он не был марксистом, но он не был враждебен марксизму в годы своей творческой зрелости. Между тем Л. Копелев настойчиво умаляет значение социальных идей этого крупного писателя. То он пишет, что в конце двадцатых годов Фейхтвангер был созерцателем, то сообщает, что в эту же пору Фейхтван-

гер начал «писать историческую прозу еще и для того, чтобы оспаривать марксистские взгляды Брехта». И хотя сообщение это ничем не подтверждается, Л. Копелев приводит и какую-то неясную ссылку на людей, утверждавших, что Фейхтвангеру оставались непонятными и не нравились теории Ленина. Но и тут критик оказывается недостаточно критичным относительно своих источников. Об отношении к Ленину, глубоко уважительном и проникнутом стремлением к глубокому пониманию, свидетельствует специальная статья этого писателя, посвященная творчеству Владимира Ильича.

Трудно понять, почему Л. Копелев считает появление Яна Петерсена в черной маске на Международном писательском конгрессе в Париже «наивно-романтическим... олицетворением той Германии, которой необходимо слово правды». Появление в маске было не актом наивности, а актом конспирации,— Ян Петерсен прибыл на конгресс антифашистов из гитлеровской Германии, из подполья. Олицетворял же он ту Германию, которая боролась за правду, готовая жертвовать своей кровью в сражениях с гитлеризмом.

И еще одна частности: не мог Брехт в Швейцарии, до своего возвращения в Берлин, слышать по радио в исполнении Эрнста Буша песни Бехера, положенные на музыку Гансом Эйслером,— песен этих тогда еще не было.

Заканчивая, я хочу вернуться к мысли, высказанной вначале. В этой книге герой противостоит автору. Жизнь Брехта, прошедшая в борьбе и творчестве, которые нераздельны друг от друга, достойна того, чтобы о ней рассказывали в серии «Жизнь замечательных людей». Это действительно жизнь замечательного человека, жизнь гения. Но писать о ней надо, не обходя главного, ведущего в ее содержании. И в биографии Бертольта Брехта нельзя не исходить из коммунистического содержания его творчества, из характеристики всего сделанного им в искусстве слова и театра как великого вклада в социалистический реализм.



«Солнце бросить в строчки»

От Уфы до станции Ключарево сорок минут езды на электричке. Маленькая остановка — что-то вроде разъезда, тишина, березовые рощи, прозрачный воздух. Узенькая тропинка, начинающаяся прямо рядом с платформой, неторопливо поднимается вверх, и уже вскоре я вижу небольшой домик, в котором чуть ли не с мая и почти до первых заморозков живет и работает Сайфи Кудаш. Сейчас он работает тоже. На сей раз в саду. Как-то в Уфе мне довелось видеть фотографию: Сайфи Фаттахович в телогрейке, широкополой соломенной шляпе и с мотыгой на плече. Это была не поза и не шутка. Он действительно любит землю, любит повозиться на огороде, любит яблоки, выращенные им самим. Недаром же написаны строчки о яблоке:

...Вставая вместе с зорькой золотой,
Его садовник взращивает трепетно,
Как хлебороб свой колос наливной.

И только так в саду восходит яблоко,
И лишь потом, опущенное в мед,
Оно на стол приходит ярко-яркое
И на столе безудержно цветет.

(Из сборника «В моем саду»¹.)

И вот мы сидим за столом, укрывшимся в тени клена. Поэт рассказывает о своей недавней поездке в Казахстан. Трудно даже

поверить, что ему семьдесят один год, что не так уж давно он тяжело болел и даже писал: «Теперь болею и лежу, не подниму пера, порой так слабо я дышу — не разожжешь костра». А месяц назад старый поэт сел в самолет и отправился в Казахстан. Поездка была радостной, но нелегкой: выступление за выступлением. Отдохнуть было совершенно некогда. Но отказаться от поездки он не мог да и не хотел. Во время юбилейных торжеств, посвященных классике казахской литературы Баямбету Майлину, Сайфи Кудашу хотелось быть на казахской земле. С нею его связывают давние узы. Пятьдесят лет назад, молодым, бродил он по этим бескрайним степям, работал здесь учителем, здесь же познакомился и подружился с Баямбетом. «Каждая моя поездка сюда,— говорит Сайфи Кудаш,— возвращение в молодость. И каждый раз мне трудно расставаться с Казахстаном». В своих стихах он называет казахскую землю незапамятной, а в стихотворении, посвященном Сабиту Муканову, пишет: «Опять поет в ночи «Сары-Арка», спасибо, друг, за хлеб и молоко, с тобой прощаться снова нелегко, дай обниму, и вот моя рука — клянусь я в том: куда жить дано, я лучший друг тебе и кровный брат...»

В 1961 году впервые после длительного перерыва Сайфи Кудаш вновь побывал в Казахстане. Встречи со старыми друзьями и учениками, беседы на берегу Тобола, путешествие по республике, которую он когда-то «исходил вдоль и поперек», масса впечатлений и ассоциаций потребовали выхо-

¹ Стихи из сборника «В моем саду» переведены автором статьи.

да — так родилась вторая книга мемуаров «По следам юности». Это не только воспоминания о прошлом, но и размышления о сегодняшнем дне, разговор о литературе, точнее, о взаимосвязях, влиянии друг на друга и взаимном обогащении башкирской, татарской и казахской литератур. Кстати говоря, круг вопросов, связанных с этой проблемой, давно привлекает внимание поэта. Сайфи Кудаш читает и тут же переводит мне стихи известного татарского поэта Дардменда. А затем снимает с полки томик стихов Тютчева. «Вы знаете,— говорит он,— я обнаружил, что Дардменд, переводивший тютчевские стихи, испытал сильное влияние его поэзии. В некоторых произведениях татарского поэта это влияние проглядывается особенно явственно. И, может быть, я еще напишу о Тютчеве и Дардменде...»

Мемуары мемуарами, однако в первую очередь Сайфи Кудаш — поэт, один из «старейшин» башкирской поэзии. Первые стихи были написаны им еще в начале века под влиянием народных песен, легенд. Их он часто слышал, будучи ребенком, от отца и матери, и любовное отношение к фольклору во многом определило характер и направление его творчества. Не случайно, что первой книгой, которую он собирался издать, был сборник «Народная литература», подготовленный им к печати...

В то время когда Сайфи Кудаш начинал свой творческий путь, башкирского литературного языка, по существу, не было. До революции единственным изданием на башкирском языке был миссионерский букварь. Первые литературные произведения появились лишь в 1919 году: книга стихов Г. Габидова и брошюра Шойхзеды Бабича «Почему мы присоединились к красным». Сайфи Кудашу суждено было стать одним из зачинателей башкирской литературы, главным образом поэзии. Его учителями становятся выдающиеся поэты-демократы Мажит Гафури и Габдулла Тукай, и с самого начала поэзия Сайфи Кудаша приобретает ярко выраженный социальный характер. В уфимской газете и оренбургском журнале «Кармак» публикуются его стихи, носящие в основном сатирический характер. Объекты сатиры — чиновники, муллы, ишаны, сотрудники черносотенной печати. Вначале поэт подписывается псевдонимами, причем характерен уже сам их выбор: «Кылыч» («Сабля»), «Вождан» («Честь»). В ту пору он пишет страстное стихотворение «Вместе с народом»:

Народный гнев в твоей крови,
Не дай сломить себя невгодам!
Умрешь — умри, живешь — живи,
Но вместе со своим народом!

(Перевод В. Потаповой.)

Не удивительно, что Сайфи Кудаш восторженно встретил Февральскую революцию, положившую конец самодержавию. Он воспевае свободу, но как раз эти его стихи носят несколько отвлеченный, декларативный характер. Поэту кажется, что крушение царизма уже само по себе знаменует наступление «золотого века». Разобраться в обстановке и правильно определить свою литературно-общественную позицию ему помогли старшие товарищи Мажит Гафури и Галимджан Ибрагимов; стихи, написанные Кудашем незадолго до Октября, отмечены большей политической зрелостью. Таковы «Рабочий», «Остановитесь» и стихотворение «Вперед», напечатанное в первом номере большевистской газеты «Алга». В 1917 году выходят первые книги стихов Кудаша — «Песни свободы» и «Белобилетники». В них поэт пишет о том, что успокаиваться рано, что впереди тяжелая борьба. Выросший в крестьянской семье, живший одной жизнью с народом, Сайфи Кудаш всегда остро ощущал его чувства, желания, надежды:

Раньше зори зажигались—света же
народ не знал,
что бывает радость в мире, полном бед,—
народ не знал.

Прояснилось, улыбнулось небо утренней
звездой,
свой народ я поздравляю с настоящею
зарей.

Эти строки посвящены Октябрю. А в годы гражданской войны все творчество поэта было направлено против контрреволюции. В то же время он учительствует в родной деревне, организует там кооператив, клуб, становится членом комиссии по помощи голодающим.

Поэт идет вместе с народом, идет в авангарде. В 1917 году он пишет «Песни свободы», в 1926 году выходит его книга «Песня плуга», а в 1930 году — сборник «В ожидании весны». Лирика Сайфи Кудаша неизменно носит боевой, активный характер. В ней личное неразрывно связано с общественным, и поэтому поэзия его поистине является народной, гражданской.

И все-таки в этот период стихи уже не могут вместить в себя бурный поток ощущений и мыслей, рожденных окружающей действительностью. Поэтому хочется писать большие полотна, раскрывать сложные человеческие характеры, трудные взаимоотношения, сложившиеся в деревне в годы коллективизации. Пожалуй, наиболее интересное и зрелое из его произведений такого плана роман в стихах «Кушкаен». В центре романа образы молодого организатора колхоза Афзала и девушки Гузель, которых связывает любовь и борьба за общее дело. Глубиной проникновения в психологию середняка интересен образ Нуруллы, постепенно преодолевающего взгляды на жизнь, типичные для единоличников. Автор относится к нему с добродушной иронией.

В годы Великой Отечественной войны голос поэта зазвучал с новой силой. Он пишет стихи и песни, проникнутые чувством советского патриотизма, создает сатирические частушки и куплеты. Несколько песен Сайфи Кудаш написал специально для конников башкирских дивизий, сражавшихся на фронтах Отечественной войны. В военных стихах Сайфи Кудаша нашла яркое отражение дружба народов, их единение в борьбе с гитлеровцами, некоторые из стихов написаны в традиционной для башкирского песенного творчества манере материнского обращения — напутствия сыну. Есть у поэта и стихи, посвященные битве за Ленинград, и строчки, адресованные друзьям-украинцам:

Вернутся к тебе твои думы опять,
Сражений рассеется дым,
И красное знамя вновь будет сиять
Над Киевом древним твоим.

(Перевод Е. Ильиной.)

В послевоенный период творчество Сайфи Кудаша становится еще более многообразным. «Лета к суровой прозе клонят...» И вот все чаще обращается к прозаическим произведениям маститый поэт. В 1946—1947 годах он пишет повесть «Навстречу весне», рассказывающую о встрече Тукая с Гафури в Уфе весной 1912 года. Это была встреча единомышленников, крупнейших представителей двух братских национальных литератур. Несколько позднее Кудаш пишет книгу мемуаров, первую в башкирской литературе. В прошлом году, когда речь зашла о мемуарах, он заметил: «Семьдесят лет — возраст, в котором часто обращаются к воспоминаниям. Порой говорят,

что мемуары — окончательный итог, так сказать, баланс всей жизни. По-моему, это не совсем так. Конечно, бывает, что мемуары прозвучат последней, как говорится, лебединой, песней писателя, однако они могут явиться для него и лишь опорным, отправным пунктом для дальнейшего творчества. Признаться, когда я начал их писать и стал вглядываться в ушедшие годы, в людей и события, которые встречались на моем пути, это был как раз случай, при котором воспоминание — вежа важная, но лишь вежа в творчестве. Лучшее подтверждение моего взгляда на мемуары только как на вежу, а не последний столбик — мои новые стихи».

Русский читатель знаком с книгой стихов «Золотая осень», вышедшей несколько лет назад в издательстве «Советский писатель». Название знаменательное и в чем-то символичное. Пожалуй, последний сборник, «В моем саду», изданный в 1963 году на башкирском языке, является как бы ее продолжением. Начав когда-то со стихов, носящих открыто агитационный, порою плакатный характер, Сайфи Кудаш пришел к философской лирике. Говорят, что поэт всегда молод. Это верно. Но между двадцатилетней и семидесятилетней молодостью существует все-таки разница, и немалая. Молодость старейшего башкирского поэта умудрена опытом, знанием жизни. В семьдесят лет есть о чем рассказать, чему поучиться, чем поделиться с собеседником. Я не случайно выбрал именно это слово — «собеседник». Оно как нельзя лучше подходит к поэтическим беседам Сайфи Кудаша с читателем. Включенные в сборник «В моем саду» стихи написаны в манере спокойной и раздумчивой, как бы обращенной к слушателю — другу:

Разве нужен дом огромный,
Чтоб душа была широкой.
Пусть он будет очень скромный,
Небольшой и невысокий.

Лишь бы сердце было светлым,
Не глухим и не спесивым,
Чтобы каждый был согрет им
И несчастный стал счастливым.

Если в дверь войдет без стука
Путник, горем угнетенный,
Пусть в тебе найдет он друга
И уйдет, тобой спасенный...

Таких философских размышлений в книге немало. Поэт призывает быть щедрым и

Трагические страницы истории

Еще совсем недавно И. Мерас, молодой литовский писатель, работал инженером на одном из заводов Вильнюса. Работал в лаборатории и писал. И вот в течение последнего года появилось два его романа: «Вечный шах» и «На чем держится мир». Оба романа о войне. Написаны они зрелым художником, стремящимся к колоритному, выразительному описанию событий, к рельефности характеров, к своеобразию образной структуры произведения, символике. В основе этих книг — непримиримый конфликт между гуманизмом и фашизмом, человечностью и человеконенавистничеством.

Мир не забыл трагедии Анны Франк, рассказанной ею в своем «Дневнике». Недавно были опубликованы записки девочки из Вильнюса Марии Рольникайте «Я должна рассказать». Это еще один документ о злодеяниях фашизма. «Душа девочки не сломалась», — пишет в своем предисловии к этим запискам Э. Межелайтис. — Ее дневник — одна из ужасных страниц истории XX века, написанная кровью. Это не беллетристика. Это подлинный документ, где конкретно изложены муки человека и его великое упорство, трагизм и героизм».

Тот же материал лег в основу романа И. Мераса «Вечный шах». Как и М. Рольникайте, он пишет о вильнюсском гетто. Одна-

ко если «Я должна рассказать» — это подлинный документ, то роман И. Мераса — своеобразная поэтическая легенда. Легенда о первой любви в гетто, о дружбе людей разных национальностей, о героизме и борьбе, о жизни и смерти, о том, как люди, попавшие в нечеловеческие условия, оставались людьми, сохраняя свое достоинство.

И, несмотря на трагичность ситуации, несмотря на то, что на стороне Шогера, полновластного хозяина гетто, сила и оружие, мы чувствуем духовную несгибаемость узников гетто, их внутреннюю силу и бессилие Шогера, олицетворяющего фашизм в этом неравном бою.

Тема интернационализма непрестанно звучит в романах И. Мераса. Литовская женщина из романа «На чем держится мир» спасает еврейского мальчика из гетто. Об этом узнают фашисты, но Вероника не может им отдать малыша, и тогда на ее глазах гибнет ее собственный сын, которого считают евреем. А как только кончилась война, она принимает в свою семью немецкого ребенка, случайно оказавшегося в Литве.

Воспитывает Вероника и русскую девочку Таню, мать которой была сожжена пьяным хозяином хутора. На чем держится мир — на этот вопрос, непрестанно звучащий в романе, писатель отвечает образом Вероники — главной героини: на таких, как она, людях, глубоких и честных, самоотверженных, мужественных, бескомпромиссных. Чувство интернационализма, присущее Веронике, органично, естественно, оно продик-

И. Мерас. Вечный шах. Роман. Журнал «Дружба народов» № 8 за 1965 год.

И. Мерас. На чем держится мир. Роман-баллада. Журнал «Юность» № 4 за 1966 год.

товано истинным человеколюбием. Но сколь глубока ее любовь к детям разных национальностей, которых она спасает от голода, нищеты, смерти, столь сильна ее ненависть к тем, кто обрекает человечество и его детей на муки,— к фашистам и их пособникам.

Мир держится и на таких, как Янек из романа «Вечный шах». Янек выдает себя за еврея, чтобы быть в гетто рядом с сестрой погибшего друга и охранять ее... Янек помнит тот день, когда всех угнали в гетто, он стоит, этот день, перед ним, «как изуродованный мост». И когда Янека вместе со стариками увозят на смерть, его выталкивают из машины, чтобы спасти, а чья-то широкая спина закрывает его от выстрелов. Но Янек снова возвращается в гетто, пришивая на грудь желтую звезду. Иначе поступить он не может, он видит в этом свой человеческий долг.

Образ Янека символичен, он призван подчеркнуть мысль писателя о том, что люди всех народов объединились против фашизма. Янек да и все окружающие вовсе не считали его поступок подвигом, ибо то, что совершает Янек,— норма, согласно которой должны поступать настоящие люди.

В романах И. Мераса органически сочетаются элементы эпического повествования с лирическими. Автор широко использует символику, условность. Трагедийность ситуаций, обнаженность конфликтов отражаются в символических поэтических образах.

Глубоко символичен образ матери из романа «На чем держится мир». Однако порой кажется, что символика этого романа слишком уж обнажена, и от этого нарочитая стилизация, условность оборачиваются подчас схемой, а резкая контрастность — претенциозностью. Едва ли жанровое определение «роман-баллада» может оправдать «эпиграфы» к каждой главе, состоящие из ответов героини на вопросы, ответов, которые, по сути дела, даются самим романом, а также навязчивые стилистические повторы, придающие повествованию некую манерность. В поэтической прозе, к которой тяготеет Мерас, чрезвычайно важно чувство меры, здесь нельзя «пережить», иначе нарочитость символики обедняет само содержание символа, образа.

В романе «Вечный шах» автору удалось соблюсти эту меру условности, символические образы здесь не навязчивы, а звучат как обобщения, они органически сплавлены с идеей романа.

Несколько глав-новелл в «Вечном шахе»

повествуют о судьбах людей, заточенных в гетто. Герои романа — дети одного отца, старого портного. Это тоже поэтическая условность. Писатель рассказывает словно бы об одной семье, но судьбы детей старика Липмана не исключительны, у них общая судьба со всеми обитателями гетто и с теми шестью миллионами евреев, которые были погублены фашистами во второй мировой войне.

У Липмана было много детей. Была Ина, певица, которая, нарушив приказ Шогера, ушла из гетто в последнее путешествие в «свободную зону». Она идет к своей подруге, польской певице Марии Блажевской. Идет за партитурой оперы «Жидовка». Ина хочет, чтобы оперу исполнили в гетто. Она поглощена этой идеей — только так она может выразить свой протест против чудовищной жизни, на которую обречена. Из ее коротенького, сбивчивого, нервного рассказа вырастает образ человека со своеобразным характером — робкого, наивного и в то же время мужественного, не способного ни на какие компромиссы.

Это путешествие стоило Ине жизни. Мы не знаем подробностей ее смерти. «Еще остался маленький кусочек времени,— говорит Ина.— Но я не стану рассказывать: такие истории кончаются все одинаково, а это уже неинтересно...»

И. Мерас не показывает, как гибнут его герои. Ему прежде всего важно рассказать, как они живут,— об их характерах, их страстях, их человеческой сущности.

Каждая новелла — это характер. Вот Рива, еще одна дочь старого портного. Она отлично умела стрелять, и мужеству ее мог бы позавидовать любой мужчина. Ночами она вместе с литовцем Антанасом ходила на операции, передавала оружие в гетто, а днем пряталась в заброшенном домике. А когда дом окружили немцы, она отстреливалась до последнего патрона...

Острая, драматическая ситуация лежит в основе этой новеллы. Идет бой, два человека противостоят отряду немцев. Они знают, что погибнут. Их связывают сложные отношения. Но им некогда теперь выяснять их. Они почти не говорят, хотя им так много надо сказать друг другу. Но мы слышим их мысли, их «внутренний диалог», и в короткое время, пока идет бой, нам удается все узнать о героях новеллы от них же самих. Мы узнаем, что Антанас Янкаускас любит эту девушку, что они подпольщики и не знают подлинных имен друг друга, что находятся здесь по заданию подполья.

У этих людей очень мало времени, мы все время чувствуем вместе с ними сожаление по поводу того, что время слишком спешит «Человек может сделать много, очень много, но он не может одного — удержать время, повернуть его, погнать вспять», — так думала Ина, торопясь к Марии Блажевской. Бася завидовала даже камням: «Век у них долгий, как само время». А у Ривы оставались считанные минуты...

«Человек не может удержать время», но он может, он должен прожить положенное ему, как подобает. Поэтому героям И. Мера-са некогда думать о мелочах, о суете. И как бы вопреки смерти они постоянно думают только о жизни.

Изображая своих героев в самых острых, драматических ситуациях, писатель подчеркивает в их характерах великую жизненную силу. В той неравной борьбе, которую они ведут, гибель неизбежна, это понимают герои романа, понимают они также, что гибель не есть поражение, что умирают они во имя победы над фашизмом, во имя жизни многих других людей. Эта мысль отчетливо звучит в новелле о самой младшей дочери Липмана — маленькой Тайбеле. Ее взяла литовская семья, чтобы спасти от гетто. «Зачем ей ходить с желтыми заплатами? У нас ведь нет детей, и Тайбеле будет нам как своя, пока все не переменится», — сказал адвокат Ионас Климас, и Тайбеле поселилась у Климасов. Климене, вернувшись с работы, задавала ей уроки, те же самые, что и в школе, а когда все садилось за стол и Тайбеле, избалованная ими, плохо ела, Климас напускал на себя грозный вид и повышал голос: «А гуца? Гуца! Тебе бы одну водичку, да? Чтобы полегче глотать? А кто гуцу съест? Нет, ты скажи мне, кто?! Скажи!»

Вскоре и Климене родила дочь. Однако через семь дней явились фашисты, они повесили Климасов и Тайбеле.

Но в тот же день за маленькой дочерью Климасов пришел Липман. Вместе с другими подпольщиками они отнесли ее через канализационный туннель в тайник, где была спрятана Лиза, мучившаяся оттого, что у нее не было ребенка, а грудь ее была полна молока. По дороге в туннель, защищая ребенка, они потеряли командира. «Из гетто вышли четверо, вернулись только трое, но все равно их было четверо, потому что на руках Липмана плакал ребенок, который хотел есть».

Так на дереве с обрубленными ветвями

появилась новая веточка — дочь литовцев Климасов, отдавших жизнь за маленькую Тайбеле.

Гестаповцу Шогеру кажется, что он все может сделать с людьми, он может лишить их детей, хлеба, жизни. Единственное, чего не может сделать Шогер, — это лишить их человеческого достоинства. Не может он добиться даже и такой малости, как выигрыш в шахматной партии. Весь роман длится эта последняя шахматная партия. Узнав, что гитлеровцы собираются вывезти из гетто детей, старик Липман идет к Шогеру по поручению совета гетто.

«— Господин комендант, оставьте нам последних детей.

— Ладно.— Шогер улыбнулся.— Я согласен, Липман. Но я не рыбак, а ты не золотая рыбка. Дети, дети, дети! Я соглашусь, если твой Исаак сыграет со мной в шахматы. Мы сыграем всего одну партию. Давай договоримся так... Если он выиграет, дети останутся в гетто, однако твоего сына я убью. Сам. Если проиграет, то он останется, но я завтра же велю увезти детей. Ты понял?»

И вот начинается трагическая партия в шахматы. «Мир — лотерея, и твоя жизнь — тоже лотерея», — говорит Шогер противнику в начале игры. А перед пятьдесят первым ходом он кричит: «Слушай.. Ты! Не забудь, на что играешь! Ты играешь не на кружку пива и не на вонючую селедку. Ты ставишь все, что имеешь: твою жизнь!». А Изя думает: «Он здесь хозяин и все-таки боится»

Идет напряженнейшая игра, за которой следят все узники Шогера. А он хочет выиграть, выиграть «на публике». Все знают, что условия, предложенные Шогером, чудовищны. И все хотят «ничью», об этом просит Изю его отец, хочет этого и Эстер, любимая Изю, жаждет этого и Янек.

А Шогер уверен, что «сделать ничью труднее, чем выиграть или проиграть». Он сам запутался в этой игре, его опьяняет страсть и тщеславие, ему не нужна смерть Изю, ему нужна победа.

Но «ничьей» в этой игре быть не может. Игра в шахматы — это тоже символ, образ, подчеркивающий главную мысль романа — о том, что Шогер и ему подобные проиграли уже свою игру. «Разве Шогер может делать с миром все, что взбредет ему в голову?» — думает Изя.

Состязание этих двух людей — людей разных миров — это не только шахматная пар-

тия, это борьба разума с ничтожеством, и в этой борьбе должен победить разум. Изя побеждает гестаповца Шогера, побеждает потому, что он не один, потому что рядом с ним его друзья и следующей ночью они должны уйти в лес, чтобы бороться уже с оружием в руках.

Узники фашизма не одиноки в своей борьбе. И когда Эстер спрашивает: «Неужели это навсегда?»—Изя убежденно отвечает: «Нет. Людей не упрятать за стеной. Каждую ночь, когда все кругом стихает,

мне кажется, я слышу гром орудий. Это наши».

Жизнь продолжается: «...весеннее солнце светит, как улыбка Эстер, а ее улыбка такая же светлая, как весеннее солнце». Да, жизнь продолжается, но чудовищные преступления фашизма забыть невозможно. Каждым эпизодом, каждой строкой своих романов И. Мерас страстно утверждает эту важную мысль.

3. Крахмальникова

День наступит

Вечер в доме адвоката Орайыз не предвещал никаких драматических событий.

Мила хозяйка дома, обворожительно смягчающая чересчур откровенные шутки мужа. И сам господин муж скорее любезен, чем развязен. В этом доме умеют принять гостей, сервировать стол, поддержать журчание беседы. Здесь умеют тонко поиронизировать над грешками отцов церкви, высказать свободомыслие по поводу существующих порядков, поспорить о новой картине, недавно купленной у художника,— заметим голодающего! — слегка пожурив его за то, что нарисовал «уродцев вместо людей». Порадоваться чудесному голосу госпожи Раудкатс, супруги нотариуса,— тонкой ценительницы уникальной коллекции картин и большой библиотеки. Снисходительно прислушаться к резким суждениям известного журналиста Кийлсаара в споре с промышленником, политиком (его называют «маленький человек с толстой мошной») Хельмутом Тарасом. Поразмыслить над новыми порядками в Германии, возмутиться поджогом рейхстага, намордником, надетым нацистами на прессу и радио, посмеяться над издаваемым главарем этих нацистов «истерическим воплем с утра и до вечера». Но, право же, душистый кофе, гордость мадам Орайыз, смягчает словесные бури, пролетающие в гостиной.

Но бури реально существуют за стенами дома. Новые порядки в Германии кое-кому и здесь, в буржуазной Эстонии, не дают покоя. «Истерические вопли» и угрозы доносятся из клуба Национального фронта. Но они стоят того, чтобы к ним прислушаться сейчас же, немедленно! «Когда идешь к народу, не забудь прихватить кнут», «Мы не нищие, чтобы довольствоваться корочкой», «У нас, черт побери, найдется опора... Найдутся люди, деньги, оружие!»... Да, пока это охвостье собирается только в клубе, чтобы покликнуть, поугрожать, весьма напоминая сборища в пивных Мюнхена. Там тоже начиналось все с выкриков и циничных угроз... А люди и деньги действительно находятся. Господин Тарас довольно откровенно симпатизирует Национальному фронту, а симпатии делового человека— это деньги.

Роман И. Семпера «Камень на камень» начинается в уютной гостиной буржуазной элиты. Но буря нарастает—события в романе разворачиваются в тот период, когда крупные буржуазные дельцы, почуяв, что «зашли с этой демократией в болото», начинают тайно и явно переметываться на сторону фашистских молодчиков в надежде ухватить с их помощью куш покрупнее. Ответ классовой бури приносит с собой и Йозель Хурт — архитектор, только что вернувшийся из-за границы (на самом же деле высланный из Германии нацистами в двадцать четыре часа). Но об этом в гостиной пока не знают и ждут господина архитектора (как изобретательны эти Орайыз!) как интересное дополнение к душистому кофе... Живописно расположившиеся в гостиной группы

Иоханнес Семпер. Камень на камень. Роман. Перевод с эстонского Лидии Тоом. Издательство «Советский писатель». М. 1966.

обнажат до конца спекулятивность мысли, приспособленчество, жадную тягу к наживе. Намеченная линия семейно-бытового романа укрупнится событиями социального плана, приобретет гражданскую активность, наступательность, обогатится тонкой насмешливостью, ироничностью в создании образов власть имущих.

В то время как нищета предместий гневно стучится в буржуазную цитадель, против этой нищеты и буржуазной «мягкотелости» заключают союз Хельмут Тарас и Рыйгас. Хельмуту Тарасу давно уже надоела демагогия Кийпсаара, который пытается «бежать впереди прогресса», надоело и «простодушные» властей. Его пленяет дух диктата. Тараса прельщают не столько истерические вопли Рыйгаса, сколько его железные кулаки. «Рыйгас был неугомим в своем прожектерстве, беспощаден в своем стремлении, груб в своей погоне за властью». Показной демократизм Кийпсаара, его завуалированная демагогия столь же циничны, как и откровенное злобствование Рыйгаса. Поклонник сильной личности. Рыйгас сам играет роль сильной личности. Его оружие — наглость, подлость, напор. Дух разрушительства в нем омерзителен. Он чувствует за своей спиной людей «с толстой мошной». Он и Хурта, своего одноклассника и товарища запугивает. Запугивает с жестокой откровенностью. Ведь с появлением Хурта в городе стало «одним интеллигентным безработным больше». И Рыйгас тоже хочет полкупить Хурта, как это делали и пастор и господин Тарас. Но сделка не состоится: Хурту глубоко ненавистны чудовищные замыслы Рыйгаса, которыми он на правах старого друга делится с ним. И тогда Рыйгас поднимает забрало: «Последний раз говорю тебе. Хурт... А потом... мы будем стоять друг против друга, лицом к лицу, и тогда пошлалы не жди!»

Как бы жарко ни скрешивались мечи промышленника и архитектора, как ни таил до поры до времени свои замыслы Рыйгас, как ни прятали свое лицо добродетельный пастор Нийнемяэ и сладко улыбающиеся дамы, правда неумолима. Панорама социальных «уродцев вместо людей» в романе ширится. Маски, столь прочно застывшие на лицах, сползают. Господин пастор — служитель бога и обладатель застенчивой и наивной супруги Резт — давно уже перестал искать бога. Его бог — земные дела. Он довольно основательно входит в компанию с Тарасом, на стороне которого деньги, а значит, и бог. Перед читателем постепенно от-

крывается человеческая комедия, интриги и подлости. Ведь в этом мире собственников «все дела делаются нахрапом и через черные лестницы». Под их мельничные колеса попадает Хурт.

Сначала Хурт верит, что его талант архитектора действительно поможет преобразить лицо старого города. Он самоотверженно работает над проектом городской ратуши, в ней видится ему символ города, ведь в ратуше расположится не только городской муниципалитет, но и общественная библиотека, читальня.

Иллюзии Хурта рушатся не сразу. Он еще не знает, в какую подлую сеть интриг вовлечен. Он самоотверженно защищает свое детище, не ведая, что будущая строительная площадка — предмет спора муниципалитета и землевладельцев. И сколько изощренной изобретательности проявил каждый, лишь бы отстоять собственные интересы! «Просто жутко было видеть, как его ратушу то сплющивали, делая ее плоской, то вытягивали на несколько этажей, как суживали окна, а башни превращали то в круглые, то в квадратные». Хельмут Тарас, более других обеспокоенный строительством — это нарушало его планы дельца, крупного собственника и домохозяина. — поставил все на «деловую» платформу. Интересно выписан эпизод, где Тарас ведет наступление на Хурта. Меняющаяся гамма оттенков — от мелкого улешивания до прямого подкупа и открытой угрозы — написана очень сильно.

Хурт в центре повествования, но роман «Камень на камень» рисует не просто мытарства талантливого художника в поисках буржуазного правопорядка.

В литературе есть немало примеров бунта одиночек против социального зла. Борьба эта нередко обрывалась трагически. Зло торжествовало, торжествовали те, кто, как клещи, «питаются кровью других».

Роман И. Семпера, написанный около тридцати лет тому назад в условиях буржуазной Эстонии, а сейчас увидевший свет в переводе на русский язык, посвящен теме прозрения художника. Герой его проходит нелегкий путь настоящей закалки. Сначала он грезит, грезит наяву, влюбленный в красоту и верящий, что ее воздействие неоспоримо. Госпожа Раудкатс тоже исповедует красоту, искусство, но только для себя одной, Хурт свои познания стремится отдать людям. Наивное благородство Хурта делает его до поры до времени беззащитным мечтателем в мире чистогана, королей торговых лавок и доходных домов. Чтобы выстоять в

этом мире, нужно обладать не только запасом терпения, но еще и великой надеждой.

На наших глазах Хурт одерживает свою первую победу, когда осознает, что и он сам и его проект — лишь игрушка в руках интриганов, и уходит с поста городского архитектора. Но это еще не прозрение, пока это только бунт.

Хурт одерживает вторую победу, когда помогает любимой Резт преодолеть плен устоявшихся представлений буржуазного долга и морали: он уводит Резт из дома пастора.

И он одерживает самую главную свою победу — он не сломлен борьбой, он продолжает борьбу с верой в завтрашний день:

«Стройка продолжается, по крайней мере в мыслях и сердцах», «предчувствие перемен носится в воздухе». И люди «из живой жизни, горя и радости, проклятий и стонов» создают то, что останется на века.

Известный эстонский прозаик И. Семпер проявил тонкость художника в лепке характеров, в раскрытии психологии людей, он мудро оборвал свое повествование на самой звенящей ноте, когда его герой после годов учения, странствий и горечи разочарования обретает истинное понимание страдания человеческого и свежую мечту о будущем. Хурт сказал свое слово. И оно звенит болью и радостной верой в грядущий день.

3. Богданова

История одного поиска

Повесть называется «Урод» — по кличке изувеченного пса-боксера. Но посвящена она не только оскере, и даже не только его хозяину. Все в этом произведении очень серьезно. Ленинградский писатель Виктор Курочкин обращается к проблеме поиска человеком верного пути на земле, своего призвания, к проблеме подлинности таланта.

В центре повествования — история Ивана Алексеевича Отелкова, актера-неудачника, человека сорока трех лет. Отелков не сомневается в своем незаурядном даровании. Он ведь обладает сценической «фактурой». Он ждет только случая доказать и утвердить себя. Давно ждет. И вот такой случай ему наконец представился. Но и представился необычно: все началось с того, что для съемок нового фильма понадобилась изуродованная собака-боксер. Выбор пал на Урода, и неожиданно для всей студии требовательный и авторитетный режиссер Герман Гостилыцын решил дать главную роль хозяину собаки, актеру, которого еще никогда никто на серьезную роль не пробовал. В результате фильм выходит на экраны; все в нем интересно и удачно, кроме невыразительного характера главного героя, в роли которого дебютировал на большом экране Иван Отелков...

Виктор Курочкин. Урод. Повесть. Журнал «Октябрь» № 5 за 1966 год.

Таков сюжет. А вот что думается в связи со всей этой грустной историей... Прежде всего она не оставляет читателя бесстрастным. Почему? Потому что вместе с Отелковым читатель имеет возможность поразмышлять о «серой болезни» равнодушия: ведь все свои неудачи Отелков валит на безразличие окружающих к нему. Кстати, человеческое равнодушие очень беспокоит и Урода: люди искалечили его, когда он был еще щенком, и выбросили подыхать на улицу. А он выжил... и после долгих мытарств нашел наконец хозяина. Нашел, чувствуя, что уж, во всяком случае, хуже ему не будет. И сразу же столкнулся с другой, не менее опасной формой равнодушия, идущего от инертности, безволия, в сущности, неплохого человека. Отелков и сам до конца не понимает, что происходит с ним. Ему свойственны прекраснодушные, очень литературные терзания, но это бывает только по утрам. А потом он надевает модный костюм с бабочкой, сразу приобретая импозантную осанку, и идет убивать время в праздной болтовне на студии, в болтовне, которая одновременно и раздражает его и необходима ему... Он понимает, что подобное существование бессмысленно, но не считает себя повинным в этом. На все у него одно оправдание: равнодушие окружающих. А в действительности это его собственная боязнь перемен, неопределенность его целей. Между прочим, собственное рав-

нодушие к людям закрыло от Отелкова их души: он не замечает ни любящей его машинистки Серафимы, ни интереса к себе со стороны режиссера Гостилицына, или молодого сценариста Дениса Строкова, или доброго, безалаберного весельчака-актера Васеньки Шляпинского.

«Все в нем было внушительно, солидно и прочно,— говорит автор о своем герое,— но... глаза с мутной синевой и огромными чистыми белками, казалось, не умели ни возмущаться, ни восхищаться, серьезно смотрели, и только». В этом весь Отелков. «Вы, Отелков, умеете играть только самого себя»,— говорили ему не раз на студии. А он, слушая эти слова, думал о том, что его всегда затирают. Во всем. Его не устраивает настоящее, о прошлом с его радужными надеждами он вспоминает только в минуты полного отчаяния, «а в будущее он и заглянуть страшился».

Как актер Отелков терпит полный крах. Он пытается трезво осмыслить это. Тут мог бы произойти перелом. Мог бы... Она, эта минута, могла бы стать решающей. Отелков смог бы найти свое настоящее место в жизни, в искусстве (у него, например, явный талант дрессировщика), но слабость характера не дает ему отступить от дела, к которому он совершенно неспособен. Он трусливо бежит от правды, он нанимается на новую киносъемку, куда его все-таки приглашают после безлико сыгранной главной роли в фильме «Земные боги».

В. Курочкин размышляет о труде художника. Он как бы «очеловечивает» в этот момент другого «актера» — собаку, «очеловечивает» ее отношение к славе, успеху! Пес не понимает тщеславия своего хозяина. Сам он безразличен к неожиданно свалившейся

на него славе. Она, правда, принесла ему сытную еду. Но это удовлетворяло пса только первое время. Обладая природным талантом, он подчиняется всем «киностраданиям», но до смерти рад, когда все это кончается и можно возвратиться домой. Если бы пес мог по-дружески сказать своему хозяину то, что говорит соседской овчарке Катону: «Сколько лет сидишь на цепи и все никак понять не можешь, что она короткая!» Отелкова держит на цепи диплом с отличием, его внешность сценически «содержательной природы». Но все это внешнее. Внутри — пустота: Отелков «лучшие свои годы прожил, словно в тупике, в пустом, заброшенном вагоне. И все ждал, когда подойдет паровоз, подцепит и повезет его. Куда?.. А не все ли равно — лишь бы ехать!..»

Если Урод понимает, что его положение кинозвезды — явление временное, «похожее на необыкновенный сон», то Отелков полон сознания собственной значимости, до того момента, когда, сидя в кино, он пытается посмотреть на себя глазами просто зрителя и наконец начинает что-то понимать... Начинает... Но не имеет воли, чтобы отказаться от дела, к которому нет дарования. Найти свое истинное призвание.

Написана повесть динамично, захватывающе. Можно, конечно, говорить об отдельных недостатках (таких, как излишне шаржированная обрисовка быта киностудии или спорное гротескное введение диалогов Урода и соседской овчарки). Но все это детали. Главное — в повести состоялся серьезный разговор о труде в искусстве и о таланте, о «серой болезни» равнодушия и ее причинах.

Наталья Лагина

Как непонятен этот миг...

Мы нередко говорим о человеке, что он «поэт в душе». В старину существовало ходячее, но отнюдь не лишнее смысла определение: «поэтическая натура». Разумеется, далеко не все «поэты в душе» становятся поэтами наедине с чистым листом бумаги. Однако вер-

Нина Грехова. Старт. Западносибирское книжное издательство. Новосибирск. 1965 год.

но и обратное: человек, способный литературно и стихотворно оформлять свои мысли, никогда не сделается поэтом, если в его душе, в самой личности его нет «вещества поэзии». И очень часто это «вещество» (его метафорически называют радиоактивным едва ли не с той самой поры, как людям стали известны свойства радия) дает о себе знать по особенным, мгновенным вспышкам тогда, когда настоящее умение

писать стихи еще не пришло к поэтически одаренному новичку и даже невозможно предсказать, придет ли оно вообще. Известно, станет ли одним поэтом больше в литературе, но уже несомненно, что в мире одним поэтом стало больше.

«Как непонятен этот миг. Ты кто такой и как возник?.. И словно белый-белый снег, и словно целый белый свет, и все ушедшие века — на лапке теплого цветка, у косогра на ветру, среди взволнованной травы... Ой, не сносить тебе к утру твоей заветной головы... Не выбирать тебе из двух, уже уходит твой рассвет, и улетает белый пух, твой легкий пух ему вослед».

Стихотворение новосибирской студентки Нины Греховой «Одуванчик» я привела целиком. Его одного достаточно, чтобы засвидетельствовать рождение поэта, каковы бы ни были литературно-профессиональные успехи и неудачи Н. Греховой. Поэт угадывается именно по этой внутренней работе сознания. Мы не в силах проследить внутренний путь, идя которым поэт извлек свои образы из жизненных впечатлений, но мы без колебаний соглашаемся с ними как с некоторым непреложным фактом поэзии.

В книжечке Н. Греховой всего двадцать шесть стихотворений, предваренных доброжелательным предисловием Елизаветы Стюарт. Многие из стихотворений шероховаты и (что особенно досадно) наивно аллегоричны. Иногда Грехова стремится оживить аллегорию, делая ее вызывающе парадоксальной, но эти приемы больше от рассудка, чем от поэтического чувства, которое только пытается нащупать тропки для своего нестесненного выявления. И, однако, определенный — и привлекательный — склад поэтического характера уже выражен в этом маленьком сборнике.

Юная жажда независимости и хрупкость, неспособность к самозащите, конечно, задевают струны самого щемящего сочувствия. «Быть может, выйдешь на исходе лета, и свистнет мир, как камень из пращи...» У

Греховой могут быть минуты одиночества, но никогда нет поэзы одиночества, нет афишируемой неустроенности, манерности, «нарядной печали». Даже когда она пишет: «Я ненавижу листья в сентябре, они и так любимы целым светом», — это не выверт, а достаточно простодушная жалоба. Она жалуется и требует внимания к себе в силу повышенного, молодого самосознания личности, как требовала бы его к любому другому человеку — только потому, что это человек. За всем этим достаточная внутренняя устойчивость, непреклонная правдивость сердца и благородная чуткость к чужой беде. В стихи ее еще не успело влиться многоголосье большого мира, надо думать, лишь потому, что молодая поэтесса еще не в той поре жизни, когда мир этот научаются мысленно отчленять от собственного «я» с тем, чтобы зрело оценить всю громадность его даров. На такую мысль читателя Н. Греховой наводит следующее отличное стихотворение, в котором звучат нотки взрослой мудрости:

«Стояла верба у заката, лежали ветки на воде, как будто руки музыканта, томясь в нелегкой немоте. Так было все на свете немом — песок, и ветреное небо, и за рекой прозрачный дым... Но горько плакали следы на самой кромочке воды. Там кто-то шел — он был один, он был один и одинок, и долго он понять не мог, зачем молчат ночные птицы и почему река дымится, и красный след огня и дыма ложится небу на чело... А было это для него так просто, так необходимо, что он прошел куда-то мимо и не заметил ничего». Наступит час, когда поэтесса заметит то самое богатство действительности, с которым никогда, по сути, и не пребывала в разъединении, и это будет час выхода на большую дорогу. А пока пожелаем ей верности своему правдивому внутреннему голосу и поспросту удачи.

И. Роднянская



ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА»

- Жемчужин Л., Тарунин А.** Закономерности перерастания социализма в коммунизм и создание материально-технической базы коммунизма. 6 л. 25 000 экз. 25 коп.
- Иванов Н.** Государственно-монополистический капитализм и «интеграция». 5 л. 20 000 экз. 20 коп.
- К изучению курса «История КПСС».** Учебно-методическое пособие. 16 л. 50 000 экз. 65 коп.
- Трошин Д.** Методические проблемы современной науки. 8 л. 15 000 экз. 35 коп.
- Ходжаев А. и др.** Политическая экономия. Досоциалистический способ производства. 22 л. 50 000 экз. 70 коп.
- Цветков П. и др.** Формирование коммунистических общественных отношений. 5 л. 25 000 экз. 20 коп.

«НАУКА»

- Ажажа В., Соколов О.** Подводная лодка и научные поиски. (Научно-популярная серия). 6 л. 90 000 экз. 18 коп.
- Елистратова А.** Английский реалистический роман эпохи Просвещения. 30 л. 5 000 экз. 2 руб.
- А. М. Горький и Р. Роллан.** Письма и материалы. 35 л. 6 000 экз. 2 руб. 30 коп. Основные разделы книги: Переписка Горького и Роллана. Из истории дружбы двух писателей. Переписка Горького с женой Роллана — М. П. Кудашевой, а также письма Р. Роллана к Е. Пешковой.
- Кошелев Г.** Культура Парфии. 15 л. 25 000 экз. 1 руб. 20 коп.
- Кретов Ф.** Государство и коммунизм. 7 л. 50 000 экз. 40 коп.
- Крывелев И.** Как критиковали Библию. 8 л. 50 000 экз. 48 коп.
- Орфография и русский язык.** Сборник. 7 л. 150 000 экз. 21 коп.
- Настев Г., Койнов Р.** Мозг и сознание. Пер. с болгарск. 5 л. 75 000 экз. 18 коп.

«МЫСЛЬ»

- Африка еще не открыта.** Сборник. 20 л. 25 000 экз. 90 коп. Книга написана группой молодых африканистов, научных работников Института Африки АН СССР.
- Гассенди П.** Сочинения в двух томах. Библиотека «Философское наследие». Т. I. 30 л. 25 000 экз. 1 руб. 80 коп. Крупнейший французский философ первой половины XVII в. Содержание книги: «Система философии Эпикура»; «Парадоксальные упражнения против аристотеликов».
- Лопаткин В.** Товарные отношения и закон стоимости при социализме. 15 л. 25 000 экз. 1 руб. 10 коп.
- Партия и массы.** Сборник. 17 л. 20 000 экз. 95 коп.

- Пфффер П.** На островах дракона. Пер. с французск. Серия «Рассказы о природе». 13 л. 65 000 экз. 85 коп.
- Седов Н.** Героический период революционного народничества. 18 л. 30 000 экз. 80 коп.
- Трипольский В.** Принцип личной материальной заинтересованности и вопросы коммунистического воспитания. 4 л. 25 000 экз. 20 коп.
- Пелькен К.** Континенты с птичьего полета. 18 л. 50 000 экз. 1 руб.

«ПРОГРЕСС»

- Апель Э., Миттаг Г.** Новые экономические методы планирования и руководства народным хозяйством в ГДР. Пер. с немецкого. 1 руб. 78 коп.
- Бадалич И.** Русские писатели в Югославии. Сборник. Пер. с хорватского. 1 руб. 26 коп. 15 л. В сборник вошли статьи о влиянии Пушкина, Лермонтова, Беллинского, Тургенева, Достоевского, Толстого и Горького на литературу югославских народов. Автор использует редкие рукописные издания.
- Гернек Ф.** Альберт Эйнштейн: Жизнь, посвященная истине, человечности и миру. Пер. с немецкого. 15 л. 1 руб. 8 коп.
- Мендиола Хосе Мария.** Приговорен к расстрелу. Роман. Пер. с испанского. 14 л. 81 коп.
- Несин Азиз.** Приходите развлечься. Сборник юмористических рассказов. Пер. с турецкого. 12 л. 62 коп.
- Тери Симона.** Пуэрта дель Соль. Роман. Пер. с французск. 25 л. 53 коп.
- Харлер Ф.** Джозеф Каппер. Роман. Пер. с английск. 10 л. 60 коп.

«ЭКОНОМИКА»

- Гастев А.** Как надо работать. Избранные произведения. 30 л. 15 000 экз. 2 руб. 22 коп.
- Дадаян В.** Экономические расчеты по модели расширенного воспроизводства. 10 л. 5 000 экз. 60 коп.
- Кунулевич И.** Заработная плата в вопросах и ответах. 14 л. 100 000 экз. 75 коп.
- Экономическая история.** Учебник. 33 л. 30 000 экз. 95 коп.
- Экономика стран социализма.** 15 л. 25 000 экз. 68 коп.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Берулава Х.** Стихи. Пер. с грузинского. 5 л. 10 000 экз. 40 коп.
- Бровман Г.** Проблемы и герои современной прозы. 16 л. 10 000 экз. 85 коп.
- Куприн А.** Поединок. 14 л. 200 000 экз. 40 коп.
- Кашкин И.** Эрнест Хемингуэй. 10 л. 10 000 экз. 60 коп.
- Крянгэ И.** Воспоминания детства. Сказки. С илл. Пер. с румынск. 11 л. 30 000 экз. 50 коп.

Кун Бела. О литературе. Литературно-критические статьи. 7 л. 10 000 экз. 40 коп.
Короленко В. Повести и рассказы. В 2-х томах. Т. 1. 27 л. Т. 2. 26 л. 100 000 экз. Цена за два тома 1 руб. 80 коп.
Миришакар М. Стихи. Пер. с тадж. 5 л. 10 000 экз. 40 коп.
Пушкин А. Евгений Онегин. Иллюстрированное изд. 14 л. 30 000 экз. 2 руб. 50 коп.
Стоянов Л. Детство. Повесть. Пер. с болгарск. 13 л. 50 000 экз. 35 коп.
Толстой А. Князь Серебряный. Роман. 20 л. 100 000 экз. 90 коп.
Чак А. Сердце на тротуаре. Стихи. Пер. с латышск. 5 л. 10 000 экз. 40 коп.
Шелгунов Н., Шелгунова Л., Михайлов М. Воспоминания. В 2-х томах. Т. 1. 27 л. Т. 2. 28 л. 75 000 экз. Цена за два тома 2 руб. 18 коп.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Бялик Б. Наедине с прошлым героизмом. Воспоминания военного журналиста. 13 л. 30 000 экз. 43 коп.
День поэзии 1966 года. Ленинград. 10 л. 25 000 экз. 75 коп.
Исбах А. Юность моя, комсомол мой. Рассказы. 20 л. 75 000 экз. 70 коп.
Лаптев Ю. Заря. Балаши. Настя-сибирячка. Повести. 26 л. 100 000 экз. 88 коп.
Леонтьева Т. Будущее принадлежит им... Жаворонки. Повести. 31 л. 100 000 экз. 1 руб.
Ривес Я. Большевики. Роман. Пер. с еврейского. 10 л. 15 000 экз. 40 коп.
Современная литература за рубежом. 23 л. 20 000 экз. В книге статьи о творчестве Арагона, Силлитоу, Кафки, Бёлля, Апдайка и др.
Строганов И. Моря больше, чем земли. Стихи. 1,5 л. 10 000 экз. 13 коп.
Токомбаев А. Перед зарей. Поэма. Пер. с киргизского. 4 л. 10 000 экз. 25 коп.
Уткин И. Стихотворения и поэмы. 21 л. 40 000 экз. 91 коп. (Б-ка поэта. Большая серия).
Федоренко Н. Японские записки. Очерки. 18 л. 30 000 экз. 65 коп.
Фридлянд Л. Начало мира. Повесть. 10 л. 75 000 экз. 45 коп.

«ИСКУССТВО»

Варшавский Л. Гюстав Доре. 5 л. 20 000 экз. 50 коп.
Давыдов Ю. Искусство и элита. (Критика буржуазных концепций искусства). 15 л. 10 000 экз. 1 руб. 10 коп. В центре внимания автора — проблемы взаимоотношений художника («гения») и публики («толпы») в эстетико-философских концепциях Шеллинга и Шопенгауэра, Ницше и Шпенглера и др.
Маневич И. Кино и литература. 14 л. 25 000 экз. 1 руб.
Мастера сцены театральной самодеятельности. Вып. 3. 8 л. 50 000 экз. 35 коп.
Очерки по истории русской современной драматургии. Т. 2. 32 л. 10 000 экз. 2 руб.
Теплиц Ежи. Кино и телевидение США. Пер. с польск. 22 л. 50 000 экз. 1 руб. 70 коп.
Туровская М. Да и нет. 15 л. 35 000 экз. 1 руб. 20 коп.
Эстетическое воспитание в семье. Сборник. Изд. 2. 10 л. 200 000 экз. 50 коп. Своими размышлениями на эту тему делятся П. Антокольский, С. Образцов, В. Немцев, Л. Кассиль, В. Пашенная, А. Баталов и др. Книга адресована родителям и учителям.

«СОВЕТСКИЙ ХУДОЖНИК»

Картины Врубеля. Альбом. 4 л. 25 000 экз. 2 руб. 50 коп.
Походаев Ю. Ливан. Книга-альбом. 4,6 л. 20 000 экз. 92 коп.
Пуссен. Комплект 16 цветных открыток. 35 000 компл. 48 коп.
Рубан И. В глубь Антарктиды. Книга-альбом. 8 л. 20 000 экз. 1 руб. 40 коп.
Шнфрин Н. Моя работа в театре. 20 л. 10 000 экз. 1 руб. 45 коп.

ВОЕНИЗДАТ

Зильманович Д. Пионер советского ракетостроения С. А. Цандер. 10 л. 34 коп.
Конов И. С. Сорок пятый. (Военные мемуары). 15 л. 72 коп.
Политическая и экономическая карта мира. 30 л. 75 коп.



Главный редактор — **Вадим КОЖЕВНИКОВ.**

Редколлегия: **Д. ГРАНИН, А. ДЫМШИЦ, Д. ЕРЕМИН, В. КАТИНОВ, И. КОЗЛОВ, А. КРИВИЦКИЙ, А. МАКАРОВ, П. НИЛИН, В. ПАНКОВ, А. РЕКЕМЧУК, Е. РЯБЧИКОВ, Л. СКОРИНО, Е. СУРКОВ, Б. СУЧКОВ, Э. ШИМ.**

Адрес редакции: Москва, К-104, Тверской бульвар, 25.
 Телефоны: главный редактор и ответственный секретарь — К 9-63-74, секретариат и заместители главного редактора — К 9-66-35 и К 9-06-46, отдел прозы — К 9-89-64, отдел публицистики — К 9-62-44, отдел критики и библиографии — К 9-05-27, отдел поэзии — К 9-05-27, зав. редакцией — К 9-81-96.

Технический редактор **В. Пархоменко.**

А 15681. Подписано к печати 18/VIII 1966 г. Формат бумаги 70×108¹/₁₆.
 Объем 16 физ. п. л. 22,40 усл. п. л. Тираж 140 000 экз. Изд. № 1567. Заказ № 2196.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
 Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

Дорогие читатели!

С 1 сентября с. г. открыта подписка на журнал «Знамя» на 1967 год.

В 1967 году, к пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции, на страницах «Знамени» будут опубликованы произведения, отражающие победный исторический путь советского народа.

С журналом сотрудничают и передают для публикации свои новые романы, повести, рассказы, поэмы и стихи, очерки, статьи и рецензии —

ПРОЗАИКИ

(См. объявление на 4-й странице обложки.)

Н. Адамян, В. Астафьев, Г. Бакланов, Н. Богданов, М. Ганина, С. Георгиевская, Н. Грибачев, Г. Гуля, Н. Евдокимов, Д. Еремин, Н. Ильина, В. Конецкий, В. Львов, В. Логинов, Эд. Межелайтис, Ю. Нагибин, П. Нилин, Б. Полевой, Л. Промет, В. Сапожников, С. Снегов, В. Субботин, М. Слуцкис, М. Юфит, Б. Ямпольский и др.

ПОЭТЫ

Н. Бажан, В. Боков, К. Ваншенкин, А. Вознесенский, Е. Винокуров, С. Васильев, Р. Гамзатов, П. Дариенко, М. Дудин, Е. Евтушенко, В. Инбер, А. Имерманис, С. Кирсанов, В. Корнилов, С. Куняев, Ю. Левитанский, И. Лиснянская, М. Луконин, А. Малышко, Л. Мартынов, А. Межиров, Ю. Мориц, С. Орлов, Л. Ошанин, Н. Панченко, Н. Рыленков, Р. Рождественский, Я. Смеляков, С. Смирнов, Б. Слуцкий, М. Танк, Л. Татьяничева, Н. Тряпкин, П. Тычина, П. Хузангай, В. Шефнер, Г. Эмин, И. Эренбург и др.

ПУБЛИЦИСТЫ И ОЧЕРКИСТЫ

Л. Безыменский, Р. Бикмухаметов, Ф. Бурлацкий, А. Борин, Б. Галин, Л. Гинзбург, Х. Гулям, Д. Данин, Ю. Жуков, В. Зорин, М. Ибрагимов, Б. Кербаяев, Г. Кублицкий, Л. Лиходеев, А. Ливанова, Е. Лопатина, Ю. Медведев, Л. Могилевский, Ф. Ниязи, В. Орлов, Г. Радов, Е. Ржевская, М. Роцин, Л. Славин, А. Смирнов-Черкезов, М. Стурау, Б. Стрельников, А. Шаров, А. Шварц и др.

КРИТИКИ

Н. Абалкин, В. Баскаков, В. Воронов, Б. Галанов, И. Гринберг, М. Гус, А. Дубровин, А. Дымшиц, И. Золотусский, В. Иванов, Е. Книпович, Л. Лавлинский, А. Макаров, А. Михайлова, А. Михайлов, В. Новиков, П. Палиевский, В. Панков, В. Перцов, Е. Старикова, Е. Сурков, Л. Фоменко, В. Щербина, В. Шкловский, Л. Якименко и др.

Подписка принимается повсеместно и без ограничений. Розничная продажа журнала ограничена.

Редакция журнала «ЗНАМЯ»

Дорогие читатели!

Не забудьте своевременно подписаться на журнал «ЗНАМЯ» на 1967 год.

В 1967 году, к пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции, на страницах «Знамени» будут опубликованы произведения, отражающие победный исторический путь советского народа.

Журналу передают новые романы и повести:

- Алексеев М. Новый роман
Ананьев А. Степи, степи... Роман
Абу-Бакар А. Ожерелье для Серминаз. Повесть
Бедный Б. Движение души. Роман
Богомоллов В. Василий Чанышев. Повесть
Борщаговский А. Дороги, пройденные дважды. Роман
Воронов Н. Все время ветер. Роман
Велембовская И. Несовершеннолетние. Повесть
Гидаш А. Есть! Роман.
Давыдова Н. Завоеватель. Роман
Кузнецов А. Огонь. Роман
Марков Г. Сибирь. Роман
Приставкин А. Женька Голубева. Роман
Полторацкий В. Рабфак. Повесть
Проскурин П. Новая повесть
Рекемчук А. Скудный материк. Роман
Семенов Г. И вечный бой. Повесть.
Симонов К. Завершающий удар. Роман
Смирнов В. Открытие мира. Роман. (Вторая часть 3-й книги)
Соболев Л. Капитальный ремонт. Роман. Часть третья
Тихонов Н. По белу свету. Цикл рассказов
Трифонов Ю. Повесть о Москве
Чаковский А. Новая повесть
Шим Э. Гора и камень. Повесть
Штейн А. Загадочные земли. Повесть

Часть из этих произведений будет опубликована в 1967 году, остальные — в 1968 году.

Подписка на журнал принимается с 1 сентября с. г. повсеместно и без ограничений.

Подписная цена:

- На один год — 6 руб. 60 коп.
На шесть месяцев — 3 руб. 30 коп.
На три месяца — 1 руб. 65 коп.

Розничная продажа журнала ограничена.

Редакция журнала «ЗНАМЯ»